Ю.Г. Бит-Юнан, Д.М. Фельдман

Василий Гроссман

в зеркале литературных интриг

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В. С. Гроссман – один из наиболее известных русских писателей XX века. В довоенные и послевоенные годы он оказался в эпицентре литературных и политических интриг, чудом избежав ареста. В 1961 году рукописи романа «Жизнь и судьба» конфискованы КГБ по распоряжению ЦК КПСС. Четверть века спустя, когда все же вышедшая за границей книга была переведена на европейские языки, пришла мировая слава. Однако интриги в связи с наследием писателя продолжились. Теперь не только советские. Авторы реконструируют биографию писателя, попутно устраняя уже сложившиеся «мифы».

При подготовке издания использованы документы Российского государственного архива литературы и искусства, Российского государственного архива социально-политической истории, Центрального архива Федеральной службы безопасности.

Книга предназначена историкам, филологам, политологам, журналистам, а также всем интересующимся отечественной историей и литературой XX века.

- Давид Фельдман, Юрий Бит-Юнан
  -
  - Предисловие. Контекст биографии
    - До и после ареста
    - Загадки и разгадки
    - Нерешенные проблемы
    - Парадоксы историографии
  - Часть I. Дебют и репутация
    - Обозначенные лакуны
    - Семья и школа
    - Искусство обиняков и недомолвок
    - Эпистолярная специфика
    - На перепутье
    - У второй ступени
    - Вторая ступень
    - Скрытые препятствия
    - Новый этап
    - Депрессия
    - Режим одиночества
    - Выпускник
    - Разговор всерьез
    - Недопустимо и своевременно

- Мнимый парадокс
- Бердичевский синдром
- Зеркало полемики

○ Часть II. От Москвы до Москвы
- Проекция биографии
- «Суровые глаза Донбасса»
- Новый год с августа
- Кризис
- Интервал
- Работа и досуг

○ Часть III. Революционная эволюция
- Литературный парадокс
- Издательская модель и литературный процесс
- Новая модель
- Социалистическая эволюция
- Новое по-старому
- Хозяйство и хозяева
- Конкурент вождя
- Доктрина вождя
- Альтернативные проекты
- Эволюция инструментария
- Падение утвержденных

○ Часть IV. Второй дебют
- Тактика дебютанта
- Техника защиты
- На пути к успеху
- Другая профессия
- Триумф
- Полускрытые механизмы
- Развитие успеха
- Фундамент удач
- Первая мифологизация
- Вторая мифологизация
- Будни профессионала

○ Часть V. Игра и удача
- Новая репутация
- Инерция успеха
- Кривое зеркало успеха
- Зазеркалье
- Компромиссы и реминисценции
- Горьковская защита
- В спорах о зле
- Жернова интриг
- Постоянная угроза

        - Чудесное спасение
        - Риторика ходатайства
        - Защитница
        - Литературные игры
        - Игнорируемые парадоксы
        - Прогнозируемые совпадения
        - Контекст интриги
        - Загадки и разгадки
        - Конкуренция проектов
    - Часть VI. Годы войны
        - Специальный корреспондент
        - Новый статус
        - Вычеркнутый
        - Динамика осмысления
        - Мнимость опалы
        - Почти триумф
        - Постоянный кандидат
        - Асимметричный ответ
        - Золотая альтернатива
    - Часть VII. Правое дело
        - Контекст пропаганды
        - Редакционная интрига
        - Административная тактика
        - Третий этап
        - Триумф и скандал
        - Механизмы интриг
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17

- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61

- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105

- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149

- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193

- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237

- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281

- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325

- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346
- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352
- ○ 353
- ○ 354
- ○ 355
- ○ 356
- ○ 357

Давид Фельдман, Юрий Бит-Юнан
Василий Гроссман в зеркале литературных интриг

© Бит-Юнан Ю. Г., Фельдман Д. М., 2015
© Издательство «ФОРУМ», 2015
© Издательский дом «НЕОЛИТ», 2015

Предисловие. Контекст биографии

До и после ареста

Как известно, 14 февраля 1961 года в квартиру весьма популярного тогда писателя В. С. Гроссмана вошли офицеры Комитета государственной безопасности СССР. Пятидесятипятилетнему хозяину предложили выдать добровольно рукописи его романа «Жизнь и судьба». А еще – указать всех, у кого есть копии. В итоге изъяли беловые и черновые экземпляры, подготовительные материалы и т. п.[1]

Известно также, что арест романа, признанного антисоветским, не предали огласке. Формально статус автора не изменился. Три года спустя похоронами Гроссмана, согласно правилам, занималось руководство Союза советских писателей.

Торжественный ритуал соблюдался неукоснительно: траурный митинг в конференц-зале ССП, речи именитых коллег над гробом и могила на престижном Троекуровском кладбище. Официальной репутации соответствовали также некрологи в столичной периодике[2].

Соблюдены были и другие правила. В частности, писательское руководство сформировало так называемую комиссию по литературному наследию. Ей надлежало заниматься изданием уже опубликованного и еще не публиковавшегося Гроссманом[3].

Статья о нем критика Г. Н. Мунблита помещена во втором томе Краткой литературной энциклопедии, что было весьма значимо. Справочные издания в СССР официальную точку зрения отражали – на момент подписания к печати. Этот том подписан вскоре после смерти автора конфискованного романа[4].

Казалось бы, обычная статья. Сначала – данные анкеты и характеристика дебюта: «**ГРОССМАН**, Василий Семенович [29.XI(12.XII). 1905, Бердичев – 14.IX.1964, Москва] – рус[ский] сов[етский] писатель. Окончил физ[ико]-мат[ематический] ф[акульте]т МГУ (1929). Работал в Донбассе инженером-химиком. Первая повесть “Глюкауф”, о жизни сов[етских] шахтеров, опубл[икована] в журн[але] “Лит[ературный] Донбасс” (1934). Рассказ Г[россмана] “В городе Бердичеве” (1934), рисующий эпизод из времен гражд[анской] войны, обратил на себя внимание М. Горького, поддержавшего молодого автора и напечатавшего “Глюкауф” в новой редакции в альм[анахе] “Год XVII” (1934). В написанных позднее рассказах Г[россман] рисует образы сов[етских] людей, прошедших через подпольную борьбу против царизма и гражд[анскую] войну, людей, ставших хозяевами своей страны и строителями нового общества. В

отличие от писателей, изображавших таких героев в романтизированной манере, Г[россман] показывает их подчеркнуто реалистически, в обыденных жизненных обстоятельствах, к[ото]рые, по замыслу автора, особенно отчетливо оттеняют необыкновенность их душевного склада и новизну морального кодекса (“Четыре дня”, “Товарищ Федор”, “Кухарка”)».

В интерпретации Мунблита начало биографии советского литератора вполне соответствует актуальным тогда идеологическим установкам. Так, выпускник университета не сразу начал писательскую карьеру, а пять лет работал на одном из предприятий всесоюзно знаменитого Донецкого угольного бассейна – Донбасса. Стало быть, получал жизненный опыт, а этого и требовали от писателей идеологи. Акцентируется, что и дебют с шахтерской темой связан. Значит, не случайно отмечен первым классиком советской литературы – Горьким.

Далее, как положено, характеристика самых известных публикаций. И конечно, личности автора: «Роман Г[россмана] “Степан Кольчугин” (ч[асти] 1–2, 1937–40) посвящен жизнеописанию молодого рабочего, выросшего в шахтерском поселке, человека, жизненный путь к[ото]рого закономерно приводит его к революции, к участию в борьбе за дело своего класса в рядах большевистской партии. В годы Великой Отечеств[енной] войны Г[россман] становится воен[ным] корр[еспондентом] газ[еты] “Красная звезда” и, проделав в рядах армии весь путь отступления, а потом наступления от Волги до Берлина, публикует серию очерков о борьбе сов[етского] народа против гитлеровских захватчиков (“Направление главного удара” и др.). В 1942 в “Красной звезде” печатается повесть Г[россмана] “Народ бессмертен” – первое крупное произв[едение] о событиях войны, где дана обобщенная картина нар[одного] подвига».

Вполне лестные характеристики. Первый роман с дебютной повестью соотнесен, причем «шахтерский поселок» и горное дело, как явствовало из ранее сказанного, автор романа знал не понаслышке. Затем он «в рядах армии», да еще и создал «первое крупное произведение о событиях войны». Но отмечено, что позже не все благополучно складывалось: «В 1946 Г[россман] опубл[иковал] пьесу “Если верить пифагорейцам”, написанную до войны, тема к[ото]рой – неизменность повторения в разные эпохи одних и тех же жизненных коллизий. Пьеса вызвала резкую критику в печати».

Справедлива ли была «резкая критика» – не сообщается. Ясно только, что и дальше не все складывалось благополучно: «В 1952 начинает печататься роман Г[россмана] “За правое дело”

(неоконч[енный]), в к[ото]ром автор стремится осмыслить историч[еское] значение Великой Отечеств[енной] войны. Роман задуман как широкое полотно, воссоздающее борьбу сов[етских] людей против фашизма, борьбу гуманистич[еского] революц[ионного] начала с силами человеконенавистничества, расизма и угнетения. В романе доминирует мысль о народе, выносящем на своих плечах всю тяжесть защиты родной земли. Война предстает здесь в ее конкретности, от событий историч[еского] масштаба до небольших в сравнении с ними эпизодов. В житейском будничном обиходе автор раскрывает душевный мир сов[етских] людей, всем своим складом противостоящий механизированно-злобной агрессии гитлеровцев. В романе явственно звучит излюбленный Г[россманом] мотив неизменного превосходства высоких и чистых человеч[еских] побуждений над жестокостью и корыстью. С большой худож[ественной] силой показывает писатель, как защита правого дела дает моральный перевес сов[етским] бойцам. Первая часть романа Г[россмана] встретила противоречивые отклики – от безоговорочных похвал до упреков в искажении картины войны».

Интонация статьи, да и приведенная в конце библиография подсказывали читателям, что позже «упреки» признаны несправедливыми. Так, перечень критических откликов на спорный роман содержит лишь опубликованные в 1953 году. Ну а в списке основных публикаций Гроссмана указано: «За правое дело, ч. 1–2. М., 1954».

Подразумевалось, что переизданием 1954 года дезавуированы все отрицательные отзывы о «первой части». А потом еще и две другие опубликованы.

Отсюда следовало, что критиковали только первую часть трехчастной книги. К остальным не было претензий. Только вот роман остался «неоконченным».

Использование такой характеристики, как «неоконченный», вполне закономерно. Не раз в периодике до ареста рукописей анонсировалось продолжение романа «За правое дело» – «Жизнь и судьба». Причем указывалось, что публикацию второй книги дилогии готовит журнал «Знамя»[5].

Из энциклопедической же статьи следовало, что вторая книга постольку не издана, поскольку автор не успел ее завершить. И можно было догадаться почему: «В последние годы Г[россман] опубл[иковал] ряд рассказов в журналах».

Стало быть, не только романом занимался, потому и окончить его не успел. Ну, а в списке основных гроссмановских публикаций – сборник «Старый учитель. Повести и рассказы, М., 1962».

После обыска сборник был издан. Таким образом, коллегам-писателям, знавшим об аресте романа, напомнили еще раз, что статус автора не изменился – официально.

Загадки и разгадки

В 1970 году западногерманские журналы «Грани» и «Посев» опубликовали главы до той поры неизвестной повести Гроссмана – «Все течет…». Она была воспринята как безоговорочно антисоветская и вскоре отдельным изданием вышла[6].

Резонанс в эмигрантской среде поначалу оказался невелик, а на родине автора будто ничего и не заметили. В 1972 году новую статью Мунблита о Гроссмане поместила Большая советская энциклопедия. Тоже вполне комплиментарную, только не сказано, что роман «За правое дело» – «неоконченный»[7].

Главы романа «Жизнь и судьба» печатались в эмигрантской периодике с 1975 года. Тогда же об аресте рукописи впервые сообщил А. И. Солженицын – в книге воспоминаний «Бодался теленок с дубом»[8].

Более подробные сведения вскоре предоставлены Б. С. Ямпольским. В 1976 году парижский журнал «Континент» поместил его статью «Последняя встреча с Василием Гроссманом (Вместо послесловия)»[9].

Казалось бы, публикация глав арестованного романа должна была стать весьма заметным событием. Но опять невелик резонанс в эмигрантской прессе, а на родине автора вновь словно и не заметили ничего.

Полностью роман впервые напечатан в 1980 году швейцарским издательством “L'Age d'Homme” («Возраст человека»). Публикаторы – советские эмигранты С. П. Маркиш и Е. Г. Эткинд – указали в предисловии, что текст подготовлен на основе рукописей. Не сообщалось только, как удалось их раздобыть[10].

В эмигрантской среде резонанс был опять невелик. Даже полное издание словно бы игнорировалось[11].

Однако в том же 1980 году опубликован перевод на французский язык. Четыре года спустя книга переведена на итальянский и немецкий. Тогда же выпущено первое англоязычное издание в Лондоне. В следующем году появилось и нью-йоркское[12].

Популярность книги росла быстро. Восхищенные рецензенты, сравнивая автора с Л. Н. Толстым, утверждали, что «Жизнь и судьба» – один из «величайших романов XX века»[13].

Но по-прежнему читатели не знали, как издатели добыли источники текста. Впрочем, такой вопрос и не принято было обсуждать в печати. Случай не беспрецедентный,

подразумевалась инициатива кого-либо из друзей и знакомых, а угадывать имя – все равно, что донос в СССР послать.

Имя было названо впервые на Франкфуртской книжной ярмарке 1984 года. В. Н. Войнович сообщил журналистам, что отправку романа через границу организовал сам, по собственной инициативе и безучастия соотечественников.

Насколько сведения точны – не обсуждалось тогда. И не только потому, что о помощниках на родине, если имелись, полагалось умолчать. Главным доказательством истинности версии стала репутация автора, не только писателя, но и правозащитника, вынужденного эмигрировать, а затем лишенного советского гражданства. В иностранной периодике и открытых письмах руководству СССР Войнович спорил с властью не просто смело – вызывающе дерзко. Свое выступление на Франкфуртской книжной ярмарке он затем опубликовал в «Посеве» – под заголовком «Жизнь и судьба Василия Гроссмана и его романа»[14].

Подробно историю романа описывал С. И. Липкин. В 1986 году американским издательством напечатаны его воспоминания – «Сталинград Василия Гроссмана»[15].

Мемуары Липкина вызвали особый интерес еще и постольку, поскольку автор, довольно известный советский переводчик, не был эмигрантом. Он жил в Москве, но при этом рассказывал об изъятии романа сотрудниками КГБ, словно бы пренебрегая опасностью.

Если верить автору, книга воспоминаний завершена в 1984 году. Кроме прочего, там сообщается, что мемуарист наблюдал все этапы создания романа «Жизнь и судьба», потому что еще до войны стал ближайшим другом Гроссмана, от него и узнал о конфискации рукописей, но про утаенный экземпляр тогда речи не было. Соответственно, подчеркивалось: к заграничным изданиям Липкин непричастен.

В эмигрантской среде книга очень быстро завоевала популярность. Мемуарист рассказывал о встречах с литературными знаменитостями, например И. Э. Бабелем, М. А. Булгаковым, А. П. Платоновым, Б. А. Пильняком, М. И. Цветаевой.

В СССР мемуары с июня по июль 1988 года публиковал журнал «Литературное обозрение». Сокращенный вариант, зато с новым заглавием – «Жизнь и судьба Василия Гроссмана»[16].

Это была еще и рекламная акция. Липкинские мемуары напоминали, что книгу Гроссмана с января по апрель 1988 года печатал журнал «Октябрь». Но и там об источнике текста сказано только, что «по случайно уцелевшему следу отбывший четверть века в заточении роман все-таки пришел сегодня к советскому

читателю»[17].

Какой именно «след» назван «случайно уцелевшим» – читателю оставалось лишь догадываться. Впрочем, литературоведы не обсуждали происхождение источника текста. Речь шла, главным образом, о победе над цензурой, одержанной редактором журнала «Октябрь».

Затем роман был выпущен московским издательством «Книжная палата». Источник, понятно, журнальная публикация[18].

14 декабря 1988 года «Литературная газета» напечатала интервью с главным редактором «Книжной палаты» В. Т. Кабановым. Актуальность заголовком акцентировалась: «Рукою автора. Найден авторский текст романа Василия Гроссмана “Жизнь и судьба”»[19].

Речь шла о рукописи, которая была неизвестна сотрудникам «Книжной палаты», когда они готовили выпуск первой книги. А «14 октября в издательство позвонил Федор Борисович Губер, сын вдовы Гроссмана Ольги Михайловны Губер, и сказал, что должен незамедлительно приехать по делу чрезвычайной важности».

Он и принес рукопись. Согласно Губеру – в пересказе Кабанова – ее Гроссман до обыска передал старому другу, а когда тот умер, переданное хранила вдова.

Загадочное же словосочетание «авторский текст романа» подразумевало, что прежде воспроизводились не сами рукописи, но копии, происхождение которых известно было не всем издателям. Соответственно, аутентичность источников сомнительна. Ну, а «найденный» экземпляр, еще не видели ни заграничные публикаторы, ни советские.

Так возникли новые вопросы – о происхождении всех прежних источников текста. Но сколько-нибудь внятных ответов не было. Более того, саму тему публикаторы обходили.

Ответы предложил Липкин. 5 мая 1989 года парижской газетой «Русская мысль» опубликована статья «Рукописи не горят. Как был спасен роман Василия Гроссмана “Жизнь и судьба”».

Это послесловие к напечатанной тремя годами ранее книге воспоминаний. Мемуарист заявил, что ранее ввел читателей в заблуждение, рассказав о своей непричастности к заграничным изданиям романа. На самом деле он, учитывая возможные последствия ознакомления с рукописью в редакции «Знамени», еще до обыска взял у Гроссмана один экземпляр – на хранение. А в 1974 году предложил организовать публикацию другу и соседу – Войновичу, уже имевшему «опыт печатания за рубежом».

Тот, если верить мемуаристу, согласие дал сразу. Но за помощью обратиться пришлось еще «к Е. Г. Боннэр и

А. Д. Сахарову».

Подразумевалось, что опальный академик и его жена – всемирно знаменитые советские диссиденты – тоже имели немалый «опыт печатания за рубежом». В итоге роман, по словам Липкина, «вырвался из оков».

Если верить мемуаристу, инициатором первой советской публикации стал главный редактор «Октября» А. А. Ананьев. Известный прозаик, «ознакомившись с романом, увидел, что книга эта великая».

Мемуарист не сообщил, когда Ананьев «увидел, что книга эта великая». Равным образом, по мемуарам Липкина нельзя понять, ознакомился ли редактор «Октября» с рукописью или же читал лозаннское издание.

Липкин, по его же словам, не имел сведений о другом экземпляре, который был передан старому другу автора. Что и акцентировал: «Мне неизвестно, как и когда это произошло, Гроссман об этом мне не сказал – и правильно сделал. В те годы человек не должен был знать больше того, что ему знать полагалось».

Имелось в виду, что с «тех» лет ситуация принципиально иной стала. Весной 1989 года повсеместно обсуждались перемены в советской внешней и внутренней политике, эмблематизированные термином «перестройка». Ими, значит, была обусловлена возможность и опубликовать арестованный роман на родине автора, и рассказать в печати о «спасении».

Оставалось только неясным, почему Липкин, раз уж с «тех» лет ситуация принципиально изменилась, обратился в эмигрантскую прессу, минуя советскую. Но вопрос деактуализовался в 1990 году, когда мемуары вместе с послесловием выпустило московское издательство «Книга». Под уже известным заглавием – «Жизнь и судьба Василия Гроссмана»[20].

В новой редакции объединены «Сталинград Василия Гроссмана» и фрагмент, опубликованный «Русской мыслью». Более никаких добавлений, и по-прежнему не сказано, как была «спасена» повесть «Все течет…». Однако и этот вопрос деактуализовался в июне 1989 года, когда ее напечатал «Октябрь»[21].

Вскоре «Книжной палатой» выпущено еще одно издание конфискованного романа. Оно, если верить анонимному предисловию «От издательства», от предыдущих отличалось принципиально[22].

Таким принципиальным отличием была текстологическая корректность. В предисловии указано, что впервые читателю

предлагается, «наконец, выверенное по авторской рукописи **полное** издание второй части дилогии Вас. Гроссмана, роман “Жизнь и судьба”».

Характеризовались также источники текста. Их, согласно предисловию, два: «Черновик, хранившийся у старинного друга Вас. Гроссмана, Вячеслава Ивановича Лободы, принес в издательство сын недавно скончавшейся вдовы писателя, Ольги Михайловны Губер – Ф. Б. Губер. Рукопись была передана ему вдовой В. И. Лободы – Верой Ивановной Лобода. Беловик вручил сотрудникам издательства известный поэт и переводчик Семен Липкин, близкий друг Гроссмана».

Отсюда следовало, что и текстологические проблемы решены окончательно. Это мнение стало общепринятым. В дальнейшем единственным источником текста было издание, подготовленное «Книжной палатой» по рукописям, что предоставили вдова Лободы и Липкин.

Нерешенные проблемы

Для большинства читателей эмигрантской периодики литературная репутация Гроссмана оказалась спорной еще в 1970 году, после издания повести «Все течет…». Автора уже нельзя было признать исключительно советским писателем. Ну а мировая известность романа «Жизнь и судьба» подразумевала необходимость переосмысления всего литературного наследия Гроссмана. Об этом и спорили критики-эмигранты[23].

В СССР переосмысление инициировано было первым изданием романа. И тогда критики утверждали, что автор, верный учению В. И. Ленина, обличал в романе деспотизм И. В. Сталина. Лишь эту версию допускала цензура[24].

Отступление от канона шло поэтапно. Согласно мнению одних критиков, мировоззренческая эволюция писателя началась в 1956 году, после XX съезда Коммунистической партии Советского Союза, когда было объявлено о так называемом разоблачении культа личности Сталина. Другие утверждали, что мировоззрение Гроссмана гораздо раньше изменилось, и это почувствовали критики, бранившие в 1946 году пьесу «Если верить пифагорейцам». Ну а семь лет спустя погромная кампания в связи с романом «За правое дело» свидетельствовала, что изменения стали очевидными[25].

Спор об этапах прозрения все еще продолжается. Бесспорно же, что на исходе 1950-х годов у Гроссмана – четвертьвековой опыт советского литератора, работавшего в условиях жесткой предварительной цензуры. Значит, последствия мог бы и предвидеть, когда передавал рукопись в редакцию журнала «Знамя». Точнее, должен был последствия учитывать, если в романе обличал антисемитизм как элемент советской государственной политики. Но оказался недальновидным.

Однако два экземпляра рукописи он, не дожидаясь обыска, передал друзьям. Причем каждый из хранивших не знал, кому еще доверена тайна. Следовательно, Гроссман был сразу и наивен, и предусмотрителен, что странно.

Впрочем, странно не только это. Гроссман не был арестован, хотя его рукописи признали настолько опасными, что цензурный запрет сочли недостаточным: понадобилась конфискация, проведенная офицерами КГБ.

С конфискацией – тоже загадки. Нет сведений, что обыскивавшие, получив рукописи от Гроссмана, проверяли хоть как-нибудь, остались ли у него другие экземпляры. Значит, офицеры КГБ проявили не свойственные представителям этого

ведомства доверчивость и недальновидность, а почему – мемуаристы не объясняли.

Однако недальновидным оказался и Гроссман. По крайней мере, в области планирования иностранных изданий.

Шесть лет минуло после смерти автора, когда за границей была издана крамольная повесть «Все течет…». Вряд ли Гроссман столь долгий срок планировал. А почему именно так получилось – нет объяснений.

Что до романа, то Гроссман, как явствует из воспоминаний Липкина, полагался на его помощь, но публикация романных глав началась лишь в 1975 году. Более десяти лет минуло после смерти автора. И опять непонятно, почему срок так долог.

Кстати, от начала журнальной публикации глав «Жизни и судьбы» до выхода первой книги в Лозанне еще пять лет минуло. Но тут мемуаристами предложены хоть какие-то объяснения. Речь шла о том, что в аспекте собственно литературном роман не заинтересовал издателей, а политической новизны там не было.

Первым такую версию предложил Липкин – в уже цитировавшемся послесловии к своим мемуарам. Заявил не без пафоса: «Пять лет зарубежные издатели русской литературы отказывались опубликовать “Жизнь и судьбу”, как мне стало известно, потому что, по их мнению, роман о Второй мировой войне теперешним читателям будет неинтересен, а о лагерях уже написал Солженицын».

Что за доброхоты безуспешно хлопотали с 1975 года, какие «зарубежные издатели» гроссмановский роман «отказывались опубликовать», когда и откуда «стало известно» Липкину «их мнение» – не сообщалось. Разумеется, мемуарист, в отличие от историка литературы, не обязан сказанное аргументировать и ссылаться на источники приводимых сведений. Но без этого любая версия – беллетристика.

Отметим еще, что ни одно из существующих изданий романа «Жизнь и судьба» нельзя признать текстологически корректным, включая и выпущенное «Книжной палатой» в 1989 году.

Да, в редакционном предисловии сообщается, что публикацию готовили по рукописям Гроссмана – беловой и черновой. Но там лишь пересказано суждение Липкина об экземпляре, переданном Лободе: «Я увидел этот черновик, густо исправленный хорошо знакомым мне мелким почерком. Сопоставление некоторых – на выбор – страниц с сохраненным мною беловиком, показывает, что черновик окончательный».

Именно Липкин и заявил, что Лободе достался черновик, по содержанию не отличавшийся от беловой рукописи. Прав ли, нет ли, но это лишь суждение писателя, воспроизведенное редакцией

«Книжной палаты». А текстологу, прежде чем такое сказать, нужно многое доказать. Выборочное «сопоставление» – не метод. Потому и результат нельзя считать аргументом.

Липкин, понятно, не текстолог. С него и спроса не было. А вот редакторы, готовившие новое издание, декларировали, что решают задачи текстологические. При этом в редакционном предисловии тоже нет развернутой аргументации. Значит, не похоже, чтобы получили читатели в 1989 году «выверенное по авторской рукописи **полное** издание».

Похоже это на редакторский произвол, узаконенный в СССР. Кстати, другие издательства тиражировали позже гроссмановский роман как по книжной публикации, так и по журнальной[26].

В общем, все перечисленные выше проблемы не решены. А еще, вопреки сложившемуся на исходе 1980-х годов мнению, нет ясности ни с отправкой, ни с доставкой повести и романа Гроссмана заграничным издателям. Свидетельства мемуаристов разрозненны и противоречивы.

Последнее, впрочем, относится не только к повести и роману. Биография автора загадочна в целом.

Судя по списку публикаций, Гроссман преуспевал. В периодике регулярно печатался, книги постоянно издавались. И вдруг – радикальное изменение: вполне благополучный советский классик стал автором романа, объявленного антисоветским.

Мемуаристы объясняли, что именно такой итог закономерен. Потому что Гроссман был чуть ли не всегда гонимым.

Например, есть мнение, что еще с начала 1940-х годов Сталин невзлюбил Гроссмана. Трижды лично вычеркивал из уже подготовленных списков лауреатов Сталинской премии[27].

Есть мнение, что и преемник – Н. С. Хрущев – тоже невзлюбил опального писателя. Так и не стал тот лауреатом, хотя Сталинскую премию в Ленинскую переименовали[28].

Ну а после конфискации романа, согласно мнению ряда мемуаристов, Гроссман практически лишен был возможности печататься. От лютого безденежья редактурой зарабатывал[29].

Списку публикаций все это не соответствует. Но противоречия в источниках – не редкость. Странным может показаться, что их литературоведы игнорировали.

Парадоксы историографии

О Гроссмане после издания арестованного романа очень много написано. Даже краткий обзор публикаций мог бы стать темой исследования.

Так, подробно изучалась поэтика гроссмановской прозы, идейные поиски автора и т. д. Однако результаты этих исследований не относятся непосредственно к биографии[30].

Весьма интересны результаты публицистического осмысления наследия Гроссмана в контексте политических реалий 1980–1990-х годов. Но это опять не относится непосредственно к биографии[31].

Отметим, что задача описания и анализа опубликованных при жизни Гроссмана критических отзывов ставилась крайне редко. Ее обычно характеризовали как частную. А потому особенно важны работы исследователей, соотносивших реакцию критики с актуальным политическим контекстом.

Первым был А. Г. Бочаров. В 1970 году издательством «Советский писатель» выпущена его монография «Василий Гроссман. Критико-биографический очерк[32].

Цензурные условия тогда, понятно, жесточайшие. Однако именно Бочаров первым определил и канву биографических разысканий, и основные контрапункты критической рецепции гроссмановской прозы.

В 1988 году все части гроссмановского романа, публиковавшегося журналом «Октябрь», сопровождались послесловиями Бочарова. Они – при явно публицистической направленности – содержали весьма ценный фактографический материал. Тем не менее автор вынужден был соблюдать цензурные требования[33].

Ситуация, обусловившая вмешательство КГБ и конфискацию рукописей Гроссмана, тогда обсуждалась тоже на уровне публицистики. Исключения крайне редки[34].

В 1990 году издательство «Советский писатель» выпустило новую монографию Бочарова, где суммировались результаты многолетних разысканий. Заглавие было изменено – «Василий Гроссман: Жизнь, творчество, судьба»[35].

На этот раз подробно анализировались и отношения Гроссмана с писательской элитой СССР, и обстоятельства конфискации романа. Бочаров использовал не только материалы периодики, мемуаристику, но и документы из фондов Центрального государственного архива литературы и искусства СССР.

Однако на исходе 1980-х годов, когда готовилось издание, цензуру еще не упразднили. Потому исследователь не мог опубликовать полностью все архивные документы, которыми пользовался. Ограничен был и на уровне интерпретаций.

Советский политический контекст анализировал британский славист Ф. Эллис. В 1994 году оксфордское издательство выпустило его монографию «Василий Гроссман. Рождение и эволюция русского еретика»[36].

Анализу писательской биографии в политическом контексте посвящено и обстоятельное исследование, проведенное Н. Г. Елиной. В том же 1994 году иерусалимское издательство опубликовало ее книгу «Василий Гроссман»[37].

Вышла она согласно плану анонсированной серии «Евреи в мировой культуре», так что автор пытался создать биографию Гроссмана именно как еврейского писателя. Материал собран весьма интересный, а вот поставленная задача не решена. Да она вряд ли и разрешима.

Что до решения задач собственно биографических, то следует отметить работы американских исследователей Дж. Гарарда и К. Гаррард. Прежде всего, опубликованную в 1996 году нью-йоркским издательством книгу «Кости Бердичева. Жизнь и судьба Василия Гроссмана»[38].

Гаррарды работали в советских архивах, кроме того, использовали свидетельства родственников и знакомых Гроссмана. Именно американскими исследователями создана наиболее фундированная биография, соотносимая с политическим контекстом и анализом критической рецепции.

С точки зрения анализа биографии в актуальном политическом контексте важны работы Б. Я. Фрезинского. Шесть лет назад в Москве опубликована его книга «Мозаика еврейских судеб». Тогда же – «Писатели и советские вожди: избранные сюжеты»[39].

Весьма интересны и работы Д. О. Клинг. Результаты их суммирует опубликованная московским издательством четыре года назад монография «Творчество В. Гроссмана 1940-х – 1960-х гг. в оценке отечественной и русской зарубежной критики»[40].

Однако выше уже отмечалось, что исследователи, за крайне редкими исключениями, не анализировали критически воспоминания о Гроссмане. Не ставили такую задачу. Потому как очень часто описания самих противоречий и попытки установить причину каждого из них рассматриваются в качестве личных обид, нанесенных мемуаристам.

Следует заранее оговорить: в данной работе воспоминания анализируются исключительно как источники – наряду с

прочими. Характеристики мемуаристов не входят в задачу.

Наша задача – анализ феномена Гроссмана в биографическом и литературно-политическом контекстах. Для решения использованы как опубликованные, так и ранее не публиковавшиеся материалы.

Таким образом, вниманию читателей предлагается первая из двух книг, где решается эта задача. Работа над второй книгой завершается.

Желательно было бы обойтись «без гнева и пристрастия». Насколько это в принципе возможно.

Часть I. Дебют и репутация

Обозначенные лакуны

Выше отмечалось, что в гроссмановской биографии много загадок. И на ранних этапах – особенно.

Так, в статье Мунблита, подготовленной для КЛЭ, указаны лишь дата и место рождения Гроссмана, а далее сообщается, что почти четверть века спустя он стал «инженером-химиком». Где и когда получил среднее образование, раз уж в 1929 году завершил высшее, на какие средства до той поры жил – нет сведений.

Читатели, конечно, могли предположить, что Гроссмана содержали родственники. Но о семье тоже нет сведений, хотя в энциклопедиях обычно приводились характеристики «социального происхождения» советских литераторов, если их биографии соотносились и с досоветской эпохой. Сообразно принятому в Российской империи сословному делению указывалось, кем был отец – дворянином ли, купцом ли и т. п.

Мунблит не привел и такие сведения. Правда, его статья примечательна именно обилием умолчаний. Бочаров же в предисловии к опубликованной еще четверть века спустя книге, постулировал, что подобного рода приемы использовать не будет: «Когда я писал монографию о Гроссмане в 1970 году, на его имя еще падала тень от изъятия “антисоветского” романа “Жизнь и судьба”, и о многом пришлось сказать не в полную силу, как бы реабилитируя опального художника. Теперь эти препоны сняты и можно договорить то, что ранее подразумевалось»[41].

Характерно, что Бочаровым в кавычки взято определение «антисоветский». Подразумевалось, что таким роман ошибочно признали раньше, а в 1988 году ошибка устранена, значит, Гроссман был и остается безоговорочно советским писателем. Это обязательная – даже на исходе 1980-х годов – уступка цензуре.

Начал Бочаров с описания детства Гроссмана. Сообщалось, что «Бердичев был при царской власти обычным заштатным городком в черте еврейской оседлости. В нем находились кожевенный и сахарный заводы и множество кустарных заведений по выделке и обработке кож. Бердичевские мягкие туфли славились даже в далеком Ташкенте».

Отметим, что словосочетание «заштатный городок» традиционно используется как синоним такого понятия, как «провинциальная глушь». Характеристика эмоциональная. Официально в Российской империи называли «заштатными» лишь такие города, которые не получили статус даже уездных, что к Бердичеву не относилось. Это административный центр Бердичевского уезда, в Киевскую губернию входившего. Кстати,

еще и один из крупнейших тогда украинских торговых центров.

Но в «черте еврейской оседлости» Бердичев действительно был. Если терминологически корректно – «в черте постоянной еврейской оседлости».

Так в Российской империи официально именовались границы территории, вне которой евреям постоянно жить запрещалось. Точнее, не этническим евреям, а «лицам иудейского вероисповедания».

Этническая идентификация формально не имела значения, даже и не фиксировалась в документах. Статус определяла конфессиональная. Евреев постольку дискриминировали законодательно, поскольку их религией был иудаизм.

На государственную службу их не допускали. Разумеется, кроме военной, предусмотренной законом о «всеобщей воинской повинности», но и там – без права на офицерский чин. А доступ к образованию ограничивался посредством так называемой процентной нормы – установленного заранее максимального количества «лиц иудейского вероисповедания» в каждом среднем и высшем учебном заведении. От трех процентов до десяти.

Характерно, что ограничения в правах, связанные с «иудейским вероисповеданием», не распространялись на караимов. Так что дискриминация евреев была и этнической.

Дискриминации конфессиональной можно было избежать, официально приняв крещение. Но тогда возникали другие трудности. Отречение, пусть и номинальное, от «веры предков» даже атеисты считали уступкой весьма унизительной. В еврейской среде так называемые выкресты изгоями становились. Исключения – редкость.

К тому же уступка клерикальному режиму не избавляла от неофициальной этнической дискриминации. Ее российское правительство обеспечивало средствами пропаганды. Распространялся так называемый еврейский миф, в соответствии с которым евреям имманентны алчность, трусость, лживость, порочность, они все органически не способны к физическому труду, военной службе, интересует их лишь торгашество и т. д. Антисемитизм был частью государственной идеологии, что отражали и гимназические учебники истории, высмеянные русскими интеллектуалами. Дебаты по «еврейскому вопросу» – общее место в периодике начала XX века.

В ту пору сам топоним «Бердичев» был маркированным. Он стал уже своего рода символом «еврейского местечка» – городка в пресловутой черте оседлости. Часто упоминался и в так называемых еврейских анекдотах. Об этой специфике топонима писал, например, И. Г. Эренбург. С начала 1960-х годов

публиковались книги его мемуаров – под общим заглавием «Люди, годы, жизнь»[42].

Так, мемуарист привел написанную еще в досоветский период эпиграмму на себя и В. М. Инбер. Последняя строка – «Ни Москва, ни Петербург не заменят им Бердичева».

Не там оба родились, и об этом знал автор эпиграммы. Она была антисемитской: имелось в виду, что этническим евреям, пусть даже литераторам, чужда русская культура, и такой подтекст эмблематизировал топоним. Москва и Санкт-Петербург, значит, русские столицы, а Бердичев оказался еврейской.

Согласно официальной статистике, численность бердичевского населения тогда – более семидесяти тысяч. «Лица иудейского вероисповедания» составляли примерно восемьдесят процентов. Около восемнадцати – католики. Главным образом поляки. Ну, а православных, т. е. русских, украинцев, белорусов, – не более двух процентов.

Эту специфику Бочаров обозначил намеком. Отметил, словно бы мимоходом, что в городе «имелись собор, два костела, хоральная синагога и монастырь кармелитов, своими мощными стенами и узкими окошечками больше напоминавший крепость, чем божий дом. Кроме того, каждый ремесленный цех имел свою синагогу; всего их насчитывалось около сорока, размещались они в домах-мазанках».

Еврейских «ремесленных цехов», стало быть, «около сорока» – это для уездного города очень много. И синагог, разумеется. Даже если учесть, что они «размещались» в «домах-мазанках», похожих, значит, на деревенские хаты, где наружную штукатурку заменяла выкрашенная известкой глина.

Упоминание о «черте еврейской оседлости» и сведения о количестве синагог – знаки осведомленным современникам, умевшим читать между строк. Вопреки постулированному в предисловии тезису, Бочаров еще не имел возможности «договорить то, что раньше подразумевалось». Не мог, начиная книгу о Гроссмане, сказать прямо, что русский писатель, родившийся в семье «лиц иудейского вероисповедания», был изначально, на законодательном уровне дискриминирован, как все его родственники и большинство населения родного города. Секретным, конечно, такое не считалось. Но коль скоро автор романа «Жизнь и судьба» обличал антисемитскую политику советского государства, параллели тут прогнозировались. Вот что цензура и пресекала – даже на исходе 1980-х годов. Любые ассоциации с «еврейской темой» традиционно минимизировались.

Однако Бочаров перехитрил цензоров. А после

характеристики Бердичева привел сведения о родителях Гроссмана: «Отец его был инженер-химик, мать преподавала французский язык».

Источник не указан. Наиболее вероятно, что исследователь опирался не только на результаты архивного поиска, но и свидетельства родственников писателя. В первую очередь дочери – Е. В. Коротковой-Гроссман.

Однако сведения, приведенные Бочаровым, относятся лишь к образованию и роду деятельности родителей. А далее сказано: «До конца жизни Василий Семенович читал французских авторов в подлиннике, декламировал наизусть Мюссе, Мопассана, Доде».

Лакуна в характеристике родителей – очень важной с точки зрения биографии писателя – замаскирована эффектной деталью. Но из того, что сын «читал французских авторов в подлиннике», нельзя сделать вывод относительно сословия отца. В советской терминологии – «социального происхождения».

Мать, в соответствии с законами Российской империи, к сословию мужа тогда относилась. Измещанской ли она семьи или купеческой – непонятно. К тому же мала вероятность, чтобы в досоветском Бердичеве «преподавала французский язык» жена «инженера-химика». Не по статусу такое было, неприлично.

Зато из бочаровского описания следовало, что не рентой гроссмановские родители жили и не торговлей. По советской терминологии, относились к «трудовой интеллигенции».

Дефиниции подобного рода актуальны применительно к начальному этапу гроссмановской биографии. Потому что в 1920-е годы права советского гражданина зависели от «социального происхождения». Так, доступ к высшему образованию был ограничен для «выходцев из эксплуататорских классов».

Судя по сказанному Бочаровым, не сталкивался Гроссман с подобного рода ограничениями. Пусть так. Но относительно среднего образования сведения вовсе туманные: «В 1914 году родители отправили мальчика в киевское реальное училище, где он учился до 1919 года, а закончил обучение уже в Бердичеве, в единой трудовой школе».

Можно догадаться, почему Гроссман стал, как тогда говорили, «реалистом», а не гимназистом. По сравнению с классическими гимназиями программа реальных училищ в области естественно-научных дисциплин была значительно шире. Там получали среднее образование преимущественно будущие инженеры, техники и т. п. Значит, отец выбрал для сына свой путь, обеспечил возможность получить знания, необходимые, чтобы поступить, например, в Технологический институт.

Однако не объяснено, почему сын «инженера-химика» учился

в Киеве именно «до 1919 года». Следовало отсюда, что реальное училище он все же не закончил. За три с половиной года – не успеть.

На самом деле Бочаров сказал, что мог – в конце 1980-х годов. Большего ему бы и не позволили: опять «еврейская тема». Но обо всем остальном могли соотечественники догадаться по контексту.

С февраля 1917 года, как известно, более не существовал режим самодержавия. Временное правительство удержалось до октября, затем – власть советская. А на Украине ситуация гораздо чаще менялась. Изменения же почти всегда сопровождались еврейскими погромами.

В Киеве императорских чиновников с марта 1917 года сменили комиссары Временного правительства. Затем управляли администраторы Украинской Центральной Рады, декларировавшей создание Украинской Народной Республики. Она была признана европейскими правительствами, а восстание, инспирированное просоветскими организациями, подавлено. Вскоре город заняли советские войска, их вытеснили германские и австрийские. После чего Советская Россия, заключившая Брестский мир с недавними противниками, признала независимость Украины. Двух месяцев не прошло, как новоявленную державу возглавил гетман П. П. Скоропадский, в прошлом генерал императорской свиты. Наспех сформированные войсковые части другой украинской администрации – Директории – оставили Киев. А в декабре 1918 года он опять взят войсками под командованием С. В. Петлюры. И вновь начались еврейские погромы – в неслыханных ранее масштабах.

Осведомленные соотечественники Бочарова понимали: Гроссман вряд ли остался в петлюровском Киеве, если не уехал оттуда раньше. Для еврейского подростка опасность была слишком велика.

В Бердичев, стало быть, вернулся не позднее января 1919 года. Однако еще не мог там приступить к занятиям в «единой трудовой школе».

Декрет о ее создании Всероссийский центральный исполнительный комитет принял 1 октября 1918 года. Реформа образования была радикальной. Ликвидировались все прежние средние учебные заведения, а в новых отменялось деление на мужские и женские. Обязательным считалось получение школьниками элементарных профессиональных навыков – по различным специальностям. «Единая трудовая школа» стала двуступенчатой. Первая, она же начальная ступень – пятилетний курс для детей от восьми до тринадцати лет. Вторая

соответственно четырехлетний. Там надлежало учиться подросткам от четырнадцати до семнадцати лет[43].

Провести такую реформу за три месяца было невозможно даже на территориях, постоянно контролировавшихся советским правительством, а Бердичев переходил из рук в руки до октября 1919 года. Да еще и с апреля по июнь 1920 года занят польскими войсками. Значит, у Гроссмана немного оставалось времени на обучение в ЕТШ. Бочаров же далее указал: «В 1921 году он поступил в Киевский институт народного образования, откуда два года спустя перевелся на химическое отделение физмата 1 Московского государственного университета».

Как известно, в столице тогда было два университета. Первый именовался раньше «императорским», второй был организован в 1918 году на основе Московских высших женских курсов и одиннадцать лет спустя разделен на три самостоятельных учреждения[44].

Упоминанием о «1 Московском государственном университете» акцентировано: «перевелся» будущий писатель в самое престижное высшее учебное заведение страны. Деталь эффектная. А в том, что двумя годами раньше стал, как тогда говорили, «вузовцем», нет вроде бы ничего примечательного. Хотя на самом деле – есть. Из всего сказанного Бочаровым следует, что Гроссман чуть ли не пятнадцатилетним успел и ЕТШ закончить, и в киевский институт поступить.

По контексту повествования не ясно, зачем понадобилось здесь маскировать необычную ситуацию эффектной деталью. А далее – опять загадка. Согласно Мунблиту, университет закончил Гроссман в 1929 году, что и Бочаров подтвердил. Значит, будущий писатель «вузовцем» оставался не менее восьми лет. А это почти вдвое дольше, чем тогда предусматривалось.

Какие-либо причины в книге Бочарова не указаны. Характеризуются только годы учения, причем весьма специфически. Например, отмечено, что семья Гроссмана «не обладала большим достатком, и юноше постоянно приходилось подрабатывать: учась в бердичевской школе, был репетитором, в Москве – воспитателем трудовой колонии для беспризорников, ездил с экспедицией в Среднюю Азию и опять-таки давал уроки».

Вновь эффектные детали маскируют логическую уловку. Пусть Гроссман был и репетитором, и воспитателем, и сотрудником научной экспедиции, все равно отсюда не следует, что никогда его семья «не обладала большим достатком».

Например, средств хватало, чтобы платить за обучение сына в реальном училище. А потом началась гражданская война, большинство населения бедствовало. Многие вообще голодали –

даже на Украине, ранее голода не знавшей. Ничего удивительного, если юноша искал заработок.

В 1921 году заканчивалась гражданская война, была декретирована так называемая новая экономическая политика, что подразумевало разрешение свободной торговли и т. п. А два года спустя, когда Гроссман в Москву «перевелся», там уже не голодали. И обучение государством субсидировалось: общежитие, стипендия. Хватало ее, правда, лишь «на пропитание». Значит, опять ничего удивительного, если «вузовец» изыскивал другие источники дохода.

Прагматика рассуждений о том, как «приходилось подрабатывать», ясна. Бочаров еще раз подчеркнул, что и родители будущего писателя «из трудовой интеллигенции», а не «эксплуататорских классов», и сам он трудился с юности. Таков своего рода биографический канон – для советских литераторов. Автор монографии вынужден был не слишком далеко от него отступать. По крайней мере, маскировать отступления.

Но риторическую установку он далее несколько дезавуировал. Словно бы мимоходом отмечено: «В бытность студентом Василий Семенович снимал вместе с товарищем еще по реальному училищу Леонидом Таратутой комнату в многолюдной квартире на Садово-Триумфальной».

Конечно, в общежитиях селили тесно, компанию выбирать не приходилось. И все-таки снимать комнату на Садово-Триумфальной улице – роскошь для «вузовцев». Даже если расходы пополам.

Финансовые возможности старых друзей различались. Вряд ли случайно Бочаров отметил: Таратута «был сыном старого революционера, директора фермы-совхоза в подмосковном Черкизове».

Совхозами или «советскими хозяйствами» именовали организованные на индустриальный манер сельские предприятия. Черкизовский директор – представитель местной административной элиты. Как тогда говорили, «ответственный работник».

Сын его, значит, мог рассчитывать на щедрую помощь, и долго ждать не приходилось – семья неподалеку. Инженерский же вынужден был сам оперативно изыскивать финансовые средства, однако не только «пропитания ради». Потребности росли – не хотел в общежитие вселяться. Это, надо полагать, Бочаров и подразумевал.

Уместно еще раз подчеркнуть: на исходе 1980-х годов Бочаров работал в условиях цензуры, потому некоторые проблемы лишь обозначал. На что и указывало название главы –

«Пунктир биографии».

Семья и школа

Попыткам достоверно описать детство и юность Гроссмана препятствовала не только цензура. Аутентичные документальные свидетельства пока не обнаружены.

Однако в книге Гаррардов есть разгадки многих загадок. Прежде всего – относящихся к происхождению Гроссмана. Исследователи опирались главным образом на свидетельства дочери и ею предоставленные материалы семейного архива[45].

По словам Коротковой-Гроссман, родители отца – из довольно богатых купеческих семей. Оба учились за границей.

Разумеется, выбор иностранных учебных заведений обусловлен не только доходами обеих семей. На родине отцу Гроссмана «процентная норма» препятствовала. А матери доступ в университет был вообще закрыт: для женщин даже не «иудейского вероисповедания» предусматривались лишь различные курсы.

Кстати, получить высшее образование за границей – в Германии, Швейцарии, Франции – было немногим дороже, чем на родине. Если, конечно, не выбирать элитарные учебные заведения. Но дети богатых купцов могли себе и это позволить.

Мунблит знал или догадывался, что вопрос о «социальном происхождении» отнюдь не прост, вот его и «обошел молчанием» в энциклопедической статье. Бочаров же нужными сведениями располагал, только начинать с них биографию автора романа, недавно считавшегося антисоветским, не стоило – в конце 1980-х годов. Предсказуемы были интерпретации «классовой чуждости» Гроссмана как причины негативного отношения к советскому режиму.

Американские литературоведы, понятно, не обращали внимания на подобного рода факторы. В их книге акцентируется: «Гроссман, соответственно, происходил из тонкой прослойки евреев, которые составляли меньшинство в меньшинстве. Большинство евреев в Российской империи было бедным и религиозным. Родители же Гроссмана таковыми не были. Их искушенный секуляризованный взгляд на мир изолировал и на самом деле отчуждал их от конфессиональной и этнической идентичности, упорно навешиваемой на них, подобно ярлыку, русскими царями и православной церковью»[46].

Гаррарды сделали этот вывод, основываясь главным образом на мемуарных свидетельствах. Но стоит отметить, что в Российской империи «секуляризованный взгляд на мир» еще не «отчуждал» еврея от «конфессиональной и этнической

идентичности». О них напоминали и черта оседлости, и процентная норма, и погромы, и откровенно антисемитские публикации в периодике, и многое другое. Впрочем, это вопрос личного восприятия. Далее же исследователями сказано, что отец Гроссмана «происходил из рода бессарабских купцов».

Родился он, согласно Гаррардам, в 1870 году. Его жена – годом позже. Семья отца в Бердичеве «вела обширную торговлю зерном». Предки же по материнской линии, носившие фамилию Витис, переехали из Литвы в Одессу несколькими поколениями ранее.

Гаррарды, ссылаясь на мемуарные свидетельства, акцентируют постоянно, что семья была секуляризованной. Так, родители «не интересовались ни иудаизмом, ни какой бы то ни было другой религией. Они говорили и читали по-русски – не на идиш».

Вполне допустимо, что иудаизмом «не интересовались» родители Гроссмана и в семейном обиходе идиш был заменен языком русской культуры. Однако в условиях Российской империи не могли они порвать все связи с еврейской общиной. Хотя бы потому, что браки «лиц иудейского вероисповедания», а также рождение детей оформлялись исключительно церковно.

Кстати, отец писателя, каким бы ни был секуляризованным, не мог не знать и древнееврейский. Традицией предписывалось, чтобы мужчина умел читать Тору, за этим община следила, причем неимущим выделяла средства на обучение сыновей – с пяти-шести лет. Большинство посещало занятия в начальной еврейской религиозной школе – хедере. К детям из богатых семей преподаватель на дом приходил. Но учиться полагалось всем.

Принудительное религиозное образование нередко обусловливало результаты, обратные планировавшимся. Вот и Гаррарды, основываясь на свидетельствах дочери писателя, сообщают, что отец его примкнул к созданной в 1898 году Российской социал-демократической рабочей партии.

Объединившая российских последователей К. Маркса и Ф. Энгельса, она, понятно, создавалась и существовала в качестве антиправительственной организации. Соответственно, была нелегальной. Впрочем, как все партии тогда. Участие в ее деятельности могло бы, как минимум, стоить нескольких лет тюремного заключения или ссылки, но преуспевающего инженера это не остановило.

Довольно подробно о родителях Гроссмана рассказывала дочь писателя. И не только Гаррардам.

Наиболее последовательно сведения о семье изложены в ее интервью московскому еврейскому журналу «Лехаим». Оно было

опубликовано в майском номере номере 2008 года под заголовком «Е. В. Короткова-Гроссман: “Из противостояния с системой мой отец вышел победителем”»[47].

По словам Коротковой-Гроссман, отец писателя стал социал-демократом еще в 1902 году. В 1903 году, когда партия разделилась на две фракции, примкнул к так называемым меньшевикам, хотя и сохранил дружеские отношения со многими большевиками. А с 1906 года вовсе от политической деятельности отошел.

В интервью дочь писателя указала также, что родители отца познакомились в Италии. Это была необычная история: «Семен Осипович увел жену от мужа. Бабушка первым браком была замужем за итальянским евреем».

При каких обстоятельствах и когда дочь российского купца познакомилась с «итальянским евреем» – не уточнено. Возможно, семейные предания не сохранили такие подробности.

Неизвестно также, когда и при каких обстоятельствах познакомились родители Гроссмана. Отец мог и работать за границей, и путешествовать, и отправиться туда, выполняя задание партии. В любом случае знакомство состоялось и «увод», по словам дочери писателя, оказался необходимостью: «Первый муж моей бабушки был ужасно ревнив, и ей пришлось буквально бежать от него».

История романтическая. Соответственно, журналистом был задан вопрос: «Брак родителей Василия Гроссмана был заключен под хупой?»

Речь шла о еврейском свадебном ритуале, обязательном при заключении конфессионального брака. Как известно, хупа – навес, укрепленный на четырех столбах, это символ дома, куда жених вводит невесту. И Короткова-Гроссман ответила, что в семье матери писателя «старинные обряды давно уже не соблюдались».

Аналогичные сведения получили и Гаррарды в начале 1990-х годов. Соответственно исследователями отмечено: «По сути, мы не можем сказать уверенно, что родители Гроссмана вообще были женаты. Тогда молодые люди, особенно те, кто учился за границей и участвовал в либеральных или радикальных движениях, зачастую принимали решение игнорировать такие “буржуазные” ритуалы, как брак».

Отметим, что это – лишь интерпретация сказанного дочерью писателя. Непосредственно Короткова-Гроссман такое не говорила.

К началу XX века игнорировать «“буржуазные” ритуалы» вряд ли удалось бы родителям Гроссмана даже и в европейских

странах. Препятствовало бы социальное положение. Новый брак полагалось регистрировать – хотя бы светский.

В России же только конфессиональные браки регистрировались. И если бы родители игнорировали условности, то сын бы незаконнорожденным считался. Что подразумевало дополнительные ограничения в правах. У Гроссмана такого рода препятствий не было.

Значит, вернувшись в Российскую империю, родители получили – через синагогу и никак иначе – официальные документы, подтверждавшие заключение брака. Основанием могло стать и выданное за границей документальное свидетельство. Аналогично о рождении сына была внесена запись в метрическую книгу. Таковы правила.

Кстати, в интервью дочь писателя не выражала сомнений относительно заключения официального брака. Иное дело – еврейский ритуал: «Поколение моих дедушек и бабушек придерживалось атеистических взглядов, как многие интеллигенты той поры. Получив европейское образование, молодые люди отходили от старых обычаев, общаясь друг с другом, разговаривали уже не на идише, принимали вторые русские имена».

С учетом реалий эпохи, понятно, что «вторые русские имена» использовались на обиходном уровне. В официальных документах могли быть только еврейские – у «лиц иудейского вероисповедания».

Принято считать, что еще с досоветской поры отец Гроссмана именовался по документам Соломоном Иосифовичем, а в обиходе его называли Семеном Осиповичем. Но это лишь этапы приближения к русской традиции. В российской метрической книге должен был значиться как Шлойме, сын Йосефа.

Сыну, по традиции, дал имя своего умершего отца. Возможно, оно сразу было несколько русифицировано – такое к началу XX века уже случалось. В результате Йосеф стал Иосифом. К сожалению, проверить это нельзя: соответствующие материалы бердичевского архива не сохранились.

Мать Гроссмана – Екатерина Савельевна. Но это по советским документам. Еврейское имя указала дочь писателя в интервью журналу «Лехаим» – Малка. Отец же ее, скорее всего, в метрической книге значился как Зайвель[48].

Трудно судить, почему Малка назвала себя Екатериной. Созвучие тут не прослеживается. Разве что подразумевалось значение еврейского имени: «царица». Согласно интервью в журнале «Лехаим», ее сестры тоже носили имена российских императриц – Анна, Елизавета, Мария.

Если верить семейным преданиям, домашнее имя будущего писателя – Вася. Уменьшительное от Василий. Так, по одной из версий, называла его сестра матери. Возможно, что по созвучию с уменьшительным от Иосифа – Ося.

Зато в любом случае понятна хотя бы одна из причин, обусловившая выбор литературного псевдонима. Есть и документальное подтверждение. Как отмечено Гаррардами, сестра матери, которую в семье Гроссмана называли «тетя Анюта», подарила еще до Первой мировой войны племяннику фотографию, на которой были изображены они вдвоем. Дарственную надпись, сделанную на оборотной стороне, адресовала «бесенку Васеньке»[49].

Кстати, модифицирование имен – сообразно господствующей культурной традиции – явление достаточно распространенное. Так поступали не только евреи, да и не только в Российской империи.

Ну а в Российской империи отторжению еврейских традиций способствовали и бытовой антисемитизм, и государственный, что многими интеллектуалами рефлектировалось. Например, в романе Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго» приведены размышления одного из героев – подростка: «С тех пор как он себя помнил, он не переставал удивляться, как что при одинаковости рук и ног и общности языка и привычек можно быть не тем, что все, и притом чем-то таким, что нравится немногим и чего не любят? Он не мог понять положения, при котором, если ты хуже других, ты не можешь приложить усилий, чтобы исправиться и стать лучше. Что значит быть евреем? Для чего это существует? Чем вознаграждается или оправдывается этот безоружный вызов, ничего не приносящий, кроме горя?»[50].

Пастернак описал, в частности, ситуацию, определявшую – вне дома – быт носителя традиционного еврейского имени. «Безоружный вызов». Русификация – вариант своего рода социальной мимикрии. Однако стоит подчеркнуть, что родители Гроссмана не отреклись от «веры предков». Не отрекался и он.

Семья же фактически распалась вскоре после рождения Гроссмана. В интервью дочь писателя отметила: «Ни у бабушки, ни у деда больше не было детей. Не знаю, как долго Семен Осипович оставался в семье, кажется, он довольно быстро уехал, а бабушка с небольшими отлучками всю жизнь провела в Бердичеве. Трудно сказать, сколько длился их брак, потому что после разрыва у них сохранились дружеские, очень доверительные отношения. Шла непрерывная переписка, по тону ее трудно определить, писалось это мужу или бывшему мужу».

Сказано также о причинах, обусловивших распад семьи. По

мнению дочери писателя, Гроссман-старший «вел кочевую жизнь: как горный инженер работал в Донбассе, как революционер организовывал и вел марксистские кружки, кроме того, был влюбчив. А бабушка с молодости сильно болела, часто ездила в Одессу, где лечилась в водолечебнице. Сопровождать деда она не могла, в тихом Бердичеве у родителей ей было лучше, чем в Донбассе среди угольной пыли… Но они всю жизнь, вплоть до гибели Екатерины Савельевны в 1941 году, переписывались, и нет даты, фиксирующей их разрыв».

Летом 1941 года Бердичев был захвачен войсками нацистской Германии, все еврейское население загнано в гетто и к осени уничтожено. Отец Гроссмана умер семнадцать лет спустя. Погибшей матери посвящен роман «Жизнь и судьба».

Еще пятилетним Гроссман, согласно Гаррардам, был увезен матерью за границу, там и учился. Бочаров о том не упомянул, хотя вряд ли не получил сведения от дочери писателя. Причины в данном случае угадываются. Биографическому канону такие подробности опять противоречили: не по доходам обычному инженеру длительный вояж сына и жены.

Уместно предположить, что вояж понадобился не только для лечения. Отъезд избавил Гроссмана от хедера. Такое в Бердичеве практически исключалось: пренебрежение религиозной традицией было бы воспринято как прямой вызов местной еврейской общине. В любом же европейском городе – вопрос личного выбора, не более.

Дочь писателя о вояже рассказала и в интервью журналу «Лехаим». Отвечая на вопрос о длительности бердичевского этапа отцовской биографии, отметила, что в родном городе «жил недолго. В пятилетнем возрасте Екатерина Савельевна повезла его за границу, какое-то время пробыли во Франции, а потом два года он учился в швейцарском лицее. В самом начале первой мировой войны отец поступил в приготовительный класс Киевского реального училища».

Перевод в нейтральную Швейцарию финансовых средств из воюющих стран был все же затруднен, почему и пришлось вернуться домой. Однако лицей в жизни Гроссмана сыграл важную роль. Не только благодаря педагогическому дарованию матери он «читал французских авторов в подлиннике» и «декламировал наизусть». А еще – получил начальные знания в области латыни и древнегреческого. И немецкий за границей же начал осваивать: в Швейцарии это один из государственных языков.

Правда, для поступления в реальное училище требовалось выдержать экзамен по русскому языку – диктант. Здесь недавний

лицеист от российских сверстников-конкурентов отставал. Соответственно, был выбран именно приготовительный класс. Далее подразумевался общий шестилетний курс. Гроссман освоить его не успел – в силу причин, указанных выше.

Похоже, что три с половиной года мать Гроссмана снимала для сына и себя квартиру в Киеве. Вместе они, по словам дочери, в родной город вернулись. А там будущий писатель в гимназии учился.

Как минимум, поступил сразу в третий класс. Для этого требовались некоторые познания в области древних языков, но их бывший лицеист получил раньше. В Бердичеве же не только учился, еще и, по словам дочери, «время настало голодное – подрабатывал пильщиком дров».

Профессия тогда распространенная. Уголь и на Украине использовался редко, отопление дровяное. В каждом жилом доме – печь, а то и несколько, на заводах их множество, так что дрова нужны всюду и всегда. Заготовкой, транспортировкой и торговлей занимались артели, сформированные крестьянами либо горожанами. Разделение труда стабильное: одни, так называемые рубщики, валили окрестные леса и подводами в города доставляли бревна, там их другие, соответственно, пильщики, вручную – попарно – распиливали на поленья, которые затем продавали. Труд весьма тяжелый, зато востребованный. О репетиторских же доходах Гроссмана в Бердичеве, упомянутых Бочаровым, дочь не сообщила.

Но как бы ни зарабатывал Гроссман в голодное время, понятно, что бердичевскую гимназию он закончить не успел. И ЕТШ – вряд ли.

А потому несколько вопросов правомерны. Был ли, во-первых, у Гроссмана официальный документ, подтверждавший завершение курса ЕТШ? Во-вторых, как, вопреки ограничениям для «классово чуждых», сын «инженера-химика», купца по сословию, ухитрился стать «вузовцем»? А в-третьих, благодаря чему сумел это сделать в неполные шестнадцать лет? Такое случалось отнюдь не часто. В-четвертых, почему он «перевелся» из Киевского высшего института народного образования на физмат 1-го МГУ? Наконец, из-за чего общий срок обучения намного превысил официально предусмотренный?

Искусство обиняков и недомолвок

В принципе, ЕТШ закончить Гроссман сумел бы экстерном. Знаний у бывшего «реалиста» и гимназиста хватало, усидчивости тоже. Но преодолеть законодательно установленные ограничения для «классово чуждых» – задача гораздо более сложная.

Алгоритм ее решения можно установить по архивным материалам. Гроссман состоял в Союзе советских писателей, соответственно, его так называемое личное дело формировалось сотрудниками этой организации[51].

Весьма интересна, к примеру, автобиография, датированная 9 мая 1952 года. Документ этот не раз публиковался исследователями, но критически осмыслен не был[52].

Как водится, Гроссман сначала указал место и дату рождения. Далее, разуж автобиография с досоветской эпохой соотнесена, полагалось бы привести **точные** сведения о «социальном происхождении». Но они весьма невнятны: «Отец мой, Семен Осипович Гроссман, по профессии инженер-химик, – в настоящее время живет в Москве, пенсионер. Мать моя, Екатерина Савельевна Гроссман, преподавательница французского языка. Она погибла во время войны, в сентябре 1941 г.».

Тут можно лишь догадываться о «социальном происхождении». Ситуация уже знакомая – по работам Бочарова. От прямого ответа Гроссман уклонился, и весьма умело. Если бы проверили, к примеру, в Министерстве государственной безопасности, выяснилось бы, что отец действительно «инженер-химик». И мать «преподавала иностранные языки», по крайней мере, в советскую эпоху. Только про сословную принадлежность сын умолчал. Не сообщил, что «из купцов».

Конечно, риск. Зато без проверки можно так понять сказанное в автобиографии, что родители – «из мещан». Как большинство еврейского населения Бердичева.

Сведения подобного рода Гроссман и приводил в официальных документах. Это подтверждается, в частности, материалами личного дела СП. Например, таким документом, как «Личная карточка члена Союза Советских Писателей СССР»[53].

Кстати, название организации, где состоял Гроссман, вовсе не тавтологично: ССП СССР подчинялись такие же объединения в каждой республике.

Пресловутая «личная карточка» – форма анкеты. Цитируемая тоже заполнена 9 мая 1952 года, и в графе «социальное происхождение» Гроссманом указано – «из мещан».

Да, в 1952 году уже не сыграли бы сколько-нибудь важной роли сведения о «классово чуждом» происхождении известного писателя. Не этого он и боялся. Тут возможна лишь одна причина: если ранее Гроссман в официальных документах неверно описывал сословную принадлежность родителей, так очередная автобиография не должна была от предшествующих отличаться. Значит, всегда скрывал, что тоже материалами личного дела подтверждается.

Далее в автобиографии – про образование. Гроссман указал: «Когда мне было 5 лет, я вместе с матерью поехал в Женеву (Швейцарию), прожил там до семилетнего возраста, учился в начальной школе».

Зачем Гроссман «поехал с матерью в Женеву» – не сообщается. И можно так истолковать, что для лечения, как многие другие российские подданные. В досоветскую эпоху на это вполне хватало жалованья «инженера-химика».

Пребывание за границей считалось, как известно, нежелательным – для советских граждан. Если в 1952 году известный писатель счел нужным сообщить о вояже, значит, ранее тоже умолчать не мог. Действительно, скрыть было бы трудно: Бердичев – небольшой город, семья инженера, да еще и богатого купеческого сына, у многих на виду.

Не случайно упомянута и «начальная школа». Там платить не нужно было – в Швейцарии. А вот лицейское образование стоило недешево. Если и жену содержать, так инженерского жалованья могло бы не хватить. Гроссман явно избегал дополнительных вопросов о семейных доходах. Потому и умолчал, что за границей жил не два года, а пять лет.

Однако проверить это не было тогда возможности. Да и в случае проверки сказанное про «начальную школу» трудно было бы истолковать как сознательную ложь. Гроссман и правда лишь в начальных лицейских классах учился. Уместно было бы лишь неточными считать предоставленные им сведения.

Далее же он сообщил о поступлении в Киевское реальное училище. Именно в приготовительный класс. Сведения точны. После чего – опять недомолвки. Согласно автобиографии, «в годы гражданской войны уехал с матерью в г. Бердичев, где учился и работал пильщиком дров».

Когда именно уехал из Киева – не сказано. По автобиографии нельзя установить, сколько классов реального училища окончил. Это можно считать и неумышленным умолчанием. А вот про бердичевскую гимназию, похоже, сознательно не сообщил. Конечно, в 1952 году подобного рода сведения уже не имели значения. Зато тремя десятилетиями ранее сотрудники

Государственного Политического Управления, заменившего тогда печально знаменитую Всероссийскую Чрезвычайную Комиссию, могли бы поинтересоваться, где и каким образом бывший «реалист» сумел получить необходимые гимназисту третьего класса знания латыни и древнегреческого. На самом деле – в лицее. Только сообщать об этом не стоило.

Наиболее важно здесь упоминание об источнике доходов Гроссмана в Бердичеве. Оно, разумеется, в автобиографию перешло из других аналогичных документов. Из тех, что заполнял еще в начале 1920-х годов. А зачем он сообщал тогда о рабочем прошлом – ясно из далее сказанного: «В 1921 году я поступил на подготовительный курс Киевского высшего института народного образования, где и проучился до 1923 г.».

Отсюда вроде бы следует, что на «подготовительном курсе» учился два года, а не один. И не объяснено почему. Но современники, знакомые с реальным контекстом, угадывали причину.

Учреждение, именуемое «подготовительным курсом», известно к началу 1920-х годов еще и как «Рабочий факультет». Сокращенно – рабфак.

К поступлению на первый курс вуза там готовили. Функции этого учреждения определены принятым 9 сентября 1919 года постановлением Народного комиссариата просвещения РСФСР «Об организации рабочих факультетов при университетах»[54].

Речь шла о пресловутом «классовом подходе» к образованию. Документ гласил: «В целях предоставления рабочим и крестьянам возможности фактически и широко использовать свое право поступления в высшие учебные заведения и принимая во внимание, что препятствием к такому использованию служит недостаточная подготовленность пролетарских масс к занятиям в стенах высшей школы, особенно по предметам точного знания (математике, физике, химии и др.), коллегия отдела высшей школы постановляет открыть при университетах Республики подготовительные курсы как автономные учебно-вспомогательные учреждения, имеющие целью подготовку в кратчайший срок рабочих и крестьян в высшую школу, присвоив им название “Рабочих факультетов”».

Учреждения подобного рода существовали и ранее, например при 1-м Московском государственном университете. Наркомпрос лишь заново регламентировал их деятельность, а заодно постановил создать аналогичные при каждом вузе. Документ гласил: «На курсы принимаются рабочие и крестьяне, представившие от фабричного комитета или коммунистической ячейки удостоверение в том, что принадлежат к классу рабочих

или крестьян, не эксплуатируют чужого труда и что стоят на платформе Советской власти».

Срок подготовки на рабфаке устанавливался в зависимости от исходного уровня образования каждого из поступивших – до трех, а то и четырех лет. Его засчитывали в так называемый общий трудовой стаж. Рабфаковцы тоже получали государственную стипендию, им предоставлялись места в общежитиях. Закончившие, т. е. выпускные экзамены выдержавшие, зачислялись на вузовский первый курс вне конкурса.

Весьма существенные уточнения организационного характера были внесены Советом Народных Комиссаров РСФСР. 17 сентября 1920 года принят декрет «О рабочих факультетах»[55].

К биографии Гроссмана эти уточнения относились непосредственно. Декрет гласил: «На рабочие факультеты принимаются рабочие и крестьяне от 16-ти лет, делегированные производственными союзами, фабрично-заводскими комитетами, партийными отделами работы в деревне, волостными, уездными и губернскими исполнительными комитетами, а также поступающие добровольно при условии представления рекомендации от народных комиссариатов или их местных органов или от какой-либо из указанных выше организаций».

Гроссману особенно важно было снижение возрастного ценза для рабфаковцев – до шестнадцати лет. И, разумеется, право на рабфак поступить как делегату от «производственного союза». Так в 1920 году называли и профессиональное объединение всех сотрудников какого-либо предприятия, независимо от занимаемой должности, равным образом, работавших в артелях. Применительно к бердичевской ситуации – «лесозаготовительных».

С лета 1920 года Бердичев уже на бесспорно советской территории находился, и «лесозаготовительными» артелями, как везде, руководил Отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета городского Совета. «Пильщик дров» – рабочая профессия. А рабочий с «трудовым стажем» не менее года получал тогда право на «подготовительный курс» поступать в любом вузе. Разумеется, предоставив администрации справку, оформленную соответствующим образом.

У Гроссмана она была. Иначе бы не поступил на рабфак.

Как получил – трудно судить. Возможно, сыграли роль давние партийные знакомства отца. Однако даже и детей старых знакомых функционеры не делегировали на рабфак без всяких оснований. Слишком опасно было – при элементарной проверке. Так что инженерский сын пилил дрова год, не меньше.

Да, по «социальному происхождению» он был «из купцов». В крайнем случае, отцовский статус могли бы характеризовать мягче: «служащий».

Только суть не менялась – на уровне ограничений, законодательно предусмотренных для «классово чуждых». А вот «социальное положение» сына вовсе иным стало. Он – *рабочий*. Справку получил, удостоверявшую, что в течение установленного срока физическим трудом зарабатывал. Да еще и коллективным. Что считалось главным – согласно декрету СНК. И Гроссман о работе «пильщиком дров» постольку упоминал в дальнейшем, поскольку это объясняло, почему оказался рабфаковцем.

Стоит подчеркнуть, что Гроссман весьма удачно выбрал и время, и место поступления. Вряд ли это случайностью можно считать. Киевский университет, некогда называвшийся императорским, в 1920 году расформирован, а на его базе создан Высший институт народного образования. Исключительно педагогическое учебное заведение, которому надлежало готовить специалистов для работы в ЕТШ. Более года уцелевшие прежние администраторы – вместе и в конфликтах с новыми – срочно комплектовали штаты преподавателей, распределяли учащихся по курсам, готовили учебные планы и программы соответствующих дисциплин, согласовывали расписания занятий. Ко всему прочему, следовало как можно скорее «доложить по начальству», что организован и рабфак. Однако «рабочих и крестьян», желавших поступить туда, нашлось поначалу немного. Потому администрации некогда и незачем было со всей тщательностью проверять документы бердичевского «пильщика дров».

Кстати, у будущих рабфаковцев администрация не требовала официальный документ, подтверждавший, что ими получено среднее образование. Рабфаки и создавались, чтобы помочь восполнить дефицит знаний. Потому неважно, закончил Гроссман ЕТШ экстерном или так и не доучился там. Школьное свидетельство ему не понадобилось.

Отметим также: если Гроссману к моменту поступления на рабфак не исполнилось шестнадцать лет, это не имело значения – в киевской ситуации 1921 года. Двумя-тремя месяцами, отделявшими претендентов от предусмотренного декретом СНК возраста, нередко пренебрегали. Безукоризненно соблюдался лишь один критерий приема. Социальный.

Таким образом, Гроссман выбрал Киевский высший институт народного образования не потому, что изначально собрался посвятить себя педагогической деятельности. Сын инженера ли, купца ли не мог бы сразу поступить в самый престижный вуз

страны. Вот и нашел обходной путь – через рабфак.

Два года спустя «перевелся» в столичный вуз. На первый курс, как было положено закончившему рабфак. И получилось, что общий срок обучения значительно увеличился – с учетом рабфаковских лет. Но если бы кто захотел выяснить, законно ли инженерский сын получил льготы, гарантированные «рабочим и крестьянам», нашлось бы документальное подтверждение.

В начале 1940-х годов рабфаки повсеместно упразднены. Спустя еще дюжину лет, можно сказать, полузабытая реалия. Этим и воспользовался Гроссман.

Он вообще не употреблял в автобиографии термин «рабфак». Иначе пришлось бы прямо сказать, что сын инженера, прежде чем стать «вузовцем», обрел новый статус – *рабочий*. Тут потребовались бы объяснения, ведь чем больше подробностей, тем и вопросов больше.

В анкетах и автобиографиях Гроссман еще с 1920-х годов заменял нежелательный термин синонимичным, кстати, употребительным среди интеллектуалов: не «рабфак», но «подготовительный курс». Помнившие реалии ассоциировали этот синоним с характеристикой бердичевской юности – «был пильщиком дров» – тогда понятно, что стал рабочим, вот и воспользовался льготой, соответственно, учился еще два года до поступления в 1-й МГУ. Ну а прочие вовсе не обращали внимание на такие мелочи. Конечно, могли и присмотреться, если бы заподозрили что-нибудь незаконное. Значит, не подозревали.

Бочаров, разумеется, заметил, какой алгоритм выбрал Гроссман. Однако не анализировал. Возможно, чтобы не слишком далеко от биографического канона отступать. Или просто из деликатности не стал гроссмановские секреты раскрывать, объясняя, почему инженерский сын при составлении официальных документов неукоснительно придерживался главного принципа: не сказать бы лишнее о детстве и юности.

Мы не беремся судить, важны ли эти биографические подробности для осмысления «творческого развития», а также пресловутой мировоззренческой эволюции писателя. Существенно другое. В Российской империи Гроссман относился к дискриминируемой по конфессиональному признаку группе населения, а при советской власти его права вновь ограничили – «классово чуждый». Да, он ухитрился стать «вузовцем». И все равно о «социальном происхождении» умалчивал в документах. Значит, не был искренним.

Разумеется, Гроссман – не исключение. Такова специфика эпохи. Миллионы советских граждан не могли себе позволить искренность в отношениях с государством – когда речь шла о

досоветской биографии.

Эпистолярная специфика

В автобиографии Гроссман счел нужным объяснить, на какие средства жил, пока учился. Мизерной вузовской стипендии едва хватало на полуголодное существование. Дополнительные источники финансирования подразумевались, вот и указал, что «пользовался материальной поддержкой родителей и частично зарабатывал сам: работал воспитателем в коммуне беспризорных детей, давал уроки».

Гроссман не только предупредил вопрос. Еще и акцентировал, что в университетские годы по-прежнему стремился жить своим трудом. Это уже социальная характеристика. Кстати, всем, кто получал стипендии, полагалось справки о любой оплачиваемой работе сдавать в деканат факультета. Хранились подобного рода материалы в так называемом личном деле «вузовца». Формировалось оно с момента поступления и закрывалось после выпуска или отчисления по каким-либо причинам. В общем, «трудовая деятельность» Гроссмана была документирована.

Что до «материальной поддержки», то помогал главным образом отец. С ним сын постоянно вел переписку. Материалы ее в значительной мере сохранились. Но прежде, чем перейти к анализу этих материалов, следует характеризовать особенности источниковедческого характера. Они главным образом относятся к семейной истории Гроссмана.

Еще будучи «вузовцем», Гроссман женился. Первый брак вскоре распался, и Бочаров о том упомянул, а в подробности вдаваться не стал. Вероятно, из деликатности. Отметил только, что уже после университета произошел «разрыв с женой, уехавшей с маленькой дочкой Катей в Киев».

С необходимостью отсюда только и следует, что Гроссман был женат. Однако не уяснить, где он познакомился с будущей женой, почему они затем разошлись и сколько лет исполнилось «маленькой дочке», когда мать увезла ее в Киев. Опять же лишь догадаться можно, почему именно туда.

В книге Гаррардов семейная история анализируется обстоятельно. Рассказывала о том и дочь писателя в цитированном выше интервью. По ее словам, родители в Киеве и познакомились. Мать – Анна Петровна Мацук – тогда жила там постоянно, отец приехал учиться в 1921 году. Уже заканчивая университетский курс в Москве, очередной раз навестил старых друзей-киевлян, опять встретил повзрослевшую знакомую, тоже «вузовку». И вскоре женился.

Поселиться вместе «вузовцы» еще не могли. Гроссман жил в Москве, куда жена время от времени приезжала из Киева. В 1930 году родилась дочь. По ее воспоминаниям, брак распался в силу вполне обыденных причин – «молодые муж и жена обижались друг на друга из-за недостатка внимания».

Оба, значит, не виноваты. Так получилось. Развелись в 1933 году.

Вскоре бывшая жена Гроссмана опять замуж вышла. Дочь осталась у матери, с отцом виделась не часто, приезжала, главным образом, на каникулы – сначала школьные, затем вузовские. Разумеется, была и отцовская финансовая помощь.

Бочаров, в отличие от дочери писателя, обошелся минимумом сведений, необходимых для биографии Гроссмана. Что вполне объяснимо: эта семейная история весьма сложна, и анализировать ее вряд ли удалось бы, не задев самолюбие кого-либо из родственников или знакомых.

Отметим, что бывший донецкий инженер вновь женился три года спустя, когда переехал в Москву, и литературная карьера его стремительно развивалась. Но второй брак тоже распался, хотя и не так скоро. О чем и сообщила дочь писателя в интервью. Согласно ее мнению, вторая жена отца, при всех положительных чертах характера, «была властной и ревнивой. Да и характер вспыльчивый. Это делало ее несправедливой и жесткой в отношении с родней мужа. Все это накапливалось…».

По словам дочери, после войны отец ушел и от второй жены. Она несколько раз пыталась восстановить семью, но в итоге не сумела. Правда, официально не развелись. Да и разъезд не был оформлен: муж снимал комнату. Уже в 1950-е годы – с помощью руководства ССП – удалось Гроссману получить еще одну квартиру, так называемый кабинет, где и жил. Можно сказать, что в этот период его жена – Екатерина Васильевна Заболоцкая. Она тогда ушла от мужа, поэта Николая Алексеевича Заболоцкого.

Гаррарды утверждают, что ее стараниями и сохранена многолетняя переписка Гроссмана с родителями. Оба берегли письма, но из адресованных матери лишь те уцелели, что она, в свою очередь, бывшему мужу отослала. У отца же осталось гораздо больше, и после смерти адресата их получил от родственников сын. В 1963 году он передал эти документы Заболоцкой.

В свою очередь Заболоцкая передала документы в ЦГАЛИ СССР, ныне – Российский государственный архив литературы и искусства. Там они и хранятся.

К перечню сбереженных документов Заболоцкая в феврале 1991 года подготовила предисловие. Не касаясь истории своих

отношений с Гроссманом, она, прежде всего, отметила: «В 1963 году, подготавливаясь в Боткинской больнице на операцию по удалению почки, Василий Семенович передал мне пакет, завернутый в серую оберточную бумагу, перевязанную белым шнуром. Объяснил, что в пакете письма его мамы, Екатерины Савельевны, к его отцу, Семену Осиповичу. Просил хранить, а после его смерти уничтожить»[56].

Причина вроде бы ясна. Опасался, что умрет на операционном столе или вскоре, потому о документах и позаботился. Далее же Заболоцкая сообщила: «Прошли годы, как не стало Василия Семеновича. Мои годы тоже достаточно преклонны – пришло время выполнить обещанное. Но не легко поднять руку со спичкой, чтобы огонь уничтожил рукопись. За советом я обратилась к Семену Израилевичу Липкину. Он посоветовал, прежде, чем сжечь, прочитать письма и выписать из них строки, касающиеся литературной работы В. С. Гроссмана».

Вот тут ясности нет. Не исполнена последняя воля умершего, а причина не указана, словно дело обычное. И непонятно, какой именно срок подразумевает оборот «прошли годы». Аналогично не уяснить, почему Гроссман был так уверен, что ему переданы письма матери к отцу. Пусть и от родственников получил сведения, крайне мала вероятность, чтоб не взглянул сам.

Не более вероятно, чтобы и Заболоцкая не решилась за «годы» посмотреть на содержимое свертка. Если вообще не собиралась, то и хранить не имело смысла, уничтожила бы сразу.

Загадочен и совет Липкина. Допустим, «строки, касающиеся литературной работы» выписаны. Но мемуаристу либо исследователю ссылаться на выписки, объясняя, что намеренно уничтожены оригиналы, значит провоцировать сомнения в достоверности цитат.

Слишком много загадок. Но к их разгадкам уместно перейти позже. Заболоцкая же далее отметила, что вскрыла сверток и, «увидя знакомый почерк, была потрясена: это письма Василия Семеновича к Семену Осиповичу! Любовно собраны, без конвертов, все письма и незначительные записки. Сжечь их я не смогла».

Таким образом, по словам Заболоцкой, материалы семейного архива были сохранены. Далее она пояснила: «Оправдываюсь перед Василием Семеновичем тем, что обещала сжечь письма Екатерины Савельевны, а оказались письма его».

Аргумент опять не убедительный. Но, вне зависимости от всех несуразностей, бесспорна аутентичность писем. Это ценнейший источник.

Согласно предисловию, сотрудниками ЦГАЛИ СССР

изготовлены копии переданных документов – четыре комплекта. Для Заболоцкой, Коротковой-Гроссман, Липкина и Губера. Указано, что некоторые письма копировать не удалось, но желающие могут ознакомиться с оригиналами.

В действительности Заболоцкая передала ЦГАЛИ СССР не все письма Гроссмана. Некоторые себе оставила, сняла дополнительно копии, а позже предоставила комплект Гаррардам. В свою очередь они подарили копии библиотеке Гарвардского университета. Насколько полным можно считать это собрание – другой вопрос.

Стоит подчеркнуть: в ЦГАЛИ СССР доступ к письмам был надолго ограничен. Дело не в произволе администрации – таковы установленные на государственном уровне правила хранения. Сначала полагалось завершить научное описание новых поступлений, а проводилось оно согласно плану, и очередь доходила, как минимум, через год. Лишь после этого исследователи могли ознакомиться с документами в читальном зале.

Правда, возникли новые ограничения. С 1992 года эти уже прошедшие научное описание документы оказались недоступными для историков литературы. Материалы личной переписки Гроссмана десять лет не выдавали в читальный зал. Они считались «закрытыми» – таково было требование Губера. Он воспользовался правом, которое руководство архива обычно предоставляет наследникам.

Губер с 1988 года публиковал в периодике материалы гроссмановского семейного архива, включая и документы, сохраненные Заболоцкой. На этой основе подготовлена в 2007 году вышедшая книга «Память и письма. Книга о Василии Гроссмане»[57].

Эдиционные принципы Губер сам и определил. Так, в книге оговорено: «О жизни Василия Гроссмана в Москве во время его учебы в Университете многое можно узнать из его переписки с отцом Семеном Осиповичем. Давая многочисленные цитаты из этих писем (также из других писем к отцу вплоть до 1940 г.), я не буду указывать адресата письма, а только указывать дату его отправления. Никаких орфографических исправлений в текст писем я не вносил, письма писались быстро, на одном дыхании, не рассматривались их автором как будущее эпистолярное наследие».

Правда, не всё напечатанное можно признать аутентичным. Да и проверить было сложно, как отметили Гаррарды, которые познакомились с публикатором, когда готовили монографию: «В работе над этой книгой нам помогали всем, чем могли все друзья

и родственники Гроссмана, исключая лишь пасынка Гроссмана, Федора Губера, сына второй жены писателя».

Таково мнение исследователей. Гаррарды подчеркнули: уже в первую встречу, демонстрируя хранившиеся у него документы, «Губер настаивал, чтобы мы согласовывали с ним те части нашей работы, где мы бы использовали другие материалы, которые он еще мог бы нам демонстрировать. Он также наотрез отказался предоставить нам доступ ко всем гроссмановским материалам, у него хранящимся. Поэтому мы так и не смогли прочитать письма Гроссмана Ольге Михайловне и даже письма, отправленные Гроссману его матерью, Екатериной Савельевной. Нам не позволено было ознакомиться и с книгами из личной библиотеки Гроссмана, что находится в квартире Губера».

Согласно Гаррардам, они тогда отвергли условия тотального контроля. Решили не пользоваться губеровскими материалами. Как сказано в книге, принято решение «после длительного и тягостного раздумья».

Характеристика, сформулированная Гаррардами, весьма резка. Но, подчеркнем, таково их мнение: «Губер издал часть материалов, находящихся у него. Однако эти публикации обрывочны, главная цель – изобразить мать, Ольгу Михайловну, в качестве героини всей жизни Гроссмана. Факты же свидетельствуют, что ситуация была гораздо более сложна».

Далее – подведение итогов. Гаррарды отметили, что сожалеют, если приведенные ими сведения из писем, сохраненных Заболоцкой, а также «интервью с друзьями и родными Гроссмана огорчат Федора Губера».

Какие именно сведения – оговорено. Гаррарды подчеркнули: «В первую очередь, относящиеся к натянутым отношениям Гроссмана и Ольги Михайловны. Гроссман свои проблемы описывал с предельной откровенностью. Создавать ложный образ его жизни и его эпохи теперь, когда факты известны, было бы нечестно и непростительно. Особенно если учесть, как пострадал Гроссман от советской власти и своего окружения, неустанно стараясь показать правду».

Если эмоциональные личные характеристики оставить за рамками анализа, можно признать: легенда о Гроссмане, точнее, гроссмановской биографии, создана к началу 1990-х годов стараниями ряда мемуаристов, и Губера в том числе. Именно легенда – совокупность признаваемых общеизвестными сведений, чья достоверность, вопреки очевидным противоречиям, не подвергается сомнениям.

Эта легенда в целом завершена. Она тиражируется в работах некоторых литературоведов. И Гаррарды, восстанавливая истину,

вынуждены были и фиксировать противоречия, и объяснять причины их возникновения.

Вопрос о целях Губера – за рамками нашей работы. Публикации же его действительно «обрывочны».

Речь идет не о фрагментарности воспроизведения документов. Такой прием обычен. А вот зачем многократно нарушена хронологическая последовательность – не ясно. Равным образом не угадать критерий отбора самих фрагментов. Многие из них – с необозначенными купюрами. Публикатор словно бы и не заметил, что удалил слова или фразы. И остается лишь гадать, по какой причине он цитирует гроссмановские письма матери или второй отцовской жене – в качестве адресованных отцу.

Наконец, Губер не только цитировал с ошибками и сокращал без видимой причины. В ряде случаев еще и, скажем так, дополнял. К примеру, цитируя гроссмановскую автобиографию 1952 года, добавил туда несколько строк.

По указанным причинам мы не считаем аутентичными фрагменты, опубликованные Губером. Это относится, прежде всего, к материалам переписки Гроссмана со второй женой и ее сыновьями. Письма, конечно, позволили бы заполнить многие лакуны, однако доступа к оригиналам нет, а публикации не вызывают доверия. Сомнительно все – с авторства начиная.

Письма Гроссмана родственникам цитируются по материалам фонда, хранящегося в РГАЛИ. К этим документам сейчас есть доступ[58].

Орфография и пунктуация приведены к современным нормам. Разночтения, выявленные при сравнении материалов РГАЛИ с публикациями Губера, не оговариваются – кроме случаев, указанных в тексте.

На перепутье

Характерно, что большинство литературоведов, опубликовавших работы о Гроссмане, почти не уделило внимания университетскому периоду его жизни. Исключение – книга Гаррардов. Но в начале 1990-х годов еще не было возможности ввести в научный оборот некоторые из ныне доступных источников.

Отметим, что начало сохранившейся переписки – декабрь 1925 года. Мать Гроссмана жила по-прежнему в Бердичеве. Отец же работал в городе Сталине.

История этого топонима отражает специфику эпохи. До 1923 года официальное название города – Юзово. В просторечии, соответственно, Юзовка. Назван в честь основавшего там шахтерский поселок предпринимателя Джона Юза (Hughes). Затем появилось другое название – Троцк. В честь Л. Д. Троцкого, занимавшего пост народного комиссара по военным и морским делам СССР. Однако в 1924 году городской Совет утвердил очередное переименование – согласно фамилии генерального секретаря большевистской партии. На исходе 1920-х годов оно снова изменено. Уже не Сталин, а Сталино. Таким и оставалось до 1961 года. С тех пор – Донецк. Административный центр Донецкой области.

Гроссман-старший работал в учебной и научно-исследовательской организации – Сталинском институте рабочей медицины. Позже она была переименована в Донецкий областной институт гигиены и патологии труда.

Специализировался «инженер-химик» в области газоанализа. Это было особенно востребовано: где шахты, там и угольная пыль, ядовитые, а также взрывоопасные рудничные газы, их концентрацию нужно постоянно контролировать. Сына в Москве порою навещал, а летом 1925 года они вместе ездили в отпуск – на Черное море.

Почту в 1925 году доставляли отнюдь не бесперебойно. Так, сын 2 декабря сообщал: «Дорогой папа, получил сегодня твое второе письмо. Извини меня, действительно напрасно обвинял тебя в долгом молчании. Сам свинья. Меня очень огорчило твое здоровье».

Болезни отца были профессиональные, горняцкие. Один глаз поврежден еще в молодости, слух все хуже становился, что сына весьма беспокоило. Но помочь он не мог. О себе рассказывал: «Ты знаешь, теперь я доволен собой, работаю, много читаю (счастливая усталость после долгого безделья), и единственная

тяжесть – это мамино здоровье».

Мать часто болела. И, похоже, не сообщала бывшему мужу о болезнях. Сын же с отцом медицинские проблемы обсуждал: «По-моему, ей следовало бы съездить в Киев, она посоветуется с врачами и немного развлечется от ужасной бердичевской обстановки. Когда я приезжаю на пару недель, я чувствую, как давит этот паршивый город. А ей там жить годы, да еще и прикованной к кровати. Тяжело».

Что до упомянутого ранее «долгого безделья» московского «вузовца», неизвестно, чем оно обусловливалось. Вероятно, речь шла о пренебрежении любой деятельностью, кроме учебных занятий. А причина – депрессия, постоянное чувство одиночества.

Затем настроение отчасти изменилось, Гроссман с увлечением и успехом работал в химической лаборатории, но удачливым себя не считал: «Полного, стопроцентного удовлетворения я не чувствую. Во всяком случае, мне теперь несравненно лучше, чем когда ты меня видел в свой приезд. Вообще, мне кажется, быть вполне удовлетворенным и счастливым может только дурак. Следовательно, я не дурак».

Меж тем осенне-зимний семестр в университете заканчивался. О планах своих Гроссман сообщил: «На Рождество, видно, послушаюсь твоего совета, поеду в Бердичев дней на 10–14».

Как следует из ранее сказанного, Бердичев сам по себе вряд ли привлекал «вузовца». Но там жила мать, ждали и другие родственники.

В переписке Гроссман-младший обсуждал свои университетские проблемы, рассказывал о московских новостях. По его словам, жизнь в столице оказалась чрезмерно беспокойной. С получением диплома будущий химик планировал уехать из Москвы и работать вместе с отцом.

На летние каникулы Гроссман иногда приезжал в Сталин. Не только для отдыха, еще и для лабораторной практики в отцовском институте. Бывал также в Бердичеве – у матери и ее родственников. Там, правда, лишь отдыхал.

В Сталин добраться не каждый разудавалось. Так, 15 февраля 1927 года, отвечая на письмо отца, Гроссман сообщал: «Ты спрашиваешь, приеду ли на лето поработать к тебе? Ей-богу не знаю, как еще сложатся дела, может быть, у меня останется от занятий только месяца полтора, и мы вместе махнем куда-нибудь просто отдохнуть».

Московская командировка отца планировалась тогда весной. Гроссман ждал встречи, о себе же рассказывал: «Занимаюсь я теперь много, готовлю зачет по органической химии, это один из

самых крупных экзаменов, занимает, по крайней мере, месяца $1^1/_2$. Развлекаюсь умеренно, был сегодня в Большом театре на “Сказании о граде Китеже” и чуть не погиб от тоски. Не понимаю оперы совершенно».

Командировки Гроссмана-старшего на предприятия области были довольно частыми. 8 октября сын ему сообщал: «Дорогой батько, был очень рад получить твое письма из Сталина. Завидую тебе, что ты завален работой, что начинаешь работать в шахтах (ты себе, вероятно, не завидуешь). Если мне удастся к Рождеству выкроить 2–3 недели, обязательно приеду в Донбасс».

Одна из постоянных тем в письмах к отцу – «квартирный вопрос». Население Москвы стремительно увеличивалось за счет тысяч и тысяч приезжих, и «вузовцу», не желавшему остаться в общежитии, приходилось выбирать загородные варианты. Гроссман о них сообщил в том же письме: «У меня хороших новостей нет, продолжаю искать комнату…»

Была возможность и не искать комнату за городом. Старшая двоюродная сестра, Надежда Моисеевна Алмаз, дочь Елизаветы Савельевны, жившая в Москве, часто приглашала поселиться у нее, о чем сын и сообщил отцу в том же письме.

Личное дело Алмаз хранится в Российском государственном архиве социально-политической истории. Она, согласно анкете, была почти на восемь лет старше Гроссмана, родилась в Бердичеве, там же закончила коммерческое училище. Когда началась мировая война, стала сестрой милосердия, работала в различных госпиталях. Осенью 1916 года участвовала в деятельности социал-демократических организаций на Украине. Официальный большевистский стаж – с июля 1917 года. В гражданскую войну – на армейской партийной работе. Летом 1920 года переведена в Москву. Затем – ответственный секретарь редакционно-издательского отдела Всероссийского центрального совета профессиональных союзов. Работала также в редакции газеты «Профсоюзное движение»[59].

Она пыталась и продолжить образование, поступила во 2-й МГУ, но пришлось вернуться на партийно-профсоюзную работу. С июля 1925 года – референт и личный секретарь одного из руководителей Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных союзов – С. А. Лозовского.

Сообразно партийному статусу, получила достаточно просторную московскую квартиру, где она и муж жили с 1924 года. Там нашлось бы место и кузену, тем более что он был частым гостем. Однако Гроссман переехать отказывался.

Другая постоянная тема переписки с отцом – совершенствование профессиональных навыков. Гроссман

отметил: меняются его планы, связанные с университетской лабораторией, так как «в этом месяце не попаду в нее, вероятно, только в середине ноября или даже в декабре, меня это не очень беспокоит, работы хватит – буду прорабатывать технический анализ».

Впрочем, к октябрю 1927 году «вузовец» более не увлечен химией. О чем и сообщил тогда же: «Батько, я подумал о том, как незаметно во мне произошла большая ломка – ведь почти с 14 лет до 20 я был страстным поклонником точных наук и ничем решительно, кроме этих наук, не интересовался и свою дальнейшую жизнь мыслил только как научную работу. Теперь ведь у меня совершенно не то. Если быть совершенно откровенным, то на месте старых разрушенных “идеалов” я не воздвиг ничего определенного, во всяком случае, мои интересы перенеслись на вопросы социальные, и мне кажется, что в этой области я буду строить свою жизнь, работать на этом “подприще” (sic! *Ю. Б.-Ю., Д. Ф.*)».

Гроссман, понятно, знал, как пишется слово «поприще». В шутку использовал «народную этимологию», акцентируя, что профессия химика уже не увлекает.

Отсюда, правда, не следует, что успел выбрать другую, причем вполне конкретную профессию. Напротив, планировал использовать ранее выбранную, только уже на прикладном уровне, готовясь к переменам: «Химик из меня, безусловно, выйдет не блестящий; конечно, я свободно справлюсь с текущей работой на производстве, хватит и уменья, и знаний, но химик – двигатель науки, исследователь, это, мне кажется, не по мне».

10 октября он вновь сообщал о бытовых условиях. Точнее, возможности их улучшить: «Дорогой батько, пишу пару слов, так сказать, по делу. А дело вот в чем. Я нашел комнату за городом за 25 р[ублей] (с отоплением и всякой штукой), комната не ахти, но есть 4 стены, пол и потолок, семья тихая, так что можно будет заниматься без помехи, а это самое важное для меня».

Двадцать пять рублей для «вузовца» – сумма значительная. И похоже, собирался жить не один. Что и обозначил шутливым намеком, имитируя хорошо отцу известный – по литературным образцам рубежа XIX–XX веков – стиль писем купеческого сына, заискивающего перед «отцом-самодуром». Указал, что «необходимы некоторые расходы для организации постели и прочих элементов семейного уюта, посему слезно прошу Вас, папаша, не откажите мне в моей просьбе и вышлите 20 р. ассигнациями, как положение мое бедственное, и я безработный до мозга костей».

Квартиру пришлось еще менять не раз, а был ли «семейный

уют» создан в октябре 1927 года, и если да, то надолго ли – судить трудно. Сведений в письмах отцу нет.

Однако позже к самой теме «семейного уюта» Гроссман вернулся. Так, 22 января 1928 года сообщил: «Ну вот, батько, ты просил меня написать тебе по этому поводу, и написать, ну, о моих «киевских похождениях», как ты выражаешься, могу сообщить: если будет на то воля Аллаха, то, по-видимому, я женюсь, если не сейчас, то через год; нравится мне мой предмет очень (“влюблен” я стесняюсь писать), скучаю по нем смертельно, взаимностью полной я пользуюсь; кажется, эти условия на языке математиков “необходимы и достаточны” для женитьбы. Ну вот, пожалуй, и все об этом. Как-нибудь напишу подробней (если интересуешься), а теперь чего-то не хочется».

Речь шла об А. П. Мацук. Дома ее именовали на украинский манер, Ганной, а чаще Галей. Так она и названа в письмах будущего мужа.

Кстати, в публикациях Губера первая жена Гроссмана названа Галиной Петровной. Вероятно, публикатор решил, что Галя – уменьшительное имя, вот и указал то, которое считал полным.

К теме брака Гроссман возвращался редко. О деятельности же «социальной» упоминания часты. По мнению Гаррардов, влияние Алмаз оказалось тут едва ли не решающим фактором. Лозовский, ее непосредственный начальник, с 1921 года стал генеральным секретарем так называемого Профинтерна – Красного интернационала профессиональных союзов.

Как известно, эта международная организация, созданная летом 1921 года в Москве, объединяла иностранные профсоюзы, декларировавшие цели не только экономического, но и политического характера. Что с необходимость подразумевало сотрудничество с Коммунистическим интернационалом – так называемым Коминтерном.

Американские исследователи подчеркивают, что благодаря кузине Гроссман не только увлекся социальной проблематикой, но и планы на будущее строил иные, нежели раньше, до приезда в Москву.

Планы, а также возможные препятствия обсуждал с отцом. В том же письме 22 января 1928 года сказано: «Ты спрашиваешь, как я мыслю себе общественную работу. Господи Иисусе, всякая работа есть общественная, если объектом работы являются не только колбы и бюретки».

Так называемая общественная работа или общественная нагрузка была обязательным элементом жизни каждого «вузовца». Прежде всего, это выполнение различных поручений факультетской организации Всесоюзного ленинского

коммунистического союза молодежи – комсомола. Поручений главным образом агитационно-пропагандистского характера. От них уклониться не могли даже не ставшие комсомольцами. Гроссман, конечно, не пытался, что и подчеркнул в письме. Но отец на другое намекал.

Имелась в виду перспектива карьеры в комсомоле, хотя бы и на уровне низовом. Без этого доступ к «социальной» деятельности был фактически закрыт – в университете.

Гроссман, судя по официальным документам и письмам, комсомольцем не был. Среди рабфаковцев такое – редкость. Но и причина очевидна. Вступление в комсомол подразумевало дополнительную проверку биографических данных, и тогда могло бы выясниться, что о «социальном происхождении» в анкете «вузовца» сказано невнятно.

Отец и сын понимали друг друга с полунамека. И Гроссман-младший вновь отметил, что профессию до поры менять не намерен: «Ты говоришь о хлебе насущном, ведь я учусь “на химика” и буду работать как химик (вероятнее всего)».

Соответственно, университетское образование должно было обеспечить «хлеб насущный» – в период подготовки к деятельности «социальной». Это вновь акцентировалось: «Я только хочу сказать, что химия для меня не является целью главной и единственной».

Далее сын конкретизировал область новых интересов. Указано было, что всего более привлекают «два вида деятельности: политическая и литературная (их можно совместить)».

Речь шла о журналистике. Но там период «штурма и натиска», начавшийся в гражданскую войну, давно закончился, новая иерархия уже сформировалась, и Гроссман отметил: «Я прекрасно знаю, что явись я сейчас в ЦК ВКП [(б)] или в редакцию толстого журнала и предложи свои услуги, то мне предложат закрыть дверь за собой с наружной стороны».

Следовало другие пути искать. Почему и деятельность журналиста, подчеркнул Гроссман, только «перспектива, так сказать, цель, и думаю, что в своей повседневной работе мне постепенно удастся приблизиться и приобщиться к этой работе. Ведь все впереди, ты это сам говоришь. Из этого не следует, что надо сидеть, сложа руки, потому что не успею оглянуться, как все будет позади. Время – это самый коварный зверь; с ним шутить опасно. Рассуждаю я как змий мудро и рассудительно, но, откровенно говоря, в моем нынешнем “бедственном” положении на меня иногда нападает такая тоска и черное безразличие ко всему, что вешаться впору. Но ничего, надеюсь увидеть более

светлые, осмысленные дни».

Обсуждались и новости семейные. Гроссман сообщил: «Ты спрашиваешь о маме. Мама физически чувствует себя хорошо (сравнительно конечно), нога почти не бунтует, почки не дюже важно; душевное состояние у нее скверное – очень уж одиноко и тоскливо жить в Бердичеве; я тайком удивился ее мужеству – в такой неприглядной обстановке сохранить бодрость, живую душу, регулярно заниматься с учениками, массу читать, не опускаться и крепко удержать себя в руках – это очень, очень много. И так жить могут люди с большой внутренней жизнью, большой силой души».

Болел и отец. К советам врачей он весьма скептически относился, что сына тревожило: «Батько, а касательно того, что доктора тебе категорически запретили работать в шахтах, то, ей-богу, нельзя к этому подходить с наплевательской точки зрения. Нельзя значит нельзя. Либо передай эту работу помощнику, либо, если это никак невозможно, то вообще оставь эту работу. Ты пишешь, что у тебя “другого выхода нет”, но ведь спускаться в шахты, когда это смерти подобно, меньше всего похоже на выход. Тогда, по моему мнению, не надо откладывать на осень покинуть Сталин, а осуществить это сейчас. И еще, дорогой мой, я хочу сказать тебе, что если в твоем желании остаться в Сталине до осени хоть какую-либо роль играет мысль о том, что ты не сможешь, уехав, помогать мне, то я категорически против этого. Этого ни в коем случае не должно быть. Плавать я немного умею и безусловно не утону, а если малость хлебну соленой водички, то ничего кроме большой пользы из этого не извлеку. Чуешь, батько?»

Гроссман-старший мог бы сменить место работы, даже и в столицу переехать. Его ценили. Но жалованье донбасского горняка намного превосходило то, что предложили бы в Москве. Потому и не спешил он с переездом.

Судя по цитируемому письму, отец все же собирался в столицу съездить. Для начала – договориться о новой работе. Сын ждал его буквально через неделю-другую, предлагал в своей комнате поселиться.

Чем тогда завершились отцовские переговоры – неизвестно. Вскоре он в Сталин вернулся, и 30 марта сын отправил письмо, где спрашивал: «Что с шахтами, начали работать уже? Смотри же, не лазь в них без крайней нужды, пускай молодые “лазають” (sic! – *Ю. Б.-Ю., Д. Ф*). Напиши мне обязательно поскорей».

О своих новостях тоже рассказал. Стараниями Алмаз он был привлечен к деятельности Профинтерна, даже присутствовал в качестве технического сотрудника на 4-м профинтерновском

международном конгрессе, который начался 17 марта 1928 года.

Поручали «вузовцу» обработку документации. С этой задачей вполне справился, о чем и сообщил не безгордости: «Надина комната превратилась в настоящее советское учреждение. 2 машинистки трещали с утра до вечера, и я – как управ[ляющий]дел[ами] – важно диктовал им. Вчера, слава богу, закончили. Вышло почти 70 страниц».

Обработанную документацию Алмаз передала заказчикам из Коммунистической академии. Тогда это и вуз, и научно-исследовательское учреждение, объединявшее несколько институтов. По словам Гроссмана, «начальство сей труд одобрило. Будем денежки скоро считать. Возможно, что на днях будет еще одна работа».

Гроссман обозначил выбранный путь. Для начала – сотрудничество с изданиями Профинтерна, затем и литература. Описан и досуг: «Вчера пошел (по собственной инициативе) в театр – “Горе уму”».

Речь идет о нашумевшей тогда постановке комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» в театре В. Э. Мейерхольда. «Вузовец» не одобрил новации модного режиссера, о чем и сообщил, имплицитно ссылаясь на рассказ А. П. Чехова «Архиерей»: «Скажу, как отец-эконом говорил – не ндравится мне это, не ндравится»[60].

Цитата указывала, что мнение, возможно, обусловлено консервативностью. Однако и выражено было оно недвусмысленно: «К чему дурацкая символика и искусственные конструкции. – Не ндравится».

Согласно письму, Гроссман собирался и спектакли мейерхольдовских антагонистов посмотреть – в Московском художественном академическом театре. О новом увлечении отцу сообщил опять не без иронии: «Ведь я решил стать театралом».

Увлекшись театром и «социальными» задачами, «вузовец» пренебрегал учебными занятиями. О том отцу и сообщил, добавив, однако, что вновь приступил к учебе. Но более интересовали его летние планы: «Да, батько, мне предложили замечательнейшую вещь – на два месяца поехать в самые заброшенные углы Туркестана – почти на отрогах Памирских гор».

Туркестаном в ту пору традиционно именовали территории Узбекистана, Туркмении, Казахстана и Киргизии. Готовилась профинтерновская экспедиция социологического характера, и Гроссмана в ее состав могли включить – по ходатайству влиятельной кузины: «Если дело выгорит, я поеду, чего там, – ведь такой случай может наклюнуться разв 100 лет».

Заманчивым было не только путешествие. Главное, можно сказать, подступы к журналистике. Восточная тематика считалась тогда актуальной. Пропагандистская установка – «социалистическое преобразование Востока».

Журналистика, правда, была очень дальней перспективой. Гроссман все еще снимал комнату в подмосковном дачном поселке, до университета и обратно добираясь, тратил ежедневно по нескольку часов. О чем и рассказывал отцу: «А в Вешняках моих снег, сосны и тишина, в этом тоже большая прелесть, очень большая, и все ж таки очень утомительна эта езда взад и вперед. Ну, ладно, посмотрим».

У второй ступени

Лейтмотив гроссмановских писем из Москвы – одиночество. Конечно, встречался с московскими и киевскими друзьями, круг постоянного общения давно сформировался. Нередкими были и дружеские застолья – в пивных или домашней обстановке, что, кстати, отца беспокоило. Объективно Гроссман не был одинок. Но таково его настроение, точнее, мироощущение.

Похоже, что обсуждать подобного рода проблемы он мог лишь с отцом. Так, 12 марта 1928 года рассказывал: «Дорогой батько, получил твое письмо. Прежде всего большое спасибо за те строки любви, что ты написал мне. Дорогой мой, я не умею выразить своих чувств, но когда я прочел твое письмо, сидя у себя в Вешняках, то вдруг заплакал как дурак. Почему? Я не знаю, может быть, так битая собака скулит, когда ее кто-нибудь погладит. Это преувеличение – я не битая собака, конечно, – но ты прав, мне порядком холодно жить на этом свете. Не знаю отчего, но во мне нет ощущения радости жизни».

О причинах сведений нет. Гроссман лишь описывал свои повседневные впечатления: «Пожалуй, единственное, что я воспринимаю остро и полно – это природу и тяжелый человеческий труд. Ей-богу, люди очень несчастны. Я ехал сегодня поездом домой – вагон набит рабочими, все кошмарно пьяны (скоро пасха); поглядел я на старика одного – он пел что-то высоким тонким голосом, “веселился”, лицо изъедено заводской пылью, глаза мутные, неподвижные, как у мертвеца (пьян), и стало мне чертовски тяжело – жизнь течет в тяжелых буднях изнурительного труда, а приходит праздник, которого ждут целый год – пасха, и люди веселятся в истерическом пьяном чаду; от веселья ходят неделю хмурыми, больными, а потом опять ждут праздника. Горький часто говорит – “людей жалко”. Действительно, жалко людей…»

Фразы подобного рода и впрямь нередки в прозе и пьесах Горького. Возможно, Гроссман цитирует реплику персонажа из рассказа «Испытатели»: «Людей жалко, по причине брошенности их, и жить мне – скушновато»[61].

Также не исключено, что это аллюзия на суждения одного из героев пьесы «Чудаки». С гроссмановскими они сходны отчасти: «Мне просто до боли жалко людей, которые не видят в жизни хорошего, красивого, не верят в завтрашний день… Я ведь вижу грязь, пошлость, жестокость, вижу глупость людей, – всё это не нужно мне! Это возбуждает у меня отвращение… но – я же не сатирик! Есть ещё что-то – робкие побеги нового, истинно

человеческого, красивого, – это мне дорого, близко… имею я право указать людям на то, что люблю, во что верю? Разве это ложь?»[62].

Впрочем, описание собственного мироощущения – лишь одна из тем письма. Далее Гроссман сообщил, что ему разрешено участвовать в экспедиции, отъезд 2 мая 1928 года, ежемесячное жалованье – шестьдесят рублей, а «проезд, конечно, на казенный счет».

Программа намечалась обширная. Гроссман сообщал отцу: «Работа будет очень интересная – обследование экономических, культурных, бытовых условий местного населения. Кроме того, будем знакомиться с тамошней нефтяной, шелковой, хлопковой промышленностью, вероятно, посетим знаменитые радиевые прииски. Это, так сказать, сторона поездки “серьезная”. А “не серьезная” меня тоже очень интересует, говорят, в мае месяце степь цветет – вся покрыта красными тюльпанами, в июне она превращается в пустыню – солнце выжигает. Наверное, чудесное зрелище – цветущая пустыня. И звезды там, наверное, не такие, как у нас. В общем, я очень доволен, что еду. Боюсь только, а вдруг в последнюю минуту выйдет заминка и дело расстроится».

Майский отъезд университетские занятия исключал. Значит, обязательную для химиков лабораторную практику, обычно на конец весеннего семестра назначавшуюся, удалось бы только в следующем учебном году пройти, что отец понимал. И Гроссман его успокаивал: «Теперь относительно лабораторий – я место за собой зафиксирую, так что задержки у меня не будет осенью, потеряю только эти два месяца. Но, ей-богу, мне кажется, что я, наоборот, выиграю, а не потеряю».

Компенсировавший неизбежные потери выигрыш, понятно, возможность печататься в московских газетах и журналах – по тематике экспедиции. Гроссман уже с профинтерновскими изданиями работал как технический сотрудник, это была первая ступень на пути к журналистской деятельности. Вторая – публикации в столичной периодике. 9 мая он отправил письмо: «Дорогой батько, сижу в Ташкенте. Завтра еду на место работы – городок Каунчи Ташкентского округа, 30 минут езды от Ташкента. Пока все очень интересно, масса новых впечатлений».

Акклиматизацию перенес, согласно письму, легко. По крайней мере, легче, нежели предполагал: «Жара здесь меньше, чем в мартеновском цеху, хотя, говорят, что в июле здесь бывает около 70°, но в июле меня здесь уже не будет…»

Сохранилось и одно из писем в Бердичев. Отправлено тоже 9 мая: «Дорогая мамочка, сижу еще в Ташкенте. Завтра утром выезжаю. С отъездом вышла маленькая ерунда. Нам изменили

место поездки – думал ехать куда-нибудь подальше, а нам в самом Ташкенте изменили место и дали пригородный район – 30 минут от Ташкента. Я знаю, что ты будешь этим довольна, а я наоборот – не доволен».

Кстати, в губеровской книге письмо это цитируется как адресованное отцу, а не матери. Воспроизведенный публикатором фрагмент выделен курсивом: *«…Работа наша будет заключаться в ряде обследований крестьянских хозяйств, кооперативов и пр. Город очень интересен, красив, совершенно нов для меня, масса красок, цветов, яркое небо, жаркое солнце. Выпиваю 10–25 стаканов сельтерской воды в день, жару переношу легко, уже загорел».*

Характерно, что словом «загорел» не заканчивается фраза, цитата же оборвана, и купюра не обозначена. При этом ни о каких семейных тайнах речи не было: далее в предложении только и сказано, что «с питанием все обстоит благополучно».

Допустим, публикатор забыл обозначить купюру. Но почему он решил, что письмо адресовано отцу Гроссмана – догадаться нельзя. Даже если не прочел цитированную нами первую страницу, которая начинается обращением к матери, так на второй, откуда Губером и взята цитата, сказано: «Будь здорова, крепко целую. Вася»[63].

Если бы автор письма обращался к мужчине, то было бы сказано «будь здоров». Значит, обращался к женщине, что трудно не заметить.

Подобного рода загадок в книге Губера немало. Но, как ранее отмечалось, рассмотрение каждой из них в нашу задачу не входит.

Что до экспедиции, Гроссман действительно увлекся социологической проблематикой. В Узбекистане тогда проводилась так называемая коллективизация – объединение крестьянских хозяйств в единые комплексы под управлением советской администрации. По мнению «вузовца», это было вполне уместно. Цель – благосостояние – представлялась ясной, средства казались понятными, не противоречащими цели.

На первый взгляд преимущества «нового быта» или, как тогда говорили, «перехода на новые рельсы» сомнений не вызывали. Дехканам, объединившимся в коллективные хозяйства – колхозы – правительством были предоставлены тракторы. Строились ирригационные сооружения. Увеличилась площадь распаханных земель, соответственно урожаи, росли и доходы. Открывались кишлачные школы, больницы и т. д.

Успех туркестанского проекта не вызывал сомнений. 18 мая Гроссман сообщал: «Дорогой батько, окончательно обосновался.

Доволен. Работа интересная, благодаря ей знакомлюсь не только с “внешностью” Востока, но и с интереснейшими процессами экономики, культурной жизни и пр. Езжу по кишлакам, наблюдаю быт; сведений, впечатлений, интересных фактов, разговоров – много. Очень интересен здесь базар – прямо-таки слепит глаза яркость и пестрота красок, никак не могу привыкнуть к виду упряженного верблюда. Вчера был в очень интересном кишлаке, переходящем на новые рельсы – строится большая школа, радио, мечети пустуют, есть большой колхоз, трактор, женщины снимают паранджу. Ей-богу здорово! Председатель тамошнего сельсовета – инициатор и вдохновитель всех этих новшеств – высоченный узбек, не умеющий говорить по-русски, безграмотный, но, как говорится, “министерская голова”. Все дела он вершит, сидя в чайхане – скрестив ноги и попивая бесконечное количество чая. Разговор с ним был несколько скучен, т. к. общих слов не более 10».

Задачи в экспедиции ставились достаточно трудоемкие. 1 июня Гроссман сообщал, что три недели жил в Каунчи, где обследовал крестьянские хозяйства, пересчитывал ишаков, лошадей и верблюдов, готовил статистические данные. Обстановка была непривычной: «Ты знаешь, у меня создается впечатление, что здешние дехкане гораздо революционнее наших российских крестьян – агрономы, землемеры, сов[етские] и пар[тийные] работники рассказывают, с какой охотой идут здесь к новым методам обработки земли…»

Революционность была, по мнению «вузовца», решающим фактором. Гарантирующим преодоление всех препятствий: «Безграмотность здесь, тем не менее, потрясающая – как правило, и председатели кишлачных советов, и секретари <партийных> ячеек безграмотны. Но это не так страшно, народ хочет учиться, учится и, конечно, выучится».

Модернизации препятствовали главным образом мусульманские традиции, определявшие уклад жизни дехкан. Его изменение Гроссман считал необходимостью: «Особенно бурно и с болезненными эксцессами здесь идет кампания за раскрепощение женщин, снятие паранджи. Часты убийства мужьями жен, снявших паранджу. Позавчера здесь вышел трагический случай – жена-узбечка желала учиться, муж не давал, она решила с ним развестись, пришли в Каунчийский совет, когда церемония развода кончилась, муж выхватил нож и воткнул ей в сердце, она через пару часов умерла, совсем еще девочка, 17 лет».

Такого рода впечатлений было немало, однако мнение о «новых рельсах» до поры не менялось. 22 июня Гроссман рассказывал, что неподалеку от Каунчи создан «кишлак Ислахат

(по-русски – “Реформа”), до 1925 г. на этом месте была голая степь, которая летом выгорала совершенно, теперь там 492 хозяйства, 2000 десятин засеяны хлопком, есть три школы, радио, красная чайхана».

Он не объяснил, чем «красная чайхана» от любой иной отличается. Комментарий не требовался – о таких реалиях «нового быта» в газетах писали. Речь шла о сельской библиотеке, созданной рядом или же непосредственно в помещении обычной чайханы, излюбленного места отдыха дехкан. Можно сказать, что российский аналог – знаменитая «изба-читальня», своего рода сельский клуб.

Созданный в степи кишлак – итог реформ, подразумевавших строительство эффективных ирригационных систем. Гроссман отметил, что население «Ислахата» – в прошлом батраки или же землекопы, не имевшие своего земельного участка. Но положение изменилось: весной 1928 года «у них работало 26 тракторов, почти вся запашка была общественная, создано 11 колхозов. В общем, здорово».

Быт экспедиционный тоже описан. Правда, скупо и не без иронии: «Ну-с, что рассказать о себе – чувствую себя хорошо, только похудел малость, от жары, вероятно, да москиты безбожно покусали. Тут удивительно однообразный стол – плов да шашлык, шашлык да плов, хучь (sic! – *Ю. Б.-Ю., Д. Ф.*) плачь. Что касается местной жары, я ее переношу очень свободно, да и жара-то настоящая начнется в середине июля, а теперь, как говорят местные жители, “тепло” – градусов 40–45».

Экзотика уже прискучила. О чем и рассказывал отцу: «Между прочим, интересно, как человек ко всему привыкает – в первые дни я разиня рот глядел на верблюжьи караваны, узбеков в чалмах и халатах и всякую восточную штуку, а теперь привык – идет верблюд или живописная группа восточных людей сидит в чайхане, а я хоть бы что. Никакого внимания, как будто в Бердичеве по Белопольской улице хожу; это немного обидно, что острота новизны так быстро притупляется; самая приятная штука новизна эта. Тут у меня одно несчастье, это путешественный зуд. Ведь отсюда очень близко во всякие замечательные места – 2 дня до Китая, 2 дня до Памира, 2 дня до Индии, Персии, Афганистана – лежишь ночью, глядишь вверх, и такая охота попереть во все эти страны, что… Вспоминаю твою детскую надпись на карте – “Эх, если б мне крылья”».

Вскоре он в Ташкент вернулся. Тревожился – вестей из Сталина не было. Экспедиция же заканчивалась, что подразумевало традиционное застолье, это и тревожило отца. Гроссман старался его успокоить: «Дорогой батько, я тебе катаю

письма и открытки, а ты молчишь так упорно, будто со злым умыслом. Не знаю, что и думать. Не заболел ли ты, аль рассердился на меня? Как будто не на что – работаю здесь в поте тела и лица на благо социалистического отечества, насчет выпивки принял решенье новое в Москве еще – постановил поставить точку, постановленья этого держусь строго, не нарушил и не нарушу».

Посредством экспедиции Гроссман решил важнейшую задачу – собрал актуальный в аспекте журналистики материал. Далее следовало подготовить сами публикации, найти издания, готовые их поместить. Можно сказать, он стоял у второй ступени литературно-журналистской карьеры.

Вторая ступень

Гроссман в автобиографиях не сообщил ничего о своем журналистском дебюте. Нет о том сведений и в статьях энциклопедических изданий.

Правда, о журналистском дебюте Бочаров написал – в цитированной выше монографии 1990 года. По его словам, Гроссман после экспедиции, «еще будучи студентом последнего курса, опубликовал две небольшие статьи: в кооперативной “Нашей газете” 7 июля и “Правде” 13 июля. Это были его первые печатные труды».

Какова тематика «небольших статей» – не сообщается. Похоже, что гроссмановские «первые печатные труды» не заинтересовали исследователя.

С точки зрения художественной они и впрямь не примечательны. Зато интересны в аспекте биографическом.

Отметим, что «Нашу газету», напечатавшую первую из гроссмановских статей, Бочаров назвал «кооперативной». Но это относится, скорее, к одному из тематических аспектов. А выпускалась она Центральным комитетом и Московским губернским отделом профсоюза советских и торговых служащих СССР.

В ту пору советскими служащими официально именовали занятых не физическим трудом наемных работников государственных учреждений. Торговыми соответственно ту же категорию работников торговых учреждений. Главным образом продавцов, кассиров, бухгалтеров и т. п. Вот их всех и объединил новый профсоюз, получивший собственное издание.

Опубликованный 1 января 1926 года первый номер открывался статьей Троцкого. С поста наркомвоенмора он ушел еще в 1925 году, формальная причина – состояние здоровья. Но в Политбюро ЦК партии оставался, потому авторитет был достаточно высок, чтобы показать, насколько важные задачи ставятся перед редакцией нового профсоюзного издания.

Заголовок программной статьи – «Нашей газете». Троцкий постулировал: «Торговые служащие связывают государственную промышленность с населением. Советские служащие связывают с населением рабочее государство. Уже одного этого достаточно, чтобы понять гигантское значение профессионального союза советских и торговых служащих и величайший культурно-исторический смысл совершаемой им работы. Борьба с бюрократизмом государственного аппарата есть в огромной степени борьба за элементарно-культурное, а затем и культурно-

социалистическое перевоспитание советского служащего. Борьба за хозяйственную добросовестность, за интересы потребителя, за качество продукции есть в огромной степени борьба за воспитание и перевоспитание торгового работника, за его товароведческую профессиональную и культурную грамотность. Выполнить эту работу можно только в том случае, если повседневное обслуживание материально-бытовых и культурных интересов советского и торгового работника будет связано неразрывной связью с общими задачами трудящихся масс и социалистического строительства»[64].

Далее – выводы. Автор утверждал: «В этом смысле поле работы перед “Нашей газетой” неизмеримо. Она должна стать – и, несомненно, станет – нашей газетой не только для профессионального союза, но и для партии и рабочего государства в целом, как важнейшее воспитательное орудие, направленное на сотни тысяч работников, без сплочения, воспитания и подъема которых немыслимо построить социалистическое общество».

Как известно, двух лет не прошло, и политическая карьера Троцкого в СССР закончилась. Что, впрочем, не отразилось на статусе «Нашей газеты». Она выходила ежедневно на шести полосах, основное внимание уделялось вопросам экономики и социальных преобразований. Такой тематике вполне соответствовала заметка Гроссмана. Заголовок – «Узбечка на кооперативной работе»[65].

Материал был, понятно, экспедиционный. В остальном же обычная заметка, неотличимая от аналогичных в «Нашей газете». Эмоций минимум, стандартный, «выглаженный» редактором стиль: «Одной из своеобразных и чрезвычайно важных форм втягивания женщин Востока в общественную работу являются женские кооперативные лавки. Эти лавки обычно реализуются при потребительском кооперативе; ассортимент их составлен таким образом, чтобы удовлетворять именно покупательницу – женщину…»

Ну а далее следовало описание пропагандистской кампании, проводимой сотрудниками кооперативов, статистические данные, свидетельствовавшие об успехах, перечисление недостатков, разумеется, незначительных и легко устранимых, и т. д. Финал, конечно, оптимистический: Гроссман утверждал, что женские кооперативные лавки «представляют собой удачную форму работы по раскрепощению женщин. Необходимо усилить темп их количественного роста и повысить качество их культурно-просветительной работы».

Даже в заключении нет каких-либо эмоциональных оценок. В

том числе и на уровне определений. Правда, главный тезис соответствует общей направленности более поздних гроссмановских статей. Акцентируется, что очень многим советская власть предоставила возможности, ранее вовсе немыслимые.

Разумеется, тезис как таковой – дежурный в советской журналистике. Но похоже, Гроссман не лукавил. Он в досоветскую эпоху относился к дискриминируемой группе населения, а новый режим ассоциировал с идеей устранения дискриминации.

Отметим, что для первой же публикации он использовал псевдоним «В. Гроссман». Правда, в «Нашей газете» фамилия автора заметки указана как «Гросман». Однако это лишь опечатка, что случалось нередко. В дальнейшем такого уже не было.

Псевдоним – только имя, а не фамилия – отделял начинающего журналиста от будущего инженера. В инженерской, а паче того научной среде несолидным занятием считалось печатание газетных заметок пропагандистского характера.

Следующая публикация, как Бочаров и отметил, в «Правде». Не такая уж «краткая», если не с передовицами там сравнивать. Довольно пространная статья о земельной реформе в Узбекистане. Заголовок – «Ислахат»[66].

О той реформе Гроссман не разотцу рассказывал. «Ислахат» – ее узбекское название. Описывал и одноименный сельскохозяйственный кооператив, созданный на территориях, которые раньше не орошались. Лейтмотив статьи – социальные преобразования: «На новой земле осели и занялись дехканским трудом пролетарии, всю жизнь свою не имевшие угла, рывшие арыки и бродившие по стране в поисках работы и куска хлеба, мардикеры-батраки, гнувшие долгие годы спину на полях бая, чайрикеры-издольщики, из поколения в поколение на крепостных условиях обрабатывавшие обширные поля богачей за право вспахать и засеять свой маленький клочок земли».

Характерно, что повествователь здесь – не только очевидец, но и участник. Эмоционально даже описание четырнадцативерстного пути от железнодорожной станции Каунчи до кооператива: «Дорога плетется меж засеянных хлопком полей. Вдоль арыков кое-где растут деревья и вьется узкая полоса красных маков. В нескольких же саженях от арыка нет ни маков, ни зеленой травы, ни деревьев. Суровый край!»

Повествователю все интересно. Он пользуется любым случаем получить информацию: «Возница мой – *русский* – крестьянин Орловской губернии, старик лет шестидесяти. Он весел, *оживлен*, все время смеется, говорит то со мной, то с

лошадью, то с самим собой».

Курсив здесь автора. Подчеркнуто, что сведения о реформе собраны не только при опросе представителей коренного населения республики. «Ислахат» – общее дело узбеков, татар и, конечно, русских.

Но при общении с председателем кооператива возникли некоторые трудности. Администратор не говорил по-русски, его собеседник не знал узбекский. Зато, по словам повествователя, оба понимали главное.

«Показав на поля, горевшие в лучах заходящего солнца, я сказал:

– Якши Ислахат.

Лицо старика расплылось в улыбку, еще острей заблестели молодые глаза, и он ответил:

– Кареш, кареш, джудай якши (Очень хорошо)».

Далее речь шла об истории кооператива «Ислахат», ценах на продовольствие, росте поголовья скота, а также деятельности партийной и комсомольской организаций. Причем акцентировалось, что сведения получены от «комсомольца-татарина».

Особо примечательна история конфликта с трестом «Узбекское вино». Предприимчивые виноторговцы открыли на территории кооператива «Ислахат» свою лавку, но – «по инициативе комсомольской ячейки было собрано общее собрание дехкан, которое постановило: “лавку закрыть”.

– Вчера уже вывеску сняли, большая вывеска, из самого Ташкента привезли».

Рассказом о победе кооператоров в борьбе с виноторговцами заканчивалась история кооператива «Ислахат». Надо полагать, Гроссман понимал, что «инициатива комсомольской ячейки» отнюдь не случайно поддержана «общим собранием». Комсомольцы старались предотвратить пьянство работников, а большинство дехкан было воспитано в мусульманской традиции, запрещавшей употребление вина. Интересы совпали. Однако привлекать внимание к такого рода деталям вряд ли стоило. И автор завершал статью патетически: «На вновь орошенной земле работают новые люди, строят новую жизнь; с каждым годом они крепнут материально и культурно. Все новое – и земля, и люди».

Похоже, Гроссман и здесь искренен. Тональность его писем отцу, где речь идет о кооперации, примерно та же.

В целом он добился желаемого. Да, первая заметка – лишь дебют, по которому еще рано судить о перспективах. Зато вторая публикация в главной партийной газете разом меняла его статус. Подтверждала не только квалификацию, но и соответствие

идеологическим требованиям – на самом высоком уровне.

Можно сказать, триумф. Непонятно только, когда Гроссман успел написать статью и заметку и в редакцию отнести. Времени было крайне мало.

Судя по гроссмановским письмам, возвращение из экспедиции назначено было на 26 июня. Пришлось задержаться, и 3 июля он сообщал: «Дорогой батько, приехал в Москву. По дороге чуть не сдох от собачьей жары. Никого и ничего не застал – все и вся закрыто и уехало. Думаю посидеть здесь дня 3–4 и поехать в Киев».

Невеста ждала в Киеве. Далее планировалось что-то похожее на свадебное путешествие – отпуск в дачном поселке Криница на черноморском побережье, где местные жители сравнительно дешево сдавали квартиры горожанам.

Гроссман и с отцом хотел встретиться. Тема уже не раз обсуждалась: «Ты пишешь, что с 1-го августа идешь в отпуск обязательно и всенепременно. Так приезжай в Криницу, ей-богу, лучшего места не найти, да и проживем вместе, наговоримся о всякой всячине, я уже соскучился по тебе».

Отца уговаривал приехать в Криницу вместе с женой. Та речной круиз планировала, соответственно, к ней и обратился, имитируя «черноморскую» манеру речи: «Ольга Семеновна, чего Вам на Волгу ездить? Ну, Волга, ну пароход. Чтоб я так жил, ничего интереснее нет, ничего лучше, чем “морэ”».

Стало быть, основная забота – подготовка к отпуску на море. Ни в одном из писем нет сведений о подготовке каких-либо публикаций. А четыре дня спустя гроссмановскую заметку опубликовала «Наша газета», через неделю его статья – в «Правде».

Допустим, все написано еще в экспедиции. Но ведь и с редакторами надлежало договориться, и материал в редакции прислать. О переговорах и почтой отправленных статьях тоже нет сведений в письмах. Значит, сделал все за четыре московских дня, что практически невозможно.

Здесь ответ биографический контекст подсказывает. Главную роль сыграла поддержка влиятельной кузины. «Наша газета» – издание, курировавшееся Профинтерном, а помощница секретаря этой организации располагала связями и в редакции «Правды».

Алмаз руководствовалась не только соображениями родства и дружбы. Кузен собрал актуальный материал, были у него и способности к журналистике. Помощь в подобных случаях уместна. Так «вузовец» оказался на второй ступени планируемой литературной карьеры.

Скрытые препятствия

В письмах журналистский триумф не упомянут. Что объяснимо: сын и отец в отпуске встретились. Ну а потом разъехались.

26 августа Гроссман отцу рассказал о дальнейших событиях. И вновь шутил: «Дорогой батько, после долгих странствий и мытарств прибыл в Одессу. Погода здесь великолепная, купаюсь в том же море, что и ты, вместе смотрим на одни и те же горизонты. Мама чувствует себя хорошо, ничего не болит, продолжает лечиться в городе».

Что за «долгие странствия и мытарства» имеются в виду – на первый взгляд непонятно. От Криницы до Одессы путь недолгий. Даже если сначала в Бердичев отправился, а потом сопровождал мать на курорт, все равно недалеко.

Значит, Гроссман сначала в Москву вернулся из Криницы, где он, жена и отец вместе отдыхали. Потом отправился в Бердичев – там жила мать, с ней до Одессы доехал. Тогда и впрямь «долгие странствия». А также «мытарства», если учесть, что в поездах не менее трех суток провел.

Отпуск уже заканчивался. Потому и планы свои Гроссман описывал кратко: «Я думаю ехать отсюда числа 31-го и в Киеве посидеть дня три».

Жена ожидала в Киеве, там ее родители жили. Ну а к началу учебного года надлежало ехать в Москву, что и подразумевалось.

Казалось бы, обычное письмо. Настораживают лишь детали.

Во-первых, Гроссман, словно бы мимоходом, спрашивал отца, получил ли тот две посылки. И сообщал, что еще одну собирается отправить вскоре. А каждая, по его словам, лишь пачка «газет и журналов».

Сам по себе факт отправления подобного рода посылок не удивителен. В 1928 году продолжалась кампания так называемой украинизации. Руководство Украинской советской социалистической республики требовало, чтобы национальный язык стал для всей республиканской прессы единственным. Исключения допускались единичные. Практически не поступали в розничную продажу русскоязычные газеты и литературные журналы, выписывать же сразу несколько московских изданий далеко не всем было по средствам[67].

Но как раз донбасскому инженеру – доступно. Он, в отличие от большинства украинского населения, мог бы и обойтись без помощи родственников. Трудно поверить, что решил сэкономить.

Во-вторых, Гроссман проявил обычно не свойственный ему и

отцу интерес к событиям внешнеполитическим. Например, сообщал «последние новости: Ланцуцкий был выпущен из тюрьмы, через 4 дня снова арестован и после массовых протестов выпущен опять. Сегодня подписывают пакт Келлога, Венизелос будет президентом Греции. Остальные новости не дюже важные».

С. Ф. Ланцуцкий – польский социалист, один из лидеров профсоюзного движения. Был с 1921 года депутатом сейма. Там создал коммунистическую фракцию, в 1924 году за призыв к свержению правительства лишен депутатского статуса. Неоднократно подвергался арестам. Статьи о нем летом 1928 года печатала каждая городская газета в СССР. Что до «пакта», его визировали государственный секретарь США Ф. Келлог, министр иностранных дел Франции А. Бриан, представители Бельгии, Германии, Италии, Канады, Польши и других стран. Предусматривался отказ от войны как средства решения политических вопросов. Договор этот – дежурная тема в советской периодике с 1927 года. Но церемония подписания состоялась в Париже не 26 августа 1928 года («сегодня»), а на следующий день. И упоминаемый далее Э. К. Венизелос не «президентом Греции» стал – премьер-министром. Разумеется, все перипетии греческих выборов тоже повсеместно обсуждались в прессе.

Вроде бы незачем было Гроссману-младшему отправлять почтой «газеты и журналы», где обсуждались «международные новости». Да еще и пересказывать их в письме, впопыхах путая даты и реалии. Все сведения – «не дюже важные»: сын знал, что отец украинским языком владеет, следовательно, может и сам прочесть то же самое в местных изданиях.

Ранее в письмах нет упоминаний о посылках с «газетами и журналами». Значит, именно летом 1928 года отец попросил сына выслать материалы периодики. Вдруг заинтересовался внешней политикой и литературой.

На самом деле отец тогда заинтересовался совсем другим. И отнюдь не вдруг. Политические события, обсуждавшиеся в периодике, были связаны с его работой. Только относились они скорее к внутренней политике, чем внешней. Пока сын ездил по Узбекистану, в Москве начался так называемый Шахтинский процесс. Его именовали еще и «Шахтинским делом».

Как известно, к весне 1928 года сотрудниками ГПУ арестована в донбасском Шахтинском районе группа инженеров и техников. Всем инкриминировалось участие в деятельности антисоветской диверсионной организации, которой из-за границы руководили бывшие шахтовладельцы, ставившие целью разрушение советской угольной промышленности. Аресты затем

продолжались по всему Донбассу. После внесудебных расправ гласный суд начался 18 мая в Москве. Он продолжался более месяца, отчеты печатались в газетах и журналах. Тридцать из пятидесяти трех подсудимых не разв ходе заседаний подтвердили, что считают себя виновными. Приговоры – от расстрела до различных сроков лишения свободы, включая условные. Впрочем, нескольких вообще оправдали, что советской прессой трактовалось в качестве доказательства объективности рассматривавших «дело». Ну а в постсоветскую эпоху оно было официально признано фальсификацией – наряду с другими процессами «вредителей»[68].

Уместно подчеркнуть: в 1928 году апробировалась модель показательного судебного процесса. Организаторы «Шахтинского дела» решали двуединую задачу. С одной стороны, надлежало оправдать большевистскую политику в горном деле. Ее целью изначально было максимальное увеличение добычи угля, пусть и вопреки правилам эксплуатации шахтного оборудования. Материалы же периодики убеждали советских граждан, что причины аварий в Донбассе – не распоряжения чрезмерно азартных или невежественных руководителей, но «вредительство» исполнителей. Только они и виноваты. С другой стороны, все инженеры и техники важный урок получили. Каждый усвоил: контролировать работу машин и рабочих надлежит именно за страх, а не за совесть, ведь любую аварию ГПУ может расценить как результат «экономической контрреволюции»[69].

В Сталинском институте гигиены и патологии труда, где работал Гроссман-старший, знали про «шахтинские» аресты. Разумеется, сотрудникам не были известны подробности, но многое угадывалось.

О технике расследования пишет, например, Л. В. Борбачева, изучавшая в 1990-е годы материалы Донецкого отделения Службы Безопасности Украины и местного государственного архива. В ее монографии, посвященной истории Сталинского горного института, акцентируется, что сотрудники ГПУ «осуществляли непосредственное руководство проведением научно-технической экспертизы, корректировали ее заключение, применяли в ходе следствия моральное воздействие на арестованных»[70].

Обычные приемы. Следователи обещали арестованным «за “нужные” показания смягчение их участи».

У Гроссмана-старшего не имелось оснований верить, что аварии – результат диверсий. Тем яснее видел опасность. Конечно, «инженер-химик» не имел непосредственного отношения к шахтной технике, но такие, как он – досоветской

выучки «технические специалисты» – занимали скамью подсудимых. Закончена ли кампания арестов – решалось в Москве. По газетам же можно было хотя бы строить прогнозы.

Судебные отчеты российские периодические издания печатали более подробно, чем украинские. Гроссману-старшему требовались именно подробности. Кто из обвиняемых что сказал, какова реакция судей и журналистов. Ну а сын в Москву вернулся, когда процесс заканчивался, ехал на юг через областные центры РСФСР, соответственно, имел к нужным изданиям доступ. Их отцу и отправлял, скажем так, порционно.

Как выше отмечалось, газеты и журналы отправлял на Украину не только Гроссман-младший. Многие интеллектуалы получали от родственников и друзей литературные новинки почтой. Однако три посылки могли бы привлечь внимание связанных с ГПУ почтовых служащих. Не исключено, что заинтересовались бы они перепиской отправителя и получателя. Вот на этот случай посылки отправлены из разных городов, и сын акцентировал в письме: отец следит за международной политикой, новости ждет с нетерпением. Конспирация дилетантская, так ведь и опыта не было.

Другой вопрос, поверил ли сын газетам. Конечно, были признания на суде. Процесс гласный, а в ту пору многие полагали, что понапрасну оговаривать себя обвиняемый не станет.

Вполне допустимо, что Гроссман-младший тогда сохранил иллюзии относительно советского режима. И все же догадывался: отцу грозит опасность. Потому и конспирировал.

Если бы отца арестовали, сына бы, скорее всего, из университета отчислили. Такова была советская практика. Значит, от журналистской карьеры пришлось бы надолго отказаться. Фактически непреодолимыми стали бы препятствия анкетного характера: не только «буржуазное происхождение», но и родство с изобличенным «вредителем».

Тогда ли началась эволюция гроссмановского мировоззрения, раньше или позже – можно опять же спорить. Зато в любом случае понятно: «Шахтинское дело» тут свою роль сыграло[71].

Новый этап

К началу учебного года Гроссман-младший, похоже, решил, что опасность миновала. 21 сентября отцу рассказывал: «Ищу комнату, ищу работы, но как того, так и другого не нахожу».

Разумеется, он искал работу по вузовской специальности. Но вернувшиеся раньше Гроссмана уже заняли в университетских лабораториях вакансии. Отцу сообщал: «Пока занимаюсь литературным трудом, сдал в “Правду” рассказ, ему прочат успех. Затем у меня как будто выйдет одно хорошее дело – подпишу с издательством договор на писание брошюры “Кооперация и раскрепощение женщины Узбекистана”. Если выйдет, то положу в карман сотню-другую, но беда в том, что это “как будто”».

В журналистике перспективы были открыты. Планировались доходы, однако повседневной оставалась проблема московского жилья. Точнее, поисков его.

Формально «вузовец» имел право в общежитии поселиться. Гроссман же там не резервировал место заблаговременно, как полагалось – в конце предыдущего учебного года. Он тогда комнату снимал в поселке Вешняки. Правда, чтобы сохранить ее, следовало, уезжая в экспедицию, за два месяца вперед уплатить. Такие расходы счел нецелесообразными, тем более что надеялся другой вариант найти – в Москве, поближе к университету. Не получилось. В итоге прежнее жилье утратил, а новое до поры снять не удавалось.

По сути, оказался бездомным. О чем и сообщал в цитированном выше письме: «Настроение у меня хорошее, угнетают только материальные невзгоды, Нет, серьезно, не говоря уж о том, что из-за отсутствия комнаты Галя не может переехать в Москву, меня чертовски упекло отсутствие своего угла. Эта необходимость шляться от знакомых к знакомым очень треплет нервы и иногда самолюбие. Знаешь, когда начинает темнеть, испытываю то, что испытывал наш предок, дикарь каменного века в лесу, – какое-то смутное, тяжелое беспокойство, необходимость выбрать ночлег».

Ему приходилось «шляться от знакомых к знакомым» не по всей Москве, а преимущественно в университетском общежитии. Некоторые «вузовцы», заблаговременно резервировавшие там места, тоже селились по частным квартирам, почему и свободная койка в одной из комнат всегда находилась.

Поиски вряд ли занимали много времени. Гроссман, конечно, знал, кто из однокурсников на частной квартире живет, значит, в какой именно комнате общежития следует искать свободную

койку. Отцу же проблему описывал иронически, рассуждая, что «дикарю каменного века» лучше было – тот «лезна дерево или забирался в пещеру, трещину в скале; мне же в девственном лесу большого города хуже: все трещины и пещеры заняты…».

Впрочем, проблему вполне мог бы решить, как это делали обычно его соученики. Стоило лишь похлопотать, обратиться к университетским профсоюзным или комсомольским функционерам, поддержали бы непременно, тогда и вселился бы на законном основании в общежитие. А вот если не собирался там остаться, не имели смысла хлопоты. Гроссман уже готов был к вернуться к прежнему варианту, о чем рассказывал отцу: «На худой конец придется опять двинуть в деревню, т. е. поселиться как и в прошлом году, за городом».

Трудности возникали на финансовом уровне. Конечно, загородное жилье обходилось гораздо дешевле. Но цены и там ежегодно росли, причем гораздо быстрее, чем доходы «вузовца».

Спустя три дня он получил, наконец, отцовское письмо и сразу ответил. Настроение почти не изменилось: «У меня ничего нового и ничего хорошего. Разве что зашел в “Правду” отнести статью и был встречен очень любезно, хвалили всячески и просили писать еще».

Новость вроде бы хорошая. Только проблема жилья в Москве оставалась нерешенной: «Комнаты нет, и ей даже не пахнет».

Однако к 6 октября проблему удалось решить. Гроссман сообщал: «Дорогой батько, письмо твое получил примерно неделю тому назад, но написать тебе собрался лишь сегодня. Какие изменения в моей жизни? Нанял комнату, – комната неважная, маленькая, за городом, 30 рублей в месяц; лучше прошлогодней в том отношении, что не нужно ездить поездом (только трамваем), и что она теплая. В общем, я чрезвычайно рад – плохая ли, хорошая ли комната, но она знаменует конец моим метаньям по чужим хатам – прибыл к пристани. Занятия в университете уже начались, – в лаборатории я уже зарегистрировался, потихоньку приступил к работе, записался слушать специальные курсы “Катализ” и “Микроанализ”, зарегистрировал свою специальность – аналитик».

Похоже, быт налаживался. И не только быт: «У меня, батько, дорогой, успехи на литературном фронте, условился с издательством написать брошюру “Кооперация и женщина Узбекистана”. Даст это штука 300 р. – 70 % при сдаче рукописи, 30 % при выходе книжки в свет. Рукопись я обязался сдать к 1-му ноября, значит, если ее примут, “разбогатею”».

Вариант подобного рода уже обсуждался, но, похоже, к ноябрю реализация казалась Гроссману близкой. Перспективы

радужные: «Теперь – второй успех, – если помнишь, я тебе читал в Кринице рассказик о наводнении – его приняли в “Прожектор”, но напечатают не скоро».

Упомянутый «Прожектор» – иллюстрированный ежемесячный журнал, литературное приложение к «Правде». Успех вроде бы немалый: для престижного издания квалификация автора рассказа признана достаточной. Значит, возможно и дальнейшее сотрудничество.

Однако все это относилось к перспективам. В сфере журналистики обещания и похвалы – без авансов и конкретно определенных сроков публикации всех предоставленных материалов – стоили недорого. О чем Гроссман знал, соответственно, отмечал: «В общем, через месяц я получу “богатство и славу”. Пока же ни того, ни другого».

Настроение все-таки изменилось к лучшему. По крайней мере, если сравнивать с недавним: «Что сказать тебе, батько, о себе – чувствую я себя хорошо, настроение неплохое, сильно скучаю по Гале, вот, пожалуй, и все».

Так что комната в пригороде стала единственным реальным успехом. О чем и сообщал: «Думаю через пару дней вызвать Галю в Москву…».

Разумеется, «вызвать» планировал лишь на время. Переехать в Москву жена пока не могла. В Киеве училась, да и денег у Гроссмана не хватало, чтобы постоянно содержать кого-либо кроме себя.

Правда, трудности подобного рода он считал несущественными. 3 ноября сообщал: «Что ж, батько, мой дорогой, опишу тебе свою жизнь – приехала в Москву Галя, живет здесь уже около двух недель. Она хлопочет о своем переводе в Москву, но не так просто добиться, все затягивается, хотя похоже на то, что и вырешится окончательно на будущей неделе. Мама пишет, что она очень не советует Гале переводиться в Москву, что это будет тяжело в материальном отношении, задержит окончание мной университета. Мне кажется, что это не так – в материальном отношении будет так же тяжело, если Галя будет жить в Киеве, родственники ей помогать больше не хотят, следовательно, не все ли равно, где ей жить, здесь или в Киеве, а пребывание ее здесь не только не отвлечет меня от занятий, а, наоборот, “привлечет” к ним».

Киевские родственники жены руководствовались, понятно, соображениями прагматического характера – вышла замуж, пусть муж и содержит. А родителей Гроссмана эта перспектив не радовала.

Были у них и другие основания для тревоги. Сын же пытался

успокоить: «Дорогой батько, ты писал, что тебя очень огорчает то, что у меня занятия стоят на втором плане, а “литература” на первом. Это не совсем так. Я действительно последних две недели полностью посвятил писанию брошюры о “раскрепощении женщины Узбекистана”, теперь я эту работу уже закончил и отдал сей труд печатать на машинке, через пару дней понесу на суд в издательство. Поверь мне, что этим делом я занимался не из любви к “святому искусству”, а исключительно из материальных соображений».

Гонорар, как утверждал сын, дал бы возможность «молодой семье» безбедно жить месяца два, если не больше. Рассказал и о досуге: вместе с женой был в на мхатовском спектакле по пьесе Булгакова «Дни Турбиных».

Спектакль шел уже два года, как известно, инсценировка булгаковского романа «Белая гвардия» считалась триумфом МХАТ. Большинство зрителей восхищалось, рецензенты преимущественно бранили. И Гроссман невольно с критиками солидаризовался, отметив, что «игра хорошая, но пьеса мне не понравилась, уж больно тенденциозно выведены белые офицеры, все сплошь благородные, добрые, честные, смелые, а если и выведен один жулик (адъютант Шервинский), то он такой добрый, что на него невозможно сердиться, и если есть один полностью отрицательный тип – Тальберг, то он немец, а русские все ангелы; очень глупо».

Похоже, «вузовца» не интересовала тогда специфика политического контекста, обусловившая саму возможность инсценировки романа с явно провокативным заглавием. Важно было, что в пьесе положительные герои называют себя монархистами, а для Гроссмана российское самодержавие – режим неравенства, ликвидированный ценой колоссальных жертв. Спонтанная реакция оказалась негативной, да и на «белых офицеров» еще в гражданскую войну насмотрелся, о грабежах и расстрелах не забыл[72].

Далее рассказывал о себе. Подчеркивал, что приезд жены многое изменил к лучшему: «Настроение у меня хорошее, семейная жизнь протекает хорошо. Я доволен ею, хотя немного страшновато, когда начинаешь задумываться о “больших мелочах жизни” и вопросах материальных, но, ничего, думаю, что не пропадем, как-нибудь да будет».

Характерно, что в письме есть и аллюзия на актуальное литературное событие. Годом ранее ленинградское издательство выпустила сборник фельетонов М. М. Зощенко «Мелочи жизни»[73].

Тематика и проблематика – быт советских граждан. Можно

сказать, бытовая повседневность 1920-х годов. Заглавие книги популярнейшего сатирика вскоре стало фразеологизмом.

Гроссман акцентировал, что всего более озабочен бытовыми проблемами, главным образом – финансовыми. Почему и упомянул о стараниях кузины: «Относительно постоянной работы для меня, Надя хочет убедить Лозовского взять меня 2-м помощником для одной очень интересной штуки – он пишет теперь капитальный труд “О стачечной стратегии”».

У «вузовца» появилась возможность попасть в штат Профинтерна. Лозовскому следовало «прочесть громадную литературу, классиков марксизма, историю всего рабочего движения; в этом деле ему помогает Надя, а так <как> работы много, то она хочет и меня пригласить; вряд ли это выйдет, а жаль, интересно очень и денежно».

Алмазвсе же не уговорила своего начальника принять на работу Гроссмана. Но сам Лозовский задачу решил: в 1929 году профинтерновским издательством выпущена его книга «Стачечная борьба и наша тактика»[74].

Депрессия

Если по гроссмановским письмам судить, он был настроен оптимистично, пока жена в Москве жила. Тогда и работу искал.

Однако вскоре положение изменилось. На исходе ноября отцу сообщал: «Галя в понедельник уезжает в Киев, так и не дождавшись решения своей судьбы в Московском университете. Если все ж таки в конце концов из Университета получится положительный ответ, она приедет в Москву после Рождества».

О себе рассказывал кратко. Подчеркивал, что университетские дела именно на первом месте: «Я занимаюсь – в лаборатории, посещаю лекции, в общем, вошел в занятия. С литературой пока покончил – сдал все рукописи в редакции и жду решения своей судьбы».

По-прежнему он чувствовал себя одиноким. Главным образом из-за отъезда жены. О своем настроении отцу вскоре сообщил: «Ты совершенно прав, и я это испытал на опыте и претворяю теперь в жизнь – работа лучший лекарь. Я занимаюсь в университете – работаю в лаборатории, загружен несколько часов в сутки этим делом (6 примерно). Между прочим, я теперь занимаюсь химией отравляющих веществ, и это дело меня весьма заинтересовало. Хорошее занятие для злых, обиженных жизнью людей – ты бы послушал, с каким сладострастием наш профессор смакует подробности о токсичности того или иного газа, жуть берет».

Гроссман выбрал наконец область, его интересовавшую, да еще и перспективную – с точки зрения поисков работы. Соответственно отметил: «В общем, могу сказать, что я работаю, время свое провожу разумно и с этой стороны собой вполне доволен. Сорвал я первый плод с древа литературного гонорара, и сей плод буквально тает в кармане – расплатился с частью долгов – они у меня долезли до 100 р., уплатил за квартиру и еще осталось 60 рублей, получил твоих 80, значит, смогу поехать в Бердичев, повезти туда Галю и еще обратно с ней вернуться. В общем, числа до 25 января я обеспечен, а там еще чего-нибудь подвернется. Я тебе хочу еще раз сказать, батько мой дорогой, чтобы в своих расчетах относительно того, бросать или не бросать институт, ты меня не принимал во внимание. Как-нибудь просуществую».

Непонятным оставалось, как именно «просуществует». Объяснений же не было: «Что тебе сказать о себе еще? Я работаю и в этом отношении чувствую себя хорошо, но отъезд Гали меня здорово допекает – я скучаю по ней очень здорово. Не знаю, чем

это кончится, университетские бюрократы до сих пор умудряются не дать ответа относительно ее перевода. Если ее, в конце концов, переведут, я ее обязательно перевезу в Москву. Будет, что будет, как-нибудь промучаемся вместе, но, выражаясь высоким слогом, “без нее я не могу жить”. А если не переведут, то не представляю себе, как мы устроимся, во всяком случае, будет весьма и весьма скверно. Это, пожалуй, единственная моя болезнь, в остальном все как будто благополучно».

Из письма следует, что думал он, прежде всего, о возможности «перевезти» жену в Москву, а для совместного быта изыскивал способы жить гонорарами. Не получалось, чтобы «с литературой пока покончил». Еще и сообщил несколько позже: «Батько, я мало пишу о своих занятиях, потому что они мне порядком осточертели, а не потому, что дела мои обстоят плохо. Впрочем, в последнем письме я, кажется, писал об этом предмете, и мне не хочется снова повторять. Из университета меня не вышибут, конечно, кончу я его благополучно, только вот когда кончу? Может быть, к весне, а может, быть на 2–3 месяца позже, но, так или иначе, дело близится к “роковой развязке”».

До «развязки», похоже, могло и не дойти. Отцу Гроссман сообщал: «У меня есть “грандиозный” литературный план, я работаю понемногу, это дело не на месяц и не на два, а по меньшей мере на год, я с ним не спешу, писать не пишу, а только читаю всякую всячину и думаю по этому поводу, разрабатываю план кампании и набираю войска. Не знаю, выйдет ли что-нибудь из этого; иногда мне кажется, что кишка тонка. Но это не важно».

На зимние каникулы он ездил к жене, навестил и мать. Затем вернулся в Москву. О впечатлениях отцу рассказывал: «Дорогой батько, вернулся на родное пепелище. Начал заниматься, занятия в университете до сих пор слабо налажены, лаборатории работают, а лекции и семинары начнутся по-настоящему с 1-го февраля. Думаю, к 1-му мая освободиться от последней лаборатории, тогда буду себя чувствовать не связанным с университетом “территориально”. Из литературных подработок тоже кое-что предвидится – подрядился писать для “Огонька” очерк о Бердичеве».

Вроде бы опять успех. И все же, по словам Гроссмана, описана была «внешняя сторона жизни. А что сказать о нутре? Как-то меня отпуск выбил из колеи. Чувствую себя очень одиноко, как говорит Есенин, “я один у окошка, ни гостя, ни друга не жду”».

Цитата была, что называется, на слуху. Гроссман отсылал отца к строфе из поэмы С. А. Есенина «Черный человек»:

Ночь морозная.

Тих покой перекрестка.
Я один у окошка,
Ни гостя, ни друга не жду.
Вся равнина покрыта
Сыпучей и мягкой известкой,
И деревья, как всадники,
Съехались в нашем саду[75].

Гроссман и рассказывал, что одинок. А главное, чувство одиночества еще и постольку не оставляет, поскольку «на днях прочел (вернее, перечел) “Смерть Ивана Ильича”».

Речь шла о рассказе Л. Н. Толстого. И чувство одиночества там, как известно, лейтмотив[76].

Кроме отца, собеседников не осталось. Да и тема была необычна: «До чего жуткая, страшная книга. Как страшно – все страшные писания Эдгара По кажутся безвредными и нестрашными по сравнению с этой такой простой и обыденной историей. Жил Иван Ильич и помер. Весь ужас надвигающейся и неизбежной смерти, весь трагизм человеческого одиночества кажутся особенно страшными именно потому, что они так обыденны; кругом люди вполне равнодушные, заняты самыми простыми вещами – развешивают гардины, ходят в театр, а Иван Ильич умирает, умирает мучительно, ужасно, и никто не содрогается, не кричит, не воет от страха – это в порядке вещей, каждый так должен умереть».

По словам Гроссмана, обыденность и ужасала. Он подчеркивал: «Меня эта книга очень поразила. Я теперь все время думаю об этом. Ты не смейся надо мной, ведь, в конце концов, вопрос жизни и смерти – самый главный вопрос».

Действительно, вопрос экзистенциальный. Причем особо актуальный из-за особенностей характера, о чем и рассказывал отцу: «Знаешь, в моей жизни большая перемена та, что я совершенно разошелся с товарищами. Еще в прошлом году товарищи занимали большое место в моей жизни, теперь же почти что чужие люди – ни дружбы, ни откровенности, ни общих интересов. Вероятно, в этом виновата отчасти моя женитьба, а может быть, просто пришло время стать друг другу чужими. Но жены со мной нет, и я “как голый пень среди долин”».

Гроссман, похоже, не сомневался, что цитата будет опознана. Имелись в виду строки из поэмы М. Ю. Лермонтова «Хаджи Абрек»:

И я стою теперь один,
Как голый пень среди долин[77].

Выражение это уже к середине XIX века стало фразеологизмом. Так что не исключен другой, более поздний, вторичный источник цитаты – «Суд (Современная повесть)» Н. А. Некрасова[78].

Но в любом случае Гроссман акцентировал свое московское настроение. Отнюдь не оптимистичное: «Это чувство одиночества меня очень допекает, не хорошо жить, не имея близких людей. Ты не собираешься в Москву на время? Вот было б хорошо».

Его настроение родителей весьма беспокоило. А еще больше – отношение к университетским делам. Из-за экспедиции сын не закончил курс, зато успел жениться, доходы журналистские были спорадическими, а в итоге – двадцать три года, и ни работы постоянной, ни жилья своего, ни высшего образования.

Мнение свое родители высказали. И 30 января 1929 года Гроссман уже оправдывался: «Дорогой батько, получил сегодня от мамы письмо. Она получила твое письмо “полное негодования”, ее письмо тоже полно огорчения и негодования. Батько, я не помню точно, что именно писал тебе в том письме, но ты меня, очевидно, превратно понял. Я совершенно не намерен бросать занятия, наоборот, я сделаю все возможное, чтобы закончить их в минимальный срок (очевидно, к сентябрю). Думаю, что со всем багажом я развяжусь к весне, а на осень оставлю один зачет. Занимаюсь я теперь по 10 ч. в день, и мне было странно получить мамино письмо, в данное время оно пришлось не по адресу».

Диплом, по словам Гроссмана, оставался целью. Но в силе было и решение о выборе другой профессии: «Что касается того, что занятия мне “осточертели”, и увлекает меня некий литературный план, то по этому поводу ничего не могу сказать – именно так обстоит дело; меня это ничуть не огорчает, наоборот, радует, но это мне не мешает сознавать, что университет я кончу, и не только кончу вообще, а в минимально возможный срок (подчеркнуто автором. – *Ю. Б.-Ю., Д. Ф.*); сделаю все для этого. Меня очень огорчает, что ты так воспринял мое письмо. Жду твоего письма».

Отца, похоже, не убедил. 12 февраля вновь пытался оправдаться: «Дорогой батько, получил твое письмо. Ты пишешь, – “прости, пишу резко”. Прощать по существу нечего, ибо все, что ты пишешь, верно. Верно, и поэтому-то особенно неприятно (вернее, тяжело) мне было читать твое письмо. Я мог бы кончить университет в прошлом году, но запустил свои дела и начал по-настоящему заниматься лишь теперь».

Значит, к обычному сроку обучения в университете добавились не только два рабфаковских года. Из-за экспедиции в Узбекистан – третий, без чего вполне можно было бы обойтись.

Оправдать свои упущения сын не смог. Признавал отцовскую правоту: «Отчего я это сделал (запустил)? Были тут разные причины, но, в общем, главная – халатность, расхлябанность. Что говорить, порядочное свинство».

Характеристика эмоциональная, но относилась она к ситуации вполне реальной. «Вузовец» семь лет пользовался финансовой помощью отца, тот надеялся, что сын, завершив летом 1928 года образование, будет зарабатывать сам. Дополнительные месяцы в университете – непредвиденные расходы. Гроссману-младшему предстояло самому выбрать один из двух вариантов. Первый – найти сносно оплачиваемую работу и не пользоваться отцовской помощью. Но тогда пришлось бы уделять меньше времени университетским делам, значит, намного увеличить срок обучения. Второй – жить на отцовские деньги, зато и диплом получить скорее.

Обоим выбор был ясен. Диплом следовало получить как можно скорее, рассуждения же об угрызениях совести ничего, по сути, не меняли. Ну, возможно, планы отчасти корректировались: «Теперь о литературе – батько, ты совершенно прав, я абсолютно с тобой согласен, что нет литературы вне жизни. Я пошлялся по издательствам и убедился, что пишущая братия – самая нехорошая разновидность человечества – жалкие, пустые люди, мыльные пузыри. Я иначе не мыслю дальнейшей жизни своей, как совмещения работы в производстве с “вечерними” литературой занятиями».

Должность инженера подразумевала стабильный доход, литературные же заработки были случайными. И Гроссман акцентировал: «Как я живу теперь – занимаюсь – днем в лаборатории, вечерами и ночами готовлюсь к зачету по технич[еской] химии, в промежутках между занятиями, да и во время их скучаю по Гале. Ужасно глупо и тяжело это – влюбился по-настоящему на склоне лет, наконец, женился, неделю-две поживем вместе, а потом длиннейшие месяцы разлуки. Вот и вся моя жизнь. Да, в трамвае еще (слава богу, едет он 30 минут) философствую “про жизнь и про всё”».

Гроссман цитировал одну из так называемых сказок Горького – «О маленькой фее и молодом чабане». Действие соответственно разворачивается в сказочном пространстве: «Жили в том лесу эльфы и феи, и старые мудрые гномы построили в нем под корнями деревьев дворцы свои, сидя в которых они думали думы про жизнь и про все другое, о чем

нужно было думать для того, чтобы стать мудрецом».

Подразумевалось, что и отец помнил: не удалось герою сказки «стать мудрецом». Шутил Гроссман-младший, как часто бывало, невесело.

Матери 20 февраля он сообщал, что много времени уделяет делам университетским. Гораздо больше, чем раньше: «У меня ничего нового, занимаюсь, абсолютно никого не вижу, абсолютно нигде не бываю».

Диплом Гроссман планировал к лету получить. Затем, согласно закону о всеобщей воинской обязанности, армейская служба. Обязательная и для выпускников университета. Правда, срок для них поменьше. Но все равно, как рассказывал он матери, перспектива такая не привлекала: «Год прослужить для меня вещь не страшная, наоборот, я бы охотно и с удовольствием это проделал бы, только не с этой осени. Ей-богу, я уже не в силах все время жить порознь с Галей. Это какое-то издевательство, выматывает буквально все внутренности. 2 недели вместе, 4 месяца порознь, и так уже с прошлого Рождества. Думаю, что если с осени мы опять расстанемся на год, то это уже совсем не по силам. Поэтому хочу осенью взять работу на военно-химическом заводе, работников завода освобождают от военной службы (строевой). Думаю, что это удастся, мы теперь в большой моде и военное ведомство нами очень интересуется».

Описывал также свое эмоциональное состояние. Тут изменения были незначительны: «Что тебе сказать о своих настроениях? Пожалуй, основное то, что я скучаю по Гале, настолько скучаю, что иногда у меня рождается мысль вызвать ее в Москву, не дожидаясь окончания занятий, судя по ее письмам, она тоже не слишком бы упиралась и приехала бы. Но надо терпеть, ведь это ей разбило бы всю жизнь, как-нибудь дотерпим до мая».

Причиной такого настроения была не только разлука с женой. Еще и вовсе утратил интерес к московскому окружению, даже акцентировал, что люди раздражают «глупостью, ограниченностью, эгоизмом. А так вот, как теперь – хорошо. Не вижу никого, и баста».

С отцом дела учебные обсуждал более подробно. Например, 27 февраля: «Планы действительно существуют для того, чтобы эффектно разрушаться, но я надеюсь, что мой будет исключением. Сейчас закончил подготовку зачета по технической химии, думаю послезавтра сдавать его, беда с ним, материалу так много, что когда кончаешь книгу, забываешь начало, начинаешь – ускользает из памяти конец».

Перспективу мобилизации тоже обсудил. Химики в

университете проходили специальную подготовку, о чем Гроссман и рассказывал: «Служба в армии – год, служить я буду, вероятно, в какой-нибудь химической части, мой “военный профессор” говорит, что служба эта будет заключаться в том, что 3 месяца пробуду в строю, а затем буду привлечен к работе в лаборатории».

Его не пугали «3 месяца в строю». Другое беспокоило: «Но есть “но” – моя семейная жизнь. Ты пишешь – почему это житье врозь меня так расстраивает? Это очень понятно, эти беспрестанные разлуки на месяцы после свиданий на несколько дней – чертовски тяжелая штука. Ужасно одиноко, и эта всегдашняя тоска, и счет дней до свиданья действуют на меня как хорошая зубная боль. Вот и теперь Галя приедет числа 15-го – 20-го апреля на недели две и опять уедет, а там год службы. Убей меня гром, в жизни бывают вещи похуже, я это прекрасно знаю, но, уверяю тебя, мне от этого не легче».

Он конкретизировал планы на будущее. Подразумевал, конечно, и свое чувство вины за настоящее: «Знаешь, дорогой мой, окончить ВУЗ для меня сделалось какой-то навязчивой идеей, я теперь только об этом и думаю (ты, вероятно, улыбнулся, прочтя эту фразу, не совсем добродушной улыбкой). Я мечтаю, вот кончу, выйду в жизнь на широкую дорогу, работа, новые люди, новые мечты, литература. Дай вам бог, молодой человек, удачи».

Похоже, отец иронически оценил эмоциональный рассказ сына о «житье врозь». 14 марта Гроссман отвечал: «Теперь по “семейному” поводу. Ей-богу, батько, я не привязан к женской юбке. Если хочешь, то скажу тебе откровенно, как я объясняю себе себя. Я не удовлетворен во многих отношениях – общественном, личном и прочая, я очень одинок. До женитьбы я так и констатировал – тут плохо, там плохо. Теперь же все свои “горести” я склонен объяснять одной причиной, тем, что я не живу вместе с Галей».

Объяснение, правда, не счел убедительным. Почему и добавил: «Конечно, я люблю Галю, но, трезво рассуждая, тяжелое настроение у меня не только потому, что ее здесь нет. Когда она приедет, будет очень хорошо, но не будет совсем хорошо. Так что ты напрасно думаешь, что я строю свои жизненные планы “на базисе” женской юбки. А когда я тебе говорю, что с Галиным приездом сразу все станет хорошо, то я говорю неправду».

Сказанным, похоже, вновь остался недоволен. И опять добавил, что это – «между нами, батько: как говорят англичане, “говоря откровенно, как мущина с мущиной” (sic! – *Ю.Б.-Ю., Д. Ф.*)».

Отметим, что цитированный выше фрагмент опубликовал и Губер. Причем очередной раз нарушил им же оговоренный принцип: «Никаких орфографических исправлений в текст писем я не вносил…» В губеровском варианте слово «мужчина» передано орфографически верно. Но Гроссман не ошибся, а пошутил. Что называется, умерил пафос. Указывающее на простонародный выговор написание «мущина» явно контрастировало с книжным оборотом «как говорят англичане».

Лишь в постскриптуме он рассказал о случившемся на день раньше. В дачном поселке, где нанял квартиру, «на опушке леса застрелилась девушка: специально приехала из города и застрелилась. Так это страшно было – раннее весеннее утро, яркое солнце, звенят падающие с сосен капли, и на белом снегу лежит молодое существо с развороченным черепом и черными волосами, забрызганными кровью».

Итак, беспричинная неприязнь к недавним друзьям, одиночество, страх смерти, постоянная тоска. Психическое состояние Гроссмана в ту пору вряд ли соответствовало норме. Уместна другая характеристика – депрессия.

Режим одиночества

От депрессии отвлекали только дела университетские. Благо и свободного времени практически не было.

Переутомление тоже важную роль играло. 26 марта, перечислив успешно преодоленные зачеты и экзамены, рассказывал отцу: «В остальных смыслах я “не живу”, человеческое сознание ограниченно и не может вместить сразу несколько вещей. Ничего не читаю, нигде не бываю, никого не видел. Зато как хорошо будет сдать последний зачет и покончить с учением».

Но «покончить с учением» в марте Гроссман не мог. Депрессию пытался игнорировать: «У нас уже 3 дня весна, смешное время, люди в эти дни балдеют, и те, которым абсолютно не на что надеяться, о чем-то мечтают, и те, которым следует плакать, почему-то улыбаются. Хорошее время, я больше всего люблю первые дни нашей весны, когда солнце греет едва-едва, и воздух какой-то надломленный, – хотя и холодный, но пахнет теплом. Ну а мне не нужно плакать и печалиться, поэтому мне в эти дни очень хорошо. Я люблю природу, ей-богу».

Он строил планы на лето. После завершения курса полагалось не менее двух месяцев работать на предприятии либо в лаборатории, потому и обратился за помощью: «Ты знаешь, батько, мне бы очень улыбалось взять практику на Донбассе, уж больно мне надоела Москва».

Разумеется, не столица «надоела», а необходимость отыскивать приемлемое в аспекте цены жилье, да еще и тратить ежедневно не менее двух часов на дорогу к университету и обратно. Семейные обстоятельства тоже приходилось учитывать. О чем и сообщал: «Но, с другой стороны, я теперь пытаюсь устроить Гале практику в Москве, если это удастся, то мне придется тоже остаться здесь, если же нет, то не будет смысла сидеть в Москве. Как ты думаешь, у вас нельзя было б в этом случае устроиться – хотя бы в вашем институте? Я бы лазил в шахты вместо всех вас».

Науку он призванием своим давно не считал, и все же порой увлекался задачами научными. 6 апреля рассказывал: «Единственное спасение то, что предмет очень интересный, и я читаю и плаваю в формулах с большим удовольствием. Это не техническая химия, где все приходилось брать зубрежкой. Любопытно, что за этим чтением и разбором формул не замечаешь, как бежит время. Сел утром, кажется, что прошло 2 часа, глядишь, уже 5 вечера».

От депрессии не избавился. Но отца успокаивал: «Могу сказать, что психически последнее время я чувствую себя хорошо, и что мое всегдашнее скверное настроение из всегдашнего сделалось довольно редким».

Идея летней работы в отцовском институте вскоре утратила актуальность. Жена сообщила, что на практику ее отправят именно в Москву. Казалось бы, все складывалось удачно, однако родственников по-прежнему тревожило гроссмановское «тяжелое настроение», точнее, обусловленное психически его отношение к университетским делам. И – неожиданно обнаружившееся пристрастие к спиртному. Об этом сообщала отцу, в частности, Алмаз. Для тревоги основания были: срок получения диплома оставался неясным.

10 апреля, отвечая на письмо отца, Гроссман подробно рассказывал, почему вновь не успел решить все учебные задачи в срок. Перечислял объективного характера препятствия – ремонт в лаборатории органической химии, дефицит реактивов. А главное, только «на последние два синтеза я потратил около трех недель, роясь в немецкой литературе…».

Сыграли, правда, немалую роль и другие факторы, отцу известные. Вот тут пришлось всерьез оправдываться: «Теперь относительно пивных. Я действительно довольно часто посещаю их. Но между посещением пивных и пьянством нет сходства. Зайти в пивную и выпить бутылку пива – в этом нет ничего ужасного. Конечно, бывали случаи, когда я действительно солидно выпивал, не только пиво, но и водку, и был “пьян как сапожник”…»

Надо полагать, о подобного рода «случаях» отец тоже знал. И Гроссман доказывал, что можно не тревожиться: «Но и в такой выпивке, устраиваемой разв месяц или полтора, я не вижу ничего ужасного. В самом деле, такие выпивки не вредны для здоровья, потому что они редки. Такие выпивки не мешают работе, опять-таки потому, что они редки».

Строя аргументацию, Гроссман ответил и на предполагаемое отцовское возражение относительно перспективы алкогольной зависимости: «Совершенно верно. Но втянуться может или очень убогий, или очень и очень несчастный человек. Я же не умственно убогий, а когда я чувствую себя несчастным или одиноким, у меня нет ни малейшего желания пить, наоборот, выпиваем мы, когда хочется повеселиться, попеть, “побаловаться”. Я знаю, что ты держишься другой точки зрения и считаешь, что все это, даже в самых малых дозах – свинство. А мне кажется, что неплохо; хотя, конечно, хорошего в этом тоже ничего нет. Вероятно, тебе писали и про этот мой “грех”».

Он пытался доказать отцу, что от алкоголизма защищен вполне надежно. Постольку защищен, поскольку сформировалось «глубокое внутреннее сознание, что жить можно, только служа какому-нибудь высокому делу и любя это дело. Жить не для себя и не собой и узким кругом двух-трех людей. К большому своему горю, я не нашел такого дела, но верю, что найду. У Рабиндраната Тагора есть такая фраза: “О, великая даль, о, пронзительный зов твоей флейты”. Ну вот, я думаю, что этот зов выведет меня на настоящую дорогу, по которой ходят настоящие люди. Ты меня прости за высокий стиль, но ведь он искренен».

В общем, от пьянства защитит мечта о «высоком деле» и служение ономy. Аргументирован тезис стихами из сборника «Садовник». Они уже к середине 1920-х годов стали расхожей цитатой[79].

Гроссман быстро наверстывал упущенное, кроме того, к летней практике готовился. Практиканта могли направить в любой город СССР, если не успел ранее договориться с администрацией какого-нибудь предприятия. Жена получила назначение в Москву, соответственно, он собирался туда же назначение получить. Неясно было только, где придется работать после вуза. Актуальной стала проблема так называемого трудоустройства.

В монографии Бочарова эта проблема лишь обозначена. Исследователь указал: «Окончив университет в 1929 году, Василий Семенович уехал в Донбасс, где работал и химиком-газоаналитиком на шахте Смолянка II, и старшим научным сотрудником в Донецком областном научном институте патологии и гигиены труда, и ассистентом кафедры неорганической химии в медицинском институте»[80].

Следует из всего сказанного, что выпускник университета обеспечивал безопасность в шахте, решал задачи научные, да еще и вузовским преподавателем стал. Неясно только, чем обусловлен переезд в Донбасс. Уместно предположить, что сам выбрал, а так ли было – прямого ответа нет. Вместо этого цитируется суждение Гроссмана. «Я благодарен, – писал он позднее, – судьбе, не давшей мне остаться в Москве, в привычной мне среде, в привычных условиях. Мне кажется, всем молодым людям – инженеры ли они, писатели, врачи, экономисты – не нужно начинать работу в больших центрах».

Значит, хотел остаться в Москве, но это было невозможно в силу неких причин. И все же результатом доволен – «благодарен судьбе».

Если учитывать контекст, причины, в силу которых отъезд был нежелателен, понятны. Гроссман, по его словам, профессию

химика считал средством заработка, мечтал же о литературной карьере. Для нее в Москве условия сложились благоприятные, менять что-либо вроде бы незачем. А он в Донбасс отправился. Правда, заявлял, что это лишь на пользу пошло. Но оценка – поздняя.

Вместо объяснений Бочаров опять привел гроссмановские аргументы: «Мало ли в Москве людей, работавших когда-то на Волге, на Каспийском море, в лесах Сибири, на рудниках Урала, на бакинских промыслах! Все они имеют свой особый ценный характер. Он сказывается в человеческих отношениях, в деле. Люди эти обогащены тем, что усвоили, пережили. Они формировали свой характер в условиях своеобразных, подчас трудных. Работалось им не всегда легко и гладко. Но молодые люди, мне кажется, выигрывают от этого».

Значит, «выигрывают», закаляя характер в трудной работе. Но все равно сказанное не объясняет, почему Гроссман – вопреки собственной воле – уехал из Москвы. Ясно только, что и другие «молодые люди», покидали «большие центры», где окончили вузы.

Бочаров, используя гроссмановские цитаты, дал понять: в столице у выпускника не было возможности остаться. А подробные объяснения советским читателям не требовались. В 1990 году, когда вышла монография, они и так понимали, что имелось в виду принудительное направление окончивших вузы на работу.

Сама концепция принуждения сформулирована и обоснована в специальном постановлении Совета Народных Комиссаров, принятом 4 июля 1923 года. Речь шла о необходимости возмещения окончившими вузы «расходов, понесенных государством на их содержание»[81].

Поначалу речь шла о возмещении только стипендиальных расходов. Выпускнику надлежало ликвидировать задолженность, после чего ему и вручали постоянный сертификат (диплом), подтверждавший окончание вуза. До этого – лишь временное удостоверение.

Выпускник имел право самостоятельно выбрать конкретное предприятие или учреждение, подготовить оттуда запрос, так называемую заявку, а затем согласовать направление в своем вузе. Если же не сумел, то выбирал из списка, подготовленного специальной комиссией. В любом случае он должен был, получая жалованье по месту работы, компенсировать стипендиальные расходы государства.

Характерно, что принудительно «трудоустроенным» жалованье на предприятиях или в учреждениях выдавалось без каких-либо вычетов, компенсирующих стипендиальные расходы.

Компенсацией считалась обязательная работа по направлению государственной комиссии. Срок зависел от времени обучения, но обычно не превышал пять лет.

К весне 1929 года ситуация была уже иной. Готовился новый документ, ограничивавший права выпускников, слухи обсуждались «вузовцами». 8 мая Гроссман сообщил отцу: «Теперь относительно твоего предложения работать в Сталине (Макеевке). Мне это улыбается. Даже не улыбается, а больше, это то, чего я хочу, что мне нужно».

Макеевка – промышленный центр в нескольких километрах от Сталина. Там, в частности, находились и шахты, где всегда требовались химики-аналитики. Особенно – с университетским образованием.

Выпускника могли направить в любой район, Гроссман же хотел выбрать, как минимум, знакомый, вот и понадобилась отцовская протекция. Соответственно, отметил: «Из всех мест в СССР Сталино (округ) меня наиболее привлекает. Поэтому, если возможно договориться теперь о работе, обязательно сделай это. Летняя практика кончается к 1-му октября, следовательно, если нужно обусловить срок, то говори о начале октября. К этому времени и университетские мои дела будут ликвидированы полностью».

Если жить и работать не в столице, так лучше с отцом по соседству. Для чего и следовало заблаговременно подготовить запрос администрации какого-либо макеевского предприятия. Большинство же однокурсников принципиально иную задачу решали, о чем и сообщал 19 мая: «Вообще у нашей публики тенденция – остаться в Москве во что бы то ни стало».

Он был предусмотрителен. Днем раньше Совнаркомом и Центральным Исполнительным Комитетом Советов принято Постановление «О порядке размещения на работу лиц, окончивших высшие учебные заведения и техникумы».

Согласно этому документу, несколько позже дополненному специальными инструкциями, вводилось исключительно плановое направление выпускников на работу. Оно производилось местными комиссиями Народного комиссариата труда – по заранее поданным в установленный срок заявкам предприятий и учреждений.

Выпускников лишили права выбирать место «трудоустройства» произвольно. Согласно новым правилам, выбор разрешался только в пределах списка, подготовленного комиссиями по «размещению» – с учетом потребностей всех наркоматов. Правда, исключение допускалось в случае «именной», заявки, т. е. вызова конкретного специалиста. Но и

тут запрос надлежало подготовить заранее, а в дальнейшем – согласовать. Определяющими были интересы государства, если точнее, правительства.

Речь уже не шла о компенсации стипендиальных расходов. Компенсировались затраты на образование в целом. А главное, государственные предприятия и учреждения обеспечивались специалистами.

Это считалось вполне логичным. Был признан завершенным этап так называемой новой экономической политики, частное предпринимательство запрещалось на законодательном уровне. По сути государственными стали все предприятия и учреждения. В силу чего правительство, расходуя финансовые средства на подготовку специалистов, обеспечивало потребности государства. Отсюда и сама идея компенсации.

Но компенсация в данном случае – лишь предлог. Прежде вопрос привлечения и, конечно, удержания высококвалифицированных кадров решался администрацией предприятия или учреждения. Соответственно, необходимостью становилось обеспечение льгот. «Размещение» же позволяло экономить на заработной плате тех, кого направляли в отдаленные районы СССР. Жить там желающих было немного, и принудительное «трудоустройство» стало эффективным инструментом новой кадровой политики.

Выпускники, не выполнившие распоряжение НКТ, оставались без дипломов. Законодательно ограничивались и возможности их получить где-либо работу по специальности.

Ну а «размещенные» оказывались чуть ли не крепостными администрации предприятия либо учреждения. Сменить место работы разрешалось им лишь три года спустя. В противном случае – перечисленные выше санкции.

Кстати, у термина «размещение» был тогда синоним – «разверстка». Несколько позже использовался уже другой. Он и оставался в в обиходе до распада советского государства – «распределение молодых специалистов».

Гроссман пытался обеспечить себе работу поближе к отцовскому институту. Средств не хватало, чтобы нанять в Москве квартиру для семьи, а предприятиям, где «размещали» выпускников, полагалось их жильем обеспечить. И жена имела право в ту же местность получить назначение.

Проблему квартиры следовало решить срочно. И переезд стал в какой-то мере желательным. Из двух зол приходилось выбирать меньшее.

Выпускник

На исходе мая Гроссман полагал, что планы в целом ясны. Однако вскоре ситуация несколько изменилась. В письме отцу рассказал, что жена «приезжает в Москву. Это то, что у меня хорошего. Да, вот что: зимой мне предстоит стать папашей, а тебе дедушкой».

О перспективе узнал днем раньше от жены. И комментировал иронически: «Не знаю, считать ли это хорошим или плохим. Во всяком случае, докторица смотрела Галю и нашла, что “выхода из интересного положения” ей нельзя делать. Да и Галя сама не хочет. Чудно́. У меня будет сын (а вдруг дочь?). Как ты смотришь на такую новость?»

Забот у Гросссмана прибавилось. Ко всему прочему, еще не знал, на каком предприятии станет практикантом, от чего и зависел летний заработок. Тем не менее подчеркнул: «Настроение у меня, в общем, хорошее, только неприятно с практикой, да и заниматься надоело отчаянно, а как назло 2 последних зачета – сплошная зубрежка, но это пустяки, 3 недели посижу основательно, и точка».

До окончания университета оставалось немного. И Гроссман рассказывал отцу: «А настроение у меня хорошее оттого, что чувствую себя “у врат царства”. Знаю, что “царство” – тяжелая штука, и что шипов в жизни больше, чем роз, но, тем не менее, хорошо».

Очевидна в письме аллюзия на драматическую трилогию К. Гамсуна: «У врат царства», «Игра жизни», «Вечерняя заря». Практически она по мере публикации на родине автора переводилась на русский язык и уже в 1910-е годы стала весьма популярной[82].

Герой трилогии, как известно, выпускник университета, создающий новое, чуть ли не революционное направление в философии. Он стремится отстоять свою индивидуальность, хотя от него отрекаются едва ли не все былые единомышленники: учитель, защищающий собственный профессорский авторитет, друг, прельстившийся академической карьерой, жена, не выдержавшая испытания бедностью. И все же философ, сохраняя верность себе, обретает верных последователей. Но в итоге, смирившись, уступает социальному давлению, сам отрекается от прошлого и вскоре значительно опережает былых конкурентов на карьерном поприще.

Отсюда, возможно, следовало, что Гроссман смирился, предпочтя весьма сомнительным перспективам литературного

успеха – стабильную инженерскую службу. Далее же он сообщал: «Хочется мне много читать по хозяйственным вопросам – разобраться самому, что и как у нас делается, но главное, хочется в жизнь войти, перестать быть зрителем, самому принять в ней участие. Не знаю почему, но от мысли остаться в Москве меня воротит, мне кажется, что все здесь “дутое”, а что “настоящее” там, на “периферии” и, конечно, прежде всего, в Донбассе. Ведь не хорошо я здесь жил, малосодержательно, пусто. И под этим периодом своей жизни надо поставить точку. Все изменить – обстановку, знакомых, интересы и, конечно, себя самого. Так или иначе, осенью отсюда уеду».

Вряд ли он пытался убедить отца. Похоже, что себя. Из Москвы все равно полагалось уехать, вот и доказывал, что не отступает, а готовится к наступлению.

Отец предлагал согласиться и на другую уступку. В связи с чем Гроссман отметил: «Да, дорогой мой, ты пишешь насчет того, чтобы стать мне Василием Семеновичем».

Подразумевалось, что сочетание «Иосиф Соломонович» – акцентированно еврейское. Замена же позволила бы отказаться от «безоружного вызова». Тем более что в личных документах тогда не было графы «национальность».

Замена – довольно частое явление, причем не только в еврейской среде. Право свободно выбирать имя и фамилию считалось достижением нового режима. Его предоставил гражданам совнаркомовский декрет еще 4 марта 1918 года. Процедуру задумывали как доступную каждому совершеннолетнему. Одиннадцать лет спустя она не слишком усложнилась. Следовало подать заявление в соответствующий отдел местного Совета, предоставив туда официальные документы, удостоверявшие личность заявителя. И разумеется, уплатить положенную сумму. Далее уже сотрудник учреждения готовил объявление в газете. Оно там публиковалось сообразно очередности, а затем претендент в двухнедельный срок получал новые сертификаты[83].

Совет Гроссману не только отец дал. Вот сын и подчеркнул: «Интересно, что мама мне в открытке написала сегодня точно твоими словами об этом самом – “сделай это перед получением диплома”».

Понятно, что удобнее было б сразу оформить диплом (или временное свидетельство), где значились бы новые имя и отчество. Не пришлось бы затем менять сертификат. Но Гроссман принял иное решение, о чем и сообщил отцу, по-прежнему иронизируя: «Я бы сам рад, но, во-первых, это стоит 25 р., а во-вторых, как-то неловко превращаться из Иосифа в Василия».

Дело, разумеется, было не в стоимости замены. Тут отец вновь помог бы. Да особо и «превращаться» не пришлось бы: Гроссмана с детства называли Васей, он и подписывал так письма родителям. Однако на уступку не согласился.

На том и закончилось обсуждение проблемы русификации, точнее, меры конформизма. Через несколько дней, отвечая на очередное письмо, Гроссман-младший вернулся к перспективе «стать папашей». Отец предупреждал о возможных и даже обязательных препятствиях в реализации планов на будущее. Сын же отвечал: «Насчет того, что мне грозит “погрузиться в тину нечистую мелких помыслов” я уже думал. Нет. Если человек “погружается”, то ему ничего не поможет, будь он трижды свободен от всяких материальных тягот. А если в нем есть подлинное глубокое желание жить настоящей жизнью, то он ей и будет жить, вопреки и несмотря на “тормозы”. Таково мое мнение, мнение человека, знающего “тяготы жизни” только по книгам. Может быть, через год я изменю свое мнение. Поживем – увидим».

Отец, судя по ответу сына, аргументировал свои тезисы цитатой из хрестоматийно известного стихотворения Некрасова «Рыцарь на час». Как раз там и сказано: «Погрузился я в тину нечистую мелких помыслов, мелких страстей»[84].

Ну, а сын, опознав цитату, утверждал, что понимает ответственность, предвидит множество затруднений, но решение все равно неизменно. После чего следовала долгожданная новость: «Я кончил университет. А может быть, вернее сказать, ты кончил университет. В таком случае поздравляю тебя».

Сама тема была деликатной. И сын подчеркнул, что «не стоит писать письма мои по поводу этого “треугольника”: “я, ты и университет”».

Далее, сводя разговор к шутке, цитировал суждение жены. Она, по его словам, заявила, что «“ст[арший] Гроссман выполнил учебный план химич[еского] отд[еления] 1-го МГУ”».

Получилось, что не только сын помнил отцовскую помощь, но и сноха оценила по достоинству. Затем Гроссман сообщил: «Теперь надо пойти в деканат выправить себе свидетельство. Насчет практики. Практику я получил в Москве на большом мыловаренном заводе. Работа аналитическая – определение жирных кислот, свободной щелочи, анализы соды, стирального порошка и т. д. Вчера работал первый день. Скучновато».

Жил он в пригороде, а завод – московский. Отцу рассказывал: «И еще неприятно, что это чертовски далеко. 2 часа езды, и приходится стоять в битком набитом трамвае».

Впрочем, Гроссман убеждал отца, что не зря время тратит.

Подчеркивал: «С первого дня я убедился, что практика мне необходима. Учеба это одно, а работа в производстве совсем другое. У меня такое чувство, что я ничего не знаю; утешаю себя тем, что все оканчивающие рассказывают о себе то же самое, потом быстро входят в курс дела и видят, что они знают. Надеюсь, что и со мной будет так же».

Однако самое трудное лишь предстояло. Следовало уточнить планы на будущее: «В связи с Галиным “грядущим молодым человеком” я решил (в противоположность всем прочим ранее состоявшимся решениям) в этом году не пойти в армию, а работать по военной промышленности».

Подразумевалось, что даже годичный срок армейской службы непременно обусловит финансовые затруднения семьи. Гроссман-младший планировал избавить беременную жену от «разверстки», а жалованье рядового в Рабоче-крестьянской Красной Армии было мизерным.

Решение принималось не без подсказки отца, помогали опять родственники и отцовские знакомые. Прежде всего – «старая большевичка» Г. А. Флаксерман-Суханова.

Она и в аппарате ЦК партии работала, и с НКТ была связана. Ее стараниями вскоре устроена встреча университетского выпускника с представителем руководства Высшего Совета Народного хозяйства. Как известно, эта организация, созданная в 1923 году, курировала практически все отрасли.

Протежировать выпускнику взялся функционер ВСНХ, ответственный за удовлетворение нужд военной промышленности. О встрече Гроссман сообщал отцу: «Мы с ним поговорили (я окончил по специальности органическая химия с уклоном “отравляющие вещества”), и он обещал меня “использовать” по специальности; через дней 10 выяснится, куда меня направят».

Складывалось все довольно удачно, однако в итоге Гроссман не соблазнился перспективами сокращенного рабочего дня и высокого жалованья. Отцу вскоре сообщил: «Я не раскаиваюсь, что отказался от работы в ВСНХ, бог с ней; это чиновничье дело мне совсем не по душе».

Выбор другого назначения оставался неясным. Отцу рассказывал, что «ходил в свою университетскую комиссию. Дело представляется в весьма печальном свете. Места у них для химиков есть, но из рук вон плохие: курский сахар[ный] завод, винокуренный завод и т. д. Это не годится во всех отношениях – во-первых, отвратительная работа, во-вторых, уездная (подчеркнуто автором. – *Ю.-Б.-Ю., Д. Ф.*) провинциальная глушь».

Оставалось лишь вновь просить отца найти работу на

предприятиях Донбасса. Помимо уже перечисленных выше преимуществ, было еще одно: угольная промышленность считалась еще и оборонной, потому инженеров-горняков обычно не призывали в армию.

Вопросы «размещения» были улажены, выпускник 1-го МГУ выехал в Донбасс, о чем и сообщал позже в анкетах. Он стал инженером, как планировал, но и от планов литературных не отказался. Лишь на время их отложил.

Уже после отъезда – на исходе декабря – решена была одна из задач, о которых рассказывал отцу в письме. Самый популярный московский иллюстрированный еженедельник «Огонек» поместил очерк «Бердичев не в шутку, а всерьез»[85].

Это был заметный успех. Выше отмечалось, что как журналист Гроссман дебютировал после экспедиции в 1928 году. Но заметка и небольшая статья лишь обозначили претензии на журналистский статус. Очерк же о родном городе свидетельствовал, что планы литературные реализуются поэтапно.

Разговор всерьез

Очерк, помещенный редакцией «Огонька» в последнем декабрьском номере 1929 года, крайне редко упоминается литературоведами. Причины вполне понятны. Это и не дебют Гроссмана в печати, и не проза зрелого писателя.

Лейтмотив очерка – дежурное тогда противопоставление «нового быта» и прежнего. Так, ликвидирована пресловутая «черта постоянной еврейской оседлости», соответственно, в Бердичеве уже ничего «местечкового» нет, это динамично развивающийся советский город.

Сама тема – равноправие евреев – тоже не нова. О том и раньше писали, и позже. Афористически итог подведен в романе И. А. Ильфа и Е. П. Петрова «Золотой теленок». Публикацию, кстати, московский журнал «30 дней» начал в январе 1931 года. Как объясняет один из романных персонажей иностранному журналисту, в СССР «евреи есть, а еврейского вопроса нет»[86].

При этом соавторы подчеркнули: цитированное выше суждение иностранец воспринял поначалу в качестве парадокса. Он в каждой стране изучал «еврейский вопрос», который, по его мнению, везде и всегда актуален. Убедившись же, что в социалистическом государстве иная ситуация, потерял интерес к окружающему. Зря приехал.

Шутка была тогда без всякого комментария понятна соотечественникам Ильфа и Петрова. Согласно пропагандистским установкам, за границей евреи равноправны лишь формально, антисемитизм же по-прежнему элемент государственной политики, а в СССР любые проявления ксенофобии невозможны, вот и «еврейского вопроса» нет.

Верили соавторы этому, нет ли – не так важно. В любом случае понятно, что не только мнение персонажа выразили, но и весьма эффектно сформулировали дежурный пропагандистский тезис: «еврейский вопрос» ликвидирован в СССР на деле, а не на словах.

Очерк, в «Огоньке» напечатанный, вроде бы о том же. Вот только акценты иные. Для Гроссмана антисемитизм – проблема актуальная. Что и заглавием подчеркнуто, и первой же фразой: «Всякий антисемит, услышав слово “Бердичев”, ухмыляется».

Получалось, что в советском государстве антисемитов немало. И мыслят они досоветскими стереотипами: «Бердичев – синоним еврейской торговой буржуазии, гнездо спекулянтов, – город, где живут торговлей и обманом».

Согласно Гроссману, стереотипы достаточно распространены.

В силу дремучего невежества антисемит, коряво по-русски изъясняющийся, убежден, как прежде, что Бердичев – «это “ихняя столица”».

Характерно, что «ихняя», а не просто «еврейская». Для антисемита даже слово «еврей» – ругательство, публично его и произносить не всегда удобно.

По Гроссману, не только антисемиты мыслят стереотипами. Многие советские граждане убеждены, что о Бердичеве «вслух рассказывать не стоит. “Откуда ваша жена родом?” – “Да так, знаете ли, из Киевской губернии”…».

Если сам топоним Бердичев все еще ассоциируется с «еврейским мифом», а жена родом из пресловутой «ихней столицы», это мужа компрометирует. И он учитывает мнения антисемитов. Вот и старается избежать опасной темы, будучи, как сказано в очерке, «просто гражданином».

Гроссман утверждал, что стереотипы разрушить следует. Решить просветительскую задачу: «“Просто гражданам” надо рассказать о Бердичеве. Пусть знают, что город этот – вполне хороший честный советский город, ничуть не хуже Уфы или Волоколамска».

Ирония была горькой. Волоколамск и Уфа, в отличие от Бердичева, не ассоциировались когда-либо с чертой оседлости. Не еврейские, значит, города, поэтому могут быть «хорошими» и «честными».

Далее же кратко описывал географическое положение и, конечно, историю родного города. После чего отмечал: «К концу XIX столетия в Бердичеве было около 60 тысяч человек населения. Оно состояло из украинских, польских и еврейских рабочих, католических монахов, крупных польских помещиков и торговцев. До войны Бердичев представлял собой крупный центр оптовой торговли мануфактурой и кожей».

Значит, не такой уж «глушью» был и тогда уездный город Киевской губернии. Специфика его акцентирована: «По национальному составу населения в Бердичеве преобладают евреи. Это, кажется, единственное, что твердо известно о Бердичеве каждому “механическому гражданину”».

Однако Гроссман настаивал, что и в Бердичеве «еврейский миф» не соответствовал реальности. У евреев никаких преимуществ не было и не могло быть: «Старые рабочие рассказывают такие жуткие подробности об эксплуатации их хозяевами, что так и кажется, что это было на каторжных работах в далёкие прошлые века. В таких условиях работали вместе сотни еврейских, русских, польских рабочих, работали на сапожных фабриках, в портняжных мастерских, на мелких

металлофабриках, в мастерских гнутой мебели».

В конце XIX века началось формирование нелегальных рабочих объединений. Ну а первую забастовку на бердичевских предприятиях организовали сапожники в 1901 году, требуя хотя бы «12-часового рабочего дня и повышения оплаты труда за выделку пары ботинок с двух копеек до трех. Забастовка была ими выиграна. Изо дня в день, из года в год, бердичевские рабочие вели упорную борьбу с хозяевами. Благодаря крепкой спайке между отдельными союзами, мужеству рабочих, не боявшихся многонедельных голодовок во время забастовки, борьба эта была победоносна».

Угнетатели же, понятно, с властью солидаризовались. Почему и тюремные камеры в Бердичеве «были всегда битком набиты».

В советскую эпоху, по словам Гроссмана, ситуация уже иная. Предприниматели и торговцы бежали за границу, рабочие переселились в дома своих прежних хозяев, развивается промышленность, создана новая система образования – для всех. Так что и быт евреев кардинально изменился: «Старые духовные школы ушли в область преданий. Хедер сделался достоянием истории. Нет ребе – учителя в традиционной ермолке. Еврейские школьники не разучивают больше нараспев мудрости талмуда».

Получается, не видел автор ничего плохого в том, что и «хедер сделался достоянием истории». Чуть ли не радовался. Однако Гроссман не принимал никогда идеологические установки созданного в СССР «Союза воинствующих безбожников». Негативное отношение к «старым духовным школам» обусловлено, прежде всего, семейной традицией.

В Российской империи большинство секуляризованных евреев считало обязательный для мальчиков хедер бесполезной тратой времени. Вот почему мать Гроссмана увезла пятилетнего сына за границу, предоставив возможность получить исключительно светское начальное образование.

Из очерка следует, что в советском Бердичеве образование – насущный и решаемый вопрос. Есть начальные и средние школы, а также вузы, техникумы, рабфак и т. п. Как везде.

Применительно же к этнической специфике акцентирована другая бердичевская реалия. Не без гордости отмечено: «Большой интерес представляет собой еврейская агрошкола, единственное учебное заведение такого типа на всей Украине. У школы имеется 35 гектаров земли, засеваемой по всем правилам агронауки самими учащимися. Учится в школе 75 человек – дети еврейской бедноты Бердичевского, Проскуровского, Каменец-Подольского округов. Решительно все работы в поле, огороде, саду производятся самими учащимися. Успехи, достигнутые в

постановке хозяйства школы, поистине разительны».

Гроссман очередной раз отсылал читателей к «еврейскому мифу». Согласно досоветским государственным идеологическим установкам, евреи органически не способны к тяжелому физическому труду, значит, доверить им земледелие нельзя. И в очерке акцентируется, что «окрестные крестьяне в момент организации школы отнеслись к ней не враждебно, но с большим скептицизмом, с юмором, так сказать: чахлые еврейские дети, сироты местечковых сапожников и портных, казались совсем неподходящим народом для полевых работ. Но после того как агрошкола получила две награды на сельскохозяйственных выставках, удостоилась на выставке денежной премии, – отношение крестьян к ней изменилось…».

Выяснилось, что еврейские дети вполне способны к земледелию. А потому, отмечает автор очерка, «крестьяне приезжают советоваться со школьным агрономом, присматриваются к методам работы на школьных огородах и полях».

Конечно, Гроссман знал, что «агрошкола» – не только бердичевская реалия. Аналогичные были и в других южных городах. Как известно, они формировались и финансировались Обществом землеустройства еврейских трудящихся (ОЗЕТ).

Созданное в 1925 году, оно считалось лишь общественной организацией, что и давало право на получение финансовой помощи из-за границы – от еврейских диаспор. Помогали щедро. Руководили же партийные функционеры, хотя особой роли такой фактор не сыграл. Велик был энтузиазм, создавались различные земледельческие товарищества. Советской пропагандой деятельность ОЗЕТ противопоставлялась усилиям сионистов, призывавших евреев эмигрировать в Палестину и там бороться за возрождение национального государства.

Правда, все еврейские земледельческие структуры были реформированы по ходу начавшейся в 1928 году так называемой сплошной коллективизации, т. е. уже насильственного объединения крестьян в полностью контролируемые государством сельскохозяйственные предприятия. Десять лет спустя распущено и ОЗЕТ.

Но до роспуска было еще далеко, и Гроссман, рассуждая о родном городе, местные достижения пропагандировал. Согласно очерку, Бердичев существовал вопреки мифам о нем. Тот самый город, «в котором почему-то считают неприличным родиться, учиться и жить».

Подразумевалось, что постольку «считают неприличным», поскольку ориентируются на антисемитские стереотипы. А это и

советской идеологии противоречит, и реальности.

Заключает же очерк обоснование будущего. Оно, согласно Гроссману, оплачено кровью погибших в гражданской войне.

Аналогия тут приведена необычная. По словам автора, в Париже «есть пышный монумент: памятник неизвестному солдату, безымянной жертве мировой войны капиталистов. В Бердичеве есть более великий памятник, правда, как произведение искусства он стоит немного: простой серый камень, лежит на маленьком, огороженном решеткой пространстве городской площади; под этим камнем братская могила красноармейцев, погибших при взятии города».

Речь шла о боях за город в период советско-польской войны 1920 года. Погибших красноармейцев, как было тогда принято, на главной площади хоронили. Там и лежат «бердичевские рабочие, добровольцы: поляки, евреи, украинцы…».

Бердичевские рабочие воевали за свой город. А рядом с ними – «красноармейцы Интернационального полка: латыши, мадьяры, китайцы…».

Как известно, в период гражданской войны «интернациональными» называли особые войсковые части РККА, комплектовавшиеся иностранными добровольцами. Основу составляли бывшие военнопленные – граждане Австро-Венгрии, Германии, а также новообразованных сопредельных РСФСР государств, получивших независимость после заключения Брестского мира в 1918 году.

В советской пропаганде само понятие «интернациональный полк» – символ единства защитников революции. Получалось, что вместе с рабочими украинского города воевали их единомышленники из других стран. В том числе и России, соответственно, под общим могильным камнем – «кавалеристы 3-го кавалерийского полка: тульские, калужские и брянские крестьяне. Это великий памятник Интернационала».

Уместно отметить, что Гроссман не только социально-этнически характеризовал погибших в боях за Бердичев. Еще и эффектно противопоставил советские пропагандистские установки – популярной с XIX века идеологии «крови и почвы».

На уровне синтеза вывод подсказывал контекст. За одну страну сражались красноармейцы, она и есть их кровью политая общая для всех советских граждан «почва».

Далее Гроссман риторически «закруглил» очерк, т. е. вернулся к исходному тезису – проблеме антисемитизма. Соответственно, вывод формулировал: «Мы советуем гражданам, не уяснившим себе до сих пор национального вопроса, постоять немного у интернациональной могилы, – может быть, они

поймут, что сила классовой солидарности, связавшая этих людей в одно целое, заставлявшая их вместе бороться и вместе умереть, есть единственная сила, которая может и должна соединять трудящихся всех национальностей».

Но если «**должна соединять**», значит, **еще не соединила**. Вот и заглавие отсылало читателя к антисемитским стереотипам, о них же первая фраза напоминала, далее выяснялось, что на уровень бытового антисемитизма не повлияли двенадцать лет большевистской власти. Значит, «еврейский вопрос» в СССР есть. В силу вышесказанного финал походил, скорее, на заклинание, чем констатацию.

Очерк «Бердичев не в шутку, а всерьез» от других публикаций аналогичной проблематики существенно отличается. Необычен он в контексте публицистики 1920-х годов. Обычно печатные рассуждения об антисемитизме завершал оптимистический вывод: советским правительством все меры приняты, и в целом проблемы – как таковой – более нет. По Гроссману же, она и не решена, и пока что неразрешима[87].

Итоговый вывод – отнюдь не оптимистический, что советскому публицистическому канону не соответствовало. И Гроссман не мог это не понимать.

Раньше он канону следовал, потому как собирался литератором-профессионалом стать. А 1929 году вдруг нарушил, хотя цель не изменилась.

Вопрос о причинах не ставился литературоведами. Так, Елина утверждала: первая фраза очерка «говорит уже о многом. Прежде всего, о том, что Гроссман не забыл свой “местечковый” город. Более того, в глубине души затаил обиду за пристрастное и глумливое к нему, а вернее к его обитателям отношение. И теперь, когда появилась возможность, он хочет восстановить справедливость, реабилитировать его в глазах читателей».

Таковы, согласно Елиной, были намерения Гроссмана. Он – «горячий защитник города…».

Причем не только города как такового. Гроссман, по словам Елиной, «явно проникся пафосом советской идеологии, добро и зло представляются ему облеченными в социальную, классовую оболочку: капиталисты – носители зла, рабочие и кустари – добра».

Однако прагматика очерка несводима к попыткам «реабилитировать» Бердичев или очередной раз восславить идею классовой солидарности. Гроссман доказывал: вопреки официально декларировавшемуся лозунгу неуклонной борьбы с антисемитизмом, ничего по сути не изменилось.

Допустим, увлекся, забыл о цензуре. Но вероятность того, что

и в редакции «Огонька» запамятовали цензурные установки – практически нулевая. Опыта хватало. И санкции в случае ошибки следовали незамедлительно.

Санкций не было. Редакция «Огонька» не предъявляла Гроссману никаких претензий. Отсюда следует, что в 1929 году недопустимое раньше оказалось почему-то уместным.

Недопустимо и своевременно

Цензурная ситуация тогда и впрямь изменилась. А вскоре прежней стала. Не впервые такое происходило, и каждый раз отклонения были допустимы в течение очень короткого срока. Потому они и оказались малозаметными – для большинства литературоведов.

Осенью 1929 года в разгаре была очередная кампания по борьбе с антисемитизмом. Ей предшествовала другая – антисемитская. Негласная, разумеется, но тоже отнюдь не первая[88].

Такого рода кампании связаны с конфликтами различных группировок большевистской элиты. Изначально – борьбой Сталина и Троцкого.

После гражданской войны Троцкий по уровню популярности немногим уступал Ленину. Тот, как известно, терял из-за болезни управление партийной элитой. Значительная часть ее считала легендарного наркомвоенмора даже не «вторым в партии», а «вторым первым».

Влияние наркомвоенмора Ленин пытался уравновесить. По его предложению Сталин в 1922 году занял пост генерального секретаря партии. В результате тяжело болевший лидер советского государства оказался изолированным – борьба в партийной элите продолжалась без его участия.

Сталин тогда не был так популярен, как Ленин или Троцкий. Потому искал влиятельных союзников, тоже считавших наркомвоенмора конкурентом.

Еще в начале 1920-х годов был создан так называемый триумвират. Генсек заключил тайный союз с Г. Е. Зиновьевым и Л. Б. Каменевым. Ни один из них не мог бы тогда стать преемником лидера государства, зато вместе они обладали достаточным влиянием, чтобы не позволить наркомвоенмору претендовать на эту роль.

Все инициативы Троцкого в любой области сразу же перехватывали «триумвиры». И, по возможности, дискредитировали противника. Литература, согласно российской традиции, стала одним из главных пропагандистских инструментов.

Тон задал журнал «Молодая гвардия», выпускавшийся с мая 1922 года. Как на обложке указывалось, издатели – ЦК комсомола и ЦК партии. Уже в десятом номере опубликована была надолго получившая репутацию скандальной повесть А. И. Тарасова-Родионова «Шоколад»[89].

Литературный скандал был громким. Современники не могли не угадать карикатуру на Троцкого в одном из отрицательных героев повести – следователе Шустром, выполнявшем задания ЦК партии[90].

Прослеживалось сходство внешнее и биографическое. В ту пору биография Троцкого широко известна, портрет – рядом с ленинским – на стене едва ли не каждого учреждения. Подобно Троцкому, персонаж носил пенсне, начинал политическую деятельность в качестве меньшевика, добился известности как журналист, после февральской революции 1917 года стал большевиком и, сделав стремительную карьеру, получил особые полномочия от ЦК партии.

Это само по себе еще не могло рассматриваться как негативная характеристика. Но Шустрый – не просто честолюбец и не только карьерист. Он неоправданно жесток и откровенно циничен. Следователь добивается расстрела чекиста, бывшего рабочего, безупречно честного ветерана партии, которого обманули коррумпированные подчиненные.

Аллюзия была понятна современникам. Наркомвоенмор в 1918 году отдал приказ расстреливать командира и комиссара любой войсковой части, самовольно покинувшей свои позиции. Впоследствии расстрелы коммунистов стали обыденностью, но первый был воспринят партийной элитой как покушение на ее права – большевики «с дооктябрьским стажем» ранее считались неприкосновенными.

Очевиден был в повести и антисемитский подтекст. Автор подчеркивал, что следователь, казалось бы, беспричинно ненавидит обвиняемого. Но причина легко угадывалась: еврейская фамилия следователя была псевдонимом скрыта, а вот обвиняемый – русский. Значит, ненависть этнического характера.

Прагматика скандальной повести тоже угадывалась. Сам факт публикации должен был подсказать читателям: если возможны **такие** намеки в журнале ЦК комсомола и ЦК партии, значит, нет у Троцкого прежнего авторитета и влияния.

Рецензии сторонников Троцкого на повесть Тарасова-Родионова были разгромными. Ей отказывали в реалистичности и художественных достоинствах. Но рецензенты при этом игнорировали и саму карикатуру на знаменитого наркомвоенмора, и ее антисемитский подтекст. Что вполне объяснимо: политические обвинения в адрес авторитетного журнала надлежало бы обосновать, а спор о намеках заведомо непродуктивен.

В данном случае неважно, как относились Зиновьев и Каменев к разыгранной генсеком антисемитской карте. Главное,

что не мешали.

Почти все печатные высказывания Троцкого по вопросам литературы, экономики, истории партии немедленно в печати же оспаривались. Дискуссии не прекращались. Соответственно, «партийные массы» убеждались вновь и вновь: с Троцким вполне можно и даже выгодно спорить – поддержка обеспечена. Негласно же дискредитация наркомвоенмора интерпретировалась как «борьба с еврейским засильем в партии»[91].

Однако разыгранная «триумвирами» карта дала побочный эффект: стремительное нарастание бытового антисемитизма, многочисленные эксцессы. Сталин об этом, понятно, знал. Для него регулярно составлялись ОГПУ сводки о настроениях советских граждан – по социальным группам.

«Триумвиры» меж тем поэтапно добивались победы. И в начале 1925 года завершен был главный этап. Троцкий, лечившийся в течение нескольких лет на южных курортах, согласился оставить пост наркомвоенмора преемнику, чье здоровье вроде бы не вызывало сомнений[92].

Бывшему наркомвоенмору новую должность нашли – в руководстве ВСНХ. Что, конечно, свидетельствовало о понижении статуса. Правда, Троцкий остался в Политбюро ЦК партии.

За негласной антисемитской кампанией последовала гласная – по борьбе с антисемитизмом. Сталин уравновесил ситуацию: любые проявления ксенофобии трактовались пропагандистами как «пережитки прошлого».

Но кампания по борьбе с антисемитизмом была недолгой. «Триумвиры» по-прежнему любой повод использовали, чтобы дискредитировать конкурента.

Ему инкриминировали принципиальный отказ от самой идеи строительства государства в условиях мира, стремление вновь начать войну, попытки вернуться к «военному коммунизму». В официальной печати он был объявлен чуть ли не идеологом «красного террора», главным противником так называемой новой экономической политики. Радикализм Троцкого противопоставлялся умеренности Сталина, Зиновьева и Каменева. В общем, «триумвиры» олицетворяли мир, а наркомвоенмор – войну и «мировую революцию».

Обвинения были, как водится, необоснованными. Но это роли не играло. Главное, «триумвиры» удачно выбрали терминологическое оформление. Троцкий сам не без гордости называл себя «левым», что подразумевало радикализм настоящего большевика, противостоявшего функционерам-бюрократам. Сторонники его соответственно именовались «левой оппозицией».

Полемика с «левой оппозицией» продолжилась и в конце

1925 года, когда Сталин принялся за недавних союзников. Триумвират распался, Зиновьев и Каменев пытались объединиться с Троцким, но Сталин, опираясь на подготовленные им «партийные кадры», громил так называемую объединенную оппозицию.

Антисемитская карта вновь была разыграна. На этот раз Зиновьев и Каменев стали – уже наряду с Троцким – символами «еврейского засилья».

Сохранилось немало свидетельств, доказывающих, насколько широко использовались ссылки на «еврейское засилье». К примеру, на предприятиях и в учреждениях руководителям так называемых низовых парторганизаций, если те были этнически русскими, сталинские эмиссары внушали, что оппозиционеры – либо евреи, стремящиеся расколоть чуждую им большевистскую партию, либо обманутые, не понимающие сути оппозиционерских акций[93].

Этот прием использовался не только при инструктаже особо доверенных агитаторов. Писатели тоже создавали карикатуры на Троцкого. К примеру, наиболее скандальной публикацией 1926 года стала помещенная «Молодой гвардией» в девятом номере повесть С. А. Малашкина «Луна с правой стороны, или Необыкновенная любовь»[94].

Повесть – о быте коммунистов и комсомольцев. Речь шла о причинах так называемой половой распущенности.

Эта тема постоянно обсуждалась в периодике. Многие журналисты доказывали, что такие популярные в партийно-комсомольской среде лозунги, как «свободная любовь» и «ликвидация буржуазного института брака», не имеют ничего общего с трудами «классиков марксизма». Логика в данном случае была неприменима, цитаты мешали бы, так что пришлось апеллировать к эмоциям. В лучшем случае наличие проблемы объяснялось ссылками на «пережитки прошлого» и «угар нэпа». Однако не обходилось и безинвектив в адрес «левой оппозиции»[95].

Малашкинскую повесть можно считать типичным примером аргументации подобного рода. Ее главный отрицательный герой – Исайка Чужачок – в общежитии некоего вуза пропагандирует разврат как условие «нового быта». Пропагандист не только наделен «говорящим» прозвищем. Акцентировано, что он – еврей. А главное, идеолог «свободной любви» утверждает: его в родном городе называли «маленьким Троцким».

Противостоит же Исайке партийный функционер, конечно, русский. Он и объясняет запутавшейся в многочисленных связях героине, что «половая распущенность» чужда русскому

национальному характеру. И та убеждается: нельзя судить обо всех комсомольцах и коммунистах по Чужачку и его адептам. Понимает, что неуместно, рассуждая о нравах партийно-комсомольских, «смешивать детей ответственных работников, детей советских служащих, а больше всего подозрительную молодежь, приехавшую с окраин, с молодежью от станка, настоящей рабочей молодежью».

Намек был прозрачным. «Подозрительная молодежь, приехавшая с окраин» – недавние обитатели «еврейских местечек», попавшие в крупные города после упразднения черты оседлости. Они и «левые», т. е. сторонники Троцкого, и пропагандисты «свободной любви», чуждой русскому характеру.

Троцкий, разумеется, «свободную любовь» не пропагандировал. Но обвинение в «левизне» экстраполировалось на любую область.

Повесть Малашкина не раз переиздавалась. Тысячам читателей вновь и вновь объясняли, что пресловутые «троцкисты» виновны и в «половой распущенности» молодежи. Сам факт публикации вновь доказывал: влияние отставного наркомвоенмора уменьшается[96].

Откровенный антисемитизм малашкинской повести возмутил многих. Понятно, что причины, обусловившие ее публикацию, нельзя было анализировать на уровне печати. Зато о фальши, отсутствии сколько-нибудь убедительной мотивации поступков и суждений писали не раз. В том числе и «старый большевик» В. В. Полонский. Журнал «Новый мир» во втором номере 1927 года опубликовал его статью «Критические заметки»[97].

Полонский инкриминировал Малашкину пропаганду антисемитизма. Инвектива была завуалирована, однако – благодаря контексту – вполне понятна современникам. По словам критика, сказанное малашкинской героиней следовало понимать только как «огульное обвинение всей “нерабочей” молодежи, приехавшей с окраин, *против которого необходимо бороться*» (курсив Полонского. – *Ю. Б.-Ю., Д. Ф.*).

Отсюда следовало, что «необходимо бороться» с теми, кто допускает в печати «огульное обвинение» всей *еврейской* молодежи. Статья была, по сути, обращена к организациям, издававшим журнал «Молодая гвардия». Значит, адресована лидерам партии, санкционировавшим публикацию малашкинской повести. Ошибкой предлагал считать ее Полонский. Стыдил.

Он атаковал Малашкина, а вот защитить Троцкого не пытался. Того уже вывели из Политбюро ЦК партии. Не было там Зиновьева и Каменева. На XV партийной конференции, начавшейся в октябре 1926 года, Сталин добился безоговорочного

осуждения всех оппозиционеров. После чего началась очередная кампания борьбы с антисемитизмом. Недолгая.

Громя недавних союзников и главного конкурента, генсек новый союз заключил – с Н. И. Бухариным. Тот, как известно, считался одним из главных идеологов так называемой новой экономической политики. Его авторитет сыграл важную роль в борьбе с «левой оппозицией».

Дискредитацию Бухарина начал Сталин лишь в 1928 году. Троцкий из партии тогда исключен, еще и выслан в Алма-Ату. Зиновьев и Каменев лишились постов, но покаялись в печати, что избавило их от ссылки.

С Бухариным спор шел тоже о нэпе. Недавнему ближайшему союзнику генсека ставили в вину отказ от главной задачи большевистской партии – построения социализма. В связи с чем выбран был и новый термин – «правая оппозиция».

Если Троцкому и его сторонникам ранее инкриминировали радикализм, пресловутую «левизну», то «правой оппозиции», напротив, консерватизм. Все прежние суждения Бухарина о нэпе рассматривались в качестве ошибочных, если не предательских, отражающих нерешительность, оппортунистическое стремление принять идеологию капитализма. Соответственно, обвинения эмблематизировал термин «правый оппортунизм».

Полемика была непродолжительной. Бухарин тоже признал свои суждения ошибочными. В официальной советской историографии очередная победа генсека терминологически обозначена как разгром «правой оппозиции».

Сталин после этой победы инспирировал очередную кампанию борьбы с «левой оппозицией». Не менее масштабную, чем прежние. Антисемитская карта была опять разыграна. В январе 1929 года окончательно дискредитированный Троцкий выслан из СССР. Можно сказать, ему тогда повезло. Десятки тысяч его сторонников без суда были сосланы в отдаленные районы страны. У Сталина больше не осталось сколько-нибудь влиятельных конкурентов. И опять началась кампания борьбы с бытовым антисемитизмом, нараставшим лавинообразно, что и фиксировалось сводками ОГПУ.

Новую пропагандистскую кампанию многие советские интеллектуалы воспринимали с надеждой. Подразумевалось, что рост антисемитизма обусловлен издержками борьбы партийного большинства с оппозиционерами.

Вряд ли нужно доказывать, что Гроссман был знаком с повестями Тарасова-Родионова и Малашкина, а также мнениями рецензентов. Журналы читал регулярно, изменение политической ситуации не мог не заметить.

Очередная пропагандистская кампания, маскировавшая предыдущую, антисемитскую, была особенно масштабна. Соответствующие материалы печатались в периодике по всему СССР. Характерный пример – карикатура Я. М. Бельского «Юдофил», опубликованная харьковским сатирическим журналом «Червоний перець» в январском номере 1929 года[98].

Журнал – приложение к газете «Коммунист», ее выпускал ЦК Союза профсоюзов УССР. Карикатуристом изображен кабинет некоего директора, сидящего за письменным столом, на котором телефонный аппарат – общеизвестный тогда символ начальственного статуса. К начальнику склонился подобострастный секретарь, фиксирующий в блокноте последнее распоряжение: «Напишите куда следует, что у нас антисемитизма нет, ибо по моему приказу все евреи еще два месяца тому назад уволены с предприятия».

До начала пропагандистской кампании цензоры сочли бы крамольной такую карикатуру. А в январе 1929 года шутка Бельского оказалась вполне уместной.

Готовя к печати очерк «Бердичев не в шутку, а всерьез», Гроссман вовсе не забывал о цензуре. Наоборот, был к ней очень внимателен, почему и сумел использовать новую цензурную ситуацию в своих интересах. Он хотел публично выступить против антисемитизма и нашел способ. Кстати, Ильф и Петров подвели несколько позже итоги той же самой пропагандистской кампании.

Мнимый парадокс

Очерк в «Огоньке» – первое обращение Гроссмана к «еврейской теме». Допустимость и даже уместность на исходе 1920-х годов обусловлены спецификой актуального тогда политического контекста.

Полвека спустя этот контекст утратил актуальность. Государственный антисемитизм в СССР предсказуемо ассоциировался с гораздо более масштабными и откровенными пропагандистскими кампаниями. Можно сказать, всемирно известными. Эмблематизирует их введенный секретарем ЦК партии А. А. Ждановым в 1948 году термин «безродные космополиты»[99].

Как известно, термин «космополит», т. е. гражданин мира, был в досоветскую эпоху вполне нейтральным. А позже негативно окрашенным постольку стал, поскольку советская пропаганда изначально противопоставляла «социалистическому государству» – все прочие. Как заведомо враждебные, готовящие интервенцию.

Жданов лишь подвел итоги пропагандистским кампаниям прежних лет. Выступая на посвященном вопросам культуры совещании в ЦК партии, он противопоставил «безродных космополитов» – патриотам. Изначально русским, затем и советским. Прагматика такого противопоставления с необходимостью подразумевала культурную изоляцию «социалистического государства». И конечно, борьбу с его идейными противниками, выражающими интересы враждебного «западного окружения».

Инспирированная Сталиным речь Жданова обозначила начало очередной антисемитской кампании. Не в печати, а на административном уровне постулировалось, что национального государства у евреев давным-давно нет, значит, патриотизм им традиционно чужд, присуще враждебное отношение ко всему русскому и, конечно, советскому. А на уровне публикаций тенденция проявлялась в том, что обычно «космополитами» оказывались именно граждане с еврейскими фамилиями[100].

Но советские пропагандисты все еще обходились намеками и полунамеками. Откровенно антисемитских инвектив не было в печати до 13 февраля 1953 года, когда «Правда» опубликовала сообщение ТАСС – «Арест группы врачей-вредителей»[101].

Речь шла об аресте сотрудников правительственных медицинских учреждений. В обязанности арестованных входило лечение представителей высшего партийного и государственного

руководства. Кроме тассовского сообщения в газете публиковалась и передовая статья – под заголовком «Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей»[102].

Создан был кошмарный образ врача-оборотня, умерщвлявшего доверчивых беззащитных пациентов. Разумеется, в статье объяснялось, что медиков подкупили американские разведывательные организации. Но в качестве главного мотива указывалась даже не алчность, а этнически обусловленная ненависть: убийцы – «растленные еврейские буржуазные националисты».

Эвфемизмы были убраны. Если раньше советское руководство считало еще нужным время от времени напоминать, что борется за утверждение идеи патриотизма, отвергая антисемитизм, то в данном случае враг определялся этнически – евреи. Случай беспрецедентный.

Историки спорят о причинах столь откровенной антисемитской кампании: у Сталина давно уже не осталось конкурентов, против которых уместно было бы использовать методы дискредитации, апробированные в 1920-е годы.

Но в данном случае это и не принципиально. Главное, что едва ли не каждая газета постоянно призывала читателей к бдительности[103].

От других послевоенных антисемитских кампаний «дело врачей-вредителей» отличается еще и тем, что изначально главным объектом стали не литераторы. Но им тоже доставалось по ходу – за «антипатриотизм», «космополитизм» и т. п. Объектом критических нападок оказался и Гроссман.

Тон по обыкновению задала «Правда». 13 февраля там была опубликована статья М. С. Бубеннова «О романе В. Гроссмана “За правое дело”»[104].

Политическими обвинениями она изобиловала. Итоговый же вывод формулировался безапелляционно: «Идейная слабость повлекла за собой и слабость художественную».

Одиннадцать лет спустя Мунблит упомянул подобного рода выводы в статье о Гроссмане, написанной для Краткой литературной энциклопедии. Только о главном умолчал: Бубеннов инкриминировал Гроссману избыточное, т. е. художественно не мотивированное, количество персонажей с еврейскими фамилиями в романе «За правое дело».

Антисемитская подоплека инвективы была ясна искушенным современникам. Бубеннов намекал, что Гроссман слишком много уделил внимания евреям – в ущерб всем прочим. Стало быть, постольку не сумел или не захотел правдиво изобразить борьбу русского народа с захватчиками, поскольку чужд ему этнически.

Однако нападки критиков на роман «За правое дело» прекратились уже в мае 1953 года, что было связано с итогом «дела врачей-вредителей». Как известно, вскоре после смерти Сталина всех арестованных объявили невиновными, их признания были официально признаны вынужденными, т. е. полученными в результате применения незаконных методов допроса[105].

На этом также прекратились ранее следовавшие одна за другой антисемитские кампании. Они и стали позже символом заката сталинской эпохи.

Историю романа «За правое дело» Липкин тоже описал в мемуарах. Правда, о «деле врачей-вредителей» не упомянул. А вот антисемитские инвективы Бубеннова характеризовал, в частности отметил, что это «оружие, хотя и не новое, но в советскую эпоху пущенное в ход только в поздние годы жизни Сталина».

Ошибка здесь явная. Впрочем, Липкин моложе Гроссмана на шесть лет, из Одессы в Москву приехал восемнадцатилетним, завуалированные антисемитские кампании, пришедшиеся на его детство и юность, мог и не заметить.

Многие не замечали или не хотели заметить. 1920-е годы большинством историков советской литературы традиционно характеризуются как период, когда в СССР проявлений государственного антисемитизма не было. Так, Елина, анализируя проблематику гроссмановского очерка, напечатанного «Огоньком», утверждала: «Парадокс заключается в том, что мальчик, выросший в ассимилированной семье, рано оказавшийся вне специфической еврейской среды, не воспринявший, казалось, ни мистической религиозности “Иерусалима Волыни”, ни деловитости “еврейской столицы”, ни горького юмора “местечкового” предместья, хотя и стал считать себя гражданином мира (таких еврейских юношей-интернационалистов, как они себя называли, или космополитов, как их, уже подросших, стали пренебрежительно называть впоследствии, добавив эпитет “безродные”), но помнил и о своих соплеменниках и близко принимал к сердцу их обиды».

На самом деле парадокса нет. Он, скажем так, мнимый. Потому что тезисы, сформулированные исследовательницей, не подтверждаются документально.

Нет причин считать Гроссмана «выросшим в ассимилированной семье» и «рано оказавшимся вне специфической еврейской среды». Для ассимиляции родителям его – в условиях Российской империи – надлежало от иудаизма отречься. Крещение принять и соответствующий документ предоставить в официальные инстанции. Что, подчеркнем, не было сделано. Выбор осознанный. Ассимилированность и

секуляризованность – отнюдь не одно и то же.

Гроссмана с детства называли Васей, и он взял соответствующий журналистский псевдоним, отделив таким образом химика от автора газетных статей. Но отцовскому предложению – окончательно русифицировать имя и отчество – не последовал. Категорически отказался использовать такую возможность. В официальных документах остался Иосифом Соломоновичем. Выбирал осознанно.

О мере его религиозности нельзя сказать что-либо определенно. Но и «воинствующим безбожником» Гроссман не был.

Трудно судить, воспринял ли он «деловитость “еврейской столицы”». Коммерцией не занимался, так его отец тоже. Однако в иных областях Гроссман был вполне деловит: сумел, обойдя социальные ограничения, на рабфак поступить, стать инженером, ученым, затем журналистом и писателем.

«Горького юмора» хватает в его письмах отцу. Да и не только там. «Местечковый» ли – судить не беремся.

Неизвестно, считал ли Гроссман себя когда-либо «гражданином мира». Интернационалистами же именовали себя в 1920-е годы не только «еврейские юноши». Хотя бы потому, что интернационализм – обязательная компонента официальной идеологии СССР.

Что до «соплеменников», так с учетом вышесказанного нет оснований сомневаться: Гроссман «близко принимал к сердцу их обиды», потому как был лично оскорблен проявлениями антисемитизма. Именно в 1920-е годы.

Правда, с итоговым выводом Елиной можно вполне согласиться. Она утверждала, что Гроссман «разительно отличался от тех, кто, вырвавшись из замкнутого пространства черты оседлости географически и духовно, старался стереть ее из книги своей памяти».

Тут доказательства излишни. Другой вопрос, почему Елина формулировала противоречащие фактам тезисы – относительно ассимилированности, «еврейской среды» и т. п. – в качестве истинных, да еще и общеизвестных.

Контекст подсказывает ответ: таково мнение не только Елиной, но и ряда других историков литературы. Формулируют аналогичные тезисы даже Гаррарды, много и плодотворно работавшие с архивными материалами[106].

Совпадения отнюдь не случайны. Есть общий источник – мемуары Липкина. А также его устные свидетельства, воспринятые исследователями в личных беседах с мемуаристом.

Как отмечалось выше, большинство сведений,

предоставленных мемуаристом, не подтверждается документами, а часто и опровергается ими. В мемуаристике такое отнюдь не редкость. Особого же рассмотрения сказанное им заслуживает потому, что мнимый парадокс осмыслен как реальный контрапункт биографии писателя.

Бердичевский синдром

На исходе 1980-х годов авторитет Липкина был уже непререкаем. Все ли верили его книге, нет ли, но в полемику историки литературы не вступали.

Это закономерно. Утвердилось сформулированное Липкиным же мнение, согласно которому он – не только единственный из друзей Гроссмана, оставшийся в живых, но и «самый близкий его друг на протяжении двадцати с лишним лет».

Липкин сформулировал и описанную выше биографическую концепцию Гроссмана. В мемуарах к базовому тезису подводил исподволь: «Апокалипсис еврейства двадцатого века опалил Гроссмана. Мне известны высказывания читателей “Жизни и судьбы”, что Гроссман как человек и писатель изменился под влиянием гитлеровских лагерей уничтожения евреев и жесточайшей борьбы с космополитизмом в нашей стране».

Мемуарист не сообщил, что за «читатели» формулировали такие «высказывания». Но актуальный тогда контекст подсказывает: речь шла о Ш. Маркише. В февральском номере 1984 года иерусалимский журнал «Народ и земля» поместил его статью «Пример Василия Гроссмана»[107].

Маркиш формулировал тезисы поэтапно. Сначала – относительно довоенного периода: «Еврей по рождению, приобщившись к русской словесности в большинстве своем – речь идет о пореволюционной поре – ощущал себя как писатель вполне и совершенно русским, нисколько и ни в чем не отличным от прочих русских писателей».

Уместно подчеркнуть, что об ассимиляции речи нет. Имеется в виду отсутствие формальных различий. Даже в справочных изданиях – при характеристике советского писателя – определение «русский» относилось исключительно к языку публикаций. Маркиш именно об этом сообщил. Далее он указывал, что изменило гроссмановское мироощущение: «Война и сопутствовавшая ей гибель шести миллионов евреев оживили чувство принадлежности к народу-мученику…».

После чего речь шла о главной книге: «Я думаю, нельзя сомневаться, что этот роман не был бы написан, не перенеси Гроссман ударов судьбы, которые выпали ему именно как еврею. Собственное горе, несправедливости, жертвою которых стал он сам, открыли ему глаза на чужое горе, на боль и муки жертв иных несправедливостей – и он написал обо всем, что видели его глаза, освободившись от шор, и в истоке нового универсального видения лежит его еврейская судьба. Я бы решился предложить

это как термин – писатель еврейской судьбы».

Липкин не только читал нелегально распространявшийся в СССР журнал «Народ и земля». Сам за границей печатался, и, кстати, без последствий[108].

Прямо спорить с Маркишем не стал. Даже его статью не упомянул в мемуарах. Пересказал несколько тезисов и далее полемизировал с некими безымянными «читателями»: «Я думаю, что люди, придерживающиеся такого мнения, имеют на то некоторые основания, но они забывают, что Гроссман *прежде всего – русский писатель* (курсив наш. – *Ю. Б.-Ю., Д. Ф.*)».

Тут, правда, не вполне ясно, прежде чего «*всего*» автор романа «Жизнь и судьба» – *русский* писатель. Уточнений нет. Липкин же утверждал далее: «Прелесть русской природы, прелесть русского сердца, его невыносимые страдания, его чистота и долготерпение были Гроссману важнее всего, ближе всего».

Вновь не уточнено, ближе и важнее чего «*всего*» стали писателю упомянутые выше «прелесть русского сердца», «русской природы» и т. д. Липкин же настаивал: «Еврейская трагедия была для Гроссмана частью трагедии русского, украинского крестьянства, частью трагедии всех жертв эпохи тотального уничтожения людей. Есть ли в украинской литературе книга, которая рассказала бы о поголовной гибели украинских крестьян в годы коллективизации, как это сделал Гроссман в повести “Все течет”?».

С очевидностью следует из всего сказанного, что мемуарист отождествил Холокост и так называемый Голодомор – по критериям масштаба жертв и бесчеловечности виновных.

Но, как известно, целью нацистов было именно «поголовное» уничтожение евреев, советское же правительство не собиралось истреблять русских или украинцев. Этнический критерий тут ни при чем. Пресловутой коллективизацией обеспечивалось беспрепятственность изъятия у крестьян сельскохозяйственной продукции на государственные нужды. Голодная смерть миллионов ограбленных – побочный, а не планировавшийся эффект. Им лишь пренебрегали.

Допустим, мемуарист не видел различия, либо не считал их существенными – в аспекте этической оценки большевистского и нацистского правительств. Предположим, что действительно нет сравнимой с гроссмановской повестью книги о «гибели украинских крестьян в годы коллективизации». Все равно не следует из этого сформулированный далее вывод: Гроссман «не был бы подлинным русским писателем, если бы не искал человеческого в человеке любой национальности».

Есть лишь очередная загадка. Вряд ли мемуарист

подразумевал, что Гроссман «искал человеческое» в евреях, украинцах и русских.

Непонятно опять же, откуда известно, что задача именно русского писателя – искать «человеческое в человеке любой национальности». Липкин вновь не уточнил, что и чему противопоставил.

Однако прагматика его рассуждений выражена итоговым риторическим вопросом: мог ли Гроссман, «не только как еврей, но, повторяю, прежде всего, как русский писатель, остаться равнодушным к одной из самых ужасных катастроф человечества в нашем столетии?».

Речь вновь о Холокосте. И наконец, внятно сформулировано, прежде чего «*всего*» Гроссман – русский писатель. Оказывается, прежде того, что он еврей.

Таков базовый тезис Липкина. Вот зачем были созданы все риторические конструкции. С их помощью мемуарист пытался доказать, что тема «еврейской трагедии» в романе «Жизнь и судьба» не обусловлена этнической идентичностью автора, напротив, Гроссман всем жертвам сострадал одинаково, потому как был русским писателем.

Мемуарист даже попытался вовсе отделить Гроссмана от еврейской традиции. Сообщил, что тот «знал лишь с десяток слов на идиш».

Отсюда следует, что язык диаспоры Гроссман не знал. Стало быть, он – в аспекте культурной идентичности – не еврей.

Это постоянно акцентируется. Гроссман, по словам Липкина, увидев в его квартире «тома еврейской энциклопедии на русском языке, спросил безособого интереса: “Ты здесь находишь что-нибудь важное для себя?”».

Мемуарист не уточнил, когда это было сказано. Понятно только, что речь шла об издании, выпущенном акционерным обществом Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона в Санкт-Петербурге на основе аналогичного нью-йоркского справочника. В течение пяти лет – с 1908 года печатались шестнадцать томов «Еврейской энциклопедии».

Странно, что ведомого библиофила Гроссмана не заинтересовало уникальное издание. А пренебрежительный отзыв и вовсе необъясним.

Но, допустим, Гроссман так сказал на самом деле. Мало ли что интересовало его тогда в гораздо большей степени. А вот про «десяток слов на идиш» – вообще не верится.

Да, к 1986 году, когда впервые изданы за границей мемуары Липкина, большинство евреев в СССР не говорило на идиш. Но еще до войны ситуация была совсем иной.

Евреи-одесситы, тот же Липкин или, например, Ильф свободно владели языком диаспоры. Не было с ним затруднений у киевлянина Эренбурга. Точнее, из общего правила единственное исключение – Гроссман.

Аргументы Липкин приводил в частных беседах с исследователями. Рассказывал им, что и родители писателя разговаривали дома по-русски. Значит, в семье Гроссман не мог освоить идиш, а самостоятельно изучать не захотел.

Гаррарды, к примеру, это суждение в книге воспроизвели. Акцентировали, что Гроссман «никогда не пытался выучить идиш, язык большинства бердичевских евреев».

Но о гроссмановских познаниях есть и другое мнение – дочери. Речь идет об уже цитировавшемся интервью журналу «Лехаим», которое опубликовано в 2008 году[109].

Журналист тогда прямо спросил, знал ли идиш Гроссман. И дочь ответила: «На уровне каких-то общепринятых идиом, песен, конечно, понимал, но не думаю, что мог легко на нем объясняться».

Уровень «идиом, песен» – не такой уж низкий. Это отнюдь не «десяток слов».

Таким образом, есть две оценки гроссмановских познаний в области языка диаспоры. Они взаимоисключающие, хотя и даны современниками. А потому вопрос правомерно иначе поставить: **мог ли Гроссман не знать идиш**?

Допустим, его отец и мать говорили дома лишь по-русски. Предположим, что родители их тоже. Но попытки «выучить идиш» Гроссману не требовалось предпринимать. Он родился и до пяти лет жил в Бердичеве, где разговаривал не только с родственниками.

Да, еще несколько лет провел за границей. Но позже киевский «реалист» приезжал в родной город на каникулы, гостил часто и подолгу. Затем учился там и работал три года. И опять же общался не только с родственниками.

Он знал украинский, понимал и польский – как почти все бердичевские уроженцы. Французским владел свободно, немецкие работы по химической технологии читал на языке оригинала. Непознаваемым для Гроссмана оказался только идиш.

Результат особенно странный, если учесть, что основа идиш – один из немецких диалектов. Связь эта многократно акцентирована не только лингвистами, но и писателями. Например, Эренбургом – в законченном к 1924 году романе «Рвач»[110].

Герой – бывший красноармеец, мечтавший о революционном преобразовании Европы. В данном аспекте Германия к началу

1920-х годов считалась наиболее перспективной страной, почему и надлежало как можно скорее освоить немецкий. Однако энтузиаст, учась в университете, замечает, «что его сотоварищи – по большей части евреи – как-то сразу понимают этот язык. Пока Михаил их догонит, успеет произойти не одна революция»[111].

Эренбург не комментировал это комическое умозаключение. Все и так было понятно: литературный немецкий язык легко осваивали носители диалекта.

Гроссман же владел немецким, а идиш не освоил – за годы, проведенные в Бердичеве. Это противоречит здравому смыслу.

Но примечательно не только это. В книге Липкина ни разу не упомянуто, что Гроссман – уроженец Бердичева.

Сам топоним отыскать можно. Трижды упомянут гроссмановский рассказ «В городе Бердичеве». Дважды сказано, что мать автора погибла «в бердичевском гетто». И все. А ведь Липкин не мог не знать, где родился Гроссман.

Объяснение – в книге Гаррардов. Там сообщается о важном свидетельстве некоего близкого друга Гроссмана. Ему автор романа «Жизнь и судьба» намекнул как-то, что родился в Женеве[112].

Но когда Гаррарды работали на родине Гроссмана, из его друзей только Липкин и остался в живых. Лишь он мог тогда рассказать о таком намеке. Больше никаких свидетельств нет.

Допустим, не было аберрации у Липкина. Вспомнил он про намек после того, как мемуары были опубликованы за границей, опять забыл, когда отечественные переиздания готовились, а встреча с Гаррардами вновь напомнила о важном обстоятельстве. Но отсюда все равно не следует, что в Бердичеве – за восемь лет – женевский уроженец так и не освоил язык улицы. Биографическим контекстом обусловлен другой вывод: **Гроссман не мог не знать идиш**.

О чем, кстати, дочь и рассказала. Коль так, суждение Липкина про «десяток слов» – **вымысел**. Даже не домысел.

В связи с этим выводом предсказуемы возражения. Конечно, не фактографического характера. Из области интерпретаций. К примеру, так ли важно, знал ли Гроссман язык диаспоры. Аналогично – про Женеву.

Ответим сразу. Мы не выискиваем ошибки мемуариста, а рассматриваем аргументы, посредством которых он обосновывал свою концепцию гроссмановской биографии. Ту, где сведения о детстве и юности в Бердичеве оказались лишними.

Липкин свою концепцию создавал в полемике с Маркишем. Вопреки ему утверждал, что Гроссман как писатель формировался благодаря культурной идентичности, а не этнической.

Стоит подчеркнуть: журнальная публикация Маркиша не упомянута в мемуарах. А вот газетная статья Бубеннова – неоднократно.

Полемика с Маркишем обусловлена еще и реакцией на антигроссмановские публикации 1953 года. Мемуарист упреждал аналогичные инвективы – применительно к роману «Жизнь и судьба».

Гроссман, согласно Маркишу, стал **не** советским писателем, осмыслив «еврейскую судьбу». Бубеннов же намекал: роман «За правое дело» неудачен, потому что автору чужд русский народ.

Общее в суждениях, что Гроссман – **не** русский. И Липкин его отчасти «русифицировал». Уменьшал, если можно так выразиться, еврейскую компоненту на уровне культурной идентичности.

Он пытался **доказывать**, что Гроссман – русский писатель. Судя по доводам, именно такую задачу ставил.

Эта задача – вне академического дискурса. Впрочем, как любая попытка доказывать очевидное посредством ссылок на заведомо спорное.

Но Липкин и не был историком литературы. Он решал задачу публицистическую, для чего конструировал все новые аргументы. Вот и в беседе с Гаррардами отделил Гроссмана от Бердичева – как символа «черты постоянной еврейской оседлости». Увеличил таким образом степень «русификации». Это уже своего рода травматическая реакция. Бердичевский синдром, можно сказать.

Он проявлялся неоднократно. Так, в гроссмановском личном деле есть черновики некролога, подготовленного для газетных публикаций. В подобных случаях наряду с датой рождения указывалось и место. Конкретный населенный пункт назвать полагалось. О Гроссмане же, против обыкновения, сказано, что «родился в 1905 году на Украине»[113].

Но Гроссман появился на свет не в поезде, который так стремительно промчался через Украину, что определить место рождения просто не успели. Оно в каждой анкете и автобиографии названо. Включая хранящиеся в личном деле. И понятно, что авторы некролога тоже «хотели, как лучше». Старались не провоцировать нежелательные ассоциации.

Как раз об этих ассоциациях и написал Гроссман еще в 1929 году. Ассоциативный ряд обозначает первая же фраза очерка, напечатанного «Огоньком»: «Всякий антисемит, услышав слово “Бердичев”, ухмыляется».

Зеркало полемики

В СССР после издания романа «Жизнь и судьба» все-таки началась полемика, которую пытался упредить Липкин. Были попытки доказать, что русской литературной традиции книга Гроссмана «чужеродна»[114].

На исходе 1980-х годов подвести итоги попытался Бочаров. Он не анализировал истоки полемики, а постулировал сразу: «Иосиф Гроссман, принявший литературный псевдоним Вас. Гроссман, постоянно ощущал свою принадлежность к родному еврейскому народу. Это сказывалось не в том, что он, подобно Шолом-Алейхему, создавал сцены “из еврейской жизни”, а в том, что жизнь родного народа представала для него неотделимой от исторических судеб русского народа, российского государства»[115].

Оппозиция «Гроссман / Шолом-Алейхем» – не случайна. В СССР тогда не было возможности характеризовать как антисемитские намеки Бубеннова и солидаризовавшихся с ним критиков. Цензуру еще не упразднили.

Примечательно же, что пять лет спустя, когда ни цензуры, ни даже СССР не было, о культурной и этнической идентичности автора романа «Жизнь и судьба» рассуждал критик Б. М. Сарнов. Московский журнал «Литература» опубликовал в восемнадцатом номере его очерк «Русский писатель Василий Гроссман»[116].

Вне контекста полемики название выглядит странно. Практически нулевая вероятность появления в отечественном журнале статьи, озаглавленной, допустим, «Русский писатель Андрей Платонов». Аксиоматически подразумевался бы вопрос: а какой еще? О Гроссмане же, намекал критик, есть другое мнение.

С учетом контекста очевидно было, что заглавие – полемическое. Два года спустя расширенный вариант очерка – в книге Сарнова «Опрокинутая купель»[117].

По содержанию это не просто сборник очерков о советских писателях. Его статус обозначен на титуле: «Рекомендовано Управлением общего и среднего образования в качестве пособия для учителя и учащихся старших классов»[118].

Цитируемый очерк, равным образом прочие – синтез мемуаров и критических заметок. Эссе. Соответственно, выбор заглавия обосновывается личными наблюдениями автора: «В сочетании его имени с фамилией есть какая-то двойственность. Я бы даже сказал, некий нарочитый дуализм. Гроссман – фамилия вроде как немецкая, а в наших широтах, как правило, еврейская.

Имя же Василий – чисто русское. Еврей в России (я имею в виду людей того поколения, к которому принадлежал Василий Семенович), даже вполне ассимилированный, мог быть Григорием или Львом, Ильей или Борисом, на худой конец – Леонидом. Но Василии среди “лиц еврейской национальности” мне не попадались».

Взятое в кавычки словосочетание «лица еврейской национальности» – газетное клише советской эпохи, использовавшееся вместо слова «евреи». Оно в антисемитской традиции – не столько этноним, сколько ругательство. Автор статьи намекал, что появление официального термина-заменителя – своего род симптом латентного антисемитизма. Кстати, такой вывод сделали многие современники, с иронией отмечавшие, что эвфемизмы не понадобились для обозначения понятий «русские», «украинцы» и т. д.

Сарнов не комментировал свою шутку, подразумевая, возможно, что смысл ее понятен и школьникам постсоветской эпохи. Или, скорее, ориентировался на читателей другого возраста.

Зато суждения критика о выборе имен, заменявших традиционные еврейские, вполне серьезны. В том числе вывод: «Гроссман же, назвав себя Василием, я думаю, хотел подчеркнуть, что он **русский писатель**» (здесь и далее разрядка автора. – *Ю. Б.-Ю., Д. Ф.*).

Получается, что выбор псевдонима обусловлен исключительно постановкой задачи – «подчеркнуть». Ну а Гроссман, согласно мнению критика, русским писателем «и был – не только формально (жил в России, писал на русском языке и о российской жизни), но по самой глубинной своей внутренней сути: мало кто из его современников дал такой срез всех слоев и пластов российской реальности, с потрясающей достоверностью **изнутри** представив русского человека в самых разных его социальных ипостасях – от рабочего, крестьянина и солдата до крупного военачальника и достигшего чуть ли не самой вершины социальной пирамиды партийного функционера».

Отсюда следует, что понятие «русский писатель» определяется набором признаков, которые делятся на «формальные» и относящиеся к «внутренней сути». Гроссман, значит, соответствовал всем сразу. Но, по словам критика, «это – еще не главное».

Далее речь шла о «главном». Критик утверждал: «Василий Гроссман был **русским** писателем (не зря я особо подчеркнул это названием своей статьи) прежде всего потому, что духу и традициям русской литературы, ее нравственным и эстетическим

основам он был привержен гораздо в большей степени, чем едва ли не все его современники».

Опять, как в мемуарах Липкина, «прежде всего». Разве что не о «прелести» речь, а про «дух», «традиции», «основы». Типологически и аргументы сходны: то, что Гроссман был русским писателем, «проявлялось не только в собственных его художественных установках в избранном им (точнее, органически ему присущем) способе повествования, но и во всех его литературных пристрастиях и вкусах, художественных симпатиях и антипатиях».

В общем, критик, вслед за мемуаристом, постулировал, что понятию «русский писатель» соответствует некая система ценностей, определяющая выбор модели поведения. Гроссман, стало быть, выбирал правильно, чем и отличался от «едва ли не всех» коллег-современников.

Но и не только этим. Он, по словам критика, еще испытывал «боль за родную русскую литературу…».

Таков – по Сарнову – чуть ли не важнейший отличительный признак. Далее же критик заявил: «Именно это свойство своей души, я думаю, он и хотел выразить, подписывая свои книги не тем именем, которое значилось в его “паспортных данных” (там он фигурировал как “Иосиф”), а измененным, “псевдонимным”».

Сарнов, вслед за Липкиным, пытался **доказывать**, что Гроссман – русский писатель. Вот почему и аргументы в ту же силу.

Правда, Липкин в мемуарах не сообщил о намерении самого Гроссмана когда-либо и хоть как-нибудь «подчеркнуть, что он – русский писатель». А по мнению Сарнова, ради этого и выбран гроссмановский псевдоним. На такой гипотезе критика построена вся его концепция.

Анализируется, в частности, дебют Гроссмана. Точнее, публикация, по мнению Сарнова, дебютная: «Первый рассказ Василия Гроссмана появился в апреле 1934 года в “Литературной газете”. Назывался он “В городе Бердичеве”».

Понятно, что топоним в названии маркированный, обозначающий тематику – еврейскую. Автор же, согласно ранее высказанному мнению критика, взял типично русское имя. Вот и контрапункт.

Логическая связь вроде бы наблюдается. Если не учитывать, что автора с детства называли Васей, а псевдоним взят не для рассказа и не в 1934 году. На самом деле – шестью годами ранее. За подписью «В. Гроссман» сдана в печать газетная заметка «Узбечка на кооперативной работе». Аналогично – статья «Ислахат».

Строя концепцию писательской биографии, критик не знал о ранней журналистике Гроссмана. Нет о ней сведений в мемуарах, цитируемых Сарновым, другие же источники оказались невостребованными.

Кстати, публикация рассказа «В городе Бердичеве» не была дебютом прозаика. Например, с января по февраль 1934 года журнал «Литературный Донбасс» печатал упоминавшуюся выше повесть о шахтерах – «Глюкауф»[119].

Ее тематику ни разу не характеризовали как еврейскую. То же самое можно сказать о напечатанном в мартовском номере журнала рассказе «Отдых»[120].

Липкин о ранних публикациях Гроссмана тоже не знал. Но и не строил на выборе псевдонима биографическую концепцию.

Отметим еще одно отличие. Причем весьма существенное.

Липкин, рассуждая о статусе *русского* писателя, акцентировал лишь культурную идентичность Гроссмана. Относительно же характера связи ее с этнической не формулировал конкретные выводы. А Сарнов указал специфически еврейскую, по его словам, черту характера – упрямство.

Оно-то и обусловило, настаивал критик, выбор псевдонима в целом. Гроссман заменил еврейское имя русским, но «родовую фамилию – в отличие от многих своих литературных собратьев – он менять не стал».

Не проявил, значит, конформность в полной мере. Причем, как настаивал критик, не только по соображениям этическим: в основе гроссмановского «нежелания сменить фамилию лежало и что-то еще более глубокое, хотя, быть может, неосознанное. Василию Семеновичу в высшей степени было присуще то свойство, та черта его соплеменников, которая в Библии именуется **жестоковыйностью**».

Такая «черта его соплеменников» детерминировала, по словам критика, индивидуальность писателя. Сарнов утверждал: «Примеров, обнажающих и подтверждающих эту гроссмановскую **жестоковыйность** можно было бы привести множество».

Речь шла об упрямстве в противостоянии цензурному диктату. По Сарнову, эта «жестоковыйность» проявлялась, когда вопросы были принципиальными для писателя Гроссмана. Тогда он не принимал компромиссы. В частности, если цензура требовала устранить еврейскую тематику.

Пусть так. Однако не следует откуда-либо с необходимостью, что упрямство – специфически еврейская черта. И ссылка на Библию здесь не меняет ничего. К теме цензурного диктата в литературе не относится. Да и рассуждения о том, какое имя более или менее русское – вне академического дискурса.

Аналогично и попытки определить меру конформности при выборе псевдонимов.

Зато понятно, что Сарнов не только почти дословно воспроизвел широко известную концепцию Липкина, но и дополнил ее деталью этнического характера. Впрочем, суть от этого не изменилась. Мемуарист и критик решали одну публицистическую задачу. Утверждение Гроссмана в статусе русского писателя было лишь частью ее. Главное – создание цельной литературной репутации.

Как отмечалось выше, литературная репутация Гроссмана за границей менялась по мере роста популярности романа «Жизнь и судьба». К 1985 году автор считался уже бескомпромиссным противником любого тоталитарного режима.

Но с учетом политического контекста понятно было, что бескомпромиссный противник тоталитарного режима не мог бы стать и более четверти века оставаться именно советским писателем. Значит, результатом компромиссов оказывалась значительная часть гроссмановского наследия. Чуть ли не все, что опубликовано при жизни автора.

Липкин и попытался доказать, что подобные выводы необоснованны. Согласно его концепции, Гроссман в довоенные годы еще не понимал бесчеловечную сущность тоталитарного государства, не видел, к чему может привести так называемая коллективизация, антисемитские же кампании тогда не проводились. Значит, был искренним, каким и оставался, когда обличал тоталитаризм и государственный антисемитизм. Менялось лишь мировоззрение, искренность неизменна. И конечно, гуманизм.

В мемуарах Липкина оппозиция русские писатели / советские писатели не только обозначена. Еще и неоднократно акцентирована.

Согласно Липкину, искренность, гуманизм имманентны русскому писателю, чем он и отличается от советского. Гроссман, значит, хранил верность досоветской литературной традиции.

По Сарнову – почти то же самое. Верностью традициям русской литературы Гроссман от большинства советских писателей разительно отличался, а еще был по-еврейски упрям, не уступая цензуре свое право на гуманизм и, разумеется, искренность.

Но концепция, предложенная критиком, не ближе к реальности, чем созданная мемуаристом. Она тоже публицистична, сконструирована умозрительно, вопреки опубликованным документам. В совокупности обе – своего рода зеркало давней полемики.

Гроссман же был советским писателем. Таковым и считался на родине.

Имеется в виду не оценка, но определение статуса – вполне официального. Полученного как результат вступления в Союз советских писателей. Состоявшие в этой организации считались элитой.

Вот почему важно установить, в силу каких причин Гроссман не просто стал писателем, но и официально получил такой статус в СССР. Необходимо выяснить, чем заслужил право войти в элитарное литературное сообщество.

Часть II. От Москвы до Москвы

Проекция биографии

Летом 1929 года закончилась преддипломная заводская практика Гроссмана. Затем он уехал в Донбасс, где по «разверстке» должен был работать не менее трех лет.

Сведений об этом периоде мало. Официальные источники – главным образом анкеты и автобиографии, хранящиеся в гроссмановском личном деле, которое формировалось сотрудниками администрации ССП.

Эпистолярных источников тоже немного. Отец жил неподалеку, переписывались редко – только в командировках и отпусках. Почти нет сведений в сохранившихся письмах, адресованных матери. Конечно, появились тогда новые друзья, но они – в силу разных причин – не опубликовали мемуары.

Принято считать, что этот период характеризуется в рассказе «Фосфор». Впервые он по рукописи опубликован в сборнике, что выпустило московское издательство к двадцатипятилетней годовщине смерти Гроссмана[121].

Согласно датировке, задуман рассказ в конце 1950-х годов. Его связь с биографией автора акцентирована первой же фразой: «Тридцать лет тому назад, окончив университет, я уехал работать в Донбасс».

Почему «уехал» – не объяснено. Ясно только, что не по собственной воле. Однако соотечественникам не требовался комментарий. Далее же сообщается: «Я получил назначение химика в газоаналитическую лабораторию на самой глубокой и жаркой шахте Донбасса – Смолянка-11».

Сведения о работе Гроссмана в Донбассе были не раз опубликованы критиками. Потому многие читатели-современники знали, что писательской карьере предшествовала инженерская.

Конечно, в шахте любая работа опасна. Ну а Смолянка-11, по словам повествователя, и вовсе «пользовалась плохой известностью – на ней происходили внезапные выделения рудничного газа и пыли, нечто вроде подземных цунами».

Такие «цунами» обычно засыпают подземные выработки тоннами породы, и тогда спасение шахтеров становится почти неразрешимой задачей. Однако повествователя риск манит: «Романтика захватила меня – самая глубокая, самая опасная, самая газовая шахта в СССР. Меня покорила поэзия Донбасса – потоки лампочек, прочерчивающие пунктиром ночные степные дорожки, протяжный вой сирен среди тумана, черные терриконы, угрюмое зарево над металлургическим заводом».

И все же он испытывает чувство одиночества. Не избавляют от этого даже «две великие силы – романтика и поэзия».

Кстати, гроссмановские письма свидетельствуют, что в университетские годы чувство одиночества стало привычным, окружающие не вызывали интереса. Повествователь же к такому не привык: мучит тоска «по Москве, по московским друзьям, которых я очень любил».

В столице и сложилась дружеская компания «вузовцев» – математик, геолог, музыкант и т. д. Собирались, как правило, по субботам, «были разные – и характером, и специальностью, и судьбой, и надеждами. Но имелось нечто объединяющее – фосфор, соль!».

Терминология эзотерическая. «Фосфор, соль» – свет и знание. Талант. А еще объединял друзей интерес к науке, искусству, политике: «Мы спорили, много читали, пили пиво и водку, бродили ночами по бульварам, купались в Москве-реке под Воробьевыми горами».

Себя повествователь характеризует кратко. Причем с иронией: «Я был химиком, но химия не тешила мою душу».

Эту же проблему Гроссман обсуждал и с отцом в университетскую пору. А герой рассказа сообщает, что его друзья – «забубенные веселые студенты, спорщики, матерщинники, выпивохи стали впоследствии знаменитыми людьми…».

Героя тоже, по его словам, не подвел «фосфор». О чем сказано опять с иронией: «Стал в конце концов известен и я, не как химик, к сожалению».

Но известность впереди. А пока что «ушли в прошлое университетские лаборатории, ночные прогулки, студенческие споры, веселые и умные субботы, огни вечерней Москвы и та хмельная и светлая легкость, которая вдруг, неожиданно, то темным осенним утром, то холодной январской ночью заполнит тебя всего ощущением самого высшего счастья – бессмысленного и беспричинного».

Обстановка изменилась. Настроение тоже: «Друзья мои остались в Москве, а я жил в шахтерском поселке, месил ногами липучую грязь…».

Москва для повествователя была привычной и комфортной средой, Донбасс – агрессивной, враждебной. Даже шел «по недоброй земле; а осеннее небо было таким тяжелым, холодным, что, поднявшись в клети после долгих часов, проведенных в шахте, я не радовался воздуху поверхности. Я очень, очень тосковал. У меня не только болели зубы, и не только мучило меня одиночество. В душе моей стояла смута. Юношей я решил

освободить внутриатомную энергию, а еще раньше, мальчишкой, мне хотелось создать в реторте живой белок. Не сбылось».

Реальность не соответствовала мечтам. А к прошлому, казалось, не было возврата: «Та, московская, жизнь продолжалась. Но я вылетел из нее».

Примечательно и описание бытовых условий в шахтерском поселке. Там инженеры – элита. Соответственно, выпускник университета сразу получил двухкомнатную квартиру. По сути, это была половина дома – «просторные комнаты, большая кухня, сарай для угля, две кладовки с дощатыми полами».

Такие условия тогда считались вполне приличными. Они и были гораздо лучше, нежели в университетской жизни Гроссмана, когда он нанимал комнату за городом.

Но повествователя это не радовало. В доме он был одинок.

Если верить дочери Гроссмана, родители некоторое время жили в Донбассе вместе. Повествователь же один приехал: «В такой квартире хорошо жить с семьей, обзавестись хозяйством. А я завез в квартиру пружинный матрац, чайник, стакан, ложку и нож. Матрац без козел я установил посередине комнаты, под лампочкой. Если я сидел на матраце и пил чай, чемодан, поставленный на попа, служил столом. Ел я тогда мало, больше курил. У меня в ту пору болели зубы, и я иногда до утра ходил по комнате и курил. А если боль несколько успокаивалась, я ложился на матрац, читал и курил. К утру комната была полна дыма, а консервная банка, служившая пепельницей, не вмещала окурков».

Молодой инженер оказался по сути в изоляции. Причем добровольной: «Я очень тосковал по вечерам. За долгие месяцы никто не пришел ко мне в гости. Я был застенчив, знакомства с сослуживцами у меня не завязались».

В шахте от него зависело многое. Буквально – здоровье, а часто и жизни всех, кто находился под землей. Ну а вне работы шахтеры посмеивались над чудаковатым инженером. И соседок, шахтерских жен, заглядывавших в окна пустой квартиры, она смешила – «отсутствие мебели в комнатах и посуды на кухне».

Далее уточнены хронологические рамки действия. Герой отмечает: «По утрам я не завтракал, есть не хотелось после десятков ночных папирос. В столовой кормили скверно – был суровый тридцатый год, год сплошной коллективизации, начало первой пятилетки».

Речь идет о так называемом первом пятилетнем плане развития народного хозяйства СССР. Формально его начало было определено партийным руководством – с 1 октября 1928 года. Утвержден же он через девять месяцев на V Съезде Советов

СССР[122].

Значит, шел второй год пятилетки. К этому времени и относится начало так называемой сплошной коллективизации – насильственной ликвидации едва ли не всех оставшихся в стране индивидуальных крестьянских хозяйств. Задача, не скрывавшаяся даже в официальных советских учебных пособиях[123].

Как известно, «сплошная коллективизация» сопровождалась изъятием практически всех запасов продовольствия у «коллективизированных». Вымирали от голода деревни и села, а бежавших оттуда крестьян не допускали в города специальные войсковые кордоны, причем сведения о катастрофе не публиковались. В рассказе Гроссмана ситуация лишь намеком обозначена.

На предприятиях Донбасса она и не была настолько катастрофична. Угольная промышленность тогда к военной приравнивалось, и продовольствием снабжали шахтерские поселки немногим хуже, чем гарнизонные.

Конечно, на прилавках магазинов стало гораздо меньше товаров, существенно уменьшились нормы в столовых. Это и отмечено повествователем – «кормили скверно».

Однако «скверно» было и в обществе коллег – инженеров, техников. Их присутствие тяготило: «Разговоры, где что достать, что привезла жена из Ростова, а теща из Мариуполя, огромная бессмысленная водка, грубые, сальные и необычайно глупые анекдоты, пересуды о начальстве, разговоры, кто кого подсидел, и непонятно, удивительно слитая с этим всем, полная поэзии и романтики, тяжелая опасная работа на самой глубокой шахте в Союзе ССР – угрюмой Смолянке-11».

Значит, тоска не мучила повествователя только на работе. Там хоть занят был: «Днем я работал, а вечером сидел один в пустом семейном балагане – так в Донбассе называют квартиры».

23 января 1930 года родилась дочь Гроссмана – Екатерина. Но это в жизни. А по рассказу известно только, что повествователь женат: «Я тосковал, я ревновал жену, которая редко мне писала, – она оканчивала институт, была очень занята».

Так обозначена причина, из-за которой повествователь живет один в шахтерском поселке. Что было на самом деле – трудно судить.

Но сходство с биографией автора постоянно акцентируется. Повествователь отмечает: «Прошло тридцать лет. Я уже давно живу в Москве, не занимаюсь химией, а внутриатомную энергию без моего участия поставили на службу людскому горю и людскому счастью».

Важно, что повествователь больше не чувствует себя одиноким. Хотя был период, когда вспоминал о донбасском одиночестве: «В начале пятидесятых годов в моей жизни наступило трудное время. Мне не хочется говорить, как и почему случилось это. Но вот случилось».

Читатели-современники должны были с полунамека понять, что имеется в виду. Речь шла о скандале в связи с романом «За правое дело».

Конечно, «трудное время». Сходство с донбасской ситуацией подчеркнуто: «Мог ли я себе представить, живя в Донбассе, в пустом семейном балагане на шахте Смолянка-11, что тоска и одиночество, еще более сильные, чем в пору моей донбасской жизни, могут охватить меня здесь, в Москве, в кругу семьи, окруженного друзьями, среди любимых книг, занятого своей работой. Я был одинок, подавлен. Мне часто вспоминалось, как в молодости, на Смолянке, мучаясь от зубной боли, куря папиросу за папиросой, я ходил до утра по пустой комнате. Тогда, в молодости, я тосковал по Москве, по своим друзьям, по жене, она жила далеко от меня и не спешила ко мне приехать, потому что не любила меня».

Наладились ли отношения, женился ли герой вторично – не сказано. Главное, пришло опять «трудное время», и «жена была рядом со мной, я жил в Москве, мне стоило снять телефонную трубку, и я услышал бы голос своих друзей. И именно сейчас я был одинок и несчастен, как никогда».

Вновь одиночество. Причина указана: «Обо мне в эту пору плохо писали в газетах, обвиняли меня во многих грехах».

Какие «грехи» – не уточнялось. Современники должны были помнить, и повествователь акцентировал: «Я считал, что обвиняют меня несправедливо, конечно, все обвиняемые считают, что их обвиняют несправедливо. Но возможно, что обвиненные и обвиняемые не всегда кругом виноваты. А обо мне писали только плохое, и на собраниях обо мне говорили только плохое».

Современники и без пояснений должны были понять, что речь шла о собраниях в писательских и партийных организациях, где роман обсуждали. Но, отмечает повествователь, вскоре ситуация изменилась: «Прошло трудное для меня время, а мое новое трудное время еще не пришло. И снова зазвонил на столе телефон».

Похоже, рассказ адресован тем, кто помнил не только травлю 1953 года, но и семейную историю Гроссмана. Однако рассуждения о прототипах вряд ли уместны: автор не тождествен повествователю, который все-таки простил своих «блестящих, талантливых друзей».

Важно же, что рассказ отражает происходившее в Донбассе – хотя бы отчасти. Это своего рода проекция биографии.

«Суровые глаза Донбасса»

Как сообщалось выше, сведения о донбасском периоде есть в личном деле Гроссмана. Рассказу «Фосфор» они не противоречат: выпускник университета направлен в город Макеевку.

Повествователь именует его «шахтерским поселком», и это отчасти правда – сходство с городом невелико. Да и местный ландшафт тогда вполне соответствовал описанному в рассказе «Фосфор».

Гроссман поступил в Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности горных работ. Первая должность – старший лаборант газоаналитической лаборатории Станции пыли и газа на шахте Смолянка-11[124].

Это был не самый удачный вариант из обсуждавшихся в переписке с отцом. Но все же лучше многих. По крайней мере, непосредственно связан с университетской специализацией – отравляющие вещества.

Гроссман вскоре стал заведующим лабораторией. Сразу такую должность получить не мог бы – требовался опыт. В шахту, стало быть, спускался часто.

В 1930 году из Макеевки он был переведен в Сталино. Новая должность – научный сотрудник химической лаборатории Донецкого областного института патологии и гигиены труда[125].

Разумеется, перевод удался не без помощи отца. Не исключено, что помогли и другие обстоятельства. Так, повествователь в рассказе «Фосфор» сообщает о событиях еще макеевского периода: «Видимо, я заболел. По ночам, когда, на время помилованный зубной болью, я засыпал, голова моя делалась мокрой от пота, волосы слипались, и капли пота текли по лбу; я просыпался не от зубной боли, а от того, что холодные струйки щекотали мое лицо, шею, грудь. Я стал желтеть, зеленеть, температурить, кашлять. С утра я чувствовал себя утомленным, вялым».

Как положено, инженер отправился в шахтерскую больницу. Там его «взяли “на лучи” и оглушили диагнозом: “Оба легких сплошь покрыты свежими туберкулезными бугорками”».

Стало быть, рентген выявил начальную стадию болезни. Так ли в точности было с Гроссманом – судить трудно. Повествователь же сообщает: «Я сидел ночью на своем матраце, курил, кривился от зубной боли и перечитывал написанный докторскими каракулями приговор».

Именно приговор – смертный. Лечить туберкулез легких тогда не умели. Эффективные медикаменты появились уже после

войны.

Бессонные ночи, боль, страх. И – незабытая обида: «А жена все не ехала ко мне и уже третью неделю не отвечала на мою телеграмму».

Так в рассказе. Более вероятно, что для осмотра Гроссман отправился в областной центр и диагнозпоставили там. Или подтвердили макеевский. Произошло это не позже 1930 года[126].

Конечно, Гроссман надеялся, что туберкулезный процесс еще остановится. Такие случаи регистрировались в больницах Донбасссса. Впрочем, там часто и умирали от легочных заболеваний. Горное дело провоцировало их: пыль, вредные газы. Больных среди горняков было немало, потому инженера, направленного по «разверстке», диагноз не освобождал от работ в шахте.

Зато освобождал перевод из Макеевки в Сталино. Такое не считалось нарушением: как макеевский институт, так и сталинский – в Донецкой области, стало быть, решение принималось местным начальством. Разумеется, по неформальному ходатайству Гроссмана-старшего и с учетом диагноза.

С отцом Гроссман обсуждал вопросы лечения. Других же родственников долго не извещал. Аналогична ситуация в рассказе «Фосфор»: матери повествователь «не смел написать о своем отчаянии, она бы заболела с горя, прочтя письмо».

В рассказе не сообщается, когда удалось повествователю остановить туберкулезный процесс. Это и не главная тема, а знакомым подробности были известны.

Но, судя по гроссмановской переписке с отцом, летом 1931 года ситуация уже не казалась безысходной. Гроссман тогда – старший ассистент химической лаборатории Донецкого областного института патологии и гигиены труда. Вновь повышен в должности. И дополнительный заработок нашел – тоже по отцовской рекомендации. Зачислен на должность ассистента кафедры неорганической химии Сталинского медицинского института[127].

С отцом, разумеется, постоянно общался. Первое из сохранившихся «донбасских» писем датировано 8 июля 1931 года, когда Гроссман отправился в отпуск: «Дорогой батько, приехал вчера в Москву. Остановился у Нади. У нее прекрасных 3 комнаты, в $1^1/_2$ минутах ходьбы от трамвая. Благодушествую».

Имелась в виду московская кузина – Алмаз. Ее партийный статус еще более высоким стал, улучшились и, как тогда говорили, «жилищные условия».

В столице ждали друзья юности. Отцу рассказывал: «Все

ребята мои здесь, за исключением Лободы – этот сукин сын уехал на двадцать месяцев в экспедицию – Сахалин – Камчатка – Чукотский полуостров».

Гроссман не только с друзьями встречался. Решал и другую задачу: «Перспектив работы в Москве сколько хочешь. Но сразу же во весь рост встает вопрос – отпустят ли с Донбасса?».

К лету 1931 года он считался весьма опытным аналитиком, таких ценили везде. Значит, возможность того, что «отпустят», была пренебрежимо мала. Столичные же впечатления в том письме характеризуются скупо: «Москва мне очень нравится, москвичи – нет. Смотрю на них суровыми глазами Донбасса».

Отпуск лишь начинался. И Гроссман отметил: «Посижу здесь еще недельку и катану на Киев-Бердичев».

В Киеве, понятно, жена его ждала. Ну а в Бердичеве – мать и другие родственники.

Следующее письмо отправлено 1 августа. Гроссман сообщил, что жил «в Бердичеве с 20-го июля. Отдыхал все время с тетей на даче, в деревне. Ел как бык. Пил по 20 стаканов молока в день. Поправился на 2 кило».

Имелось в виду лечение. Один из симптомов туберкулеза – быстрая потеря веса. Тогда считалось, что больному необходимо в первую очередь «усиленное питание».

Деревенский отдых быстро наскучил. О чем и рассказывал отцу: «Все это не очень весело, но зато дает килограммы».

Сообщил и подробности недавно завершенного столичного времяпровождения. Порядок был предсказуем: «В Москве провел время очень интересно (т. е. много пьянствовал) и очень весело (т. к. пьянствовал на чужой счет)».

Разумеется, «пьянствовал» Гроссман по квартирам друзей-москвичей. Для них он стал фигурой экзотической – донбасский инженер, настоящий горняк, в шахте работал, а потом опять наукой занялся.

Перечислил и семейные новости. Мать проводил на лечение в Одессу, так делал почти ежегодно. О дочери же сказано: «Катюша разговаривает, ходит, кланяется тебе. Мне сдается, что она будет зимовать в Бердичеве».

В последней фразе ирония очевидна. Подразумевалось, что переезд жены планируется не скоро, а в Киеве за дочерью присматривать особо некому, так что ей и лучше бы не только на лето остаться у бердичевской родни.

Конечно, Гроссман хотел жить в столице. Отцу рассказал, что есть и вакансия преподавателя в Московском горном институте. Но переехать мешала не только «разверстка». Политическая ситуация тоже.

25 ноября 1930 года в Москве начался судебный процесс по делу так называемой Промышленной партии. Речь шла о якобы созданной инженерами конспиративной организации, ставившей целью уничтожение промышленности, а также подготовку вторжения иностранных армий – с последующим захватом власти. Если верить материалам периодики, заговор «буржуазных специалистов» охватывал чуть ли не все наркоматы. Закончился суд 7 декабря 1930 года. Подсудимые с предъявленными обвинениями согласились. Впоследствии было признано официально, что «Промпартия» – фальсификация, подготовленная ОГПУ, аналог «шахтинского» сообщества «вредителей»[128].

Аресты по «делу Промпартии» начались весной 1930 года, а продолжались и после окончания суда. «Буржуазных специалистов», как повелось, объявили виновниками аварий. И конечно, недовольства рабочих на предприятиях. Арестовывали также инженеров помоложе – в качестве «пособников».

В Донбассе у Гроссмана-старшего, да и младшего, нашлась бы защита. Там было кому своевременно объяснить энтузиастам из ОГПУ, что безопасность горных работ зависит от химиков-аналитиков, которых немного. Случись взрывы на шахтах после ареста редких специалистов, попали бы в подозреваемые те, кого предупредили о возможности аварий. Вышло бы, как говорится, себе дороже. А в Москве такой фактор не играл сколько-нибудь важной роли.

1 марта 1931 года в столице начался очередной суд – по делу так называемого Союзного бюро ЦК меньшевиков. Обвинения стандартные: «вредительство», шпионаж. Восемь дней спустя процесс закончился. Подсудимые – известные экономисты, инженеры – не отрицали свою вину. Шестьдесят лет спустя они были тоже полностью оправданы и заговор признан фальсифицированным ОГПУ[129].

Аресты фигурантов проводились в конце 1930 года. Гроссману-старшему не стоило тогда уезжать из Донбасса. 1 августа 1931 года сын и напомнил об этом, сообщив, что одну из московских знакомых «арестовали, очевидно, в связи с «меньш[евистским] процессом, недавно выпустили (семь месяцев сидела)».

Гроссман-младший точно знал причину ареста. Что и акцентировал намеком: если общая знакомая «семь месяцев сидела», то ее именно тогда и арестовали, когда шло следствие по делу «Союзного бюро ЦК меньшевиков».

От подробностей воздержался. Подразумевалось, что обсуждать их уместно только при встрече: «Ну, ладно… Поговорим».

Лично им ничего вроде бы не грозило: опасность вновь миновала. Но значительная часть отпуска Гроссмана-младшего ушла на лечение, да и семейная жизнь былым ожиданиям не соответствовала: жена в Сталино переезжать не спешила.

Новый год с августа

Отец уехал на кавказский курорт после возвращения сына в Сталино. 26 августа Гроссман-младший сообщал: «Дорогой батько, получил сегодня твое письмо и был ему очень рад. Очень рад тому, что ты в Кисловодске, что ты будешь лечиться и что ты доволен. Сиди там подольше, наслаждайся воздухом, звездами, вообще поправляйся, пей и закусывай, и пусть тебя не волнует никаких глупостей».

Понятно, что в последнем предложении форма родительного падежа вместо винительного – «никаких глупостей» – не ошибка, а имитация так называемого южнорусского говора. Шутка соотносится с весьма популярными тогда «Одесскими рассказами» Бабеля. В частности, напоминала о новелле «Король»[130].

Гроссман-старший, конечно, читал ее. Сын и напомнил о цитате, что буквально на слуху. «Папаша, – ответил Король пьяному отцу, – пожалуйста, выпивайте и закусывайте, пусть вас не волнует этих глупостей…»

Далее сын описывал ситуацию в Институте патологии и гигиены труда, где вместе с отцом работал. Лето – пора отпусков, соответственно, разъехались и почти все сотрудники.

В качестве преподавателя Гроссман тоже не приступил к работе. О чем и сообщал отцу: «По Медицинскому занятия еще не начались, нас прикрепили к общей химии, а аналитика нас касаться не будет. Начнем, вероятно, числа 5–20 сентября».

Речь шла о кафедре общей химии, куда перевели специалистов в области газоанализа. Они стали преподавателями. Соответственно, научная работа прекратилась. Зато у Гроссмана – как сотрудника вуза – была комната в общежитии, что считалось весьма значительной привилегией.

Но его не увлекло преподавание химии, гораздо интересней было в Институте патологии и гигиены труда. Правда, там и платили меньше, и жилье сотрудникам не предоставляли.

Гроссман уже второй год работал в двух учреждениях сразу. Если бы не должность в Медицинском институте, пришлось бы квартиру нанимать. Это дополнительные расходы, а ведь приходилось содержать жену и дочь.

Он неоднократно пытался договориться о предоставлении служебной квартиры от Института патологии и гигиены труда. Но успеха не добился. Отцу сообщал: «Следовательно, от Мед. ин[ститу]та отказываться я не могу. А раз я сейчас не откажусь, то позже нельзя будет – в середине занятий ведь этого нельзя

делать».

Гроссман хотел сохранить время для писательства. Отца же заверял: «До твоего приезда я, конечно, ничего предпринимать не буду. Во всяком случае, твердо знаю, что сделаю все возможное, чтобы этот год не был похож на прошлый. Что сие для меня не физической, а моральной смерти подобно, что гораздо хуже. Настроение у меня, против ожидания, хорошее, очевидно, хорошо отдохнул (успокоил нервы + 5 кило живого веса)».

Жена и в Сталино не переехала. Отцу рассказывал: «Очень одинок без тебя, не с кем слово сказать по душам, очень хочу тебя видеть. Действительно, страшно. Нет ни одного человека, который был бы человеком и с которым можно было бы по-хорошему поговорить. А для нашего брата интеллигента это много значит “поговорить по душам”».

Причиной депрессии было одиночество, как прежде. И по-прежнему не интересовали окружающие: «А кругом исключительно идиоты и ничтожества. Ну и черт с ними».

Он ждал приезда отца. Но и радовался, что тот хоть на время избавлен от институтских забот: «Ешь, поправляйся, дыши, любуйся небом и горами и не думай ни о чем прочем».

Гроссман-старший тоже весьма критически оценивал учреждение, в котором работал. Искал вакансии вне Донбасса. Этот вопрос обсуждался в переписке.

У Гроссмана-младшего основной проблемой оставалась «разверстка». Зато и преимущества полагались шахтерские. Так, зимой 1932 года ему предоставили от профсоюза путевку в кавказский санаторий – для лечения. Отцу в письме рассказал о дорожных приключениях: «Дорогой батько, вот я и прибыл в Сухум. Поездом ехал прекрасно, но автомобильная дорога была собачья: по пути мы въехали в канаву и простояли целую ночь – при собачьем ветре и морозе, в лесу, между Гаграми и Афоном. Спасли меня мои теплые пальто и прочие принадлежности. Отделался вполне благополучно, а то у моих попутчиков туберкулезных эта поездка сократит дни наполовину – они, бедняги, по приезде в Сухум пришли в такое состояние, что их пришлось вытаскивать из автомобиля».

На Кавказе Гроссман был впервые. Впечатления отцу тоже описал: «Сухум как две капли воды похож на Бердичев. Ей-богу!»

Конечно, не Москва, даже не Сталино. Небольшой провинциальный город Российской империи, что и отмечено: «Посади на Белопольской улице штук 5 пальм, одень на наших евреев папахи и бурки – и получишь типичный абхазский город Сухумэс».

Звучало как еврейский топоним: окончание «эс» в идиш

обозначает форму множественного числа существительного. Шутка связана еще и с тем, что речь шла о столице Абхазии, которая с февраля 1931 года была включена в состав Грузинской ССР на правах автономии. Соответственно, название города произносилось иногда и на грузинский манер – Сухуми.

Далее описан последний этап дороги. Ехать следовало пятнадцать километров: «Ну ладно. В Сухуме я пробыл часа 4 и на частном извозчике (бердичевлянин в папахе) отправился в Агудзеры».

Там и был пункт назначения. Далее Гроссман сообщил: «Санатория эта (sic! – *Ю. Б.-Ю., Д. Ф.*) исключительно для рабочих».

По норме досоветского периода существительное «санатория» – женского рода. Гроссман же, надо полагать, шутки ради использовал оба варианта написания. Характеризовал и контингент пациентов: «Русских здесь не больше 10 человек – остальные тюрки, грузины, абхазцы и пр. Ах, батько, дорогой мой! Никто не умеет умирать так просто и весело (честное слово, весело), как простые люди, рабочие».

Санаторий оказался специализированным – там лечили заболевших туберкулезом легких. И Гроссман характеризовал специфику местных нравов: «Здесь больше половины кандидаты на тот свет в течение ближайшего года-двух. И при этом все хохочут, смеются, говорят о чем угодно, но только не о своих болезнях. Понимаешь, они больны, тяжело больны, но они не больные (подчеркнуто Гроссманом. – *Ю. Б.-Ю., Д. Ф.*), дрожащие над собой и рассматривающие весь мир в призму своей болезни».

Такое поведение восхищало. А страх не оставлял: «Но боже мой, только здесь я понял, что за страшная болезнь – туберкулез – что она делает с людьми!»

Перспектива смерти была уже отнюдь не абстрактной. Именно в санатории, по словам Гроссмана, «стало по-настоящему страшно».

Там он узнал точно, что смерть от туберкулеза легких бывает мучительна. И задумался о другом варианте: «Действительно, лучше застрелиться из ружья, чем болеть этой ужасной чахоткой».

Но как выяснилось, ему повезло. Отцу рассказывал: «Был на рентгене. Рентгенолог (о нем говорят, что он пропустил через свои руки около 150 000 больных) сказал мне после довольно внимательного осмотра, что у меня здоровые легкие, а те очажки, которые есть – такие имеются у всех людей. Не уехать ли мне домой?»

Разумеется, уехать сразу он и не смог бы. Направление в санаторий получил от профсоюза, так что следовало дисциплину

соблюдать. Для отдыха же комфортных условий не было: «Погода жуткая, – снег валит так густо, что в 4 часа дня уже темно. Снег лежит слоем в 1/2 аршина».

В общем, не до прогулок, любимых Гроссманом. Даже выспаться ему не всегда удавалось: «В санатории почти не топят. Температура в комнате – 7–8°».

Голодным, правда, не был. Ассортимент санаторный, даже с учетом последствий «коллективизации», оставался сносным: «Кормят хорошо, но по сравнению с моим сталинским рационом маловато, правда, тут есть базар и можно кое-что прикупить на базаре».

Поездку считал удачной. И отметил: «Настроение у меня хорошее, только боюсь заразиться».

Вполне реальная опасность в туберкулезном санатории. Зато прежняя миновала: «А в общем, температура у меня нормальная, аппетит зверский, и все пойдет хорошо».

Больным он себя уже не считал. Только от депрессии не избавился, о смерти ему напоминало буквально все: «P.S. Утром мы собрали в парке штук 20 замерзших дроздов. Море бушует. Идет снег».

В начале второй недели февраля отправлено новое письмо. Судя по нему, санаторий изрядно надоел: «Дорогой батько, вот уже 10 дней, как я в Сухуме, и в течение этих 10 дней беспрерывно шел снег. Я не видел в Москве, чтобы было столько снегу. 40 лет, говорят местные жители, не было такой зимы. Сегодня первый день не идет снег, но зато моросит мелкий дождичек. В общем, погода отвратительная».

Все остальное было не столь мрачно. О себе Гроссман сообщал: «Чувствую я себя хорошо, t° нормальная, сон, аппетит и все прочее в полном порядке».

Стало быть, рентгенолог не ошибся. И Гроссман указывал, что «рисуется следующее: рентген показал, вернее говоря, ничего не показал. Только “Hilus”-железу, а в остальном норма, клинически тоже, анализы – норма».

Пользуясь современной терминологией, можно сказать, что лимфатические узлы были увеличены. Не туберкулез, хотя и не норма[131].

Заболеванием это не считалось – тогда. И Гроссман подытожил: «Врач говорит, что мне, очевидно, поставили неверный диагнозв Сталине, и что, по его мнению, у меня легкие здоровые. Зачислили меня в категорию отдыхающих, а не больных».

С одной стороны, удача. А с другой – отдалялась чаемая перспектива досрочно покинуть Донбасс. Вот и попросил отца не

делиться радостью со знакомыми: «Ты об этом в Сталине не говори, это может пригодиться при уходе моем из института».

Очередное письмо отправлено 20 февраля. Гроссман, опасаясь, что прежнее до адресата не дошло, пересказывал и то, о чем уже написал ранее: «Дорогой батько, вот уже 19 дней как я в Сухуме. В течение 14 валил снег, а последние 5 дней 24 часа в сутки холодный мелкий осенний дождь. Снег тает понемногу. “Все течет”».

Он иронически перефразировал хрестоматийно известный афоризм Гераклита – в пересказе Платона: «Все течет, все изменяется…» Шутил невесело.

Судя по его письму, отъезда дожидался с нетерпением. Отцу рассказывал: «В общем, “кругом вода, а посередине беда” – так каторжники определяли Сахалин. Так можно определить и санаторий, в котором я нахожусь».

Еще на исходе XIX века о суровости условий содержания арестантов в каторжных тюрьмах острова Сахалин написано было немало. Этой теме, в частности, посвящен широко известный очерк Чехова «Остров Сахалин»[132].

Имплицитно ссылаясь на чеховский очерк, Гроссман младший, конечно, характеризовал не санаторные условия, а свое настроение. Что и акцентировал: «Ты себе не можешь представить, какая здесь собачья тоска. Ни один человек не выдерживает полного срока здесь – все удирают на 5–10 дней раньше. Уезжающим завидуют, как выходящим из тюрьмы».

Правда, речь шла лишь о настроении. На физическое состояние не жаловался: «Чувствую себя прилично, к врачу не обращаюсь и избегаю его, т. к. узнал от доктора, что еще 3 месяца назад этот местный фтизиатр был самым популярным гинекологом в Сухуме».

Он называл «доктором» лишь рентгенолога, чья квалификация не вызывала сомнений – в отличие от познаний «местного фтизиатра». Настроение же не улучшалось: «Новостей, как понимаешь, у меня нет. Разве что в соседней палате минут 10 назад умер 18-летний парень – рабочий».

Деталь, характеризующая санаторную обстановку. Были и другие: «Последние 2 дня у нас тут тихо. Одна партия уехала, а вторая еще не успела прибыть. Не слышно кашля, харканья и пр.».

Гроссман по-прежнему боялся заразиться туберкулезом. А в остальном жил, как полагалось отдыхающему: «Сражался в шахматы. Читаю. Дни проходят».

Отца просил чаще отправлять письма. В санаторий они попадали с большим опозданием, что особенно тревожило: «Ужасно тяжелое состояние – не знать, что со всеми моими

родными и близкими. Сегодня уже 19-ое, а от вас, чертей, никаких вестей».

Но ситуация изменилась. Причем еще до того, как письмо было закончено: «Сделал перерыв (на обед) и в это время получил телеграмму. Сразу стало легче – почувствовал, что не один на свете».

Через несколько дней он вернулся в Сталино. Работал там по-прежнему в двух учреждениях. А Гроссман-старший добился перевода в Новосибирский научно-исследовательский институт безопасности горных работ. Уехал один – жена только начала курс длительного лечения на южном курорте. Беспокоился, сумеет ли она, а главное, захочет ли, оставив налаженный быт, дом, имущество, родственников, отправиться в Сибирь и начать там жизнь заново. 27 мая сын отправил ему письмо, сочувствовал: «Ох и одиноко тебе, верно, в Н. Сбрске (sic! – *Ю. Б.-Ю., Д. Ф.*). Аж нехорошо, до того это далеко. Утешься тем, что мне в Сталине тоже одиноко, пусто, холодно, нехорошо».

Гроссман-младший не жаловался, а действительно пытался утешить, подчеркивая, насколько важно ему общение с отцом. Правда, был и на самом деле одинок: жена в Сталино не приехала. Значит, планы не менялись: «Я беру отпуск 5 июля. Пиши мне с таким расчетом, чтобы письмо застало меня еще здесь».

Кризис

Отпуск пришлось отложить: как сотрудник Института патологии и физиологии труда Гроссман вскоре был командирован в Москву, а вернулся только 6 июля. Сразу же и сел за письмо, чтобы отцу рассказать о столичных впечатлениях.

В Москве остановился, по обыкновению, у кузины. С мужем Алмаз развелась. В трехкомнатной квартире жили она и мать, так что места хватало, да и обидел бы их Гроссман, откажись от гостеприимства.

Занимался не только институтскими делами: одному из столичных издательств предложил выпустить готовившуюся в соавторстве с отцом монографию о «шахтных газах».

Эта затея не удалась. В издательском плане уже была книга по аналогичной тематике, но других авторов.

Гроссман, судя по его письму, не огорчился. В его планы академическая карьера не входила, писателем стать намеревался. Да и по горной тематике имел уже публикации, о чем сказано в цитированной выше автобиографии 1952 года. Кстати, не без гордости: «За время пребывания в Донбассе мной были выполнены несколько научных работ, о взрывчатых и ядовитых газах, выделяющихся в каменноугольную выработку, в частности, работа “К вопросу о наличии и происхождении окиси углерода в каменноугольных шахтах Донбасса”».

В Сталине у него было и жилье, и стабильные доходы, и карьерные перспективы. Тем не менее, Гроссман хотел уехать.

Обсуждался вариант перевода в Новосибирский институт безопасности горных работ, но – как запасной, если не появятся московские вакансии. Пользуясь случаем, искал в столице подходящее учреждение или предприятие, о том отцу рассказывал: «Кое-что прощупывается и относительно работы…».

Гроссман собирался радикально изменить образ жизни. Именно об этом и сообщал отцу: «Получив твое письмо, я совсем укрепился в своей мысли, что живу в Сталине последнее лето. Ты себе представить не можешь, как мне радостно от мысли, что возьму через 10 дней отпуск и уже не вернусь в этот “гадкий” Институт. Точка».

Институт патологии и физиологии труда и в самом деле переживал не лучшие времена. Уходили сотрудники, не разменялось руководство. Отцу Гроссман рассказывал, что опять назначен новый директор, причем «такой же остолоп, как и прежние. Но остолоп ученый. Ты знаком с этой категорией?»

Срок, определенный «разверсткой», заканчивался. Вот почему

Гроссман утверждал, что «Рубикон будет перейден 15 июля. Завтра подам рапорт со справкой из диспансера и попрощаюсь со всей компанией, вне зависимости от того, как решит наша мудрая дирекция: пущать чи не пущать».

Имелась в виду справка из туберкулезного диспансера. Там, согласно правилам, Гроссман состоял на учете, еще с 1930 года. Законодательством предусматривались льготы для заболевших, если было официально признано, что они работали в условиях «вредного производства».

Как химик-аналитик Гроссман бывал и в шахтах, а это признавалось именно «вредным производством». Правда, следовало еще завершить институтские плановые исследования, подготовить итоговый отчет. Но тут затруднения не планировались: «Работа моя закончена уже, за ближайшие несколько дней напишу ее».

Уехав из Сталина, собирался остановиться у Алмаз. Она, пользуясь обширными связями, продолжала искать новую работу для кузена. Соответственно, отцу сообщал: «Напиши мне на московский адрес (подчеркнуто автором. – *Ю. Б.-Ю., Д. Ф.*), т. к., пока обернутся письма, я уже, вероятно, буду в Москве (если не схвачу какой-нибудь хвори, которых здесь, как полагается, хоть отбавляй)».

Перспективы еще не определились. Зато решение изменить прежний образ жизни принято окончательно: «Думаю, что в Москве в течение ближайших 2-х–3-х недель все мои проблемы выяснятся, и будет ясно, останусь я там либо поеду в Новосибирск».

Гроссман отметил также, что в Новосибирск едет и вернувшаяся с курорта жена отца. Подводя итоги, отметил: ««У меня от Москвы хорошие впечатления, особенно хороши мои отношения с Надей».

Какие именно «отношения» – по сравнению с прежними – не уточнил. Ясно только, что иные.

Вскоре планы Гроссмана несколько изменились. Жена, узнав от знакомых о его намерении окончательно покинуть Сталино, приехала туда вместе с дочерью.

Но Гроссман принял и другое решение, о котором сообщил отцу 13 августа. Причем из Москвы, куда вместе с дочерью приехал: «Дорогой мой, я давно не писал тебе и не писал сознательно. Дело в том, что я решил разойтись с Галей. Я хотел написать тебе тогда, когда все это будет закончено, т. к. знаю твой скептицизм и “правый оппортунизм” – недооценку моих внутренних ресурсов в этом отношении».

Понятно, что взятые в кавычки слова «правый оппортунизм» –

ссылка на газетное клише. Смысл его Гроссман передал адекватно: готовность к уступкам.

Он шутил, но ирония была грустной. Развод оказался задачей непростой: «Но так как дело затягивается, то я пишу тебе сейчас. История, являющаяся поводом (подчеркнуто автором. – *Ю. Б.-Ю., Д. Ф.*) моих отношений тебе известна».

О причине отец уже знал от киевских знакомых. «История» туманная, реконструируется лишь по намекам, и насколько обоснованны были подозрения Гроссмана – трудно судить.

Похоже, дело было не только в ревности. Сами «отношения» изменились – прежних не стало. Что Гроссман и объяснял в письме: «Решение мое очень твердо, спокойно и непоколебимо. Затягивается его осуществление вот почему – Галя сейчас находится в Сталине, она меня бомбардирует письмами, полными всего, что хочешь, а самое главное – угроз самоубийством, если я не брошу Москвы и не вернусь обратно».

Вряд ли Гроссман считал угрозы достаточно серьезными. На решение они не влияли: «Говорю тебе вполне откровенно – этого я очень боюсь и если она это сделает, для меня это будет страшно. Но разойтись с ней я должен, и весь вопрос сводится к тому, в каких наиболее удобных формах провести это. Я ее убедил переехать в Киев, где она будет среди родных, подруг и пр., “переживет” это, вероятно, менее остро и более безболезненно, чем в Сталине. Она мне ответила, что согласна переехать в Киев, если я приеду туда для “последнего свидания” и для устройства ее дел – комнаты и пр. Очевидно, она рассчитывает, что, свидевшись со мной, сможет меня удержать, убедить и пр.».

Надо полагать, нечто подобное случалось неоднократно. И Гроссман объяснял, что более не уступит: «Слушай, старик, я вижу твой зелено-голубой глаз, полный скепсиса, беспокойства и грустного мужского сомнения – тебе ли не знать силы женщин и слабости мущин (sic! – *Ю. Б.-Ю., Д. Ф.*). Так знай – вопрос в существе своем для меня решен. Галя мне не жена. Я ее не люблю. Все сгорело, не может быть положения, при котором мы будем жить, как раньше. Это решение мне стоило многого – и бессонных ночей, и крови, и нервов, и, боюсь, что легких. Верней, не решение, а переоценка ее, дача ей настоящего имени. Но после этого все стало очень просто и ясно. Я спокоен, доволен, уверен. И я боюсь только одного – ее самоубийства. Вот это-то и осложняет дело – не по существу, а по форме его доведения – до конца. Но так или иначе, до конца я его доведу».

Вряд ли отца удивили новости. Переданную киевскими знакомыми «историю» он и рассказал Алмаз, что явствует из

письма сына. Решение было принято, и Гроссман просил о поддержке: «Мне это нужно для последних решительных боев».

Очевидно, что последняя фраза тоже скрытую цитату содержит. Гроссман иронически обыгрывал строку «Интернационала» – советского гимна с 1918 года: «Это есть наш последний и решительный бой».

Характерно, что в университетскую пору Гроссман использовал литературные ассоциации, а позже шутки его строятся на аллюзиях политического характера. Шутил он по обыкновению невесело.

Однако тут же отметил, что в целом доволен. Многое удалось, «заручился работой на “безвредной” фабрике карандашей, веду еще чрезвычайно приятные дружеские беседы с Надей, занявшей большое место в моей жизни, встречаюсь с интересными людьми – Надиными друзьями…».

Разумеется, он искал предприятие, где работа не считалась «вредной» – в аспекте повышенной вероятности легочных заболеваний. Конкретно же речь шла о всесоюзно известной тогда «Карандашной фабрике имени Сакко и Ванцетти»[133].

Название дано в память о Н. Сакко и Б. Ванцетти, американских рабочих-иммигрантах, арестованных в 1920 году по обвинению в убийстве охранника фабрики. Оба считались активистами профсоюзного движения, были осуждены и казнены, хотя доказательства их вины многие юристы и политики объявили фальсифицированными. В СССР имена казненных – своего рода символы «классовой борьбы»[134].

Отцу Гроссман рассказывал еще и о встречах с общими знакомыми, а также местных новостях. По его словам, он больше времени уделяет дочери – «беседую с Катюшей – о козлах, котах, скверных мальчиках и примерных девочках, и в общем, удивляюсь тому, что участь холостого отца не только не тяжела, но, наоборот – приятна».

На самом деле ситуация оставалась напряженной. Гроссман уточнил: «Конечно, история эта то и дело выводит меня из равновесия, но я отдаю себе прекрасно отчет в том, что все это будет доведено до благополучного конца, и что выиграет тот, у кого самые крепкие нервы. А я неожиданно обнаружил, что они у меня очень крепкие».

Отец тогда был в командировке на Алтае. Завершая письмо, сын просил его по возможности чаще сообщать «о здоровье своем, перспективах земного свойства, возможности приехать в Москву и опять о здоровье».

Но «история» с разводом продолжалась. 23 августа Гроссман вновь ее характеризовал: «Не отправлял тебе письма, т. к. на

Алтай оно не дойдет, а в Новосибирск придет раньше, чем ты. За эти дни были тут всякие события – приехала Галя из Сталина, я ей написал, что расхожусь с ней. Я провел весьма тяжелые сутки – она меня “убедила”, что все, что про нее рассказывают – наглая ложь, но, тем не менее, я настоял на своем и препроводил ее в Киев. Вопрос закончен».

Формально «вопрос закончен» в 1933 году. Впрочем, формальности сколько-нибудь важной роли не играли. Гроссман на своем настоял в августе 1932 года, о чем и сообщил отцу: «Должен тебе сказать, что эта передряга мне стоила большого напряжения, и что я едва жив сейчас, но выдержал до конца. Она хочет забрать Катю, как только устроится в Киеве. Что ж, пускай. Если я узнаю, что Кате будет плохо в Киеве, то я приложу все силы и средства, чтобы забрать ее. Жду твоего подробного письма».

Можно сказать, что это был очередной кризисный этап в жизни Гроссмана. Причем летом 1932 года кризис лишь начинался.

Интервал

Переехать в Москву вторично Гроссман сумел не так скоро, как планировал. Ему пришлось и в Сталино вернуться, чтобы оформить увольнение окончательно, и заниматься киевскими делами бывшей жены. Дочь все же осталась с ней. Правда, до войны часто и подолгу гостила у бердичевских родственников.

В личном деле есть сведения о начале второго московского периода. Например, в автобиографии 1947 года. Там сказано: «В 1932 году я заболел туберкулезом легких и, так как климат Донбасса и работа на шахтах и заводах были для меня вредны, вернулся в Москву»[135].

Отметим, что в дате «1932» последняя цифра исправлена, точнее, переправлена. Ноль стал двойкой.

Гроссман не забыл, что поставленный в 1930 году диагноз «туберкулез легких» снят задолго до отъезда из Донбасса. Но пятнадцать лет спустя он следовал ранее созданной биографической легенде. А тут была важна причинно-следственная связь: потому и отправился в Москву, что «на шахтах и заводах» работать более не мог. Причина уважительная, с литературой не связанная.

Он и впрямь окончательно переехал осенью 1932 года. А первое из сохранившихся писем отцу датировано 9 февраля 1933 года: «Дорогой мой, давно собираюсь тебе написать, но так и не соберусь. Беспокоит меня мысль о том, как ты переносишь сибирские морозы. Недавно приезжал человек из ваших краев и говорил, что холода жуткие – птицы на лету замерзают и падают на землю. Не знаю, может быть, он и преувеличивает, но если у нас мороз был выше 30˚ градусов, то почему бы ему не быть в Сибири выше 50˚. Напиши мне об этом – не отморозил ли ты чего, как твое сердце переносит этот климат, как Ольга Семеновна…».

Упоминаний о болезни, разумеется, нет. Литературные же планы упоминаются, хотя до поры они и отложены: «У меня все по-прежнему. Работаю на карандашной фабрике, работа отнимает почти все время и почти всю энергию, так что для занятий своих – чтения, писания – почти ничего не остается. Я все-таки читаю немного из интересующих меня областей, и это приносит некоторое удовлетворение. Писать не могу – это требует внутренней собранности, тишины, сосредоточия (sic! – *Ю. Б.-Ю., Д. Ф.*), а я до 7 ч. вечера себя теряю окончательно. Настроение у меня ровное, думаю, что удастся изменить это в лучшую сторону, а не удастся, то тоже не беда – проживем».

Кстати, на фабрике его повысили в должности. Согласно

анкете, был принят на работу как старший химик фабричной лаборатории, а стал ее заведующим[136].

Жалованье тоже повысили, только и новые обязанности больше времени отнимали. Но отложить литературные планы Гроссмана вынудила отнюдь не специфика работы на фабрике. В Москве началась реализация принятого 27 декабря 1932 года постановления ВЦИК и СНК «Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописки паспортов»[137].

Речь шла о системе, подразумевавшей тотальную идентификацию граждан. Название ее напоминало о досоветской, упраздненной с падением Временного правительства в октябре 1917 года. Шестнадцать лет вместо прежних российских паспортов были в ходу выдававшиеся различными советскими учреждениями идентификационные документы. Универсальными же считались оформлявшиеся уже к середине 1920-х годов местными отделениями милиции так называемые удостоверения личности.

В последнем случае документ обязательно снабжался фотографией. Кроме того, указывались там возраст и место рождения владельца. Метафорически такие документы порою именовали «паспортами», но сам термин официальным не был. Советское правительство избегало аналогий с практикой Российской империи, объявленной «полицейским государством».

Именно поэтому и полиция как институт была ликвидирована в 1917 году. Правда, вскоре же воссоздана, только именовалась по-новому – Рабоче-крестьянская милиция[138].

В 1932 году правительство более не опасалось аналогий. Паспортизация, согласно постановлению ВЦИК и СНК, понадобилась для «лучшего учета населения городов, рабочих поселков и новостроек и разгрузки этих населенных мест от лиц, не связанных с производством и работой в учреждениях или школах и не занятых общественно полезным трудом (за исключением инвалидов и пенсионеров), а также в целях очистки этих населенных мест…».

Характерно, что «очистка» названа в числе главных целей. Из городов планировалось удаление всех «уголовных и иных антиобщественных элементов».

Крестьянам паспорт вообще не полагался. Их обязали жить и работать в колхозах. Соответственно, «очистка» подразумевала удаление из городов всех, кто пытался спастись там от «коллективизации». Постановлением ВЦИК и СНК решалась одна из важнейших задач правительства. Это так называемое управление трудовыми ресурсами.

К 1932 году пресловутая новая экономическая политика была объявлена оконченной. В СССР уже не осталось частных предприятий, и каждый работавший гражданин работал на государство. «Обязательная прописка паспортов» означала, что документ нового образца выдавался и регистрировался в районном или городском отделении милиции по месту постоянного жительства. С этого момента владелец считался там «прописанным». Что и давало ему право на работу в городе.

Отсюда с необходимостью следовало: нет «прописки» – не будет и работы. Лишь тех, кто считались нужными какому-либо предприятию или учреждению, «прописывали» в городах по соответствующему ходатайству. Это и давало право хотя бы нанимать жилье, если работодатели не предоставляли квартиру либо место в общежитии.

У приехавшего из Донбасса инженера проблемы с пропиской, конечно же, возникли. Отцу сообщал: «Тут проходит паспортизация, и у меня есть шансы не получить паспорт, т. к. я недавно (5 месяцев), как живу в Москве. Это будет неприятно, но тоже не так уж страшно. Катну куда-нибудь к черту в зубы – посмотрю много всякой всячины. Между прочим, мне предложили поехать на 4 месяца в экспедицию на Игарку, за Полярный круг – не знаю почему, но я отказался. Хотя, видит Бог, что лекарством от карандашных будней должна служить именно такая не совсем разумная поездка».

Ему пришлось бы «катнуть», если бы не получил московскую прописку. Отправиться туда, где предоставили бы работу. Но пока вопрос решался, «поездка» на Игарку, подразумевавшая увольнение с фабрики, была и впрямь «не вполне разумной». Кроме того, «карандашные будни» оказались не хуже прежних, о чем и сообщил отцу: «В общем, живу. Думаю, что живу лучше, чем там – на Донбассе. Более серьезно, более крепко, более чисто».

Ему многое удалось. И все-таки сетовал, что столичная «жизнь совсем не то, о чем думалось, да и сейчас – подчас – думается».

Одиночество тяготило не так сильно, как прежде. В других условиях жил: «Более нет ощущения необитаемого острова. Трамвай, телефонная трубка дают возможность в течение 30 мин “наладить связь” с себе подобным – услышать звук человеческой речи и самому быть услышанным человеком».

Разумеется, в столице опять встретился с университетскими друзьями. Но отцу рассказывал, что прежней дружбы нет, воспринимает их лишь в качестве «добрых знакомых».

Зато отца по-прежнему считал лучшим собеседником. О чем и сообщил, несколько маскируя эмоции привычной иронией:

«Жду твоего письма. Напиши мне тоже по существу твоей жизни и работы».

Следующее из сохранившихся писем датировано 21 апреля. Гроссман сообщал отцу, что паспорт наконец-то выдали и с работы не уволили. Даже наоборот – повысили в должности, назначив «помощником технорука».

В ту пору главного инженера фабрики официально именовали «техническим руководителем». Сокращенно – «техноруком».

Успех был несомненным. И жалованье выше, и статус. Почти тридцать лет спустя – в автобиографии 1952 года – отмечены и первое, и второе повышения. Гроссман указал, что в 1933 году поступил «на фабрику им[ени] “Сакко и Ванцетти”. Фабрика эта выпускала карандаши и пластмассовые автоматич[еские] ручки. Я работал сперва старшим химиком, затем заведующим лабораторией и помощником главн[ого] инженера».

Впрочем, успеху радовался недолго. Отцу сообщил: «А теперь произошло событие, которое нельзя назвать неприятностью, а просто бедой – арестовали Надю. Что? Почему? За что? Этого никто из нас понять не может, но вот уже 3 недели, как она находится во внутренней тюрьме ОГПУ, мы надеемся, что это какое-то нелепое недоразумение и что оно со дня на день должно разрешиться».

Партийная карьера оборвалась внезапно. Согласно материалам личного дела, помощник генерального секретаря Красного интернационала профсоюзов Н. М. Алмаз была арестована сотрудниками ОГПУ 28 марта 1933 года[139].

Ранее ничего вроде бы не предвещало беду. Отца Гроссман просил: «Не пиши об этом маме, она ничего не знает. Больше всего меня беспокоит Надино здоровье, она ведь так слаба, что стоит произойти малейшему волнению или нарушению ее обычного железного режима, как она получает сильные, тяжелые сердечные припадки».

Гроссман при аресте присутствовал. Отцу рассказывал: «Между прочим, производившие обыск заинтересовались почему-то и мной, записали подробно мою родословную и пр. Забрали и кусочек моей повести, не думаю, чтобы они делали это для того, чтобы ее печатать».

Иронией он маскировал тревогу. Повесть «Глюкауф» крамольной не была, а вот интерес к автору мог бы привести к уже известным последствиям.

Арестом кузины закончился второй московский период в гроссмановской биографии. Спокойный, но короткий, отделявший от донбасского быта и окончательного распада

семьи.

Работа и досуг

Неизвестно, получил ли Гроссман рукопись, изъятую при обыске. Однако и последствий не было. 16 мая рассказывал отцу: «У нас тут новостей нет. С Надей все по-прежнему, дело все тянется, но я надеюсь все-таки, что решение – это вопрос ближайших 8–10 дней».

Рассказал и о дочери. Новостей тоже не было: «Катюша живет в Бердичеве у мамы, она здорова, весела, шалит, озорничает, болтает и сплетничает».

В остальном все шло по-прежнему. И работа, и досуг: «В выходные дни делаю вылазки в свет – зоосад и товарищи».

Зоосад – это прогулки в одиночестве. Гроссман ждал известий о кузине. И не знал, что ожидаемое «решение» уже принято – Центральной контрольной комиссией при ЦК ВКП (б) 17 апреля[140].

Согласно материалам личного дела, Алмаз тогда исключена из партии. Это обычная практика: судить коммунистов не полагалось, так что осуждению непременно предшествовало исключение. Помощник генерального секретаря Профинтерна – функционер высокого уровня, вот почему вопрос и решался в ЦКК.

Характерно, что в книге Губера «Память и письма» есть и сведения об итогах «дела Алмаз». В частности, приводится фрагмент письма Гроссмана, якобы датированного маем 1933 года и адресованного отцу: «…Дней пять назад Надя была выслана в Астрахань. Сегодня получил от нее телеграмму, что доехала благополучно. Выслана она на два года, исключена из партии. В чем дело, я не знаю…»

На самом деле в письме дата указана точно – 11 июня 1933 года. И адресовано оно не Гроссману-старшему, а его жене, причем адресат назван в первой же строке: «Дорогая Ольга Семеновна…»

Она – в связи с арестом Алмаз – беспокоилась о пасынке, расспрашивала. Тот, кроме прочего, рассказал: «Дней пять тому назад Надя была выслана в Астрахань. Сегодня получил от нее телеграмму, доехала благополучно. Выслана она на два года, исключена из партии. В чем дело, я не знаю, когда получу от нее письмо, напишу и вам. Главное, что она здорова»[141].

Следует отсюда, что о «решении» Гроссман получил сведения не ранее 5 июня. А согласно материалам личного дела, Алмаз «постановлением Особого совещания при коллегии ОГПУ от 28 мая 1933 года осуждена к высылке на 3 года “за антисоветскую

агитацию”»[142].

Разница почти в неделю. Так обычно и случалось. Причины высылки кузины Гроссман, конечно, не знал. Но вряд ли не догадывался. Подобного рода аресты и «решения» тогда – не редкость. По аналогичным обвинениям были арестованы и высланы многие функционеры, включая так называемых ветеранов партии. Сталин очередной раз проводил смену административной элиты, хотя до поры и обходился без смертных приговоров.

Почему Гроссман полагал, что срок высылки меньше, нежели тот, что указан в материалах личного дела, судить трудно. Возможно, опечатка в телеграмме. Жене отца рассказывал о своих планах кратко: «Я сегодня уезжаю на несколько дней в Киев, заеду в Бердичев. 19-го буду в Москве, и числа 22-го выеду на неделю в Ленинград».

В Киев его командировали, следующая командировка была уже ленинградской. А в Бердичев надеялся попасть частным порядком, за собственный счет. 16 июня рассказывал отцу, что приехал туда лишь на три дня – навестить мать и дочь: «Катюша вытянулась, стала длинной, “взрослой”, говорит обо всем, шалит, меня признала, виснет на мне, “это мой папа”, – объясняет она всем».

Затем – отъезд в Москву и новая командировка. 17 июля сообщил отцу: «Я уже дней 6 как вернулся из Ленинграда. Какой исключительно красивый город. Ходил, прямо как пьяный. Москва после него кажется толстой, крикливой и неопрятной бабой».

Похоже, он старался не думать об аресте кузины, обусловивших это причинах и собственной безопасности. Что-либо изменить все равно бы не сумел. А вот деньги в Астрахань посылал. 19 июля в письме рассказывал о московских новостях: «Пока же я сижу и обливаюсь десятым потом – последние дни стоит прямо-таки невиданная жара. В тени 36°–40°. На фабрике прямо-таки мучительно».

Фабрика отнимала много времени. Но возникли и новые заботы: «Тетя Лиза в Москве, живем пока вместе, она, должно быть, скоро поедет к Наде. Поехала бы сейчас, но начались квартирные неприятности, хотят отнять у нас одну или две комнаты. Шансы наши в смысле защиты не блестящи, но пока вопрос окончательно не решится в ту или другую сторону, тетя, очевидно, в Астрахань не поедет».

Речь шла о так называемом уплотнении – разделе квартиры, владелец которой права на привилегии утратил, и вселении туда новых жильцов. Обычная советская практика.

Гроссман оставить тетку не мог, но и жить в квартире Алмаз после ее ареста не хотел. Ситуация безвыходная, о чем и рассказывал отцу, привычно иронизируя: «Настроение у меня печальное, последние дни – одиноко очень, хочется видеть кого-нибудь по-настоящему близкого, и никого ближе, чем за 1000 верст, нет, а ты забрался за целых 4000! Когда и как мы с тобой увидимся, а, батько?».

Можно отметить, что и в дальнейшем одиночество – лейтмотив его писем отцу. Прежняя депрессия вернулась, интервал был невелик.

Встретились отец и сын в сентябре. Оба получили отпуск и отправились в один из санаториев Горного Алтая – Чемал. Из Новосибирска Гроссман-старший добрался быстро, у младшего же на дорогу от Москвы ушла почти неделя.

Отпуск был месячный. Вместе с отцом и его друзьями ходил в горы, по реке Катунь путешествовал. 10 октября вернулся. Спустя две недели сообщил: «В Москве пока ничего хорошего для меня нет. “Письменное настроение” не приходит, в связи с этим – ощущение пустоты и неудовлетворенности. Работа на фабрике этой пустоты, конечно, заполнить не может. Ни с кем почти не встречаюсь, а случайные встречи ничего не дают ни уму, ни сердцу».

Финансово Гроссман помогал и матери, и кузине. Бывшей жене тоже, правда, ее в письмах не упоминал – дочь из Бердичева уезжала редко. Но хотя бы денег хватало, что и подчеркнул: «В материальном отношении пока все обстоит благополучно».

Московский быт опять казался чуждым. Отцу рассказывал: «Часто, по несколько разв день, то в трамвае, то на мокром сером асфальте, то в полутемном фабричном помещении вспоминаю вдруг Катунь, горы, прогулки, камни, скалы, эдельвейсы. Чудеса! Становится грустно и весело одновременно».

Все было, как прежде. 17 ноября отцу рассказывал, пародируя советские анкеты, что сообщить о себе может «следующие факты. Работаю на карандашной фабрике, охая и вздыхая, каждый день встаю в 7 ч. утра, когда еще темно и когда особенно хочется спать. Работаю до 4 ч. Прямо с работы еду домой и предаюсь полезным занятиям: еде, чтению, письму».

О друзьях упоминаний нет. Что и акцентировано: лишь книги да писательство «компенсируют мое одиночество…».

Едва вернувшись из Чемала, он ждал следующего отпуска. В связи с чем иронизировал: «Снова и снова вспоминаются мне чудеса Алтая. Неужто было? Ох, ох».

Через неделю вновь пересказывал в письме московские новости. И подчеркнул: «Настроение хорошее, прохладное».

Однако новости были не только московские. Гроссман отметил: «Получаю много писем от Нади. Она, несмотря на то, что ты ей не пишешь, очень ждет твоего письма. Дорогой мой, неужели ты так занят, что не можешь разв месяц написать ей?»

Лишь по контексту можно догадаться, из-за чего Гроссман-старший уже давно не переписывался с Алмаз. Похоже, с тех пор, как ему сын про «отношения» сообщил.

Ситуацию не изменили новые обстоятельства. Не случайно сын акцентировал: «Ты спрашиваешь, как я воспринял Надино замужество? Мне оно принесло столько радости, как будто я, а не она пережила “сладость” медового месяца».

Про «замужество» отец узнал, вероятно, от Екатерины Савельевны. Во всяком случае, в письмах сына о такой новости нет упоминаний.

Соответственно, Гроссман-старший задал вопросы, но сын отвечал уклончиво: «Почему ты думаешь, что это могло быть для меня неприятно? Я так хорошо понимаю всю глубину ее одиночества и так желал, чтобы она его нарушила. По ее словам чувствуется, что ей хорошо и “гармонично”».

Отсюда следовало, что он постольку рад замужеству Алмаз, поскольку сочувствовал ей, понимая, как тягостно одиночество. Но отец спрашивал о другом.

Сын, вопреки обыкновению, не пожелал обсуждать причины. Он ведь провел весь отпуск на Алтае, так и не съездив в Астрахань навестить ссыльную. А та вышла замуж. Отец все понимал без лишних слов, и Гроссман-младший только отметил, что мать Алмаз переехала к ней из Москвы. Значит, кузина уже не одинока – с ней семья.

На самом деле одинок был он. Потому и спрашивал: «Батько, ты не собираешься в Москву? Я бы очень хотел повидать тебя, поговорить с тобой, почитать тебе, что пишу, поругаться сварливым еврейским голосом. У тебя нет таких перспектив?»

О депрессии Гроссман не говорил. Но проговаривался, когда рассуждал, что отец в Новосибирске с женой, мать в Бердичеве с внучкой, кузина в Астрахани с мужем, лишь он в Москве – один. Привычно иронизировал: «А в городе с 3 $^1/_2$ миллионным населением одиночество чувствуется сильней, чем в других местах. Не думай только, что я мучусь этим очень сильно. Мучусь, но не сильно. Привет Ольге Семеновне».

Московская зима выдалась морозная и метельная. В декабре Гроссман обсуждал с отцом новости, а свои проблемы характеризовал кратко: «У меня пока все благополучно. Купил себе хорошее зимнее пальто, новый костюм (валенки у меня были), так что я хожу и поплевываю, “не взирая” на градусник».

Заканчивался 1933 год. Следующий оказался для Гроссмана триумфальным: он добился статуса профессионального литератора, о чем и мечтал еще с университетской поры.

Биографы, констатируя, что его литературная карьера была стремительна, не объясняют, в силу каких причин всего за несколько месяцев безвестный инженер стал всесоюзно известным литератором. Вроде бы само собой подразумевается, что успех обусловлен талантом Гроссмана.

Да, Гроссман был талантлив. Возможно, это главная причина. Однако важны и другие.

За пять лет, что минули после гроссмановского отъезда из Москвы, существенно изменился характер литературного процесса. А в сравнении с досоветским периодом отличия стали принципиальными. Новые факторы появились, они и обусловили специфику писательского дебюта Гроссмана.

Часть III. Революционная эволюция

Литературный парадокс

Традиционно считается, что литература в русской культуре играла особую роль. А. И. Герцен, к примеру, еще в начале 1850-х годов подчеркивал: «У народа, лишенного общественной свободы, литература – единственная трибуна, с высоты которой он заставляет услышать крик своего возмущения и своей совести. Влияние литературы в подобном обществе приобретает размеры, давно утраченные другими странами Европы»[143].

Эта фраза из статьи «О развитии революционных идей в России» – хрестоматийно известна. Потому что выводы едва ли не самого популярного русского публициста трудно было оспорить и современникам, и позднейшим исследователям.

Действительно, к моменту публикации герценовской статьи не было в Российской империи «общественной свободы». Именно в европейском истолковании этого термина. Узаконенным оставалось рабство – крепостное право, что европейцы называли дикостью, варварством.

Но и после отмены крепостного права узаконенными оставались и сословное неравенство, и конфессиональная дискриминация. Российский политический режим по-прежнему именовали деспотическим.

Можно спорить о применимости данного термина, однако бесспорно, что на территории Российской империи герценовской поры, да и десятилетия спустя широкое обсуждение политических проблем было возможным почти исключительно в рамках литературы. Или – по поводу литературы. Соответственно, ее влияние стремительно росло. Она в какой-то мере заменяла философию, историографию, публицистику и т. д. Перефразируя тоже хрестоматийно известное суждение А. А. Григорьева, можно сказать, что литература тогда – «наше всё»[144].

В начале XX века положение не изменилось принципиально. Об этом и писал в 1911 году Ю. И. Айхенвальд, чей авторитет литературного критика был общепризнанным. Во вступлении к третьему изданию популярнейшей тогда книги «Силуэты русских писателей» он с горечью констатировал: «Незаконное при исследовании художественной литературы перенесение центра тяжести из личного в общественное должно было получить особенно упорный и особенно уродливый характер именно у нас, в России. Не талант художника, не его эстетическая индивидуальность привлекали внимание критиков, а его политическое исповедание. Полицейская стихия отравила нашу мысль, исказила наши интересы, приобрела над нами внутреннее

господство. Она внедрилась в нас самих, и куда бы мы ни смотрели, мы видели поэтому одно и то же – неизменного полицейского, вечного Держиморду. Только его, со знаком минус, держали мы в своей душе, литературу понимали как скрытую борьбу с ним и лишь постольку ценили слово своих поэтов»[145].

Конечно, сказанное Айхенвальдом относилось не ко всей литературе. Рассуждал критик о тенденции, с его точки зрения преобладающей. Имплицитная ссылка на герценовскую статью тут же приводилась: «Нас учили рассматривать художественное произведение как средство под безобидным флагом искусства контрабандно перевозить идеи политические – все ту же наболевшую гражданственность».

Айхенвальд с Герценом не полемизировал. Он и не пытался доказывать, что борьба с «вечным Держимордой» была когда-либо неуместной или вдруг такой стала.

Неуместны, по мнению Айхенвальда, попытки свести задачи литературы к обличению самодержавия. Равным образом анализ и оценка художественных произведений исключительно в аспекте борьбы с противоправным режимом.

Итоги, настаивал Айхенвальд, неутешительны. Тенденциозность проявилась уже и на уровне академического литературоведения: «Не только наша критика, но, что гораздо хуже, и наша наука стала публицистикой. Попранная методология за себя отомстила, и в результате, в печальном результате, у наших исследователей не получилось ни истории литературы, ни истории общественности».

Обоснованность суждений маститого критика была очевидна современникам. Тем не менее у него нашлись влиятельные оппоненты в среде авторитетных же коллег. К. И. Чуковский, в частности, инкриминировал автору «Силуэтов русских писателей» отказ от «наследия отцов»[146].

Причины отказа Чуковский признал необоснованными. Российское население по-прежнему было лишено «общественной свободы». В силу чего и не следовало, по мнению большинства интеллектуалов, отказываться от каких-либо средств дискредитации противоправного режима. К тому же подразумевалось, что помимо оппозиционных литераторов есть и выразители интересов правительства, не желающие «ничьей».

Чуковский настаивал, что уступать деспотизму нельзя. При этом он, подобно Айхенвальду, Герцену и прочим интеллектуалам, рассуждавшим о роли оппозиционной литературы, принимал как данность сам факт ее существования в Российской империи. Не видел тут ничего удивительного.

Стоит подчеркнуть еще раз: естественным считалось, что

легальная, т. е. подцензурная, русская литература может быть и оппозиционной.

Иногда литература контролировалась весьма жестко. Законами контроль практически не ограничивался, литераторов порой отправляли в ссылку, заключали в тюрьмы, периодические издания, которые были сочтены оппозиционными, закрывали, тиражи конфисковывали и т. д.

Но даже в периоды активизации борьбы с оппозиционной литературой и литераторами победы российского правительства были локальны. Оппозиционеры ухитрялись обходить цензурные препоны. И в итоге правительство уступало.

На оппозиционную литературу у русского правительства, казалось бы, всевластного, не хватало власти.

Парадоксальность ситуации не очевидна, если русская литература изучается в современном ей общекультурном контексте. Но такая ситуация осмыслялась и осмысляется многими в качестве парадокса, когда история русской литературы соотносится с историей литературы советской.

К началу 1930-х годов советская литература стала тотально проправительственной, чем и отличалась от любой другой.

Вот о таком отличии и писал в 1930 году О. Э. Мандельштам. На скорую публикацию эссе «Четвертая проза» не рассчитывал, почему и формулировал предельно резко: «Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые – это мразь, вторые – ворованный воздух»[147].

Характеризовал он именно суть изменений. Для Мандельштама в 1930 году подавляющее большинство советских коллег – «писатели, которые пишут заранее разрешенные вещи».

Отметим, что о тенденциозно-оппозиционном направлении даже речи не было в 1930 году. Подразумевалось, что большинство литераторов испрашивают у представителей власти соответствующее «разрешение». Добровольно.

В области пресловутой «науки о литературе» результаты, по словам Мандельштама, оказались аналогичными. И он характеризовал их с той же злой иронией, кстати, приводя имплицитную и ссылку на Айхенвальда: «Чем была матушка филология и чем стала! Была вся кровь, вся нетерпимость, а стала пся-крев, стала все-терпимость».

Значит, советское правительство менее чем за пятнадцать лет решило задачу, с которой самодержавие не могло справиться более чем за столетие. Об этом парадоксе и рассуждал Мандельштам.

Издательская модель и литературный процесс

Русские литераторы, споривше в досоветскую эпоху о литературных задачах, не предвидели, что когда-либо правительство станет управлять литературой. Причиной была не только пресловутая «вера в прогресс».

Большинство интеллектуалов воспринимало как единственно возможную, а значит, и неизменную российскую издательскую модель, т. е. систему взаимосвязей основных элементов литературного рынка – писателя, издателя, читателя.

К 1830-м годам российская издательская модель в основе своей практически не отличалась от европейской, традиционной. Хотя законодательная база тогда лишь формировалась, отношения издателя и писателя уже достаточно часто определяла формальная договоренность: издатель приобретал у писателя не просто рукопись, но – и главным образом – права на ее тиражирование. Издатель по отношению к писателю был покупателем, а в отношениях с читателями – продавцом. Однако на законодательном уровне права и обязанности продавца и покупателя еще не фиксировались.

Законодательство, как водится, отставало от жизни, что нередко вызывало протесты литераторов. Так, осенью 1836 года А. С. Пушкин на вопрос французского корреспондента о российских законах, охраняющих права литераторов, отвечал: «Литература стала у нас значительной отраслью промышленности лишь за последние лет двадцать или около того. До тех пор на нее смотрели только как на изящное и аристократическое занятие»[148].

Пользуясь более поздней терминологией, можно сказать, что Пушкин утверждал: литератор – профессия. Такая же, как любая другая. Ремесло, приносящее доход. В силу чего писателю необходимо защищенное законом право на результаты своего труда – ставшую объектом сделки с издателем «литературную собственность».

Настоящее, по словам Пушкина, качественно отличалось от прошлого. Писатели осознали, что именно публикации должны приносить доход, в прошлом же такая задача не ставилась: «Никто не думал извлекать из своих произведений других выгод, кроме успехов в обществе, авторы сами поощряли их перепечатку и тщеславились этим, между тем как наши академии, со

спокойной совестью и ничего не опасаясь, подавали пример этого правонарушения».

К 1820-м годам, как отмечал Пушкин, ситуация изменилась, писатели озаботились охраной своих прав, кое-что уже было сделано, хотя и недостаточно. До европейского уровня, например французского, еще далеко.

Неважно, прав ли Пушкин в данном случае. Важно, что так счел нужным определить свою позицию литератор 1830-х годов. Констатировавший, что писательство уже стало профессией, как в Европе, а вот правовая база по-прежнему зависела не от реалий литературного процесса, но от волеизъявления государя.

Впрочем, законодательство менялось. Да и полиграфическая технология тогда быстро совершенствовалась, благодаря чему издательская продукция дешевела, т. е. становилась более доступной, что увеличивало количество покупателей.

Совершенствовались и пути сообщения, что опять же способствовало росту количества покупателей. Оно, кстати, росло и по мере распространения грамотности. Издательское дело, требовавшее все большей профессионализации, становилось все более доходным, соответственно росли и заработки литераторов. Коммерциализация литературы обусловила появление нового фактора, существенно влиявшего на литературный процесс. Таким фактором стала литературная критика.

Авторитетный критик – фигура не менее значимая, чем собственно писатель. Критики пропагандировали те или иные издания, от чего и зависела репутация писателя. Издатели были вынуждены буквально вербовать пропагандистов, чтобы обеспечить сбыт продукции.

Разумеется, функции критики не сводились к рекламе или борьбе с конкурентами. В условиях Российской империи критика, наряду с литературой, стала политической публицистикой, историографией, философией и т. д.

Авторитет литературной критики был обусловлен, прежде всего, специфическим положением литературы в русской культуре. Литературный критик – не просто интерпретатор, он учитель, наставник, воспитатель.

Своего рода символом такой критики считался в первую очередь В. Г. Белинский. Потому любая попытка неапологетического осмысления его деятельности воспринималась как уступка самодержавию, отказ от «демократических» традиций русской литературы[149].

Ярким публицистом был, понятно, не каждый из критиков. А вот рекламные задачи решали все. Как известно, где коммерция, там и реклама, «двигатель торговли».

Правда, откровенная установка на прибыль тоже вызывала протесты интеллектуалов. В этом аспекте примечательна статья Толстого «Прогресс и определение образования», где сама идея коммерциализации объявлялась безнравственной: «Для меня очевидно, что расположение журналов и книг, безостановочный и громадный прогресс книгопечатания, был выгоден для писателей, редакторов, издателей, корректоров и наборщиков. Огромные суммы народа косвенными путями перешли в руки этих людей. Книгопечатание так выгодно для этих людей, что для увеличения числа читателей придумываются всевозможные средства: стихи, повести, скандалы, обличения, сплетни, полемики, подарки, премии, общества грамотности, распространение книг и школы для увеличения числа грамотных. Ни один труд не окупается так легко, как литературный. Никакие проценты так не велики, как литературные. Число литературных работников увеличивается с каждым днем. Мелочность и ничтожество литературы увеличивается соразмерно увеличению ее органов»[150].

Насколько прав или не прав Толстой – в данном случае опять неважно. А важно мнение литератора 1860-х годов, констатировавшего: литература, как и утверждал некогда Пушкин, стала отраслью промышленности (industrie), и по сравнению с пушкинской эпохой доходность изрядно выросла.

Писатель наконец получил статус профессионала. Речь идет не о качестве. Появилась возможность жить гонорарами, не рассчитывая, как было прежде, на доходы от службы, поместья или меценатскую поддержку.

То, что писатель иногда выпускал книгу за свой счет или пользовался меценатской поддержкой, ничего по сути не меняло: любая полиграфическая единица оставалась товаром, который следовало продать. В конечном счете литератор-профессионал вынужден был ориентироваться на издателя, непосредственно связанного с книготорговлей.

Бесспорно, издатели стремились подчинить своей воле писателей. Однако в этом стремлении препятствовала издательская конкуренция.

Независимость писателя от издательского произвола зиждилась на возможности выбирать издателя – среди многих.

Главным защитником писателя был читатель – розничный покупатель литературной продукции. Он буквально «голосовал рублем».

Доходы зависели от покупателей. Потому издатель ориентировался в первую очередь на читательский спрос.

Этот фактор оставался главным аргументом писателя в споре

с издателем. Ну а влияние правительства, чьи интересы представлял цензор, не было определяющим.

Цензор имел право лишь запрещать. Его старания могли привести к закрытию периодического издания, закрытию издательства, аресту владельца. Но такое обычно случалось, когда явно нарушались действовавшие запреты. А если нет, издатель мог ссылаться на известную формулу: что не запрещен, то разрешено.

Несоответствие правительственным идеологическим установкам само по себе не было криминалом. Предписывать же выпуск произведений, сочтенных нужными правительству, цензор не мог. Для реализации предписаний цензура не имела организационных механизмов. Издательское предприятие оставалось объектом собственности.

Правительство не желало – без особой нужды – покушаться на основополагающий государственный принцип: частная собственность, обретенная в законном порядке, неотчуждаема. Изменялось многое, но главное оставалось неизменным. По крайней мере, в этой области.

Независимость издателя от правительства зиждилась на законом гарантированном праве не работать себе в убыток.

К тому же из-за постоянного увеличения количества изданий цензурные механизмы – на организационном уровне – становились все более громоздкими. Так что с контролем соблюдения запретов цензура часто не справлялась, да и финансирование становилось все более обременительным для правительства.

Сами по себе запреты были непродуктивны. Издатель действовал, а цензура оставалась лишь помехой. Она ничего не производила.

Конечно, средств для финансирования проправительственной литературы всегда хватало. Но проблема воздействия на общественное сознание решалась не только оплатой труда – писательского ли, издательского ли. Изданное надлежало еще и распространить, причем в условиях конкуренции.

Правительству нужен был писатель, интересный читателю, знающий читательские вкусы, умеющий формировать их. Соответственно, приходилось искать сотрудников, оценивая их с точки зрения эффективности, ориентируясь на рыночные показатели – объем продаж, динамику спроса и т. д.

Бывали у правительства удачные, что называется, «проекты» в области литературы. Однако – по сумме достижений – оппозиционеры не проигрывали. С чем правительству приходилось в итоге мириться.

Русские литераторы, равным образом издатели имели возможность самостоятельно выбрать, сотрудничать ли им с правительством.

Выбор оставался всегда. А потому литераторы, спорившие о значении оппозиционной литературы, были уверены, что ее нельзя уничтожить – при любых цензурных стеснениях.

Задачу изменения традиционной издательской модели поставило советское правительство. Решение было найдено, пусть и не сразу.

Новая модель

Отнюдь не случайно в 1930 году «написанное без разрешения» Мандельштам называл «ворованным воздухом». Вскоре и такого не оказалось.

Радикальное преобразование издательской модели завершено в 1931 году. Издательства и торговые предприятия стали государственными. Частных не осталось. Официально считавшиеся общественными тоже были по сути государственными: они целиком контролировались правительством – организационно и финансово. На уровне цензуры, конечно, тоже.

Сохраняя функции цензора, советское правительство стало монопольным издателем и монопольным покупателем литературной продукции.

Да, продукцию надлежало еще и продавать в розницу, без этого затраты не вернуть. Но главное было сделано: конкурентов уничтожили. И в результате литераторы утратили независимость.

Литератор более не имел возможности самостоятельно решать, сотрудничать ли ему с правительством: других издателей не было.

К началу 1930-х годов экономические критерии оценки издательской деятельности утратили прежнюю актуальность. Издательства финансировались на государственном уровне, и если какие-либо издания не удавалось продать, у правительства, обладавшего неограниченной властью, хватало средств, чтобы компенсировать любые убытки.

В такой ситуации доходы сотрудников издательств и торговых предприятий не зависели непосредственно от читательского спроса, объема продаж и, соответственно, от литераторов. Правительство определяло, сколько кому платить. Оно же устанавливало ассортимент изданий, тиражи, ценообразование, распространение изданного, равным образом размеры писательских гонораров.

Литературный успех, популярность более не защищали писателя от произвола издателя. Эффективность издательской деятельности измерялась не в рублях. Критерием было соответствие пропагандистским установкам.

Советское правительство устранило полностью влияние читателя на литературный процесс.

В данной ситуации окончательно сформировались организационные механизмы управления. Они не менялись более полувека.

Советская издательская модель принципиально отличалась от досоветской. Во-первых, руководители всех издательских предприятий уже не были издателями в прежнем истолковании термина. Они стали не более чем служащими, подчинявшимися другим служащим. Во-вторых, цензура теперь была не только вне, но и внутри редакций.

Задачи цензуры решались главным образом в ходе редакционной подготовки каждой публикации. Решали их сотрудники редакции.

Можно сказать, что изменился сам принцип редактирования. В досоветский период редактура – подготовка рукописи к типографскому циклу. Советский же редактор был еще и первым цензором. А потому он стал ключевой фигурой литературного процесса.

Примечательно, что в мемуарах вдовы Мандельштама – Н. Я. Мандельштам – немало внимания уделено ключевой фигуре издательского процесса. Отношение к ней, понятно, негативное: «Основное звено, соединявшее литературу с высоким заказчиком, было редакторским аппаратом. Редактор с его непомерно разросшимися функциями возник в тот момент, когда его нормальная роль – определять лицо и позицию издательства, газеты, журнала – была начисто упразднена»[151].

Запрещал и предписывал автору именно сотрудник редакции. На него возлагалась, кроме прочего, обязанность утверждения в общественном сознании нужных правительству идеологических директив. Что и констатировала вдова поэта: «Редактор, покорный проводник указаний, становился по отношению к автору чем-то вроде учителя, судьи и верховного начальника. В двадцатых годах они щеголяли хамством, но постепенно овладевали вежливостью, пока их вежливость не стала невыносимо наглой и явно покровительственной. Они почти моментально присвоили себе запретительные функции и выставили внутренний план запретов и поощрений, чтобы оградить себя от разноса в случае, если в изданной книге обнаружатся “идеологические ошибки”. Поскольку теория развивалась непрерывно и издание книги занимало довольно много времени, редактор научился учитывать будущее развитие и заранее расширял область запрещенного».

Контролера первого уровня обычно контролировал непосредственный начальник. Далее задачи контроля решались по инстанции – до руководителя издательства либо периодического издания. Это и констатировала мемуаристка: «После цепочки редакторов, трудящихся над книгой, цензору оставалось только вылавливать блох, чтобы оправдать свой хлеб с

маслом».

Действительно, штатные цензоры лишь контролировали результаты деятельности нижестоящих контролеров-редакторов. Эффективность многократно возросла.

В таких условиях роль литературной критики принципиально изменилась. Критик уже не был наставником, воспитателем, как в досоветский период. Не решал и рекламные задачи: без коммерции не нужна реклама.

Актуальность утратила и полемика критиков. Если вся литература «разрешена», любая полемическая атака рискованна, тут необходимо дополнительное «разрешение». В итоге критик стал таким же служащим по ведомству литературы, как издатель и писатель.

С начала 1930-х годов издательская модель в СССР – принципиально внеэкономическая, ориентированная на тотальный контроль деятельности каждого автора и всех сотрудников издательских предприятий.

Именно поэтому советское правительство руководило литературой, словно государственной фабрикой, добиваясь исполнения своих требований на уровне содержания и даже формы художественных произведений.

В СССР организационно-финансовая специфика преобразований гласно не обсуждалась. Она оставалась как будто бы незамеченной, в силу чего и не осмысленной аналитически.

Для тоталитарного государства это вполне обычно. Странным, по крайней мере на первый взгляд, кажется другое: за пределами СССР такая издательская специфика тоже долго оставалась не осмысленной аналитически.

Уместно подчеркнуть еще раз: исследователи рассуждали о цензурном гнете, сервильности писателей, с готовностью реализующих любые правительственные установки, политические ли, эстетические ли, а вот конкретные организационные механизмы, обеспечивавшие все перечисленное, не попадали в сферу внимания.

Дело, конечно, не в том, что исследователи были недостаточно внимательны, почему и не заметили столь важные факторы. Их постольку не фиксировали, поскольку не распознавали.

Само по себе распознавание подразумевало сопоставление неизвестного с известным. Вот и советскую цензуру сравнивали с любой другой – по основанию большего/меньшего количества запретов.

Но это не позволяло и не позволяет адекватно оценить специфику организационных механизмов. Они были уникальны,

благодаря чему и оставались долгое время за пределами традиционных представлений о литературном процессе.

Между тем организационно-финансовой спецификой обусловливалась и литературная. Используя мандельштамовские дефиниции, можно сказать, что после радикального преобразования издательской модели в советском государстве публиковалось и продавалось только «разрешенное».

Изменились и представления о «разрешенном». Таковым до радикального преобразования издательской модели считалось не запрещенное, т. е. не противоречившее цензурным запретам. А в новых условиях печаталось лишь соответствовавшее правительственным установкам, актуальным на момент подготовки самой публикации. Разумеется, с точки зрения представителей редакторской цензурной иерархии, а также штатного цензора.

Публикация рукописи – книги, журнала и т. д. – обязательно подразумевало указание в ней дат завершения основных этапов редакционной и типографской подготовки. Конкретно указывалось, когда материал сдан в набор, т. е. передан типографии, а затем подписан к печати как вполне готовый. Благодаря чему и определялись хронологические рамки ответственности – редакторской.

В аспекте содержания и оформления каждая полиграфическая единица соответствовала идеологическим установкам, актуальным на момент подписания к печати. За это и отвечали редакторы – представители государства.

В новых условиях автор испрашивал «разрешение» у редактора, контролирующего и соблюдение запретов, и реализацию правительственных установок. Иного пути к публикации не осталось.

Советским литератором-профессионалом мог стать и оставаться лишь соглашавшийся каждый раз обращаться с просьбой о разрешении к представителям государства и – следовать их распоряжениям.

Как отмечалось выше, анализистории советской литературы нередко соотносится с вопросом об «искренности». Исследователи пытаются определить, когда именно конкретный литератор был искренним.

Разумеется, есть контексты, где такие вопросы принципиальны. Однако в каждом случае бесспорно: с начала 1930-х годов и более полувека спустя на территории СССР писатель мог опубликовать только «разрешенное». Искренне ли следовал правительственным директивам, нет ли, все равно испрашивал «разрешение». А иначе не состоялась бы публикация.

Теоретически допустимо, что советское правительство могло бы сформировать такую модель сразу после окончания гражданской войны. Практически же постольку и понадобился долгий срок, поскольку сам механизм управления литературой создавался «методом проб и ошибок».

Социалистическая эволюция

Начинало правительство с ликвидации периодических изданий, откровенно ему враждебных. Тех, что выпускались политическими противниками. Однако постепенно закрыты были практически все газеты и журналы, не выказавшие лояльность новому режиму. Правда, обещано было, что с его упрочением прекратятся «стеснения печати»[152].

Отчаянные протесты многих русских литераторов, художников и ученых не меняли ничего. Мнением протестовавших Совнарком пренебрегал – чем дальше, тем откровенней. Интеллектуалы, требовавшие соблюдать принцип свободы печати, были меньшинством, да еще и безоружным.

Большинство же населения вообще не интересовал принцип свободы печати. Оно поддерживало любую власть, обещавшую хоть какой-нибудь порядок. А Совнарком обещал не только стабильность, но и – в ближайшей перспективе – «царство справедливости».

Результат был закономерен. К исходу 1918 года закрыто более пятисот российских периодических изданий[153].

Это существенно изменило характер литературного процесса. Именно периодика была основным источником заработка литераторов.

Менялась финансовая основа, обеспечивавшая писательскую независимость.

К 1919 году практически завершилась национализация целлюлозно-бумажных фабрик и типографий – правительство стало монополистом. Потому любое издание можно было даже не закрывать, а просто довести до самоликвидации, не продавая издателям бумагу, не разрешая своевременно разместить заказ в типографии, произвольно завышая цены и т. д. О частных издательствах правительство тоже не забывало, их закрывали одно за другим, но вот тут советским администраторам пришлось несколько умерить пыл.

Довольно скоро выяснилось, что новая власть, национализировав полиграфическую базу, не в состоянии даже инвентаризовать полученное. Большинство типографий вынуждено было прекратить работу из-за отсутствия сырья, при этом неучтенные запасы оставались на складах, так как сотрудники издательских отделов советских учреждений не обладали должным опытом или расторопностью, чтобы отыскать бумагу.

Своими обязанностями служащие часто пренебрегали: они

работали за паек или скудное жалованье, и только энтузиастов интересовал конечный результат. Зато многие государственные заказы выполнялись частниками, вот правительству и приходилось до поры мириться с их существованием.

Предпринимателям, работавшим на себя, энергии хватало. Они ухитрялись находить, а затем выкупать невостребованную бумагу у госучреждений, добывали разрешение обратиться в бездействующие типографии.

У правительства же с печатниками всегда не ладилось: официальные тарифы на типографские работы были весьма низкими, и рабочие высокой квалификации, привыкшие к соответствующей оплате труда, не желали согласиться с тем, что на государство нужно работать чуть ли не даром. Ну а частники еще и доплачивали сверх установленных норм, чтобы заказ был выполнен быстрее.

Кстати, госучреждения – даже при согласии своих руководителей – не могли превышать расценки. Подобного рода вопросы надлежало решать централизованно. Только частники позволяли себе действовать сообразно требованиям рынка, ни у кого не спрашивая разрешения. Однако прибыль, которую они получали, немедленно урезалась налогами, в связи с чем издатели постоянно были на грани полного разорения.

К началу 1919 года стало ясно даже оптимистам: ситуация изменилась радикально, и это соответствует политике большевистского правительства. Что и констатировал А. М. Эфрос, опираясь на опыт литературного и театрального критика. Его статья «О книгах», печатавшаяся в первом и втором номерах чудом уцелевшего частного журнала «Москва», содержала описание не вполне еще сложившейся советской издательской модели[154].

По словам Эфроса, книжный рынок стал качественно иным. Ни автор, ни издатель уже не были самостоятельны: «Прежняя книга, свободная и частная, созданная свободным писателем и оттиснутая свободным издателем и ищущая свободного читателя – снята ныне с российского прилавка. На смену ей власть гонит новую книгу – книгу огосударствленную, отпечатанную в огосударствленных типографиях, сложенную в огосударствленных книжных складах, почти принудительно продиктованную огосударствленному автору программами государственных органов искусства».

Читатель, по словам Эфроса, тоже стал иным. «Огосударствленным». Значит, его мнение государству более не мешало. И «огосударствленную» книгу «огосударствленному» читателю могли буквально навязывать и школы, и

профессиональные союзы, и прочие организации подобного рода.

Резко негативных оценок Эфрос избегал. В них и не было нужды. Тут выводы сами собой подразумевались.

Эфрос констатировал очевидное. Писатели утратили финансовую основу своей независимости от правительства. С ликвидацией большинства частных издательств стало ничтожно мало заказчиков литературной продукции. Потому на исходе 1919 года профессия литератора уже не была «свободной» – в прежнем понимании термина. Не сумевшие поступить в учреждения, где служащие обеспечивались хотя бы скудным пайком, голодали. Смерть от истощения – явление массовое.

Голода избежали уехавшие в местности, не контролировавшиеся большевистским правительством. Но с окончанием гражданской войны литераторы, не сумевшие или не пожелавшие эмигрировать, вновь оказались на территории Советской России.

Конечно, многих воодушевляли тогда надежды. Предполагалось, что «стеснения печати» подлежат отмене. Именно это некогда обещал Ленин.

Спрос на издательскую продукцию стремительно рос. И дефицит был колоссальным. Разумеется, читателей стало гораздо меньше, но и количество издательских организаций уменьшилось многократно.

Однако, вопреки ожиданиям интеллектуалов, правительство не собиралось прекращать борьбу с частными издательствами. Действовали прежние ограничения, постоянно вводились новые.

Государственное издательство, образованное при Наркомпросе как своего рода концерн, согласно принятому 20 мая 1919 года Положению ВЦИК, давно контролировало всё и вся. А книжный дефицит рос.

Явным стал и политический кризис. В Европе так и не началась «мировая революция», на которую большевистское руководство возлагало надежды. Разгромом советских войск завершилась в 1920 году война с Польшей, и это невозможно было скрыть – даже при информационной монополии.

Планы экспансии пришлось отложить на неопределенный, пусть и короткий, по мнению советских лидеров, срок. Ну а пропагандистское давление надлежало усиливать, для чего требовалось по возможности быстрее активизировать работу издательств.

Однако издательская модель, ориентированная на условия так называемого военного коммунизма, оказалась нефункциональна в мирное время. Правительству срочно требовались и книги, и деньги, а Госиздат изначально не

ориентировали на извлечение прибыли. Не имели госиздатовские руководители соответствующего опыта.

Казалось бы, ситуация должна была стать иной благодаря политическим изменениям. Но и с началом так называемой новой экономической политики почти ничего не изменилось в издательской сфере.

Госиздатовское руководство не только не умело, но и не желало работать в условиях конкуренции. Любыми способами пыталось устранить конкурентов, добиваясь окончательного и полного запрета частных предприятий. И даже прямо заявляло в печати, что они не только бесполезны, но и вредны: с их помощью литераторы уклоняются от работы на советский режим[155].

В госиздатовском варианте литература оставалась предприятием расходным. Правительство же намеревалось сделать литературу источником дохода. И тут крайне востребованным стал опыт частных предпринимателей.

Новое по-старому

Положение частных издательств изменилось в 1922 году. Именно тогда правительство сочло, что аргументы госиздатовского руководства порождены лишь реакцией на собственную беспомощность[156].

Действовавшие издательства получили тогда новые полномочия в области приобретения бумаги. В значительной мере устранены были препятствия, обычно возникавшие при регистрации новых предприятий.

Кардинально изменилось и положение самого Госиздата. Одним из главных критериев оценки его работы стала рентабельность.

Можно сказать, что начиналась новая эпоха. Государственным издательским организациям приходилось конкурировать с частниками. А для литераторов перемены знаменовались резким увеличением количества заказчиков. Это означало, что сотрудничество с правительством уже не было обязательным.

Результаты подобного рода правительство отнюдь не собиралось получить. С ними приходилось мириться, как с неизбежным следствием уступок, без которых нельзя было активизировать издательства, получить деньги.

Любые инициативы в области литературы, реализуемые по госиздатовским алгоритмам, завершались неудачами. Так, 12 ноября 1920 года декретом Совнаркома был учрежден Главный политико-просветительный комитет в составе Наркомпроса. Одной изважнейших задач нового учреждения считалась организация новых периодических изданий. Но положение удалось изменить лишь в нэповскую эпоху.

В феврале 1921 года Коллегией Главполитпросвета был рассмотрен план выпуска первого «толстого» литературного журнала, получившего название «Красная новь». Редакционно-издательской подготовкой, как известно, занимался А. К. Воронский, один из ветеранов партии, возглавивший редакцию. Он и добился права увеличивать и гонорары, и оплату типографских работ. Благодаря этому удалось до конца 1921 года выпустить хотя бы три номера. Ну а первый за 1922 год появился лишь в марте[157].

Воронский утверждал все-таки, что добился стратегического успеха. Именно об этом его статья «Литературные отклики», опубликованная в следующем номере. Она начиналась характеристикой ситуации: «В наблюдающемся литературном

оживлении многое уже выкристаллизовалось и приобрело законченность, во всяком случае, достаточную ясность. Прежде всего, ясно, что образуется два основных литературных лагеря»[158].

Ситуацию Воронский характеризовал на военный манер. Отмечал, что «фронтов пока нет, но борьба переместилась и ведется в другой сфере: критика оружием сменилась оружием критики. Советская печать один лагерь. Группа частных издательств – конечно, не все – другой. Меж ними уже началась борьба, и она с каждым днем обостряется. Нам придется пережить полосу сильнейших идейных штурмов, состязаний, и здесь, как и всюду, будут побежденные и победители».

Торжествуя в связи с успехом, Воронский рассуждал о «состязаниях». Но, по мнению правительства, их тоже надлежало контролировать. Средством контроля была цензура, хотя сам факт ее существования обсуждать было еще не принято: «атрибут полицейского государства».

Обязанности цензоров возлагались ранее на госиздатовских сотрудников, что в новых условиях было нецелесообразно. 6 июня 1922 года декретом Совнаркома учреждено Главное управление по делам литературы и издательства при Наркомпросе – Главлит[159].

На Главлит возлагалась предварительная и последующая цензура. Вне цензуры действовала лишь небольшая группа изданий – партийные, госиздатовские, главполитпросветовские и т. п.

Однако не цензура как таковая играла решающую роль. Эффективность контроля обеспечивалась и нормами советского права: 1 июня 1922 года ВЦИК принял постановление «О введении в действие Уголовного кодекса РСФСР»[160].

Своего рода основой механизма контроля была статья 57. Она гласила: «Контрреволюционным признается всякое действие, направленное на свержение завоеванной пролетарской революцией власти рабоче-крестьянских Советов и существующего на основании Конституции РСФСР Рабоче-крестьянского правительства, а также действия в направлении помощи той части международной буржуазии, которая не признает равноправия приходящей на смену капитализма коммунистической системы собственности и стремится к ее свержению путем интервенции или блокады, шпионажа, финансирования прессы и т. п. средствами».

Что значит «действия в направлении помощи» – не пояснялось нигде. Потому и считать таковыми можно было, в частности, нарушение цензурных предписаний, а не только

запретов.

Непосредственно к литераторам относилась статья 70. Она предусматривала уголовную ответственность за «пропаганду и агитацию в направлении помощи международной буржуазии, указанной в ст. 57». Что значит «в направлении помощи» – опять не пояснялось. Потому следствие и суд не были ограничены в интерпретации.

Таким образом, первый УК РСФСР предоставил следователям и судьям полную свободу. Однако и это было сочтено недостаточным. 10 августа 1922 года ВЦИК принял декрет, позволявший НКВД «установить высылку за границу или в определенные местности РСФСР в административном порядке»[161].

Отсюда следовало, что сотрудники подразделений НКВД имеют право внесудебно ссылать и высылать только на основании подозрений, не утруждая себя поиском улик. И конечно, не утруждая суды.

Полномочия сотрудников НКВД были вскоре расширены. 16 декабря 1922 года ВЦИК позволил специальной комиссии, созданной при НКВД, без суда «высылать и заключать в лагерь»[162].

Ссылке, высылке, заключению в лагерь подлежали все, кто устно или печатно выражал несогласие с политикой советского правительства. Угрозой ссылки, высылки или заключения в лагерь предупреждалась сама возможность антиправительственной пропаганды в печати.

Вряд ли нужно специально доказывать, что уже с начала 1920-х годов литераторы были приучены внимательно читать правовые документы: вопрос не любопытства, а выживания.

Чтобы угадать направленность советского законодательства, особой эрудиции не требовалось. Недогадливым был вскоре сделан достаточно прозрачный намек. 31 августа 1922 года «Правда» опубликовала статью «Первое предостережение», где сообщалось о высылке из РСФСР большой группы литераторов и ученых, которые были названы «наиболее активными буржуазными идеологами»[163].

Мера была и впрямь предостерегающая. На пароходах в европейские порты отправились весьма известные за пределами России ученые и литераторы. Арест их правительство сочло неуместным – в аспекте репутации нэповского режима. Однако подразумевалось, что для прочих «буржуазных идеологов», не добившихся европейской известности, перспектива – не Европа, а «места не столь отдаленные Сибири».

Все литераторы, не желавшие попасть в «буржуазные

идеологи», должны были хотя бы обозначить свою лояльность режиму. Это стало условием профессиональной деятельности.

Не только главлитовскими запретами, но и писательскими соображениями относительно личной безопасности определялся уровень допустимого в печати. Очень важную роль играла самоцензура писателя.

Хозяйство и хозяева

1923 год считается началом расцвета советской литературы. С легкой руки К. Г. Паустовского литературоведы называли этот рубеж «временем больших ожиданий»[164].

Действительно, ожидания казались тогда обоснованными, потому что некоторые перемены к лучшему были уже очевидны. Появились новые издательства, литературные журналы, газеты.

Да, кого-то арестовывали, ссылали, высылали, и все же это мало влияло на общее настроение. Перечисленные факторы не были принципиально новыми.

Цензура действовала и в Российской империи, внесудебные ссылки и высылки практиковались там постоянно. Зато с началом эпохи нэпа финансовое положение литератора, как и в досоветскую эпоху, зависело от читательского спроса. Благодаря чему можно было надеяться, что литераторы обретут статус, подразумевавший хотя бы относительную независимость.

Однако советские идеологи настаивали, что литературный процесс не будет прежним. Например, Троцкий в 1923 году выпустил книгу «Литература и революция», где, как говорится, «подводил итоги и намечал перспективы»[165].

Он постулировал, что литературный процесс радикально изменился с приходом большевиков к власти в октябре 1917 года. А это «не могло не стать – и стало – крушением дооктябрьской литературы».

Именно «крушением». Согласно Троцкому, литература «после Октября хотела притвориться, что ничего особенного не произошло и что это вообще ее не касается. Но как-то вышло так, что Октябрь принялся хозяйничать в литературе, сортировать и тасовать ее, – и вовсе не только в административном, а еще в каком-то более глубоком смысле».

Троцкий не вдавался в подробности – нужды не было. Современники понимали и без подсказок, что означает «вышло так».

Литературный процесс действительно стал другим – на качественном уровне. Троцкий не преувеличивал, даже преуменьшил отчасти.

Принципиально иными стали отношения литераторов с теми силами, которые Айхенвальдом названы были «неизменным полицейским, вечным Держимордой».

Изменилось законодательство, в силу чего иными стали модели поведения литераторов. Троцкий хоть и метафорически, но довольно точно определил суть изменений.

Айхенвальд ничего подобного не предвидел. Троцкий же констатировал виденное.

Конечно, в 1923 году еще оставалась альтернатива – эмиграция. За границей эмигранты открывали новые издательства, выпускали русские журналы и газеты.

Но, во-первых, за границей русских издателей, а главное, читателей было гораздо меньше, нежели в советском государстве. И заработки литераторов-эмигрантов оказались несоизмеримыми с доходами отечественных коллег. Эмиграция – даже и для прежних знаменитостей – «честная бедность».

Во-вторых, попасть за границу именно по своей воле – непростая задача. ГПУ тщательно контролировало выезд и выпускало далеко не всех, кто разрешения просил. А неудачная попытка подразумевала в дальнейшем особое внимание надзорных инстанций. Стремление эмигрировать рассматривалось как демонстрация нелояльности, что само по себе, опять же аксиоматически, признавалось тогда проявлением «контрреволюционности». Со всеми отсюда вытекающими последствиями.

Литераторам оставалось либо приспосабливаться к новым условиям, либо менять профессию, гарантировавшую довольно высокий уровень доходов.

Об эмигрантской литературе Троцкий отзывался с презрением. Не жаловал он и литераторов «с именем», по мере возможностей пытавшихся игнорировать «хозяев»: «И по сю сторону границ осталось немалое количество дооктябрьских писателей, родственных потусторонним, внутренних эмигрантов революции».

Помимо «внутренних эмигрантов» Троцкий выделил еще одну категорию – дебютантов, не спешивших обслуживать правительство. Им тоже досталось: «Речь идет не только о переживших Октябрь “стариках”. Есть группа внеоктябрьских молодых беллетристов и поэтов. Не уверен в точности, насколько эти молодые молоды, но в предреволюционную и предвоенную эпоху они, во всяком случае, либо были начинающими, либо вовсе еще не начинали. Пишут они рассказы, повести, стихи, в которых с известным, не очень индивидуальным мастерством изображают то, что полагалось не так давно, чтобы получить признание в тех пределах, в каких полагалось».

Они, как намекал автор книги, при самодержавии тоже были бы умеренно оппозиционны, причем не потому, что не принимали «тиранию» в принципе, а просто следуя правилам игры. По словам Троцкого, революция буквально растоптала надежды «внеоктябрьских молодых» сделать карьеру в привычных

условиях. Все изменилось, начинать пришлось заново: «По мере сил они притворяются, что ничего такого, в сущности, не было, и выражают свое подшибленное высокомерие в не очень индивидуальных стишках и прозе. Только время от времени они отводят душу показыванием небольшого и нетемпераментного кукиша в кармане».

Подразумевалось, что представители контролирующих инстанций видят и понимают все, и лишь постольку не вмешиваются, поскольку опасность не считают значительной. Однако, утверждал Троцкий, «внеоктябрьских» совсем немного. Большинство литераторов нейтрально. Таких автор книги именовал rallies, тут же поясняя: «Это термин изфранцузской политики и означает **присоединившихся**. Так называли бывших роялистов, примирившихся с республикой. Они отказались от борьбы за короля, даже от надежд на него, и лояльно перевели свой роялизм на республиканский язык».

Насколько Троцкий был прав – неважно в данном случае. Важно, что о пресловутых rallies тоже отзывался пренебрежительно. У «присоединившихся» не было, по его словам, идеологии. Они – «замиренные обыватели от искусства, зауряд-службисты, иногда не бездарные».

Вот этим, утверждал Троцкий, «зауряд-службисты» и ценны. Среди них – умелые, одаренные, готовые служить: «Присоединившиеся ни Полярной звезды с неба не снимут, ни беззвучного пороха не выдумают. Но они полезны, необходимы – пойдут навозом под новую культуру. А это не так мало».

Троцкий, похоже, Держимордой себя не считал. «Хозяйский подход» – реалия нэповской эпохи: что не в закрома, то в удобрение.

Литература и впрямь стала частью «хозяйства», принадлежавшего советскому правительству, и оно действительно «хозяйничало».

Потому считавшееся ранее в литературной среде предосудительным или вовсе постыдным воспринималось как само собой разумеющееся. Литераторам приходилось не только подчиняться держимордам, но и служить им. И какими бы радужными ни казались перспективы в 1923 году, модели поведения, обусловленные новой правовой основой, были прочно усвоены.

Литераторы – в массе своей – стали другими, на досоветских похожими лишь отдаленно. Что, кстати, и акцентировалось замечанием Троцкого относительно «небольшого и нетемпераментного кукиша в кармане». На большее писатели не решались.

Конкурент вождя

Статьи, вошедшие в книгу «Литература и революция», воспринимались тогда как программные – описание так называемой новой экономической политики применительно к задачам литературным. Руководителям соответственно директива, а литераторам – предостережение.

Книга при этом была и полемичной. Наркомвоенмор обосновывал также отказ большевистского руководства от попыток создать специфическую пролетарскую литературу и культуру в целом.

Обоснование было необходимо. Еще тремя годами ранее задача создания пролетарской культуры считалась одной из приоритетных.

Согласно марксистской доктрине, построение социалистического общества подразумевало радикальное изменение пресловутого «базиса», т. е. экономического строя, что, в свою очередь, означало преобразование «надстройки», элементом которой считалась культура. Ее надлежало создавать новому «правящему классу» – пролетариату.

Большевиками, как известно, проблема создания пролетарской культуры ставилась еще в начале 1900-х годов, причем А. В. Луначарский был одним из инициаторов, хотя главным теоретиком здесь считался А. А. Богданов, тоже ветеран социал-демократического движения.

Правда, в начале 1910-х годов Богданов – вне партии. Это было обусловлено разногласиями с Лениным, не терпевшим конкурентов[166].

Тем не менее Богданов и Луначарский оставались во многом единомышленниками. Оба продолжали разрабатывать концепции новой культуры.

Богдановская концепция оказалась принципиально новой. Медик по базовому образованию, он рассматривал задачи в различных областях деятельности как организационные. Соответственно, его концепция подразумевала формирование универсальных методов решения. Десятилетия спустя Богданова признают основоположником системного подхода.

Впрочем, изучению организационных методов, согласно Богданову, должна предшествовать хотя бы элементарная общеобразовательная подготовка. Так что первоочередными считались просветительские задачи.

Однако большевистскому руководству концепции пролетарской культуры стали интересны лишь с падением

самодержавия в феврале 1917 года. Планировалось решение именно просветительских задач: подготовка хотя бы минимально образованных групп рабочих – для расширения административных структур партии.

Соответственно, к лету 1917 года энтузиасты сформировали при многих петроградских фабричных и заводских рабочих профсоюзных комитетах так называемые пролетарские культурно-просветительные организации. А осенью, незадолго до падения Временного правительства, была созвана их первая общегородская конференция. С установлением советской власти сеть подобного рода организаций, получившую официальное название Пролеткульт, контролировал и в значительной мере финансировал Наркомпрос, возглавляемый Луначарским[167].

Советское правительство еще не решило, да и не располагало временем решать, что конкретно от Пролеткульта требовать, каким образом управлять его деятельностью. Это, пусть и с оговорками, подразумевавшими наркомпросовское управление, предоставили пролеткультовским лидерам. Прежде всего – Богданову.

Он хоть и утратил статус большевика, сохранил в социал-демократической среде авторитет теоретика и организатора. Программные же установки официально были приняты в начале лета 1918 года на Общегородской конференции Пролеткульта.

Наиболее важным программным документом считалась резолюция, опубликованная тогда журналом «Грядущее». Ее первый пункт гласил: «Пролетарская культура, выражая собою внутреннее содержание нового творца жизни – пролетариата – и конечного его идеала – социализма – может строиться только самостоятельными силами того же пролетариата»[168].

Характерно, что прежняя культура не отвергалась напрочь. Вторым пунктом резолюции специально оговорено: «Пролетариат, будучи полным распорядителем жизни, берет из культурных достижений прошлого все, что способствует устроению жизни на социалистических началах и что воспитывает пролетарские массы в боевом социалистическом духе».

Пролеткульт развивался, с его организациями сотрудничали многие известные писатели, художники, актеры, ученые. За паек или денежное вознаграждение вели занятия в «студиях» и «кружках», что рассматривалось коллегами в качестве обычной просветительной работы, а не как вырванная страхом и голодом постыдная уступка. Пролеткультовское влияние, соответственно, росло.

Среди «кружковцев» и «студийцев» были, разумеется, не только бескорыстные. Нашлись и весьма предприимчивые, быстро

уяснившие, что «социальное происхождение» обеспечивает немалые льготы в литературной конкуренции. Так, уже в августовском номере журнала «Грядущее» опубликовано сообщение об учредительном собрании Всероссийского союза пролетарских (рабочих) писателей в Московском пролеткульте. Эта организация тоже получила финансирование[169].

Пролеткультовская сеть охватывала все новые города. К 1920 году работали тысячи «кружков» и «студий», где учились сотни тысяч энтузиастов.

Вряд ли уместно предполагать, что Ленин обо всем этом не знал. Но если верить официальной советской историографии, был обеспокоен лишь теоретическими установками Пролеткульта. С их отрицания и начал полемику, выступая 2 октября 1920 года на III Всероссийском съезде комсомола. Потому ленинская речь, публиковавшаяся «Правдой» в трех номерах с 5 октября, стала основой критики пролеткультовских концепций[170].

На съезде предсовнаркома заявил, что главная задача комсомольцев – учиться. Обучению же мешают некие лжетеоретики, именующие себя марксистами: «Пролетарская культура не является выскочившей неизвестно откуда, не является выдумкой людей, называющих себя специалистами по пролетарской культуре. Это все сплошной вздор».

Основные противники были указаны – «специалисты по пролетарской культуре». Таковыми могли считаться лишь пролеткультовские руководители. В первую очередь – Богданов, давний ленинский конкурент.

Пока шла гражданская война, Ленину было просто не до Пролеткульта. Но когда победа считалась уже близкой, предсовнаркома не пожелал мириться с тем, что давний и вроде бы устраненный конкурент руководит организацией, по численности сравнимой с большевистской партией.

Ленин на комсомольском съезде заявил, что пролеткультовские теоретические установки противоречат марксистским. Неважно, насколько это соответствовало истине. Если помеха указана, партийному руководству следовало принять некие срочные меры.

Меры были приняты. Богданов, интригами по обыкновению пренебрегавший, оказался вне Пролеткульта. Решал позже задачи исключительно научные. В итоге создал и возглавил Институт переливания крови, причем добился значительных успехов[171].

Ну а Ленин в партийной интриге опять победил. Однако уход Богданова из Пролеткульта стал началом распада этой организации.

Потому наркомвоенмор и получил важнейшее задание –

обосновать сказанное Лениным. Соответственно, Троцкий не раз подчеркивал, что концепцию свою разработал по ленинской просьбе и при его же одобрении.

Доктрина вождя

Можно сказать, что Троцкий лишь риторически оформил антибогдановскую концепцию Ленина. Но – убедительно, непротиворечиво.

Троцкий не атаковал Богданова явно. Начал с экспликации традиционных марксистских установок: «Каждый господствующий класс создает свою культуру и, следовательно, свое искусство. История знала рабовладельческие культуры Востока и классической древности, феодальную культуру европейского средневековья, буржуазную культуру, ныне владеющую миром. Отсюда уже как бы само собой вытекает, что и пролетариат должен создать свою культуру и свое искусство»[172].

С Марксом наркомвоенмор тоже не спорил. Он строил довольно изящную риторическую конструкцию – обходную: «Формирование новой культуры вокруг господствующего класса требует, как свидетельствует история, большого времени и достигает завершенности в эпоху, предшествующую политическому упадку класса. Хватит ли у пролетариата попросту времени на создание “пролетарской культуры”? В отличие от режимов рабовладельцев, феодалов, буржуа, диктатуру свою пролетариат мыслит как **кратковременную переходную эпоху**. Когда мы хотим обличить слишком уж оптимистические воззрения на переход к социализму, мы напоминаем, что эпоха социальной революции будет длиться в мировом масштабе не месяцы, а годы и десятилетия – десятилетия, а не века и тем более не тысячелетия».

В досоветскую эпоху «пролетарская культура», по словам Троцкого, не могла сформироваться, да и после образования советского государства времени прошло мало. А вскоре победит «мировая революция» и «пролетариат будет растворяться в социалистическом общежитии, освобождаясь от своих классовых черт, т. е. переставая быть пролетариатом».

Общество станет бесклассовым, утверждал Троцкий. Значит, ситуация вполне ясна: «Отсюда надлежит сделать тот общий вывод, что пролетарской культуры не только нет, но и не будет».

Спорить, по словам Троцкого, уже не о чем. Остались трудности чисто терминологического характера: «Но если отказаться от термина “пролетарская культура”, как же быть с… Пролеткультом? Давайте условимся, что Пролеткульт означает пролетарское культурничество, т. е. упорную борьбу за повышение культурного уровня рабочего класса. Право же, значение Пролеткульта от этого не уменьшится ни на йоту».

Троцкий не только риторически обосновывал ленинские инвективы в адрес сторонников Богданова. Еще и доказывал, что в период гражданской войны отношение к Пролеткульту – вовсе не ошибка. Да, некие коммунисты легкомысленно тиражировали ошибочные суждения, но партийное руководство с ними не солидаризовалось: «Наша политика в искусстве переходного периода может и должна быть направлена на то, чтобы облегчить разным художественным группировкам и течениям, ставшим на почву революции, подлинное усвоение ее исторического смысла…»[173].

Большевистская партия, согласно Троцкому, не планировала руководство литературой. Намеревалась лишь помогать литераторам, «ставя над всеми ими категорический критерий: за революцию или против революции, предоставлять им в области художественного самоопределения полную свободу».

Уточнение было существенным. Свобода предоставлялась лишь «в области художественного самоопределения». Зато там – без ограничений: «Пути свои искусство должно проделать на собственных ногах. Методы марксизма – не методы искусства. Партия руководит пролетариатом, но не историческим процессом. Есть области, где партия руководит непосредственно и повелительно. Есть области, где она контролирует и содействует. Есть области, где она только содействует. Есть, наконец, области, где она только ориентируется. Область искусства не такая, где партия призвана командовать. Она может и должна ограждать, содействовать и лишь косвенно – руководить. Она может и должна оказывать условный кредит своего доверия разным художественным группировкам, стремящимся ближе подойти к революции, чтобы помочь ее художественному оформлению. И уж во всяком случае, партия не может стать и не станет на позицию литературного кружка, борющегося, отчасти просто конкурирующего с другими литературными кружками»[174].

Сказанное о позиции «литературного кружка» относилось прежде всего к «пролетарским писателям». Результаты их усилий Троцкий не принимал всерьез – уровень низок. Потому и характеризовал пренебрежительно – «ученичество».

Отсюда следовало, что в писательском деле главное – получить результаты, нужные партии, а требовать деньги, ссылаясь на «социальное положение», уже неуместно. Льготы такого рода не предусматривались. Но примечательно, что Троцкий проговорился невзначай. Получилось у него, что конкуренция – борьба за партийное, т. е. государственное, финансирование.

Согласно Троцкому, всем, кто декларировал лояльность, разрешалась профессиональная реализация, а премировать надлежало лишь тех, чья деятельность советскому режиму наиболее полезна.

Троцкий обозначил проблему, уже осознанную партийным руководством. С окончанием гражданской войны актуализировалась проблема литературной политики – на уровне методологии. Нужна была литература, столь же эффективная в аспекте управления общественным сознанием, что и досоветская. При этом – не оппозиционная.

У правительства хватало опыта борьбы с оппозиционными интеллектуалами. Литераторов ранее вынуждали служить режиму, буквально ликвидировав иных заказчиков литературной продукции. Но в нэповских условиях такой опыт несколько деактуализовался. Вот почему эффективность государственной издательской деятельности и оценивалась коммерчески. Что не куплено – то не прочитано.

В нэповских условиях мнение розничных покупателей стало опять значимым фактором литературного процесса.

Потому и понадобились дополнительные меры, позволяющие сохранить, так сказать, идеологически-коммерческое господство. Вот наркомвоенмор и утверждал: в литературе нужны лишь профессионалы.

Троцкий ориентировался, прежде всего, на собственный административный опыт. Армейский.

Как известно, спешно формировавшаяся РККА сразу оказалась в ситуации дефицита командного состава. Новоназначенные или же избранные начальники не обладали соответствующими знаниями. По инициативе же Троцкого правительство мобилизовало тысячи бывших офицеров. Им – в качестве так называемых «военных специалистов» – надлежало консультировать новых «красных командиров».

За лояльность мобилизованных отвечали их семьи, остававшиеся в местностях, контролируемых советским правительством. Гарантия вполне надежная – заложники. Однако Троцкий использовал не только террористические методы. «Военспецов» привлекали и стабильно высоким жалованьем, и щедрыми пайками, и прочими льготами.

Для непосредственного же контроля создали институт военных комиссаров – наделенных чрезвычайными полномочиями коммунистов, без согласия которых ни «военспец», ни «краском» не имел права отдавать сколько-нибудь важные приказы. Комиссарской обязанностью было и воспитание подчиненных в духе советской идеологии.

«Военспецы», контролируемые «военкомами», сыграли решающую роль в организации РККА, они же и преподавали на так называемых курсах, где готовили будущих «краскомов». Этот опыт, по достоинству оцененный Лениным, использовался в промышленности и на транспорте.

Разумеется, критерий отбора литературных «спецов» был несколько сложнее, чем армейских или технических. В литературе чинов не было, да и сертификатами учебных заведений, полученными до возникновения советского государства, писательская квалификация не подтверждалась. Так что критерий профессионализма стал в основе своей коммерческим. «Спец» – тот, чье имя обеспечивает коммерческий успех издания.

Альтернативные проекты

Реализация наркомвоенморовского плана началась, разумеется, еще до газетной публикации статей, вошедших позже в книгу «Литература и революция». Так, Воронский уже был главным «литературным комиссаром». Его считали креатурой Троцкого, одобренной Лениным.

Воронский успешно решал поставленную задачу: отыскивал и привлекал к сотрудничеству «литературную молодежь» – профессионалов, считавшихся искренне лояльными советскому режиму. Троцкий идентифицировал таких как «литературных попутчиков революции»[175].

Сам термин был из обихода социал-демократов. «Попутчиками» называли тех, кто считал себя противником существовавшего режима, значит, союзником партии, однако не готов был присоединиться к ней в деле окончательного – социалистического – преобразования общества.

Как известно, популярность «Красной нови» и организованного при ней издательства «Круг» росла стремительно. Воронский, ставший еще и авторитетным критиком, ориентировался, как было предписано, на «попутчиков», но вскоре объявились у редактора влиятельные противники.

Эволюция – следствие упомянутых выше интриг в Политбюро ЦК партии – создания пресловутого «триумвирата» Сталина, Зиновьева и Каменева. Если «Красную новь» и «Круг» можно, пользуясь нынешней терминологией, назвать проектами, созданными в рамках троцкистко-ленинской концепции, то и подготовка альтернативы обусловливалась прагматикой борьбы с наркомвоенмором.

Успех «Красной нови» и Воронским же созданного кооперативного издательства писателей «Круг» был и успехом наркомвоенмора. Однако в планы «триумвиров» не входило доминирование креатуры Троцкого. Если тот утверждал, что пролетарской литературы нет, следовало доказать обратное.

В мае 1922 года вышел первый номер журнала «Молодая гвардия», чей статус определялся перечнем указанных на обложке издателей – ЦК Российского коммунистического союза молодежи и ЦК партии. Собственное издательство тоже появилось. И конечно, одноименное литературное объединение. Затем его лидеры сформировали группу «Октябрь», инициировавшую 1-ю Московскую конференцию пролетарских писателей, которая открылась в марте 1923 года.

Основной результат – принятие так называемой идеологической и художественной платформы группы «Октябрь». Напечатал ее журнал Московской ассоциации пролетарских писателей «На посту» – в первом (июньском) номере 1923 года. Казуистические доводы наркомвоенмора были там казуистически же парированы. Главным критерием принадлежности к пролетарской литературе объявлялось не происхождение, но готовность выразить идеологию пролетариата, в каждый данный момент соответствующую партийным установкам. По этому критерию лидеры «напостовцев» и противопоставлялись не вполне или вовсе неисполнительным «попутчикам». А в первом номере журнала за 1924 год опубликована статья И. В. Вардина, инкриминировавшего редактору «Красной нови» саботаж большевистской политики, что и акцентировалось заголовком: «Воронщину необходимо ликвидировать»[176].

Статья задала тон кампании. Причем каждое обвинение «литкомиссару» было ударом по авторитету его покровителя[177].

У редактора «Красной нови» не хватило бы времени отвечать всем назойливым оппонентам, вот и пришлось воспользоваться актуальными технологиями. В 1923 году инициировал создание при журнале группы «Перевал», декларировавшей – как базовые критерии объединения – верность большевистским идеалам, мастерство, искренность. Перевальцами стали получившие известность «критики-марксисты» – Д. А. Горбов и А. З. Лежнев, что позволяло совместными усилиями вести полемику в печати.

Наконец, издательские предприятии Воронского были коммерчески эффективны, в отличие от созданных его оппонентами. А итоговые политические оценки напечатанного формировались не столько рассуждениями критиков, сколько официально выраженными мнениями Главполитпросвета. Важную роль играл также при Наркомпросе созданный Государственный ученый совет, где решали, что за книги уместно – с методической точки зрения – рекомендовать преподавателям средних и высших учебных заведений. Авторы «Красной нови» в список попадали. Однако от напостовских инвектив это не ограждало.

Почти для каждого литератора такая ситуация подразумевала выбор. С Воронским – известность, однако и политические обвинения, подразумевавшие весьма серьезные последствия. Издания же его противников были не слишком популярны, зато публикации там гарантировали, как минимум, нейтралитет ревнителей «идеологической выдержанности».

Если пользоваться современной терминологией, можно отметить: проекты Воронского основывались на доктрине Троцкого, а предприятия «молодогвардейского» типа –

контрпроекты, ей оппонировавшие.

Ранее «пролетарской литературой» признавалось только созданное рабочими. В «молодогвардейской» же интерпретации нет упоминаний о «социальном положении» авторов. Основополагающий критерий – идеологического характера. Ну а насколько соответствует ему каждое художественное произведение, определяли сами «молодогвардейцы». Исходя, по их словам, из партийных директив. Стало быть, партии отводилась в литературном процессе роль именно руководителя – вопреки ранее сказанному Троцким.

Риторические построения Троцкого не опровергли, их попросту обошли, как в свое время поступил он с пролеткультовскими.

Все остальное, что указано в «платформе группы “Октябрь”», не играло сколько-нибудь важной роли. Рассуждения о поэтике, новом эпосе или драме лишь постольку были важны, поскольку их удалось бы соотнести с конкретными публикациями. Троцкий ранее утверждал, что «пролетарские писатели» находятся еще в стадии «ученичества». С ним опять не спорили, однако из программного документа следовало, что нужные партии результаты появятся со временем. Подождать нужно.

Зато сам термин «пролетарская литература», своего рода «бренд», вновь актуализовался – вопреки Троцкому. Что и было важно.

Ранее партийное финансирование литераторских сообществ, именовавших себя «пролетарскими», было возможно лишь с оговорками. А после реактуализации «бренда» оговорки не требовались. Речь шла совсем о другой «пролетарской литературе».

К 1924 году «молодогвардейцы» уже полностью контролировали Всероссийскую ассоциацию пролетарских писателей. Возникло по сути новое – и немалочисленное – объединение литераторов, обладавшее теоретической «платформой», журналами, собственным книгоиздательством.

Конфликт изначально подразумевался. Его развитие было неизбежно.

Эволюция инструментария

По советскому обыкновению, конфликт развивался и явно, и скрыто. Большинство заинтересованных современников следило за развитием лишь по литературно-критической полемике в печати. Только посвященные знали о непрекращающейся полемике в ЦК партии, многочисленных жалобах, доносах и т. п.

Разумеется, оппоненты «перевольцев» не располагали таким популярным и авторитетным изданием, каким руководил Воронский. Зато критики из журнала «На посту» вскоре создали ему репутацию самого агрессивного в СССР.

Напостовская агрессивность испугала многих. Так, журнал «Леф» еще в 1923 году поместил статью о методах критиков из одиозного издания – «Критическая оглобля»[178].

Автор использовал предсказуемые ассоциации. Для начала сравнил журнал с уличным постовым-регулировщиком: «Хорошо, когда на посту стоит сознательный милиционер. Честный, любезный, непьющий. Дана ему инструкция, дана палочка в руки: поднимай ее – все движение остановится. Стой на посту, наблюдай за порядком, следи, чтобы заторов не происходило».

Однако, утверждал автор, постовому-регулировщику не только жезл нужен. Хладнокровие тоже: «Если милиционер этого качества лишен и взамен его обладает самолюбием, тогда беда и прохожим, и проезжим. Мало ли что может прийти ему в голову. Возбудится он магической силой своей палочки – и остановит движение суток этак на трое. Да и самое палочку – посчитав ее размеры неподходящими для сей значительной роли – возьмет да и заменит вдруг оглоблей, отломанной у мимоехавшего извозчика. И, подняв ее перстом указующим, продержит сказанный срок, а потом, не выдержав ее же тяжести, ошарашит ничего не подозревающего, спешащего по делам прохожего. И главное – уверен будет, что его пост – самый образцовый, что только завистники и недоброжелатели могут усмотреть в его поведении некоторое несоответствие задания с выполнением».

Сравнение было явно обидным. На первый взгляд еще и не вполне заслуженным. Казалось бы, эка невидаль – критики бранят. И в досоветскую эпоху бранились. А при чем тут «оглобля»?

При том, что эпоха другая, и критический инструментарий стал принципиально иным. Литературным конкурентам «пролетарских писателей» напостовцы предъявляли обвинения политического характера. К примеру, клевета на большевистскую партию, РККА и т. д. А подобного рода инвективы могли – в силу

описанной выше специфики законодательства – обусловить привлечение литератора к уголовной ответственности. Например, в соответствии с упомянутыми статьями УК РСФСР или прочими нормами права, внесудебно применявшимися.

В таких случаях доказательства не требовались. Напостовскую публикацию можно было считать экспертным заключением. А далее – на усмотрение соответствующих инстанций.

Подобного рода приемы в досоветской традиции называли «апелляцией к Держиморде». Это считалось недопустимым – как политический донос. А в советской традиции стало нормой.

Вот и статья о напостовских критиках адресована была в первую очередь партийным инстанциям. Тем, что курировали журнал «На посту». Им сообщалось о «несоответствии задания с выполнением».

Характерно, что идея партийного управления литературой рассматривалась в статье как сама собой разумеющаяся. О соблюдении принципа «свободы печати» речь вообще не шла. Автор лишь сообщал вышестоящим кураторам, что «регулировщик», по их воле оказавшийся «на посту», значительно превышает свои полномочия. Буквально оглоблей машет. Значит, он и есть опасность для «ничего не подозревающего, спешащего по делам прохожего» – вполне лояльного советского писателя. Да и режиму опасен: создает, как сказали бы позже, негативный имидж большевистского руководства.

Защитить от последствий «оглобельной критики» могли не только партийные инстанции, курировавшие литературный процесс. Еще и личное покровительство влиятельного функционера. Прежде всего, редактора «Красной нови», ориентировавшегося – согласно доктрине Ленина – Троцкого – на «спецов», значит, «попутчиков».

Разумеется, травля Воронского стала обязательной напостовской задачей не только в силу негласных распоряжений из ЦК партии. Важную роль играли соображения чисто коммерческие. Напостовцам еще и нужно было хоть как-то объяснять неудачи большинства собственных изданий – в отличие от явных успехов конкурента. Потому и оставалось только противопоставлять «воронщине» – собственную «идеологическую выдержанность».

Большинство сколько-нибудь популярных советских литераторов напостовские критики зачислили в «попутчики». Соответственно, новое истолкование термина подразумевало, что «попутническими» можно именовать едва ли не все публикации, коль скоро их авторы остались вне курируемого напостовцами

литературного сообщества.

Как известно, в январе 1925 года наркомвоенмор согласился оставить свой пост. А преемником стал заместитель – М. В. Фрунзе.

В январе же состоялась и Всесоюзная конференция пролетарских писателей. Одной из резолюций Троцкий и Воронский объявлены «последовательными противниками пролетарской культуры и литературы»[179].

Нового тут не было ничего. Зато важнейший результат был достигнут на административном уровне. Конференцией учреждена своего рода головная организация – Российская ассоциация пролетарских писателей.

Это был образец для всех республик Советского Союза. И рапповские аналоги там появились.

Однако политика «триумвиров» стала несколько иной. Учитывалось мнение Фрунзе. Он был давним – еще со времен большевистского подполья – другом Воронского. Да и Троцкий еще не вовсе утратил авторитет.

Вскоре произошла замена рапповских лидеров. Наиболее азартные напостовцы утратили свои должности. А в июне 1925 года принято знаменитое постановление ЦК РКП (б) «О политике партии в области художественной литературы»[180].

Оно воспринималось тогда в качестве некоего компромисса. Можно сказать, долгожданного – из-за ставшей обыденностью «оглобельной критики».

С одной стороны, напостовцев призвали умерить свои амбиции. Отмечено было, что «руководство в области литературы принадлежит рабочему классу в целом, со всеми его материальными и идеологическими ресурсами. Гегемонии пролетарских писателей еще нет, и партия должна помочь этим писателям заработать себе историческое право на эту гегемонию».

Отсюда следовало, что и яростные нападки на конкурентов не всегда уместны. Наконец, указывалось, что в отношении «к “попутчикам” необходимо иметь в виду: 1) их дифференцированность; 2) значение многих из них как квалифицированных “специалистов” литературной техники; 3) наличность колебаний среди этого слоя писателей. Общей директивой должна здесь быть директива тактичного и бережного отношения к ним, т. е. такого подхода, который обеспечивал бы все условия для возможно более быстрого их перехода на сторону коммунистической идеологии».

С другой стороны, была вновь официально признана существующей «пролетарская литература». А это противоречило неоднократно высказанному мнению Троцкого.

Да и заверение, что РАПП в итоге обретет «право на гегемонию», не противоречило ожиданиям участников «проекта», включая и напостовцев. Они ведь от привычного критического инструментария не отказывались. Другим не владели.

Падение утвержденных

Воронский некоторое время был вне серьезной опасности. Однако в ноябре 1925 года умер Фрунзе, и рапповцы опять усилили натиск.

Троцкий партийную интригу безнадежно проигрывал, а потому в литературной Воронский не мог выиграть. Два года спустя он – как недавний троцкист – лишился и редакторских должностей, и партийного статуса. Без своего журнала и общепризнанного лидера, высланного затем из Москвы, утратил прежний авторитет «Перевал»[181].

За Воронского заступались многие, включая Горького. Но в Москву ссыльный вернулся, когда от Троцкого отрекся неоднократно и вполне официально. Прежнего авторитета, конечно, не было.

Ну а противники Воронского тем временем торжествовали. Их влияние росло. В 1928 году учреждено Всесоюзное объединение ассоциаций пролетарских писателей, где доминировали рапповцы. Заняв соответствующие должности в редакциях большинства литературных журналов и, конечно, государственных издательств, они контролировали издательские планы. Стало быть, непосредственно участвовали в процессе распределения гонораров.

Частные издательства, правда, не подчинялись рапповскому диктату. Пока они существовали, у литераторов еще был хоть какой-то выбор.

Но в 1931 году упомянутая выше «реорганизация» печати завершилась. У правительства не было уже конкурентов в издательском деле. И писателей наконец лишили выбора. Либо сотрудничество с государственными издательствами, либо отказ от профессии.

Рапповские лидеры добились бесспорной победы. Впрочем, торжество было недолгим. 23 апреля 1932 года Политбюро ЦК ВКП (б) приняло радикально изменившее ситуацию постановление «О перестройке литературно-художественных организаций»[182].

В документе отмечались, прежде всего, успехи. А также постулировалось: «Несколько лет тому назад, когда в литературе налицо было еще значительное влияние чуждых элементов, особенно оживившихся в первые годы нэпа, а кадры пролетарской литературы были еще слабы, партия всемерно помогала созданию и укреплению особых пролетарских организаций в области литературы и искусства в целях укрепления позиций

пролетарских писателей и работников искусства».

Уместность «пролетарских» организаций в прежние годы не подвергалась сомнению. Но тут же было отмечено, что существующие организационные формы «становятся уже узкими и тормозят серьезный размах художественного творчества».

В общем, были помощниками и вдруг начали стеснять «размах». И такое «обстоятельство создает опасность превращения этих организаций из средства наибольшей мобилизации советских писателей и художников вокруг задач социалистического строительства в средство культивирования кружковой замкнутости, отрыва от политических задач современности и от значительных групп писателей и художников, сочувствующих социалистическому строительству».

Помеху надлежало устранить. Что и констатировалось: «Отсюда необходимость соответствующей перестройки литературно-художественных организаций и расширения базы их работы».

В чем суть «перестройки» – далее пояснялось. ЦК ВКП (б) постановил:

«1) ликвидировать ассоциацию пролетарских писателей (ВОАПП, РАПП);

2) объединить всех писателей, поддерживающих платформу Советской власти и стремящихся участвовать в социалистическом строительстве, в единый союз советских писателей с коммунистической фракцией в нем;

3) провести аналогичное изменение по линии других видов искусства…».

Подготовка к созданию «единого союза» была поручена функционерам ЦК партии. Все объединения «пролетарских писателей» утратили функциональность – с момента опубликования цитируемого выше документа. Их надлежало распустить без всяких оговорок.

Для рапповских лидеров это стало катастрофой. У них попросту отобрали победу. Большинство же писателей буквально ликовало: ЦК партии объявил более ненужными энтузиастов «оглобельной критики».

Но в апреле 1932 года ликвидированы были не только «пролетарские» объединения. Все прочие также. Это с необходимостью следовало из партийного документа. Не сразу уяснившим его истинный смысл, например «перевальцам», вскоре указали, что деятельность их организации – в качестве таковой – запрещена.

Большинство же рапповских лидеров сохранило должности в редакциях. И участвовало в подготовке I Съезда ССП.

Это закономерно: инструкциям ЦК партии рапповские лидеры всегда следовали. Действовали в предписанных рамках. Почему и считались по-прежнему надежными исполнителями партийных директив.

Стараниями азартных защитников «пролетарской культуры» Сталин решал важные административные задачи. Для начала – демонстрировал, что литературная доктрина главного конкурента уязвима. А также дискредитировал его лично: повести, содержавшие карикатуры на Троцкого, публиковались журналом «Молодая гвардия» и в контролируемых рапповцами издательствах. Наконец, «оглобельная критика» приучила многих литераторов искать защиту у партийных инстанций, добровольно и по собственной инициативе признавая партию арбитром в области литературы.

РАПП в нэповских условиях – удобный инструмент. Задачи, поставленные ЦК партии, решались, при этом репутационные потери несли только непосредственные исполнители, от которых ЦК партии мог публично отречься в любой момент, признав их энтузиазм чрезмерным. Так неоднократно и случалось. Например, в 1925 году.

Однако с утверждением внеэкономической издательской модели одиозное сообщество оказалось лишней деталью в механизме управления. Потому и закономерна ликвидация РАПП. Сама аббревиатура была жупелом.

Отметим, что в итоге утратили функциональность термины «пролетарские писатели» и «попутчики». Соответствующих реалий не осталось.

Только после этого уместно было приступать к созданию нового литературного сообщества. Единого и единственного ССП.

Но прежде чем такое сообщество учредить, надлежало подготовить теоретическую основу, создать административные механизмы. И на все это требовалось время.

Как известно, у Сталина был свой план. В мае 1932 года утвержден состав Организационного комитета ССП РСФСР. Горький – «почетный председатель»[183].

На иную должность он и не претендовал: с 1921 года постоянно жил за границей. Формальная причина – ленинское предложение лечиться у европейских специалистов. Реально же именно в 1921 году вновь обострился конфликт с Зиновьевым, чьи административные методы – массовые аресты петроградской интеллигенции – Горький называл преступными. Не скрывал и враждебности к Троцкому. Предотвратил скандал предсовнаркома, буквально вынудив писателя уехать – хотя бы на время. Неподчинение было невозможно, да и с отъездом

решались многие горьковские проблемы. В частности, репутационные.

Отношения Горького и правительства были затем весьма сложными. Советским гражданином он по-прежнему был, на родине печатался, участвовал в литературных проектах, даже инициировал некоторые, финансовую помощь принимал, дистанцировался от эмиграции, однако возвращаться не спешил.

Ну а Сталин переписывался с Горьким, долго убеждал его хотя бы посетить СССР. У генсека были планы, связанные с возвращением всемирно знаменитого писателя.

Рапповцы же и по отношению к Горькому проявляли иногда обычную задиристость. Дерзили. Похоже, не без ведома генсека, предоставляя тому возможность одергивать чрезмерно наивных энтузиастов и таким образом демонстрировать, что горьковский авторитет незыблем.

Впервые Горький приехал в мае 1928 года. Троцкий и Зиновьев тогда вне политики, да и рапповцы дерзить перестали. Выступал на митингах, в честь его приезда организованных, встречался с читателями. Триумф. Волею генсека статус вернувшегося был утвержден безоговорочно: «классик советской литературы».

Но вскоре он вновь уехал за границу. Формальная причина – необходимость продолжить лечение.

Правда, весной 1932 года вопрос окончательного возвращения считался решенным. Вернулся же Горький лишь осенью.

Реально Оргкомитетом ССП руководили функционеры, в том числе и бывшие рапповцы. Но, что называется, под эгидой Горького. Авторитет всемирно знаменитого писателя был необходим, иначе вся затея выглядела бы еще менее убедительно.

Первый съезд единого ССП состоялся, как известно, в августе 1934 года. И в течение двух предшествующих лет влияние Горького увеличивалось. Ничего подобного не было ранее.

Благодаря горьковскому покровительству в литературе появлялись новые имена, возвращались прежние, создавались репутации, публиковалось то, что ранее считали запрещенным. Полемизировать с Горьким по литературным вопросам мог только Сталин. Впрочем, генсек спорил крайне редко.

От ликвидации всех литературных сообществ до начала I съезда ССП минуло примерно два года. Это уникальный период. Большинство литераторов-профессионалов еще не знало, какими станут новые механизмы управления литературой. «Оглобельная критика» считалась реалией прошлого, соответственно, несколько расширились границы допустимого в печати. Время было уже не

рапповское, многие тогда ждали перемен к лучшему.

Часть IV. Второй дебют

Тактика дебютанта

Когда Гроссман летом 1923 года переехал в Москву, открывались новые частные и государственные издательские предприятия, количество периодических изданий стремительно росло. Ну а рапповская борьба с «попутчиками» была лишь в начальной стадии.

«Вузовец», похоже, не обращал внимания на критические баталии. Он решал свои задачи – в университете.

Пять лет спустя университетский выпускник успел избавиться от многих иллюзий. Судя по его письмам, уяснил, какое отношение к нему лично имеют показательные судебные процессы и антисемитские кампании в прессе. А его газетные публикации доказывают, что журналист-дебютант не только научился приспосабливаться к быстро меняющейся литературно-политической ситуации, но и на удивление ловко обходил цензурные препоны.

Летом 1929 года, когда Гроссман уезжал из Москвы «по разверстке», время было аккурат рапповское. Тогда он литературные планы отложил, тем более что и семейных забот хватало.

В Макеевке, понятно, было не до литературы, не с кем даже поговорить о ней – при гроссмановской замкнутости. Только в Сталине занялся наконец подготовкой второго дебюта. На этот разсобственно литературного.

Правда, в мае 1932 года ситуация вновь изменилась – в связи с окончательной реорганизацией печати, а затем и прекращением деятельности всех литературных сообществ. Качество «литературной продукции» уже не играло прежней роли. Но и статус Гроссмана изменился. Это московских редакторов не особо интересовал химик-старшекурсник, упорно стремившийся в журналистику и литературу. Да, одаренный дебютант, только немало таких по редакциям носило свои рукописи. А в Сталине он – авторитетный инженер-горняк, ученый, вузовский преподаватель, да еще и с опытом столичного журналиста. Конкурентов гораздо меньше. В аспекте дебюта ситуация удобна.

Подготовке дебюта помог новый знакомый – Г. Н. Баглюк. Он был редактором издававшегося в Сталине областного литературного журнала.

Баглюк – гроссмановский ровесник. Горный техник по образованию, шахтер, затем журналист, поэт и прозаик, он уже к середине 1920-х годов добился известности. Входил в курировавшееся «пролетарскими писателями» донбасское

объединение «Забой», которое выпускало одноименный журнал. С 1932 года – «Литературный Донбасс»[184].

Тематика журнала – «производственная». Главным образом шахтерская, областную специфику отражавшая. Но издание было заметным, рецензировалось и в столичной периодике.

Гроссман подготовил для альманаха повесть, как нельзя более соответствовавшую тематике. И заглавие в Донбассе пояснений тогда не требовало. «Глюкауф» – в переводе с немецкого – «счастливо наверх». Старинное шахтерское присловье, в обиход вошедшее, когда инженеры-немцы оборудовали местные шахты. Работа под землей всегда была опасна, так что вместо «здравствуй» и «до свидания» пожелание удачно подняться «изтемных глубин».

Действие повести разворачивалось, понятно, в советскую эпоху. Герой – инженер, участвующий в модернизации донбасской шахты. Принято считать, что специфически гроссмановского в этой дебютной книге нет.

Такое мнение сформулировал и Бочаров в цитированной выше монографии о Гроссмане. По словам исследователя, повесть «еще находилась целиком в канонах тогдашней производственной прозы»[185].

Оценка, понятно, невысока. Бочаров и отметил, имплицитно ссылаясь на известный современникам контекст эпохи, что в начале 1930-х годов «наша проза еще надеялась создать *роман нового типа* – роман о производстве, где не было ни исторических сражений, ни легендарных героев, ни романтических страстей и смертей. Слабый художественный эффект казался извинительным, ведь предстояло художественно овладеть неосвоенной сферой действительности с иной природой конфликтов, с изменившимся характером героического».

В СССР литературовед и не смог бы больше сказать – на исходе 1980-х годов. Читатель-современник должен был угадать, что вовсе не «проза надеялась», а прозаики следовали партийной директиве – в меру умения. Вот и в повести Гроссмана, по словам Бочарова, «рассказывалось о нескольких месяцах жизни работников “самой глубокой, самой жаркой, самой газовой и тяжелой шахты Донбасса”, о сторонниках и противниках механизации, о труде и быте самых различных людей – шахтеров, иностранных специалистов, шахтерских жен».

В 1930-е годы московские литераторы тоже порою о шахтерах писали. Получалось не вполне удачно еще и потому, что собственного опыта – именно «производственного» – в большинстве своем не имели.

Гроссман имел такой опыт. Читатель видел: автор о горном

деле знает не понаслышке. Вот и Бочаров акцентировал, что «знание всей обстановки помогло убедительности и обстоятельности некоторых эпизодов: глубокое бурение в загазованной шахте, вечеринка у инженера, переживания паренька, впервые побывавшего в шахте (с психологически точным завершающим образом – “небо стояло высокое, строгое, – оно держалось без крепления, не трещало и не грозило завалиться”)».

Исследователь утверждал: повесть не бездостоинств, хотя в целом неудачна – для Гроссмана, каким он стал вскоре. Отмечено, что «владение литературной техникой еще не дотягивало до знания техники шахтерской…».

Подчеркнем: Бочаров не мог тогда обсуждать советскую тактику литературного дебюта. Иначе уместным оказался бы вопрос о пресловутой «искренности». Пришлось бы констатировать, что Гроссман постольку не справился с «литературной техникой», поскольку темой не был увлечен.

«Литературной техникой» Гроссман и тогда владел, что видно по рассказам, написанным гораздо раньше дебютной повести. И Бочаров, несомненно, видел это. Он, конечно, знал: в начале 1930-х годов от «технического» уровня прозы уже мало что зависело. Прозаику-дебютанту, желавшему буквально пробиться в печать, надлежало соответствовать партийным директивам.

Гроссман некогда увлекался шахматами. А шахматная тактика подразумевала, что в дебюте следует «развивать позицию», т. е. «выводить» фигуры для увеличения эффекта их дальнейшего использования. Тактический принцип, фиксируемый шуточным афоризмом: «Сначала нужно развиться, а уж потом чего-нибудь хотеть».

Донбасский инженер, намеревавшийся стать писателем, «развивал позицию» сообразно правилам. Как ранее в журналистике – поэтапно: сначала заметку и статью про кооперацию напечатал, а потом, когда ситуация благоприятной стала, опубликовал журнальный очерк о родном городе и проблеме антисемитизма.

Задача «развития» в литературе была сложнее. Окажись повесть дебютанта лишь беллетристическим преобразованием актуальных партийных директив, Баглюк ее не принял бы к изданию. Да и критики не заметили бы Гроссмана. Так что «литературная техника» требовалась достаточно высокая – если сравнивать с издававшимся тогда.

Баглюк рукопись одобрил. И летом 1932 года Гросссман отправился в московскую командировку. Кроме прочего, выяснял,

найдется ли для него работа в столице. Опять же пришло время и на столичном уровне реализовать литературные планы.

В поисках новой работы помогала Алмаз. Да и в реализации литературных планов тоже. У кузины хватало знакомств среди влиятельных литераторов. Так что гроссмановские рукописи оказались в Издательстве Московского товарищества писателей.

Изначально оно было задумано в качестве кооперативного, объединявшего и писателей, вступивших в различные литературные группировки, и остававшихся вне подобного рода сообществ. К 1932 году, понятно, издательство полностью финансировалось и контролировалось правительством. Так что рекомендация высокопоставленной профсоюзной функционерки играла немалую роль.

Не исключено, что Гроссману помогла и рекомендация Баглюка. У него в Москве тоже было немало знакомых литераторов, занимавших редакторские должности. Но, пожалуй, главный аргумент для издательства – справка, что повесть «Глюкауф» принята к публикации донбасским областным литературным журналом. Это своего рода свидетельство благонадежности автора. За него поручился редактор-коммунист, рекомендовавший книгу в печать.

Как выше отмечено, столичная командировка завершилась удачно. Благодаря участию Алмазповестью «Глюкауф» заинтересовалась и одна изкиностудий. Перспективы намечались радужные. 6 июля 1932 года, вернувшись из Москвы, Гроссман сообщал отцу: «Книга моя в июле месяце будет сдана в типографию. Рассказы “Три смерти” через пару дней будут отпечатаны на машинке и начнут путешествовать по редакциям».

Но и опыт дебютной повести Гроссман учел – не хотел действовать подобным образом в дальнейшем. О чем и сообщил отцу: «Я решил (совместно с Надей), что для того, чтобы сделать литературу своей профессией, нужно иметь еще одну профессию, и что сделай я ее единственным источником своего существования, я безусловно покачусь по линии халтуры. Такова логика “социального заказа”».

В периодике тема «социального заказа» – дежурная еще с 1920-х годов. Подразумевалось, что истинно художественное произведение, не может не соответствовать актуальным политическим запросам. Ну а в обиходе модный термин едва ли не изначально ассоциировался с элементарной сервильностью. Готовностью писателей выполнять – не по идейным соображениям, а выгоды ради – любое требование правительства[186].

Именно такую специфику литературного процесса Гроссман и

обсуждал с отцом. А вскоре актуализовалась другая проблема – семейная.

Ближайшей перспективой Гроссман, как выше было отмечено, считал развод. О чем и сообщил отцу письмом 13 августа, приехав уже вместе с дочерью в Москву. Впрочем, счел нужным подчеркнуть: «Настроение у меня хорошее, я работаю над киносценарием, правлю вместе с очаровательным 24-летним редактором-женщиной свою книгу «Глюкауф», пишу рассказики…».

Техника защиты

Осенью 1932 года, когда Гроссман окончательно в Москве обосновался, до реализации литературных планов было еще далеко. Редакторская цензура становилась все строже.

Вполне реалистическое изображение быта шахтерского поселка уже не соответствовало изменившимся пропагандистским установкам. Сценарий остался невостребованным, издательство отвергло рукопись.

Причем не просто отвергло. Гроссману, хоть и неофициально, было предъявлено обвинение в контрреволюционной пропаганде. А это подразумевало возможность серьезных последствий.

Спор не имел смысла. Но Гроссман искал выход из положения. Для этого с помощью Алмаз отправил рукописи Горькому. И конечно, сопроводительное письмо.

Документ этот хранится в Архиве М. Горького Института мировой литературы Российской академии наук. Орфография и пунктуация приведены к современным нормам[187].

Гроссман просил не только оценить результаты его труда. Наиболее важная тема – защита: «Алексей Максимович, обращаюсь к Вам с просьбой прочесть написанную мною вещь и сказать мне свое мнение о ней. Издательство, в которое я ее отнес, вернуло ее мне, причем редактор старался меня убедить в том, что книга написана контрреволюционно».

Горький, конечно, понимал, какие последствия в данном случае подразумеваются. И Гроссман акцентировал свою искренность: «Я писал то, что видел, живя и работая три года на шахте Смолянка-11. Я писал правду. Это, может быть, суровая правда. Но ведь правда никогда не может быть контрреволюционна. В наше время правда и революция не могут быть отделены друг от друга. Я мучительно не понимаю, в чем же контрреволюционность моей книги – в том, что на Донбассе пьют, часто дерутся, в том, что работа в шахте очень тяжела, или в том, что люди, шахтеры, живые люди борются за новую жизнь, но что борются они не руками в белых перчатках и что борьба эта не легка, что лица их не улыбаются 24 часа в сутки? Я думаю, что именно в этих больших трудностях борьбы и родится настоящий дух большевизма».

Ссылка на «дух большевизма» соответствовала актуальному пропагандистскому контексту. Из чего следовало, что редакторская подозрительность неуместна: «Я думал, что пишу для революции, а мне говорят, что я пишу против нее».

Просил Гроссман не только защиту, еще и совет. Именно

литературного характера: «Второй мучительный вопрос – это вопрос о художественной стороне написанного мною. Я знаю, что не только первый блин бывает комом, но и второй и третий… Но Вас я хочу спросить о качестве муки. Ведь если мука тухлая, то лучше вовсе не печь блинов. Алексей Максимович, Вы коммунист и писатель, и никто, мне кажется, в мире не может так, как Вы, ответить на такие вопросы, посоветовать, поэтому я обращаюсь к Вам, хотя мне очень неловко занимать Ваше время. Если прочтете мою книгу и скажете свое мнение о ней, буду Вам глубоко благодарен».

Горький в партии не состоял. Назвав его «коммунистом», Гроссман ошибался или лукавил. Однако прагматика обращения была очевидна. Автор признал адресата еще и лучшим экспертом в области идеологической оценки литературного произведения.

Конечно, Гроссман не мог не знать, что Горький получает ежедневно от незнакомых ему авторов десятки, а то и сотни писем с просьбой о помощи, соответственно, все прочесть не в состоянии, отбором и рецензированием занимаются секретари. Обычно литераторам-дебютантам отказывали, но исключения бывали. Как правило, обусловленные неформальными отношениями с передававшими рукописи. Вероятно, Гроссман и рассчитывал на это.

Ответил Горький 17 октября 1932 года. Более тридцати лет спустя копия письма опубликована в тридцатом томе собрания сочинений[188].

Обращение к адресату публикация не содержит. Читал ли Горький рукопись или же положился на мнение секретаря – неизвестно. Похоже, что именно переосмыслил написанное рецензентом. Зато мнение гроссмановского редактора оспорил: «Лично я не вижу в повести тенденций контрреволюционных, но критика имеет основания усмотреть тенденции эти в “натурализме” автора».

Отсюда следовало, что обвинение в контрреволюционной пропаганде снято посредством горьковского авторитета. Получилось, что редактор неверно оценил гроссмановские интенции в силу неприятия литературного метода – «натурализма».

Впрочем, и редактор, по словам Горького, прав. Не полностью, разумеется, а лишь отчасти: «Я не могу назвать натурализм как прием изображения действительности приемом “контрреволюционным”, но уверенно считаю прием этот неверным, к нашей действительности неприменимым, искажающим ее».

Горький отверг гроссмановские ссылки на личный опыт.

Подчеркнул, что автор повести напрасно «говорит: “Я писал правду”. Ему следовало бы поставить перед собой два вопроса: один – которую? другой – зачем? Известно, что существуют две правды и что в мире нашем количественно преобладает подлая и грязная правда прошлого, а – на смену ей – родилась и растет другая правда. Вне столкновения, вне борьбы этих правд нельзя понять ничего, это – тоже известно».

Таким образом, Горький указал, что в существующей редакции повесть для публикации неприемлема. И объяснил, почему так считает: «Автор неплохо видит правду прошлого, но не очень ясно понимает, что же ему делать с нею? Автор правдиво и со вкусом изобразил тупоумие шахтеров, пьянство, драки и вообще все то, что – должно быть – преобладает в его – автора – поле зрения. Конечно, это – правда, очень скверная, даже мучительная правда, с нею необходимо бороться, ее нужно без пощады истреблять. Ставит ли автор перед собой эту цель?».

Горький также подчеркнул, что сказанное нельзя воспринимать в качестве инвективы. Не исключалось, что автор нужную «цель ставит, но натурализм как прием не есть прием борьбы с действительностью, подлежащей уничтожению. Натурализм технически отмечает – “фиксирует” – факты; натурализм – ремесло фотографов, а фотограф может воспроизвести лицо человека только с одной, скажем, печальной улыбкой. Для того же, чтоб дать это лицо с улыбкой насмешливой или радостной, он должен сделать еще и еще снимок. Все они будут более или менее “правда”, но “правда” только для той минуты, когда человек жил печалью, или гневом, или радостью. Но правду о человеке во всей ее сложности фотограф и натуралист изображать – бессильны».

Стало быть, все беды – от пресловутого «натурализма». Его и следовало преодолеть: «В повести “Глюкауф” материал владеет автором, а не автор материалом. Автор рассматривает факты, стоя на одной плоскости с ними; конечно, это тоже “позиция”, но и материал, и автор выиграли бы, если б автор поставил пред собой вопрос: Зачем он пишет? Какую правду утверждает? Торжества какой правды хочет?».

Вывод же был вполне оптимистичен. Последняя фраза письма – своего рода характеристика автора повести: «Человек он – способный, и решить ему эти вопросы следует».

Гроссман добился результатов, пусть и минимальных. Отцу, вероятно, не сообщил тогда о горьковском отзыве. По крайней мере, в сохранившихся письмах таких сведений нет.

Однако нет и сомнений, что с отзывом Гроссман ознакомил редактора в МТП. Сам факт переписки с Горьким был важен,

финальная же фраза подразумевала, что пресловутые «вопросы» автор повести сумеет решить.

Важно было также, что тематика повести оставалась актуальной. Ну а по суждениям Горького редактор вполне мог ориентироваться, устраняя всё, мешавшее публикации. Издательство, разумеется, не принимало никаких конкретных обязательств, зато количество исправлений в рукописи постоянно росло.

Ситуация вроде бы стабилизировалась. Но, как выше отмечалось, в марте 1933 года арестована Алмаз.

Последствий – для Гроссмана – не было. Но и родство с Алмаз уже ничем помочь не могло. Ее арест – для редакторов – подразумевал отмену прежних договоренностей. Как минимум.

Баглюк, правда, оставался в силе. Наконец, последнюю фразу горьковского письма можно было – при желании – трактовать как рекомендацию.

Переработанную рукопись издательство планировало опубликовать, только сроки оставались неопределенными. Гроссман меж тем вносил по требованию редактора все новые исправления. 27 июня отца известил: «Книгу сдал – через пару дней напишу тебе о результатах».

На самом деле Гроссман прошел лишь первый этап редакторской цензуры – предварительный. 19 июля отцу рассказывал в письме: «Ты спрашиваешь о моей книге. Не помню, писал ли я тебе уже. Положение следующее. Я ее закончил и сдал в издательство. Редактор, к которому она поступила, дал положительный отзыв. Однако издательство по непонятной мне причине передало ее второму редактору для второго отзыва. Специалисты мне объяснили, что это практикуется (двойной отзыв) по отношению к книгам, имеющим “острый характер”, т. е. затрагивающим важные темы, в частности, моя – уголь и пр.».

Если по гроссмановским письмам судить, первый редактор тоже посылал рукопись на рецензию. Обычная для советской эпохи редакционная практика. Едва ли не каждый из принимавших решение старался возложить ответственность на сторонних рецензентов. Правда, их работа оплачивалась довольно щедро: в бюджете издательских организаций были предусмотрены соответствующие расходы.

Очередной раз публикация откладывалась. А жара в июле стояла небывалая, и Гроссман иронизировал: «Во всяком случае, второй редактор уехал на дачу и, судя по кошмарным показаниям термометра, еще не скоро возьмется за работу над рукописью. Так как в связи с этим мне остались две возможности, это ждать и надеяться, то я так и делаю – жду и надеюсь».

Срок ожидания точно не определялся. Даже если б второй редактор сразу дал положительный отзыв, издание должна была утвердить следующая инстанция – редакционный совет издательства.

На пути к успеху

Минуло еще две недели, и новый рецензент одобрил рукопись. Теперь мнение должен был высказать второй редактор. Наконец и он, как сообщил Гроссман отцу, «дал также положительный отзыв. Думаю, что волокита прохождения через редсовет займет весь август месяц».

Гроссман успел провести отпуск на Алтае, вернуться, новостей же не было. Лишь 23 октября рассказал отцу: «Редактор мой уехал на 10 дней, денег мне еще не заплатили (должны заплатить 1/4 – 1000 <рублей> через три дня)».

Одна четверть гонорара выплачивалась издательством, если был подписан договор. Такова практика тех лет. Следовательно, издательство оформило соглашение с автором официально.

Горьковское ли письмо главную роль сыграло, актуальность ли темы, но издательский договор – первое официальное признание литературной квалификации. И, понятно, начало писательской карьеры.

Тысяча рублей – немалая сумма в 1933 году. Почти что полугодовой заработок фабричного инженера. И это лишь аванс. 17 ноября Гроссман в письме рассказывал: «Издательство начало понемногу выплачивать мне деньги. Купил себе ботинки и стою накануне покупки пальто (завтра пойду). Послал денег Наде и маме».

Аванс был существенным подспорьем. Отцу Гроссман сообщал: «Работаю, пишу новую книгу. Маленькую. “Глюкауф” должен выйти в свет в 1-м квартале 1934 года. Мой редактор убеждает меня уйти с фабрики».

Отсюда следовало, что в планах издательства – продолжение сотрудничества с перспективным автором. Это и подразумевало профессионализацию. Гроссман должен был выбрать: либо стабильное инженерское жалованье, но тогда и писательство только в свободное время, либо смена профессии, риск, зато и перспектива гораздо более высоких доходов.

Увольнение с фабрики инженер считал еще слишком рискованным поступком. Как минимум, преждевременным.

Меж тем количество его литературных знакомств росло. С Издательством МТП сотрудничали бывшие «перевальцы», вскоре они и стали приятелями дебютанта. Прежде всего – И. И. Катаев, руководивший «Перевалом» уже после ссылки редактора «Красной нови».

Катаев от рапповских нападок отбивался долго и не без успеха. Все же в партии состоял с 1919 года, успел повоевать,

университет закончил, а главное, к «левой оппозиции» формально не примыкал. Горький ему протежировал. Весной 1929 года «перевальский» лидер стал одним из главных участников реализации горьковского проекта – «Литературной газеты», издававшейся Федерацией объединений советских писателей.

Три года спустя бывшие «перевальцы» нередко собирались в редакции МТП, можно сказать, продолжая деятельность официально ликвидированного объединения. В начале декабря Гроссман известил отца: «Вчера я читал на собрании 10<-ти> писателей 3 своих новеллы. Вернее, читал не я, а за меня Катаев».

Гроссман еще не имел опыта публичного чтения собственной прозы. Да и по характеру был тогда застенчивым, даже замкнутым. Менялся только в общении с друзьями. Так что решение Катаева оказалось вполне уместным.

Результаты, надо полагать, Катаев предвидел. И Гроссман сообщил отцу: «Это мой первый выход в свет. Он был удачен. Вещи произвели большое впечатление. Их ругали за нечеткость идеологии (некоторые) и все хвалили за манеру письма. В общем, дискуссия была длинной. Ну, вот. Я доволен в некотором роде».

Успех и впрямь несомненный. Похвалы с необходимостью подразумевали также протекцию влиятельных литераторов. О чем Гроссман и сообщил отцу: «С литературными делами как будто не плохо. “Перелом”. Возможно, 6 моих рассказов будут печататься. Этот вопрос вырешится в ближайшие дни. 5 из них пойдут в сборник, а один в “Красную новь”. Первая редакция дала о них очень хороший отзыв. Теперь вопрос за редколлегией».

С повестью тоже все удачно складывалось. Гроссман отметил: «Книга (“Глюкауф”) в начале января будет сдана в типографию и, если поможет Бог, то в начале апреля выйдет в свет».

Новые литературные дела оказались весьма кстати. О чем Гроссман и рассказывал отцу: «Во всяком случае, эта работа мне дает много. Я в общем доволен своим существованием, не скучаю, не томлюсь полным одиночеством, а наоборот, очень доволен тишиной, окружающей меня».

Слово «доволен» в письме повторяется слишком часто, и это мешает поверить, что автор избавился от чувства одиночества. Похоже, Гроссман не отца успокаивал, а себя убеждал.

Финансовые же проблемы, в том числе помощи матери и Алмаз, он почти решил – благодаря издательским выплатам. 6 января 1934 года в письме вновь рассуждал о перспективах смены профессии: «Относительно моего ухода с работы должен сказать тебе, что сие дело не столь просто. Прежде всего, я хочу уйти с карандашной фабрики. Это вовсе не значит, что я хочу уйти с работы вовсе. Но если средства позволяют пару месяцев

передохнуть, то почему это не сделать? Особенно если учесть, что передышка эта будет в большой, настоящей работе».

Понятно, что «большая, настоящая рабата» – писательство. Ничем иным Гроссман и не желал заниматься еще до переезда в Москву. Соответственно, акцентировал: «Что касается карандашных дел, то уйти мне оттуда прямо-таки необходимо. Если заниматься химией, то почему уж самой мизерной, карандашной, да еще по 10 часов в день, да еще в самой неприятной обстановке, <среди> противных, склочных людей?»

Фабричная «обстановка» на самом деле была не так плоха. Гроссмана ценили. Уже в октябре 1932 года ему присвоено звание «ударник» и выдано соответствующее удостоверение[189].

Это была довольно высокая награда. Так называемое движение ударничества пропагандировалось тогда всеми средствами массовой информации. Речь шла о перевыполнении норм посредством интенсификации труда. Создавались «ударные бригады», проводились их съезды и т. п. «Билет ударника» – идеальное подтверждение лояльности в годы пятилетки.

«Неприятной» же обстановка становилась по мере реализации литературных планов. Чем яснее была перспектива утверждения в статусе писателя, тем меньше «замтехнорука» интересовали дела фабричные. Разумеется, обязанности свои он исполнял добросовестно, однако рассматривал их лишь как обузу. Такова специфика характера. Обстоятельства только создавали условия для ее проявления.

Проблема смены профессии несколько осложнялась факторами административного характера, о чем и сообщал отцу: «Но пока что я с карандашной фабрики еще не ушел. Не пущают (sic! – *Ю. Б.-Ю., Д. Ф.*), пока не найдется заместитель, а заместитель, как назло, не находится. В остальном без перемен. Вечерами пишу. Хочу серьезно заняться своим образованием – философским, историческим, но время не позволяет это делать».

Таким образом, проблема выбора была решена окончательно. Гроссман и отцу, и себе объявил: главное – литература.

Другая профессия

Гроссман решил стать профессиональным литератором, но требовалось оформить решение документально. 24 января 1933 года в письме рассказывал отцу: «У меня есть маленькие новости – через несколько дней я ухожу с фабрики, эта канитель тянулась очень долго и порядком истрепала мне нервы и здоровье. Никак не могли найти мне заместителя. Отношения у меня там испортились, мы ругались, публика на редкость противная, еще хуже, чем в Институте патологии и гигиены труда в Сталине. Но, в общем, теперь все уладилось, заместитель нашелся, и через 5 дней я буду свободен!».

Стоит отметить, что «отношения» с «публикой» Института патологии и гигиены труда у Гроссмана «испортились», когда окончательно решил уехать в столицу. Ранее коллег оценивал не так резко. О литературных делах сообщал: «Получил сегодня извещение от редакции журнала, что роман мой начнет печататься со 2-го номера. Одновременно он передан уже Издательством в типографию для набора. Эта комбинация с журналом очень приятна, она даст мне несколько тысяч читателей и позволит материально существовать и помогать маме и Наде в течение нескольких месяцев. Кроме того, возможно, еще один журнал будет печатать “его”, но уже не полностью, а отрывки».

Гроссман именовал «Глюкауф» романом не по забывчивости, а сообразно издательскому произволу. С точки зрения русской литературной традиции различие не было принципиальным, классифицировали же рукопись в зависимости от редакторского мнения относительно ее объема. Рассказал и о других переменах: «В ближайшие дни сдам несколько новелл для сборника, я получил извещение, что мне отвели там “площадь” в один печатный лист, – посмотрим, что из этого выйдет».

Предложение опубликовать новеллу в сборнике МТП воспринималось как весьма лестное. Такое обычно дебютантам не предлагали. Остальное к лучшему не менялось: «Живу монашески. Похудел. Кашляю изрядно. Очень много работаю. Сплю по 5–6 часов».

Книгу уже не раз объявляли готовой к изданию, однако у каждой следующей редакторской инстанции свои требования. Гроссман рассказывал отцу, что буквально «в последние дни была горячка с передачей рукописи после редактирования: между прочим редактор вырезал и вычеркнул из нее 70 страниц. Когда уйду с фабрики, сяду серьезно за книги. Ведь я невежда, в общем.

Не знаю ни истории, ни философии, ни литературы».

Тем временем решение сменить профессию он все же оформил документально. 3 февраля отца известил: «Я ушел с фабрики. Думаю, дней 10 отдохнуть, а там погляжу, что делать. Пойду ли работать куда-нибудь или дома буду сидеть, – писать и заниматься».

Выбор зависел от писательского успеха. Согласно действовавшему тогда законодательству, Гроссман, обретя статус литератора-профессионала, т. е. вступив в соответствующий профессиональный союз, получил бы право жить литературными гонорарами. А иначе – обязательная работа на каком-либо предприятии либо в учреждении. За этим бдительно следила милиция.

Но дело было даже не в контроле. Уход с фабрики обусловил появление новой проблемы.

1934 год в СССР – тоже кризисный. Дефицит продовольствия, да и промышленных товаров почти не уменьшался. Все торговые предприятии, ставшие государственными, торговали по «твердым», установленным правительством ценам, почему и товарный ассортимент резко сократился. Ну а частных магазинов уже не было.

Зато вновь, как в гражданскую войну. действовала пресловутая карточная система централизованного снабжения. Реализовать карточки, т. е. купить государством определенный минимум товаров по «твердым ценам», можно было лишь в специализированных магазинах – так называемых распределителях. Создавались они обычно при учреждениях или предприятиях. Минимальный уровень потребления зависел, конечно, от статуса покупателя.

Впрочем, продовольствие в городах продавали и крестьяне – на так называемых колхозных рынках. Но и цены там были гораздо выше Дефицитные товары и продовольствие советские граждане могли приобрести еще и в так называемых коммерческих магазинах. Правда, большинству цены там были вовсе недоступны.

Увольнение с фабрики для Гроссмана подразумевало и лишение права на фабричный распределитель, где он все же имел привилегии – по статусу замтехнорука. Об этой проблеме хотя бы временно позволили забыть издательские выплаты.

Прежний статус Гроссман утратил, новый еще не обрел. В письме отцу рассказывал: «Настроение у меня паршивое. А отчего – и сам не знаю. Как будто все идет хорошо. Хотелось бы очень съездить в Бердичев, повидаться с мамой и Катюшей (я ведь не видел ее полтора года почти), но пока мешают всякие дела –

не оформлен я в литературе, тянется вопрос с договорами и всякая такая штука».

Гроссман весьма точно описал ситуацию. Он был именно «не оформлен в литературе». Для вступления в профессиональный союз литераторов требовалось хотя бы предъявить копии договоров с издательскими организациями или справки о полученных гонорарах.

Оставалось только ждать. 19 февраля отца известил: «Я на фабрике не работаю уже недели 3. Много читаю по философии и истории. Пишу».

Ситуация постепенно менялась. Отцу с явным торжеством сообщал: роман «прошел литерат[урное] и техническое редактирование и через несколько дней будет передан в типографию, кроме того, он принят к печати в журнале “Литературный Донбасс” (в Сталине) и будет там напечатан в 1ом и 2ом №№. 1ая часть уже печатается и, вероятно, черездве недели уже выйдет в свет. Эта штука, помимо нескольких тысяч (или десятков тысяч) новых читателей меня выручает материально – даст мне 3 т[ысячи] рублей».

Письмо несколько сумбурное, и таких немало. Вряд ли отец не знал, что «Глюкауф» издается и в Сталине, ведь о журнале «Литературный Донбасс» тоже были ранее упоминания.

Гроссман нередко пересказывал новости, словно забывал, что ранее обсуждал их с отцом. Можно предположить, свою роль играло переутомление. Да и письма не всегда до адресатов доходили, повторы иногда обусловлены именно такими случаями.

Однако это все сопутствующие факторы. Важнее другое – осторожность. Еще в университетскую пору Гроссман учитывал возможность перлюстрации. Ну а с 1933 года кузина – осужденная. Значит, не исключено наблюдение ОГПУ за ее родственниками. Вот и строил повествование так, чтобы заранее осведомленный отец угадал интригу, а перлюстрировавшие не поняли бы больше, чем прочли.

Существенно здесь и другое. По словам Гроссмана, особенно радовала его донбасская публикация романа: «Мне очень хочется, чтобы он имел именно шахтерского читателя».

Да, «Глюкауф» – книга о лично виденном, пережитом. Надо полагать, некоторые персонажи были похожи на прежних гроссмановских коллег, и автор надеялся, что их опознают в Донбассе. Узнаваемость прототипов – тоже удача.

К печати готовили не только роман. Отцу Гроссман сообщил: «Рассказы мои сданы в сборник, но выпуск его задерживается отсутствием обещанных 3-мя участниками новелл. Во всяком

случае, издательство рассчитывает его выпустить к съезду писателей. В общем, на этом фронте как будто все хорошо».

Но аванс он уже потратил. Финансовое благополучие вновь стало призрачным, о чем и рассказывал: «Денег у меня пока ни копья, но я жду со дня на день крупных переводов из Сталина. Относительно неприятностей и портретных сходств я говорил с литературными зубрами, они считают, что все в рамках дозволенного. № 1 журнала уже вышел, было в газете (и упоминалось, что в нем печатается “Глюкауф”), но достать его, увы, не мог. Так и не смог сам себя почитать. Написал им вчера матерное письмо, чтобы слали денег и журнал. Здоровье мое прилично теперь, я хорошо выгляжу и хорошо питаюсь».

Из просторной квартиры Алмаз, куда вселились родственники, он собирался выехать. Обходилось пока без конфликтов, но и дружеские отношения не сложились. Различные интересы, характеры и т. д. Надеялся, что издательские выплаты позволят нанять другое жилье. Соседей характеризовал кратко: «Торричелиева пустота – это густота, а не пустота по сравнению с ними».

По-прежнему он переписывался с кузиной и теткой. Отцу сообщил: «Им плохо живется. Надя себя неважно чувствует. Я им помогаю, но не регулярно. Я очень жалею и люблю Надю».

Меж тем отец искал возможности переезда – в Москву. Надеялся там найти работу и вступить в так называемый жилищный кооператив, т. е. с разрешения государства купить для семьи квартиру в новом доме, построенном на средства пайщиков. Такая форма «жилищного строительства» практиковалась еще с 1920-х годов. Но после «сворачивания нэпа» позволить себе кооперативное жилье могли только представители элиты.

Идея обсуждалась в переписке. Гроссман, изучив ситуацию, отвечал: «Что касается квартиры, то, дорогой мой, эта штучка стоит 15–20 т[ысяч] рублей минимум (в 2 комнаты), и об этом мечтать пока нельзя, а относительно того, чтобы приехать на 2–3 недели, то для этого не нужно быть пайщиком, милостивый государь, папаша. Ты можешь приехать не на 3, на 33 недели, и я буду чертовски рад тебе!».

Финансовая ситуация определена точно – «мечтать **пока** нельзя». Еще ни работы, ни прописки московской не было у Гроссмана-старшего, а появились бы вдруг, не хватило бы всех сбережений для вступления в жилищный кооператив. Однако с учетом такого фактора, как литературная карьера Гроссмана-младшего, задача к решению стала ближе. Писательские доходы несопоставимы с инженерскими, на что и намекал сын.

Он использовал все имевшиеся возможности, чтобы получить статус литератора-профессионала. Это во многом зависело от Горького, точнее, результатов готовившегося тогда I съезда ССП, и Гроссман старался быть замеченным.

Рукописи он с помощью друзей отправил и в «Литературную газету». Это издание было фактически подчинено Оргкомитету I съезда ССП.

В 1933 году издательство «Советская литература» выпустило первый номер основанного Горьким альманаха «Год XVI». Названием подразумевалось, что летосчисление – от возникновения советского государства. Авторы, понятно, отбирались весьма тщательно – вопрос престижа издания. Гроссман и туда отправил рукописи. Не исключено, что и в этом ему помогли знакомые «перевальцы». Особого риска не было. Даже категорический отказмало что менял, ведь другие редакции приняли и новый вариант романа, и несколько рассказов. А вот удача обусловила бы повышение статуса. Именно этого дебютант и добивался.

Триумф

Гроссман тщательно готовил дебют. Но ситуацию, понятно, не мог полностью контролировать.

Отцу тоже не мог все рассказать в письмах. Ждал результатов. Описывал их 26 марта: «Хочется поделиться с тобой радостью своей. Мои рассказы (еще никем не читанные) поступили на отзыв двум свирепым писателям – Зарудину и И. Катаеву, живущим сейчас в доме отдыха. Они состоят редакторами Альманаха. У меня все время ныла печень, ждал их разноса (меня предупредили)».

Правда здесь есть. Только не вся. Гроссман дружил с бывшим лидером «Перевала», знал также, что и Н. Н. Зарудин «перевалец», потому, конечно, не «ждал их разноса». Однако не исключалось, что рукописи бы «поступили на отзыв» не его знакомым, а другим рецензентам, которые могли бы и в самом деле оказаться «свирепыми» – вне зависимости от качества рассказов: конкуренция, соображения литературно-политические и т. д. Вот и «ныла печень».

Опасения напрасными оказались. По словам Гроссмана, он узнал, «что в Москве Т-вом Писателей получена телеграмма: “приветствуем превосходного писателя Гроссмана автора города Бердичева”».

Следует отсюда, что Катаев и Зарудин сообщили издательству свое мнение о гроссмановском рассказе «В городе Бердичеве». Заглавие же передано неточно в силу специфики телеграфной обработки текста и восприятия телеграфиста.

Подчеркнем, что рецензенты поздравили Гроссмана публично – через МТП. Эффект, по словам Гроссмана, был двунаправленным: «Сознаюсь, что это меня ошпарило крутым кипятком радости. К сожалению, ожог уже проходит, однако ночью меня мучил изрядно. Со мной все вдруг стали очень любезны и даже обещали прикрепить к *гортовскому распределителю “особо ответственных” писателей* (курсив наш. – *Ю. Б.-Ю., Д. Ф.*)».

В книге Губера данный фрагмент тоже цитируется, но с ошибками. Наиболее существенная – слово **«гортовскому»** заменено на **«закрытому»**. Меж тем автограф читается достаточно легко. Да и нет оснований сомневаться: Гроссман понимал, о чем говорил.

Похоже, что публикатор «редактировал» письмо, заменяя неизвестную ему реалию – известной. Результаты такой «редактуры» обнаруживаются весьма часто при сверке

губеровских публикаций с оригиналами.

Ну а в гроссмановском письме упомянут магазин, точнее, специальный распределитель Управления городских организаций розничной торговли. Определение же «ответственные» соотносилось обычно с должностями. Теми, что подразумевали персональную ответственность руководителя. «Ответственными работниками» именовали, например директоров фабрик, главных редакторов журналов, равным образом партийных функционеров. Для них и снабжение, недоступное рядовым советским гражданам.

Такое уже не скрывалось. О чем в мемуарах и упоминает, например, младшая современница автора письма – Е. Г. Боннэр: «В эти годы появился ГОРТ. Как расшифровывается эта аббревиатура, забыла. Это был магазин для ответственных работников. Туда пускали по пропускам»[190].

Литераторов, не занимавших «ответственные» редакционные или же иные должности, «прикрепляли» сообразно представлениям партийных функционеров о статусе каждого «прикрепляемого». Гортовским распределителем пользовались входившие в состав Оргкомитета I съезда ССП и соответствующих вспомогательных служб. Понятно, что сам Горький там не «отоваривался», как тогда говорили. Задачи снабжения его семьи решали другие учреждения, контролировавшиеся ОГПУ.

Обещание «прикрепить к гортовскому распределителю» свидетельствовало, что статус дебютанта существенно повысился. И Гроссман не скрывал радость: «Ну вот, это то, что называют признание. “В городе Бердичеве” – это рассказ о женщине, комиссаре полка, которая забеременела и осталась рожать в Бердичеве, когда его должны были занять поляки. Пишу это тебе, как понимаешь, не из хвастовства, которое мне почти не свойственно, а зная, что тебе это будет так же радостно, как и мне».

2 апреля «Литературная газета» напечатала «В городе Бердичеве». На следующий день этот номер Гроссман отправил отцу. Письмо тоже, причем весьма пространное. Описывал там и реакцию коллег на публикацию рассказа.

Неожиданной была реакция. Точнее, превзошедшей все ожидания: «Вокруг него поднят очень большой шум. Самое напечатание рассказа в двух подвалах, объяснили мне в редакции, является как бы декларацией, т. к. впервые за существование “Литературной газеты” в ней печатается такой большой рассказ».

Понятно, что «подвалом» Гроссман, пользуясь журналистским сленгом, именует нижнюю часть «полосы», т. е. газетного

сверстанного листа. Дебютанты обычно не публиковали рассказы такого объема в столь авторитетном издании. Но случай был уникальным не только из-за объема. В письме отмечено: «Вчера газета мне устроила вечер встречи с критиками, я читал там две главы из“ Глюкауфа”».

Обсуждение было долгим. Гроссман сообщал отцу: «Меня там так жестоко ругали и так горячо хвалили, что я малость обалдел».

Конечно, эмоциональная оценка. Но для выражения эмоций причин хватало. Согласно письму, некоторые критики утверждали, что «рассказ перекрывает всего Бабеля…».

Речь, понятно, шла о только что опубликованном рассказе «В городе Бердичеве». Только он и был тогда напечатан «Литературной газетой». Ну а Бабель уже давно стал знаменитостью не только в СССР, потому и сравнение с ним дебютанта – очень высокая оценка.

Формулировались и другие. Гроссман рассказывал, что среди критиков нашлись и те, кто обвиняли его «в семи смертных грехах».

Правда, это уравновешивалось похвалами. Согласно письму Гроссмана, были критики, говорившие, что он «начинает, как Толстой».

Гроссман, похоже, не рассматривал «вечер встречи с критиками» как значительное свое достижение. Подчеркнул, что «вынес очень неприятные впечатления от всего этого – болтовня, склока, крикуны, неумные люди. Серьезной любви и понимания литературы не чувствуется».

Вывод аргументировал пересказом советов, данных критиками. Они выглядели и впрямь комично:

– Не встречайтесь с таким-то, он вас погубит.

– Не слушайте никого, вся истина у меня».

Гроссман не уточнил, с кем именно рекомендовано не встречаться. Он явно пренебрегал советами подобного рода: «В общем, трепотня весьма нездорового свойства. Эта “слава” мне очень неприятна. Единственное, что доставляло радость, это то, что мне сказали в газете, что тотчас после поступления ее в продажу начали поступать от писателей и читателей отзывы на рассказ самого превосходного свойства».

К «славе», если верить письму, Гроссман критически относился. Даже иронически. Отцу рассказывал, что хотел бы поскорей уехать в Бердичев, увидеться с дочерью, но денег пока не хватает: «“Литературный Донбасс” упорно молчит, молча печатает мой роман и не платит ни копейки. Мне уже обещали нажать на них по линии Оргкомитета».

В итоге получалось, что «слава» уже пришла, а деньги – еще

нет. Однако, по словам Гроссмана, положение вполне сносное: «Пока меня вывезло печатание рассказа, заплатили за него 500 рублей…».

Особо же примечательно, что Гроссману, не получившему гонорар из редакции «Литературного Донбасса», помощь была обещана «по линии Оргкомитета». Значит, дебютант был уже и там известен.

Бесспорно, дебют стал триумфом. Чему вроде бы не было причин. Если, конечно, не считать таланта. Однако в 1934 году такой фактор уже не играл решающую роль. Не зависели от него тиражи и гонорары, заработная плата сотрудников издательства МТП и «Литературной газеты».

Полускрытые механизмы

Обозначим наиболее важные этапы в истории триумфа. Не все, конечно, а лишь относящиеся к весне 1934 года. Тут немало загадок. Однако и разгадки не очень сложно найти.

Начнем с телеграммы Катаева и Зарудина. Прежде всего, не очевидно, почему она именно в МТП отправлена. Уместно было бы послать на домашний адрес друга.

Предположим, Катаев и Зарудин не знали гроссмановский адрес. Или просто запамятовали, а потому отправили на известный. Действовали спонтанно, справки наводить было лень: в доме отдыха пребывали.

Но далее – опять загадка. Редакция «Литературной газеты» вдруг решила публиковать слишком большой, не соответствовавший обычному формату рассказ дебютанта. Тут спонтанности не было, разуж Гроссману сообщили, что такое раньше не практиковалось.

Более того, в день публикации состоялся и «вечер встречи с критиками». А ведь на оповещение участников и согласование требовались не часы – дни. Значит, критики были **заранее** приглашены.

Со стороны глянуть – ситуация абсурдная. В Москве еще ничего из прозы Гроссмана не печаталось, а редакция «Литературной газеты», приняв к изданию рассказ, не соответствовавший формату, срочно начала подготовку «вечера», который приурочен к первой же публикации дебютанта. И критики явились, будто какая-то мировая знаменитость приехала.

Но если смотреть не со стороны, так все закономерно. Гроссмановский триумф обусловлен не только помощью Катаева и Зарудина.

В письме отцу Гроссман отнюдь не случайно упомянул, что его «свирепые» рецензенты «состоят редакторами Альманаха». Речь шла о том самом – горьковском. И «Литературную газету» курировал Горький. С ним «ответственный редактор» переписывался регулярно. Так что Катаев и Зарудин действовали не спонтанно, а с ведома и одобрения почетного председателя Оргкомитета I съезда ССП.

Телеграмма сотрудников горьковского альманаха обозначила начало рекламной кампании. Прагматику сразу уяснило руководство МТП. Намек был вполне прозрачным: статус Гроссмана радикально изменился. Вот почему, как выше отмечалось, посулили в издательстве «прикрепление» к элитатрному «гортовскому распределителю». Даже о гонораре,

что задерживали в Сталине, обещали позаботиться представители Оргкомитета.

Новый этап рекламной кампании обозначила подготовка «вечера». Заблаговременно извещенные о нем критики не могли не понять, что статус Гроссмана – особый. И еще разв этом убедились, когда вышел номер «Литературной газеты» с рассказом «В городе Бердичеве». Необычно большой объем – привилегия.

Триумф продолжался. 17 апреля Гроссман сообщал: «Теперь начну радовать твое отцовское сердце…»

Хороших новостей было немало. Так, Воронский сказал, что Гроссман опубликовал «лучший рассказ в сов[етской] литературе за последние годы».

Воронский, благодаря горьковскому заступничеству, вернулся в Москву. Получил вновь партбилет, а также должность заведующего отделом классической литературы в Госиздате. Это многим было тогда известно.

Однако в письме Гроссмана-младшего нет сведений о том, как он узнал мнение бывшего редактора «Красной нови». Сообщил ли Воронский, передал ли кто-нибудь – загадка.

Разгадку подсказывала отцу следующая же фраза. Гроссман сообщал: «Пильняк передал черездвух писателей свои поздравления и очень хочет со мной познакомиться».

О том, что Пильняк был к «Перевалу» близок и дружил с Воронским, знали все, кто регулярно читал литературные журналы в 1920-е годы. А из контекста предыдущих писем с необходимостью следовало, что «два писателя», которые «поздравления» от знаменитости передали, – недавние «перевальцы» Катаев и Зарудин. Они же и мнение Воронского пересказали.

Если бы Гроссман перечислил Катаева и Зарудина в одном ряду с Воронским и Пильняком, то даже не слишком искушенные перлюстраторы увидели бы механизм интриги. Все имена известны, а их сочетание уже не оставляло бы места сомнениям.

Но по гроссмановскому повествованию можно было лишь догадываться, каков механизм. Причем такие догадки не сыграли бы сколько-нибудь важной роли – с учетом главной новости. Горький свою личную заинтересованность обозначил: «И наконец, Алексей Максимович передал в “Литгазету”, что рассказ ему “чрезвычайно понравился” и хочет меня видеть».

Это дебютанту сотрудники редакции сообщили. Понятно также, что авторитетное мнение куратора и приглашение к нему «передал в Литгазету» личный секретарь – довольно широко известный тогда П. П. Крючков.

Он упомянут буквально в следующей фразе. Речь идет о согласовании даты и времени встречи с Горьким: «В ближайшие дни буду у него. Уже договаривался с Крючковым об этом».

Если бы с письмом ознакомились перлюстраторы, увидели бы, что Горький ознакомился с публикацией дебютанта, свое мнение сообщил личному секретарю, тот передал в редакцию – вместе с приглашением. Далее же Крючкову полагалось назначить дату визита и точное время. Коль так, обычный порядок соблюден, ничего экстраординарного не произошло.

В действительности было не совсем так. О чем отец и узнавал благодаря следующей же фразе: «Сейчас Горький читает “Глюкауф” (в рукописи) и еще несколько рассказов».

Отец, похоже, все еще не знал, что осенью 1932 года сын получил горьковское письмо, где повесть, позже именовавшаяся романом, изрядно раскритикована. Сколько-нибудь важной роли это в данном случае не играет.

Важно другое: в переписке нет упоминаний, что полтора года спустя гроссмановские рукописи кем бы то ни было переданы Горькому. Но тот их получил. И вновь принялся читать раскритикованный им же «Глюкауф».

Отсюда с необходимостью следует, во-первых, что Горький получил уже переработанный «Глюкауф». Во-вторых, понятно: тот, кто передал рукопись, убедил, что необходимо ознакомление с новой редакцией уже знакомого романа.

На первый взгляд неясно только, кто именно передал рукопись и убедил Горького, что ее нужно читать. В гроссмановском письме сведений нет. Однако из общего контекста исходя, понятно, что главную роль Катаев сыграл.

Конечно, Гроссман знал, каким путем и когда его рукописи опять до Горького «дошли». Однако рассуждать о том в письме было нецелесообразно, а отец и так не мог не понять: вполне успешно развивается интрига.

Сообщил Гроссман и о том, что «Литературный Донбасс» опубликовал «Глюкауф» полностью – в двух номерах. Второй уже доставлен в Москву. И с гонораром вопрос решен: «Деньги мне перевели – пока 1100 р.».

Но после столичного триумфа больше радовал гонорар, чем сама публикация. Гроссман был раздражен редакторским произволом: «Эти донбассовские (sic! – *Ю. Б.-Ю., Д. Ф.*) литераторы изрядно исковеркали “Глюкауф”. У меня от их болваньей правки в глазах темнеет. Единственно приятное, что в остальном СССР этого журнала не читают. А в ближайшем будущем “Глюкауф” выйдет в московском “естественном” издании».

Меж тем известность ширилась. Гроссман сообщил отцу: сразу два «ответственных редактора» – журналов «Красная новь» и «30 дней» – «ищут меня и жаждут печатать».

Официально выраженное горьковское одобрение многое значило. Как отметил Гроссман, представители Оргкомитета выдали ему «книжки в спецраспределитель ГОРТ, – вещь, которой добиваются многие “маститые” люди».

Гроссман опять упомянул реалию, не требовавшую комментария в 1934 году. «Книжки в спецраспределитель» – пропуск и сброшюрованные бланки квитанций, где полагалось отмечать, какие товары «прикрепленный» купил по льготным ценам.

Пока что удача сопутствовала. Но пришлось отложить некоторые планы: «В Бердичев я сейчас ехать не могу. Во-первых, свидание с Горьким, во-вторых, я веду переговоры с несколькими издательствами. Они мне обещают златые горы, но все это пока на словах. Пока же не заключу договора, могу оказаться на бобах. Но так или иначе я в течение ближайшего месяца выберусь к маме и Катюше».

Гроссман описывал специфику быта советского литератора-профессионала. С издательством целесообразно было не только договор подписать, но и заранее получить там авансовую сумму – четверть всего гонорара. Если при выполненных договорных условиях публикация отменялась, то аванс оставался автору в качестве компенсации потраченного времени. В таком случае с «ответственного редактора» взыскивали убытки вышестоящие инстанции. Что и ограничивало редакторский произвол хотя бы отчасти.

Издательства обещали дебютанту «златые горы», что тоже не случайность, а результат известий о горьковском одобрении. В связи с этим Гроссман отметил: «Действительно, осталось только жениться. Не думай только, что я праздную и почиваю на лаврах. Работаю очень много, пишу новый роман, читаю и пребываю (честное слово, не вру) в отменно скверном настроении. Оказывается, что синяя птица, о которой я так мечтал, пойманная сейчас, не доставляет тех радостей. Птица как птица. Перья, правда, синие, но все-таки перья».

Шутил невесело. Одиночество тяготило по-прежнему, а потому свои писательские удачи он и сравнивал с персонификацией идеи неуловимого счастья из пьесы М. Метерлинка «Синяя птица».

Быстрые перемены не ожидались. Отцу сообщил: «Мои женитьбенные планы носят пока теоретический характер. Должен сказать тебе, что холостое звание меня не тяготит. «И так легко,

легко…».

Шутка опять была невеселой. Отец, конечно, опознал строку последней строфы хрестоматийно известной лермонтовской «Молитвы»:

> С души как бремя скатится,
> Сомненье далеко –
> И верится, и плачется,
> И так легко, легко…[191].

Ну а сын вряд ли надеялся, что «бремя» и в самом деле «скатится». Потому обсуждение «женитьбенных планов» шуткой же завершил: «Пусть пока гуляет парень».

Как известно, «парнями» в российских деревнях издавна называли молодых неженатых мужчин. Женатые, независимо от возраста, именовались «мужиками». Гроссман бы ни в одну из этих категорий не попал. Уже не юн – двадцать девять лет, но жены нет, хотя и не вдовец. Понятие же «разведенный» традицией не предусматривалось. Так что по-русски – «бобыль». На это отцу и намекал.

Однако рассуждения о «синей птице» и «женитьбенных планах» относились к области субъективных оценок. Реально же Гроссман добился успеха. Поставленная еще на исходе 1920-х годов задача – стать профессиональным литератором – была решена.

Развитие успеха

Интрига, начатая с ведома и одобрения Горького, развивалась. Авторитетные столичные издательские организации выражали готовность публиковать едва ли не все, что предложит дебютант.

Личная встреча с почетным председателем Оргкомитета все еще откладывалась. Тот был очень занят подготовкой съезда. Однако 26 апреля Гроссман сообщил отцу: «“Глюкауф” настолько понравился Горькому, что он его включает в Альманах “Год семнадцатый” со своим предисловием».

Значит, все требования, сформулированные осенью 1932 года, были учтены. «Глюкауф» стал иным, причем таким, какой нужен был Горькому. И потому вполне годился для публикации в альманахе.

Ну а важную новость, похоже, Катаев и Зарудин передали. Горький, разумеется, был уже извещен о журнальной публикации в Сталине, знал, что и другая готовится Издательством МТП. Но переизданием в своем альманахе и собственным предисловием акцентировал: «Глюкауф» – литературное событие всего 1934 года.

С прочими рукописями все не менее удачно получилось. Горький, по словам Гроссмана, был намерен развивать успех: «Рассказы ему тоже понравились, и он их передал в “Литерат. газету” для напечатания».

Дебютный рассказ и за пределами СССР заметили. Гроссман о том сообщил: «“В городе Бердичеве” уже переведен на немецкий язык».

Это была немалая удача. А еще Гроссмана известили, что он в коллективе авторов «книги “Человек второй пятилетки”, выходящей под редакцией Горького и Бухарина».

Новый «Пятилетний план развития народного хозяйства СССР», как известно, был утвержден XVII съездом партии, закончившимся в феврале 1934 года. Упомянутая же Гроссманом книга – очередной горьковский проект. Реализовать его надлежало литераторам, которых вскоре приняли бы в ССП. Официально планировавшееся заглавие – «Люди второй пятилетки».

Понятно, что дебютант попал в число авторов по указанию Горького. Таким образом, председатель Оргкомитета вновь напомнил литературным функционерам о своем покровительстве. Но, судя по тому же письму, гроссмановскую депрессию не вполне компенсировало повышение статуса: «Дела мои сейчас

заканчиваются, и я, вероятно, числа 10-го смогу поехать в Бердичев. Вчера послал деньги маме и Наде. В общем, цвету, сознаюсь тебе. Единственная беда, и очень большая, серьезная беда, что я здесь совершенно одинок. Близкие мне люди – мама, ты, Надя – на тысячеверстном расстоянии от меня».

Постепенно становились привычными заботы профессионального литератора. 8 мая Гроссман сообщил отцу: «Я десятого еду в Бердичев. Пробуду там очень недолго – дней 5 или 10 (максимум). Дело в том, что издание “Глюкауфа” в Москве требует моего присутствия (гранки, корректура и пр.)».

Состоялась наконец долгожданная встреча с покровителем. О чем в письме сказано: «Был 5го у Максима Горького».

Встречу с Горьким ждал более месяца. Акцентировал: «Просидел у него с 6 вечера до 12 ночи».

Горький, вероятно, так и планировал. Суммируя, Гроссман сообщил: «Беседа эта была для меня исключительно интересна. Говорили на вечные темы – человек, любовь, прогресс, религия, счастье, наука».

К делам профессиональным не сразу перешли. Гроссман отметил, что некоторые горьковские суждения поразили «своей новизной и оригинальностью. Он одобрил мой переход в литературу, очень заинтересовался новой книгой, которую я сейчас начал писать…».

Значит, **еще** до встречи с покровителем Гроссман считал, что «переход в литературу» **уже** состоялся. Да и Горький такого мнения придерживался. Потом он именно «одобрил» состоявшийся «переход в литературу».

Гроссман, по его словам, ждал мнения о рукописях, что давно были переданы Горькому. Прежде всего – «по поводу уже прочитанного им (“Глюкауф” и рассказы)…».

В целом оценку знал. Но важны были детали, и Горький, согласно письму, сказал: «“Глюкауф” должен был быть компактней, рассказы показывают Ваш большой рост».

На первый взгляд все понятно. «Глюкауф» нужно бы сократить, а рассказы и так хороши. Но при чем же тут «большой рост»?

Такая фраза свидетельствует, что литературный уровень стал выше. Но в письме не сказано, с чем Горький сравнивал гроссмановские рассказы.

Можно понять и так, что Горький полагал, будто «Глюкауф» написан раньше, нежели рассказы. Но об этом в письме тоже нет сведений.

Описывая визит, Гроссман в подробности не вдавался. Существенной роли они не играли. В контексте же горьковского

отзыва полуторагодичной давности получают дополнительные смысловые оттенки суждения о романе и рассказах.

«Глюкауф», по мнению Горького, следовало изначально сократить. Убрать все, что относилось к «тупоумию шахтеров, пьянству, дракам». Это Гроссман и сделал. Точнее, редакторы вместе с ним поработали. В романе и рассказах не было прежнего «натурализма». Соответственно, «большой рост».

Если верить письму, Горький более не характеризовал рукописи. Только «улыбнулся и сказал: “А в общем я думаю, что Вы не нуждаетесь, чтобы говорить Вам комплименты”».

Обстановка была вполне домашней. К тематике профессии Горький более не возвращался, вспоминал о детстве и юности на Волге: «За ужином он рассказывал всякие волжские истории – про капитанов, матросов, рыбаков».

В общем, долгожданный визит состоялся, Горький еще раз подтвердил свое намерение помогать дебютанту. Ну а Гроссман в письме итоги подвел: «Что тебе сказать? Такие встречи не забываются, остаются на всю жизнь».

Рассказал отцу и о других новостях. Уже не столичных: «Получил вчера первый читательский отзыв из Донбасса, с шахты “Холодная балка”. “Глюкауф” им понравился».

Упомянутая в письме шахта «Холодная балка» находилась в районе Макеевки. Кто сообщил Гроссману мнение недавних коллег – не указывалось. Было существенно именно одобрение горняков. Его и ждал.

Меж тем «Глюкауф» все еще готовили к публикации в Издательстве МТП и горьковском альманахе. Соответственно, Гроссман рассказывал: «Последнюю пару дней я не пишу, забили дела с литературной правкой рукописи и пр.».

Обсуждались и отцовские планы. Время от времени они менялись, и сын отметил: «Твое письмо относительно решения перейти в Институт прикладной минералогии я получил. Почему ты опять заколебался? По-моему, это нужно сделать».

Речь шла о московском Институте прикладной минералогии и металлургии. Химики там постоянно требовались, но отец сомневался, что востребован будет его многолетний опыт работы на шахтах.

Что до отпуска, то отец и сын планировали его вместе провести. Сроки обсуждались, и Гроссман констатировал: «Летние планы пока очень неопределенны. Улыбается Алтай, да уж больно далеко ехать».

Уехал он в Бердичев. 26 мая отцу сообщил: «Относительно моего летнего отдыха дело складывается так, что он будет перенесен на осень, так как сейчас я занят работой. Вероятно, в

ближайшие 20 дней поеду в Сталино, собирать нужный мне материал. Пробуду там дней 10 либо недели две».

Пресловутый «материал» нужен был для романа о молодом шахтере, ставшем одним из большевистских лидеров. Действие начиналось в 1900-е годы.

К роману Гроссман приступил давно. Еще 19 февраля сообщал отцу: «У меня к тебе несколько вопросов в связи с новой книгой, которую я начал писать.

1) Какие книжки “революционно-агитационно-политического” характера были в ходу в период 1905–1910 гг. при работе с.-д. среди заводских рабочих (на Украине, скажем).

2) Какова была продолжительность рабочего дня на заводах в этот период.

3) Какие художественные произведения (писатели) были тогда популярны.

4) Укажи мне книжку, которая бы давала характеристику положения рабочего класса примерно с 1900 г., и, если она есть у тебя, пришли ее мне (экономически, зарплата, условия труда, соц. страхование и пр.)».

Отец нужные сведения тогда предоставил, и на исходе мая работа была в разгаре. Тем более что замысел одобрил Горький.

Заглавие позже выбрано по имени главного героя – «Степан Кольчугин». Гроссман собирался использовать макеевские наблюдения, что и делал, когда писал «Глюкауф». Но из первой редакции повести многое исключено по цензурным соображениям. Суть претензий и способ избавиться от них объяснил Горький осенью 1932 года: изображение шахтерского быта соответствует «правде прошлого». Дебютант воспользовался указанием, и действие нового романа перенес в прошлое – «досоветское».

Отпуск Гроссман отложил. Решение свое объяснил спецификой пребывания в гостях у бердичевской родни: «Вообще же живу я здесь прямо в санаторных условиях, ем, пью (молоко) и вешу на 2 кг больше, чем при отъезде из Чемала. Так что спешки большой с отдыхом нет».

Мать собиралась опять лечиться в Одессе, а после – навестить сына в Москве. Дебютная же ситуация к лету складывалась вполне удачно: Горький ясно дал понять, что намерен помогать и в дальнейшем.

Фундамент удач

Характерно, что в письмах отцу Гроссман не обсуждал, с чего бы вдруг ему решил помогать Горький. Ответ вроде бы подразумевался контекстом.

Если судить по гроссмановским письмам, о нем Горький узнал от знакомых, передавших рукописи, прочел и решил помочь дебютанту. Отчасти так и было.

Но – лишь отчасти. Горький покровительствовал отнюдь не каждому талантливому дебютанту. Нередко о рукописях, попадавших к нему через знакомых, отзывался весьма резко. С Гроссманом так и случилось осенью 1932 года. Автору повести была предоставлена лишь защита от политических обвинений, дан совет, как изменить содержание повести, а в остальном предложено самостоятельно решать «вопросы».

Спустя полтора года ситуация изменилась коренным образом. Горький получил новые сведения о Гроссмане, причем от тех, кому доверял. И новые рукописи оказались весьма кстати.

Гроссман, заключая договор с Издательством МТП, предоставил, как полагалось тогда, заполненную анкету и автобиографию. Кроме того, рассказывал о себе друзьям-писателям – Катаеву и Зарудину. Вот и Горький получил сведения. Знал, что бердичевский уроженец работал с юности, 1-й МГУ окончил, стал донбасским горным инженером, затем вузовским преподавателем, ученым, опубликовал несколько научных работ, да и на московской фабрике в заместители технорука выбился. Профессиональная реализация несомненна. Вряд ли кто рискнул бы заявить публично, что химик решил литературой заняться, потому как в своей профессии успехов не добился. Успехи были явными.

Биография Гроссмана, тематика рассказов и романа идеально соответствовали всем не раз напечатанным суждениям Горького о профессии литератора.

Горький настаивал, что основа писательского ремесла – собственный опыт, причем не литературный, а жизненный. Им Гроссман обладал в достаточной мере, Его проза свидетельствовала, что с шахтерским бытом и проблемами автор знаком не понаслышке. Нет сведений, что в аспекте жизнеподобия «Глюкауф» вызывал сомнения у кого-либо.

Горькому это было важно. О реализме как важнейшем методе он издавна рассуждал. Другой вопрос – уместность строго реалистического описания шахтерского быта. Разумеется, когда это не соответствовало пропагандистским установкам. Тогда речь

и шла о гроссмановском «натурализме». Однако подобного рода «дефекты» были устранены при редактуре.

Пользуясь современной терминологией, можно отметить, что Гроссман стал горьковским литературным проектом, особенно актуальным как раз в период завершения подготовки к I съезду ССП.

Горький пытался доказать, что большевистский режим, вопреки утверждениям эмигрантской критики, отнюдь не помеха литературе. Демонстрировал это на конкретных примерах. Вот Гроссман и стал одним из доказательств. Он в СССР получил образование, досоветского литературного опыта не имел вообще. Кандидатура едва ли не лучшая – с проектной точки зрения. Биография почти идеальная, талантлив и, как ныне говорится, управляем. Редкое сочетание.

Гроссман, кстати, постоянно напоминал о себе. Так, 11 июня отправил письмо. Хранится оно тоже в Архиве М. Горького ИМЛИ РАН[192].

Прежде всего, вернулся к истории своего знакомства с Горьким. Разумеется, заочного, первого: «Многоуважаемый Алексей Максимович, в сентябре 1932 г. Вы прочли рукопись “Глюкауф” и написали мне, что основным недостатком ее считаете натурализм».

Характерно, что далее Гроссман цитировал Горького. Практически дословно: «Натурализм, как прием не есть прием борьбы с действительностью, подлежащей уничтожению».

Разумеется, он хранил письмо. Цитатой акцентировал, что помнит о главном требовании Горького. И второстепенные не забыл: «Далее Вы отметили ряд недостатков языка, засоренность лишними словами, а также то, что материал плохо смонтирован».

Но Гроссман подчеркивал, что горьковская критика не сводилась к перечислению недостатков. Она была, что называется, конструктивной: «Наряду с этим Вы написали мне много ободряющих слов и советовали переработать рукопись».

Конечно, «много ободряющих слов» – изрядное преувеличение. Да и совет был, можно сказать, имплицитный. Гроссман экстраполировал ситуацию 1934 года на случившееся гораздо раньше. Но важен был итог.

Обозначив его, Гроссман переходил к сути обращения. Личного и официального: «Редакция Альманаха “Год семнадцатый” посылает Вам эту, вновь написанную мною рукопись о Донбассе, результат работы не только над материалом, но, прежде всего, над своим отношением к нему, работы над собой. С чувством большого волнения буду ждать Вашего ответа».

Финальный абзац тут кажется странным. Горький еще в апреле санкционировал издание «переработанной рукописи» Гроссмана, после чего она и попала в «редакцию Альманаха “Год семнадцатый”». Вроде бы незачем было ждать ответ.

Но речь шла о других обстоятельствах. Горький, прочитав и одобрив «переработанную рукопись», сделал несколько замечаний, переданных сотрудникам альманаха. Редакцией тогда руководил бывший рапповский лидер – Авербах. Под его контролем готовили к публикации «Глюкауф». Вот Гроссман и сообщил Горькому об итогах. Заодно еще разо себе напомнил.

Письмо же передал вместе с рукописью, потому что иначе оно бы к адресату попало через неделю, если не позже. Корреспонденцию от редакторов альманаха передавали Горькому по мере поступления, а личной перепиской заведовали секретари, фильтр своего рода.

Об июньском письме 1934 года отцу тоже не сообщил. В интриге оно существенной роли не играло. Для большинства же литераторов публикация Гроссмана в горьковском альманахе – очередное доказательство того, что почетный председатель Оргкомитета намерен и в дальнейшем способствовать литературной карьере недавнего дебютанта.

Стоит подчеркнуть еще раз: без горьковского скрытого и явного содействия литературный дебют Гроссмана в столице не был бы триумфальным. И небывалый успех не развивался бы так стремительно.

Горьковское покровительство Гроссман обрел с помощью друзей-«перевальцев». Оно стало фундаментом успеха, который в дальнейшем дебютант закрепил и развил.

Какими дополнительными факторами обусловлен успех, Гроссман, бесспорно, понимал. И отец тоже. Вот почему не понадобилось в переписке явное обсуждение причин горьковского покровительства. Контекст подсказывал, да и намеков хватало.

Сам механизм интриги знали только посвященные. Все прочие могли разве что догадываться.

Актуальность догадки утратили, когда Гроссман стал всесоюзно известным писателем. И в памяти многих литераторов-современников его столичный дебют ассоциировался с Горьким, но – безподробностей административно-рекламного характера. Помнили главным образом, что ситуация тогда была необычной. В чем же конкретно это выразилось – не обсуждалось публично. Не исключено, что с годами и вовсе забылось.

Первая мифологизация

В официальной биографии Гроссмана встреча с Горьким – знаковый элемент. Точнее, обозначение выбора своего рода «литературного отца».

Разумеется, это восходит еще к досоветской традиции. Многие писатели выбирали себе «литературного отца» сообразно «биографическому мифу», собственному мнению о преемственной связи и порою вне связи с реальными обстоятельствами дебюта.

Однако в советских условиях появились и новые смысловые оттенки. Не только ссылка на преемственную связь или авторитетность оценки собственной писательской техники. Еще и обозначение соответствия тематики и проблематики написанного – идеологическим установкам. Вот почему идеальной кандидатурой на роль «литературного отца» стал Горький.

Целесообразно было отсчитывать начало собственной писательской деятельности от встречи с Горьким и его соответствующего напутствия. Можно сказать, благословения[193].

Гроссман не был исключением. Характерный пример – автобиография, датированная 23 ноября 1947 года. О писательском дебюте там сообщается: «Мой первый рассказ“ В городе Бердичеве” был напечатан в “Литературной газете” 2 апреля 1934 г. В мае 1934 г. меня пригласил к себе М. Горький. Разговор с Горьким произвел на меня большое впечатление, думаю, он запомнился на всю жизнь. Во время этого разговора Горький посоветовал мне оставить инженерскую работу и заниматься литературным трудом»[194].

Однако в цитированном выше письме отцу ситуация характеризовалась иначе. Горький вовсе не давал совет «оставить инженерскую работу». Он лишь «одобрил» **состоявшийся гораздо раньше** «переход в литературу».

В мае 1934 года Гроссман уже был профессиональным литератором. Подтверждался такой статус и «прикреплением» к элитарному распределителю. Потому от Горького **не** получил он совет «заниматься литературным трудом». Этим давно был занят, о чем покровитель знал.

Однако началом пути должна была стать встреча с «литературным отцом». Сведения об уже напечатанных тогда в Сталине рассказе и повести были неактуальны.

Гроссман целенаправленно создавал свой «биографический миф», для чего и выбрал «литературного отца». А позже ничего изменить уже не мог.

Прежние сведения надлежало воспроизводить. Они и воспроизводятся автобиографией, датированной 9 мая 1952 года: «В апреле 1934 г. в “Литературной газете” был опубликован мой рассказ “В городе Бердичеве”. В мае 1934 г. меня вызвал к себе А. М. Горький. Эта встреча окончательно определила мое решение стать писателем»[195].

В данном случае уже не сообщается о совете «заниматься литературным трудом». Но вариация не меняет сути, потому как именно «встреча окончательно определила» гроссмановское «решение стать писателем». Соответственно, в обеих автобиографиях констатируется, что «Глюкауф» напечатан в альманахе «Год XVII». И оба раза последовательность событий неясна: сначала ли Горький читал рукопись дебютанта, а после обратил внимание на публикацию в «Литературной газете», или же наоборот.

Случайности тут нет. Гроссман избегал лжи. Именно поэтому излагал свою версию невнятно. Кто не знал правду, видел один сюжет, знавшие – другой. А противоречий вроде бы не было.

Даже в поздних интервью он соблюдал такой принцип. Одно из подтверждений – запись беседы с научным сотрудником Архива М. Горького[196].

К этому времени горьковское письмо Гроссману уже опубликовано. С одной стороны, о гроссмановской рукописи там отзыв довольно резкий. А с другой – характеристика автора в целом положительна. И в комментарии упомянуто, что «Глюкауф» опубликован в альманахе «Год XVII».

Главное же, что сам факт публикации такого послания в собрании сочинений классика – свидетельство высокого статуса адресата. Отнюдь не каждый из корреспондентов Горького был удостоен такой чести.

Соответственно, Гроссман получил и возможность более подробно описать, как был опубликован «Глюкауф». Начал, понятно, с горьковской критики. Затем отметил, что внес требуемые Горьким изменения к апрелю 1934 года. Тогда и пришло время демонстрировать результат: «Помню, я отнес рукопись в редакцию “Альманаха” во второй половине дня, а на следующий день мне сообщили, что Горький уже прочел мой роман».

Разумеется, было не так. Но Гроссман и не мог в деталях описывать давнюю интригу. Тем более что сотрудницу архива интересовала другая тема – «Горький и молодые писатели».

Вот Гроссман и сообщил ровно то, что нужно было собеседнице. Да, Горький поначалу роман критиковал, но ведь позже новую редакцию прочел буквально за день. Значит, был

чуток, доброжелателен, время свое не жалел, когда работал с «молодыми писателями».

Создана вполне идиллическая картина – в духе официальной истории советской литературы. Оставалось лишь добавить: «Рукопись была одобрена Горьким и принята им к печати в альманахе “Год XVII”. При втором чтении “Глюкауфа” им было сделано несколько замечаний».

Далее описывалось, когда и как получил Гроссман пресловутое благословение. Он по-прежнему утверждал: «В апреле 1934 года в “Литературной газете” был опубликован мой первый рассказ “В городе Бердичеве”. Горький прочел этот рассказ и в мае пригласил к себе в Горки».

Последовательность событий – в изложении Гроссмана – опять не ясна. Можно понять так, что Горький принял решение печатать «Глюкауф», а уж потом, ознакомившись с публикацией рассказа в «Литературной газете», еще месяц подумал и наконец пригласил автора посетить свою загородную резиденцию. Она в подмосковном поселке Горки находилась. Равным образом допустимо, что сначала «В городе Бердичеве» прочел, после чего и новую редакцию романа, издание которого затем санкционировал.

Но при любой интерпретации понятно, что приглашение Гроссман получил в связи с рассказом. Далее сообщил: «Эта встреча (5 мая 1934 года) навсегда сохранится в моей памяти. Сперва Горький расспрашивал меня о моей работе, затем он заговорил об общих вопросах – о философии, религии, науке. Помню, он говорил также о том, как по-новому формируется характер людей в новых советских социальных условиях, приводил примеры».

Сказанное не тождественно содержанию письма к отцу, но существенных противоречий тоже нет. И, как в автобиографиях, Гроссман вновь подчеркнул: «Эта встреча с Алексеем Максимовичем в большой степени повлияла на дальнейший мой жизненный путь».

Затем объяснил, почему так «повлияла», даже определила: «В это время я еще не был литератором-профессионалом. Алексей Максимович посоветовал мне всецело перейти на литературный труд».

Детали варьировались, структура же официального «биографического мифа» в основе своей не менялась. Горький – «литературный отец», благословивший на писательство.

В официальную историю советской литературы вошел этот «биографический миф» Гроссмана. Новый же – о писателе-нонконформисте – формировался со второй половины 1980-х

годов.

Вторая мифологизация

Официальный «биографический миф» Гроссмана от реальности весьма далек в силу причин, уже описанных. Новый – еще дальше. Формировался он усилиями многих критиков, литературоведов и мемуаристов. Но главную роль сыграл, бесспорно, Липкин.

Это относится и к описанию дебюта. По словам мемуариста, славу Гроссману «принес его первый небольшой рассказ“ В городе Бердичеве”, напечатанный в апреле 1934 года в “Литературной газете”. Лучшие наши писатели открыли в Гроссмане человека оригинального таланта, подлинного художника. С похвалой о рассказе говорил мне Бабель: “Новыми глазами увидена наша жидовская столица”. А Булгаков сказал: “Как прикажете понимать, неужели кое-что путное удается все-таки напечатать?”».

Московский дебют Гроссмана действительно был замечен многими литераторами. Правда, масштаб события определялся тогда не только и не столько несомненным талантом дебютанта, сколько факторами административно-рекламного характера: авторитетностью «Литературной газеты», небывалым объемом публикации, наконец, «вечером встречи с критиками».

У Липкина нет упоминаний об этих факторах. В его повествовании масштаб литературного события задается ссылками на Бабеля и Булгакова. Мнения, бесспорно, авторитетные, так что эффект был предсказуем.

Однако достоверность свидетельства весьма сомнительна. И не потому, что суждения, приведенные в качестве цитат, стилистически не мотивированы. Как раз о стиле – бабелевском ли, булгаковском ли – можно спорить, оценки подобного рода заведомо субъективны. Объективно же, что пока не обнаружены документы, подтверждающие хотя бы знакомство мемуариста с Бабелем и Булгаковым. Круг общения обоих писателей изучался десятилетиями, но среди их знакомых Липкин не упоминается.

Сомнительно его свидетельство и по причине, скажем так, разномасштабности фигур гипотетических собеседников. Разумеется, в 1986 году, когда была издана за границей книга о Гроссмане, семидесятипятилетний мемуарист уже добился некоторой известности. Но в 1934 году Бабелю около сорока лет, Булгакову за сорок, оба – знаменитости, так что не ясна причина, по которой вдруг решил каждый поделиться впечатлениями с двадцатидвухлетним и все еще начинающим поэтом.

Аналогично, не числится он среди знакомых других,

упомянутых в его мемуарах знаменитостей 1920-х – 1930-х годов. Нет сведений, подтверждающих знакомство.

Вместо объяснения в мемуарах приведена ссылка на мнение Липкина. По его словам, «в Москве писателей было мало, не то, что нынешнее многотысячное поголовье, и все печатавшиеся в толстых журналах близко ли, далеко ли знали друг друга, начинающие и известные».

Но ссылка на собственное мнение – не доказательство. А каких-либо иных подтверждений нет.

Особо же примечательно сказанное Липкиным про «Глюкауф». Мемуарист, по его словам, узнал позже: Гроссман «в своей повести, по-моему, превосходной, описал тяжелую жизнь донбасских шахтеров – забойщиков, крепильщиков, коногонов, – полную опасностей при плохой системе охраны труда, и такое описание вызвало недовольство Горького, которому Гроссман через посредство одной своей высокопартийной родственницы (впоследствии репрессированной) отправил свою рукопись».

Стоит подчеркнуть, что Алмаз была не только «впоследствии репрессированной». Еще и «полностью реабилитированной» – в 1956 году. Причем с тех пор жила в Москве. Неважно, знал ли ее Липкин. Само упоминание о «высокопартийной родственнице» подтверждает, что уровень осведомленности мемуариста не так уж низок. Однако здесь главное – сказанное о «недовольстве» Горького.

Чем оно вызвано – поясняется сразу же. По словам мемуариста, «Горький ответил:

“Автор рассматривает факты, стоя на одной плоскости с ними; конечно, это тоже “позиция”, но и материал, и автор выиграли бы, если бы автор поставил перед собою вопрос: “Зачем он пишет? Какую правду утверждает? Торжества какой правды хочет?”».

Далее следует личное мнение Липкина. Сформулированное даже с иронией: «Не странно ли, что Горький, обладавший крупным дарованием, а художественный дар всегда рождается от правды, мог предполагать, что правд имеется несколько. А ведь когда-то, осуждаемый Лениным, сам искал Бога – единственную правду…».

В общем, осудил. Но рассмотрение вопроса о так называемом богоискательстве не входит в нашу задачу. Применительно же к ней стоит отметить: цитируется горьковское письмо 1932 года, опубликованное в тридцатом томе собрания сочинений. Цитата точная. А источник – не указан. Благодаря чему у читавших мемуары создается впечатление, что Липкин услышал горьковский отзыв от Гроссмана.

На самом деле – прочел, а не услышал. Впрочем, такое в мемуаристике обычно. За услышанное часто выдается прочитанное либо придуманное. Данный случай тоже не было б нужды анализировать, если бы не ряд весьма интересных обстоятельств. Связанных именно с рассуждением Липкина о «правдах» – «нескольких» или «единственной».

Прежде всего, отметим, что «Глюкауф» сам Гроссман оценивал весьма критически. В послевоенные годы не переиздавал, хотя возможностей хватало. Липкин же дебютную повесть назвал «превосходной». Такая оценка противопоставлена «недовольству» Горького.

Согласно Липкину, «недовольство» вызвано тем, что в дебютной гроссмановской повести жизнь шахтеров правдиво изображена как «тяжелая» и «полная опасностей при плохой системе охраны труда». Неважно, читал ли мемуарист «Глюкауф». Существенно, что уж горьковское письмо точно прочел, а там совсем другие претензии сформулированы. Речь идет о шахтерском пьянстве, драках и т. д.

Получается, что Липкин жертвовал одной «правдой» ради утверждения другой. А Горького упрекал за то же самое.

Весьма интересна и другая «правда». С необходимостью из рассуждений Липкина следует: Горький лишь раскритиковал Гроссмана и в издании «повести» никакой помощи не оказал.

Но о том, что «Глюкауф» опубликован в альманахе «Год XVII» сказано там же, где Липкин нашел письмо, которое цитировал. В тридцатом томе собрания сочинений Горького.

Допустим, однако, невероятное. Липкин, прочтя горьковское письмо, не читал примечания, альманах в свое время не заметил и даже от Гроссмана о былом его покровителе не слышал ни разу. Ну, вдруг так совпало.

Все равно мемуарист не мог остаться в неведении. Многие писавшие о Гроссмане, включая Бочарова, упомянтого Липкиным, акцентировали, что Горький помогал Гроссману. Рассказ его заметил, в гости пригласил, ободрял, наставлял, опубликовал «Глюкауф». Общее место. Даже в справочных изданиях сказано про горьковскую «поддержку».

Однако в мемуарах Липкина нет сведений о помощи Горького. Это не случайность, а **знаковое отсутствие**. Функциональное. С точки зрения функциональности – сходное с рассмотренными выше утверждениями мемуариста, что Гроссман знал на идиш лишь «с десяток слов» и еврейской культурой вообще не интересовался.

В первом случае Липкин пытался доказывать, что автор романа «Жизнь и судьба» – именно *русский писатель*. И

обосновывал вполне очевидное посредством абсурдных ссылок на заведомо спорное.

Ну а во втором случае Липкин пытался доказывать, что автор романа «Жизнь и судьба» не был никогда именно *советским писателем*. Речь идет о таком истолковании этого понятия, которое подразумевает сервильность, писательскую готовность безоговорочно выполнить требования идеологической цензуры. Вот почему сведения о покровительстве Горького оказались лишними. Зато нужной стала история про его «недовольство».

Общепризнанным считалось, что Горький в 1930-е годы – образцово советский писатель. Гроссман же, согласно Липкину, совсем иной. Такому не должен был покровительствовать сановник от литературы. Вероятность помощи концептуально исключалась.

Но реальность противоречила концепции. И решение было найдено: мемуарист «редактировал» источники, не вступая непосредственно в спор с ними и даже не ссылаясь.

Получилось, что Горький, как положено сановнику от литературы, раскритиковал Гроссмана. Дал буквально уничтожающий отзыв. Это и подтверждено вовремя оборванной цитатой. А про все остальное – просто нет сведений.

Горький на роль покровителя не годился. И функцию покровителя передал Липкин «перевальцам». Они идеально подходили.

Базовая установка «Перевала» – искренность, что мемуаристом отмечено. И почти все «перевальцы» арестованы в 1937 году, осуждены, расстреляны, а почти двадцать лет спустя признаны невиновными. Следовательно, едва ли не мученики, чья помощь не компрометировала писателя-нонконформиста.

Допустимо, что мемуарист опять «хотел как лучше». Первое издание его книги адресовано прежде всего эмигрантам. А за границей критики еще спорили, можно ли считать автора романа «Жизнь и судьба» – *не советским писателем*. Тут концепция Липкина важную роль сыграла.

Это закономерно. Предложенное Липкиным противопоставление Горького и Гроссмана было для эмигрантов публицистически целесообразно.

Но к началу 1990-х годов противопоставление утратило актуальность. В итоге утвердился, можно сказать, синтетический вариант, согласно которому Горький все же покровительствовал Гроссману, хотя тот был искренним, так и не став истинно советским писателем. Логике это противоречило, но подобного рода противоречия важны лишь на уровне научного исследования. В публицистическом дискурсе ими обычно

пренебрегают.

Будни профессионала

Горьковская помощь сыграла важнейшую роль именно в начальный период литературной карьеры Гроссмана. Всего за два месяца он стал достаточно известен в редакционно-издательской среде.

Значительно выросли и доходы. 11 июня 1934 года, обсуждая с отцом возможность его переезда в Тулу, Гроссман сообщил: «Может быть, для перемещения тебе нужен некоторый “материальный плацдарм”? Имей в виду, что мои дела теперь таковы, что создать его не представляет затруднения».

Он вновь напоминал отцу, что инженерские заработки несоизмеримы с писательскими. И акцентировал, «Очень прошу тебя отнестись к этим моим словам с полной серьезностью и иметь в виду “как фактор”» (подчеркнуто нами. – *Ю. Б.-Ю., Д. Ф.*).

Затем перешел к новостям собственным. Принципиально важных не было: «Ты спрашиваешь о моих делах. Я работаю, пишу свой новый роман, он получается какой-то необычный, иногда меня это даже пугает. Как раз сегодня дописал последнюю страницу первой части его, очевидно, сделаю довольно длительный перерыв, нужно как-то внутренне организоваться для писания второго этапа, а я совсем не готов для этого. Очень неясно видно через“ магический кристалл”, сей оптический инструмент менее удобен, чем цейсовский микроскоп или простая лупа».

Следовательно, в июне закончена первая часть романа «Степан Кольчугин». Чем должна завершиться история молодого шахтера – Гроссман еще не решил, а потому ссылался на хрестоматийно известные пушкинские строки из «Евгения Онегина»:

> И даль свободного романа
> Я сквозь магический кристалл
> Еще неясно различал[197].

Тут и пришлось кстати сравнение с «цейсовским микроскопом». Отец знал, что еще в Российской империи оптическим инструментарием немецкой фирмы “Carl Zeiss Stiftung” оснащались лучшие химические лаборатории. Потому Гроссман акцентировал: в прежней своей профессии он и задачи понимал, и техникой их решения владел.

Специфика постановки и решения литературных задач

определялась политически. Здесь в 1930-е годы о ясности говорить не приходилось, и Гроссман отметил: «Думаю пока писать рассказы, а там снова возьмусь за своего кита. Это, так сказать, дела внутренние, следовательно, наиболее важные. Внешние дела примерно таковы. “Глюкауф” уже набран в Альманахе “Год семнадцатый”, к съезду писателей (25 июня) появится в свет. Отдельной книжкой он выйдет в августе месяце. В журнале “30 дней” сейчас печатаются 3 моих рассказа и, вероятно, к тому же времени, как Альманах, будут обнародованы (в № 6). Кроме того, сборник новелл Моск. Тов. Писателей тоже печатается, в нем имеется также 3 моих рассказа».

В целом ситуация складывалась удачно. Правда, не все задуманное удалось реализовать: «Горький предисловия к “Глюкауфу” не написал, т. к. в связи со смертью сына довольно продолжительное время не работал».

Гроссман-старший должен был знать из газет, что тридцатисемилетний сын Горького умер 11 мая 1934 года. Согласно официальной версии, причина – воспаление легких.

Тема эта более не обсуждалась. Без горьковского предисловия эффект публикации отчасти снижался, но это компенсировалось другими удачами, в связи с чем Гроссман-младший подытожил: «Ну, вот, информация по моим литер. делам. Конечно, как только что-нибудь будет напечатано, – пришлю тебе».

Он был по-прежнему одинок. Иронизировал: «О моих личных делах писать нечего – пусто…».

Литературная же известность по-прежнему ширилась. Гроссмана официально пригласили участвовать в еще одном горьковском проекте – книге о строительстве Магнитогорского металлургического комбината. Следовательно, предстояла длительная командировка в Челябинскую область. Это не соответствовало интересам, но и сразу отказаться не мог. Отцу 30 июня сообщал: «Мне очень хочется взять Катюшу в Москву. Думаю, что по возвращении с Магнитки можно будет это сделать».

До поры жил еще и надеждами на скорую встречу с дочерью. Отцу рассказывал: «Представляю себе (в мечтах), как мы с ней идем в зоологический сад и ведем философский разговор – кто толще, бегемот или слон».

Но в Бердичев отправиться не было возможности. Работа с редакторами, корректорами, новые литературные знакомства. Затем уехал в командировку. 22 июля отцу сообщил: «Новостей особенных у меня нет, вышел в свет Альманах, напечатаны в журнале “30 дней” мои рассказы. Я не в особенном восторге от перспективы писать “Историю Магнитогорска”, возможно, что по

возвращении в Москву откажусь от этого».

Командировка была долгой. Местная администрация обеспечивала столичных писателей всем, чем могла, с «нормами снабжения» вообще не считаясь. Гроссман отцу рассказывал: «Устроен я здесь “по-царски” – квартира, питание и пр.».

Тем не менее 12 августа он собирался уехать в Москву. Через пять дней там должен был начаться I съезд ССП.

К литературной карьере Гроссмана это имело непосредственное отношение. На съезде решалось, кто получит официальный статус, т. е. будет принят в ССП, и обретет или подтвердит уже имевшееся ранее право на множество привилегий.

Некоторыми привилегиями Гроссман уже пользовался, а делегатом съезда не был избран. Это закономерно – дебютировал совсем недавно. И все-таки официальный статус вскоре получил. Соответствующая справка хранится в его личном деле. Там указано: «Принят кандидатом в ССП в 1934 г. Переведен в члены ССП в 1937 г.»[198].

Статус «кандидата в члены ССП» был ниже, чем у принятых на съезде. Но и такого хватало. Он подтверждал, в первую очередь, право не работать на государство, обладатель мог получать бесплатные путевки в элитарные санатории, дома отдыха и т. п. Разве что квартира Гроссману пока не полагалась.

Но с этим он и не спешил. Квартиры предоставлялись в первую очередь семейным, а он был по-прежнему холост, родители и дочь – не москвичи.

С университетскими друзьями встречался редко: они жили интересами своих профессий, т. е. не литературными. Основной круг общения – «перевальцы», в том числе Б. А. Губер.

Занят Гроссман был главным образом романом. 8 сентября отцу сообщил, что «дела идут таким образом: я читаю много по вопросам философии, истории рабочего движения (для книжки), пишу мало. На литературном моем пути начали появляться камешки, а не только цветы. Главлит вырезал из идеологических соображений 3 моих рассказа из уже сверстанного журнала, покритиковал меня какой-то чудак в газете и еще кое-какие радости такого же сорта. Сие меня не огорчает, ибо дорога вообще не легкая, и будут на ней не такие еще камешки, а побольше».

Действительно, о «камешках» можно было не беспокоиться – с учетом такого фактора, как покровительство Горького. Прочее же – будни профессионального литератора. Отцу рассказывал: «Огорчает меня другое – это полное мое одиночество. Здесь есть у меня новые друзья – настоящие люди, Губер, Зарудин, Катаев. Но

кроме них нужно мне еще кое-что, как ты понимаешь, ибо человек устроен не просто, к сожалению, а двухчасовая беседа с товарищами разв 3–4 дня еще не все, что нужно человеку. Не знаю, хорошо ли это или плохо, но это так. И тут ничего не попишешь».

Личные проблемы оставались нерешенными. А вот основные финансовые – решил. Содержал дочь, помогал матери, кузине, даже и бывшей жене. Постоянно и настойчиво предлагал отцу помощь, хотя тот и отказывался. Гроссман-старший, похоже, еще не привык, что сын, московский литератор, не имеющий постоянной работы, зарабатывает гораздо больше, чем опытнейший сибирский инженер-горняк.

Ну а сын был поглощен делами литературными. 23 сентября отцу сообщил: «Вчера послал тебе номер Альманаха и отдельную книжку “Глюкауф” – надеюсь, получишь их. Сейчас пишу рассказы. Четыре рассказа приняты уже в журналы и будут напечатаны в ноябрьской и декабрьской книжках. Подумываю уже об издании отдельной книжки рассказов. В общем, дела идут хорошо – чувствую, что куда ни прихожу, относятся ко мне с интересом. Что касается временных заминок, о которых я писал тебе, то они прошли уже, скоро, верно, будут новые».

К такого рода перспективе относился, по его словам, иронически. Утверждал, что «жизнь – это заминка, которая проявляется то так, то этак. Преодолеешь ее в “личном”, она пролезет в “общественном”, а то сразу вылезет и в “личном”, и в“ общественном”».

Гроссман был все же доволен ситуацией. Он выбрал литературу в качестве профессии не для заработка или честолюбия ради, а потому что другим заниматься не желал. Категорически. Это и подчеркнул в письме: «Из всех моих товарищей, имевших “мечту для себя”, я, кажется, единственный, осуществляющий жизнь так, как хотелось».

Он противопоставлял «мечту для себя» – задачам социальным. Да, уйдя с «карандашной фабрики», отказался от многого, достигнутого за пять лет профессиональной реализации. Но и добился большего, чем утратил. Почти того, что хотел.

Гроссману тоже пришлось «спрашивать разрешения». Он публиковал только «разрешенное». А иначе бы не стал писателем в СССР.

Часть V. Игра и удача

Новая репутация

Осенью 1934 года гроссмановский триумф продолжался. Заметны, правда, были и «камешки».

К упрекам критиков Гроссман становился все более чувствителен, Так, отцу сообщил: «16 ноября был напечатан в «Литературной газете» подвал о “Глюкауф”. Его расценивают как весьма хвалебный, хотя меня там довольно основательно кроют».

Он даже не упомянул, что «подвал» – на первой же странице, это весьма престижным считалось, если отзыв не вполне ругательный. А речь шла о статье Мунблита с довольно претенциозным заголовком: «Мера и грация»[199].

Заголовок был дан именно как цитата – в кавычках. Автор имплицитно ссылался на хрестоматийно известное суждение о театре, произносимое одним из персонажей пьесы А. Н. Островского «Таланты и поклонники»: «У комиков много лишнего комизма, а у тебя много лишнего трагизма; а не хватает у вас грации… грации, меры. А мера-то и есть искусство…»[200].

Начинал Мунблит с рассуждений о специфике литературы. Утверждал, что лучшие советские литераторы, в отличие от досоветских, изображают реальность, а не черпают сюжеты и характеры из старых книг: «Путь нашего писателя усеян темами. Мир, окружающий его, никем никогда не описан. Все вокруг имеет к нему отношение, во всем он может принять участие, все ждет его вмешательства».

Подобного рода тезисы формулировали тогда и критики, и литературоведы, и партийные функционеры. Литераторов призывали «быть ближе к жизни», т. е. выбирать темы, соответствующие актуальным пропагандистским установкам, Мунблит же еще и уточнил: «Но нет манеры более трудной для молодого писателя, чем манера реалистическая».

Подразумевалось, что «манера реалистическая» требует знания действительности. Не книжного о ней представления. Тезис опять не новый, только вот характеристика «молодой писатель» далее воспроизводилась постоянно, и Гроссмана, похоже, это рассердило. Не так уж он был молод, во-первых. А во-вторых, к осени 1934 года немало успел. Печатали его рассказы и авторитетная «Литературная газета», и журналы, наконец, роман, который в горьковском альманахе вышел, опубликовало МТП. Готовился выпуск и в Государственном издательстве художественной литературы.

Вероятно, определение «молодой» – применительно к себе – Гроссман воспринял как фамильярность столичного критика.

Своего рода «начальственное похлопывание по плечу».

Критик же, судя по статье, об авторе романа «Глюкауф» знал мало или почти ничего. Утверждал: «Василий Гроссман, человек, по-видимому, тесно связанный с производственной жизнью Донбасса, написал свою первую книгу о борьбе за механизацию шахты».

Гроссман с «производственной жизнью Донбасса» был связан не «по-видимому», а профессионально. Чем даже гордился. Гипотезу критика мог воспринять опять как фамильярность.

Но Мунблит хвалил его. Подчеркнул: «Эта книга – великолепный образец книги молодого писателя, пишущего в наших условиях».

До странности косноязычно похвала сформулирована. Книга – «образец книги», а писатель соответственно «пишущий». Так что определение «молодой», если оно и обидело Гроссмана, вряд ли компенсировалось мунблитовскими комплиментами.

Зато на комплименты Мунблит не скупился. Постулировал, к примеру, что книга Гроссмана – «до последней степени активна, она реалистична и несет на себе следы бесчисленных трудностей, преодоленных писателем, причем некоторые из них преодолены с блеском, свидетельствующим о большой работе и большом даровании».

Вывод тоже формулировался без агрессии. Мунблит заявил: «Преобладает в романе Гроссмана именно эта реалистическая манера повествования. Книга в целом удачна, но ошибки, имеющиеся в ней, слишком существенны, чтобы их можно было обойти молчанием».

Про «ошибки» рассказывал подробно. Отметил, какие характеры, по его мнению, не вполне удались автору, и что конфликт по сути не нов, изображен слишком примитивно. Однако без претензий идеологического характера обошлось. Критик подытожил: «Поэтому так ценны крупицы подлинно реалистического искусства, которые есть в книге Гроссмана, несмотря на все присущие ей недостатки».

Так и осталось неясным, чего все же нет или не хватает Гроссману – «меры» или «грации». Да и сам итог опять сформулирован косноязычно, даже логически противоречиво: если, по словам Мунблита, «книга в целом удачна», то непонятно, с какой стати он утверждает, что там «искусства» – лишь «крупицы».

Однако в мунблитовской статье ключевое понятие – «реализм». И на уровне итога не так важно, что «искусства» – «крупицы». Главное, что «реалистическое». Это похвала. Ею статья и завершается. Вот почему современники сочли отзыв

«хвалебным». Тем более – помещенный на первой же странице «Литературной газеты».

Прав и Гроссман. С учетом публикации романа в горьковском альманахе, суждения критика, да еще и помещенные в «Литературной газете», и впрямь были непомерно резкими.

Мунблит, разумеется, знал, кто покровительствует Гроссману. Потому и обошелся без упреков идеологического характера.

Однако I съезд ССП закончился в сентябре, и покровительство Горького значило уже не так много, как раньше. Он свою роль почти доиграл.

Вот Мунблит и намекал горьковскому протеже, что литературный успех зависит не только от настроения сановного покровителя. Немаловажны мнения критиков.

Мунблитовский отзыв был не опасен, а симптоматичен. Показывал, насколько изменилась литературная ситуация.

Судя по гроссмановским письмам, «недостатки» романа он и сам видел. Причем гораздо яснее, чем их описывал Мунблит, да и больше насчитывал. Но «Глюкауф» изначально воспринимался автором как условие дебюта. Радикальные изменения вряд ли были возможны.

К новому роману относился иначе. Если опять же по гроссмановским письмам судить.

Изменились, правда, отношения с покровителем. Отцу тогда же Гроссман сообщил: «Горький прислал отзыв по поводу моего нового романа – более чем кислый. Я его еще не читал, но мне передали “предварительно”. Это известие меня не привело в восторг, должен тебе сознаться. Но… всем понравиться нельзя, это преимущество умеренно полных блондинок с ярко-голубыми глазами и жизнерадостным характером. Я – не блондинка. И я лишен этого преимущества».

Горьковский отзыв был прислан в редакцию альманаха. Почему «более чем кислый» – понятно. Еще весной 1934 года планировалось жизнеописание большевистского лидера на фоне «истории рабочего движения» в Донбассе, что Горького весьма заинтересовало, Гроссман же начал повествование о юноше из шахтерской семьи, постольку ушедшем в политическую деятельность, поскольку неприемлемым оказался макеевский быт: изнурительный труд, не имевший никакого смысла, кроме заработка, пьянство да насилие как формы досуга. Получалось, что не идеология марксистская обусловила решение героя романа изменить жизнь свою и окружающих, но осознание безысходности, а главное – измена невесты, тоже пытавшейся вырваться из привычного уклада, только иным способом.

В романе и главном его герое немало автобиографического. Надо полагать, это и не соответствовало мнению Горького о прагматике книги. Гроссман же соответствовать не спешил. Отцу сообщал: «В ближайшие дни, вероятно, заключу договор на книжку рассказов – куда войдут все написанные мной рассказы, около 7 печатных листов. Эта книжка будет для меня приятней, чем “Глюкауф”, так как я рассказы свои люблю больше, они, кажется, лучше написаны».

Вне зависимости от мнения Горького о новом романе и мунблитовской статьи, Гроссман решал поставленные ранее задачи. Его репутация уже сформировалась: талантлив, удачлив, трудолюбив.

Инерция успеха

Новый 1935 год тоже начинался с удач. Разумеется, приходилось участвовать в горьковских литературных проектах, к примеру, работать на конвейере автомобильного завода, чтобы затем описывать ударников второй пятилетки. Но зато и других предложений было немало.

Гроссман торопился инерцию успеха использовать. 5 февраля сообщил отцу, что опять пишет киносценарий, в основе которого сюжет «Глюкауф». Работа, по его словам, интересная, сложная, и все же не главная. Основная цель ее – заработок.

Уже подписан был договор на сборник, издание ожидалось примерно через шесть месяцев, а пока журналы «Знамя» и «30 дней» публиковали гроссмановские рассказы. Однако, подчеркивал, он, «настоящим делом я не занимаюсь, все это дела прикладные».

Депрессия не оставляла его. Литературная повседневность – работа с редакторами, корректорами, обсуждение издательских договоров – отнимала много времени, лишая возможности заняться «настоящим делом», т. е. литературой не для заработка. Но важней была другая причина, о которой словно бы между прочим отцу рассказал: «В личной жизни у меня по-прежнему пустота».

Он ездил весной на Украину, собирал материал для романа, навестил мать, дочь и бердичевских родственников. Летом начались съемки фильма по его сценарию. И по-прежнему рассказы охотно принимали в редакциях.

Другие важные события лета и осени в переписке не отражены. Возможно, соответствующие письма изъяты родственниками или просто не сохранились. По крайней мере, в РГАЛИ их нет. Но приблизительно тогда и началась совместная жизнь с будущей женой – О. М. Губер. Ранее замужем она была за «перевальцем» Б. А. Губером.

Она ушла к Гроссману, оставив мужу в арбатской квартире двух сыновей – девяти и четырех лет. По словам родственников, планировалось, что детей заберет, когда удастся снять достаточно просторное жилье.

Многие литературоведы, ссылаясь на свидетельства Липкина и сына Губер, настаивают, что инициировал уход Гроссман, влюбившийся в жену друга. Однако в переписке с отцом нет подтверждений такой версии. На самом деле неизвестно, как все случилось и кто был инициатором.

Зато известно, что в решение будущей жены Гроссман внес

свои коррективы. Встретившись с брошенным мужем, буквально вынудил его брать деньги на содержание детей.

Надо полагать, считал это справедливым. Его карьера, в отличие от губеровской, была тогда на подъеме, соответственно, росли и доходы.

Работал фактически безотдыха. Не успевал даже отвечать на письма родителей, и 27 ноября наконец попытался оправдаться: «Дело в том, что рассказ, который я обещал для 1-го юбилейного номера “Знамени”, у меня неожиданно распух до размеров 3-х печатных листов и я пропустил все сроки его сдачи».

Имелось в виду пятилетие журнала, отмечавшееся в 1936 году. Приглашение в «юбилейный номер» – показатель статуса. Гроссман «обещал» рассказ «Кухарка». Действительно, немалого объема. По сути – повесть. Соответственно, в срок не успевал сдать: «Последние дни я сидел над его правкой, доделкой, переделкой, сокращением, выправлением и пр. буквально с утра до поздней ночи, оброс бородой, не выходил пять дней на улицу, вообще обрел образ великомученика и сумасшедшего. Только позавчера отдал его в редакцию, а сегодня получил ответ – рассказ всем очень понравился, меня поздравляли, благодарили и, как полагается, говорили много лишнего в смысле перехваливания – в этом отношении писатели похожи на девиц, которые нравятся кавалерам. Кавалеры хвалят их глаза, ручки, вообще всю красоту, у девиц начинает кружиться голова, они делают всякие ужасные глупости и безумства, в которых потом каются всю жизнь, а коварные кавалеры уже кружат голову новой, очередной жертве».

Судя по письмам, отец уже давно приглашал его погостить, но работы было много, планы менялись постоянно. Тогда же сообщил: «Не думай, что это из-за семейных дел, наоборот, Ольга Михайловна меня уговаривает ехать, да и ты сам знаешь, что я предполагал поехать – в основном, чтобы дать всем вопросам устояться и выясниться, а самому себе дать отдохнуть от них».

Значит, в ноябре события, что были связаны с решением Губер уйти к Гроссману, осмыслялись как недавние. Он еще полагал, что нужно «дать всем вопросам устояться». Но «отдохнуть от них» все не удавалось. Опять встретился с брошенным мужем и отцу рассказывал: «Теперь о семейных делах. Стало как будто легче немного. Борис Андреевич остался на арбатской квартире, вошел в норму (относительно, конечно), работает много, я с ним виделся два раза, много по-дружески мы говорили обо всем».

Понятно, о чем «говорили» они «много» и «по-дружески». Губер надеялся, что жена еще вернется, но она не меняла

решение, и Гроссман утешал брошенного мужа – бывшего друга. Ничего больше сделать бы и не мог. Отца же известил: «Живем мы с Ольгой Михайловной очень хорошо, дружно, и, не знаю, может быть, это к худшему, но я все больше рад нашей совместной жизни».

На первый взгляд фраза странная. У Гроссмана с Губер конфликтов нет. Даже наоборот, полное согласие – «очень хорошо, дружно». Опять же, он «все больше рад» новой «совместной жизни». Но при этом отмечает, что, **«может быть, это к худшему»**.

Похоже, Гроссман тоже надеялся, что решение Губер переменится. Все-таки двух сыновей оставила у брошенного мужа, и тот еще ожидал ее возвращения. С этой точки зрения вполне объяснимо, почему не исключал, что «к худшему», если обоих не тяготит «совместная жизнь»: расставаться будет труднее. Если не считал разрыв нежелательным, то нет и никакого парадокса в сказанном отцу.

Однако эта гипотеза основана лишь на фразе из письма. Аргументов, чтоб доказать ее истинность, нет. Впрочем, их нет и чтобы опровергнуть.

Ясно только, что Гроссман пытался уйти от «вопросов», перечисленных выше. Большую квартиру еще не мог снять, жил до поры у сестры Губер. Это ему досаждало, потому как одалживаться давно отвык, но выбора не осталось. Работал много, чтобы содержать новую семью, продолжая также помогать матери, дочери и ссыльной кузине.

В работе и был отдых от «вопросов». Соответственно, подытожил: «В общем, жизнь идет не плохо. Чем больше я работаю, тем лучше для меня».

По меркам того времени он публиковался весьма часто. Не только в журналах, постоянно издавались книги. Только в 1935 году дважды переиздан «Глюкауф», вышел сборник рассказов, другой уже был подготовлен к выпуску.

Далеко не каждый из тогда состоявших в ССП мог бы похвастаться такой продуктивностью. И, конечно, столь же благожелательным отношением к себе в редакциях.

Гроссман практически сразу печатал все, что успевал написать. Сведений о полемике с редакторами нет в его письмах. Иногда, правда, возникали препятствия, обусловленные мнениями главлитовских сотрудников, их представлениями о желательном и допустимом. Но помехи такого рода устранялись быстро. Он все же считался горьковским протеже, это не забывали тогда.

Вполне благожелательно относились к нему и критики. Если

и рассуждали порою о «недостатках», это компенсировалось похвалами. Например, «Глюкауф» рецензировали чуть ли не все крупные периодические издания, считавшиеся литературными. В большинстве своем критики подчеркивали, что автор и талантлив, и умел, и с точки зрения идеологической к нему претензий нет. О дебютантах такое – вкупе – говорилось тогда крайне редко[201].

Правда, отзывы о его рассказах были не всегда внятными. Но это определялось еще и спецификой политической ситуации, да и сюжетов.

Кривое зеркало успеха

Весьма необычна критическая рецепция наиболее известного рассказа Гроссмана – «В городе Бердичеве». Нельзя сказать, что критики не написали о нем вообще. Упоминали, однако не анализировали.

Казалось бы, конфликт обычный, советский. И вроде бы разрешается традиционно – как требовали идеологические установки: долг оказывается важнее чувств.

Время действия – 1920 год, война с Польшей. В центре повествования – батальонный комиссар Вавилова. Бывшая работница тридцати пяти лет, но сослуживцы давно уже не видят в ней женщину. Одета по-мужски – гимнастерка и галифе, шинель, папаха, сапоги. Не расстается с оружием: маузер всегда при ней. Ездит верхом, поднимает батальон в атаки. Для товарищей – боец и политический руководитель, ничего больше. И тут выясняется, что она беременна. Отец ребенка в рассказе почти не характеризуется. Тоже комиссар, погиб в бою.

Акцентируется, что сослуживцы воспринимают ситуацию комически, хотя и сочувственно. Командир батальона отправляет комиссара в сорокадневный отпуск. Ее «ставят на постой» в доме еврейского ремесленника Хаима Магазаника и его жены Бэйлы. Оплата – мыло и продовольствие.

Решение комбата вполне мотивированно. У Магазаника семеро детей, подразумевается, что его жена сумеет помочь беременной. И Вавилова словно выпадает из войны. Теперь комиссар – обычная женщина. Не для нее уже кобура с маузером и солдатское обмундирование. Она носит женское платье, готовится к родам и, наконец, рожает.

Жизнь Вавиловой кардинально изменилась. Она заботится о ребенке, названном Алешей, поет ему колыбельные. Но вскоре товарищи сообщают комиссару, что польские войска подошли к Бердичеву и красные отступят.

Сначала Вавилова полагает, что проживет тревожное время в доме Магазаника. Дождется контрнаступления либо проберется вместе с Алешей к своим – за линию фронта. А через несколько дней, стоя на крыльце, видит, как взвод красных – под знаменем и с песней – выходит из города навстречу польским войскам.

Вавилова понимает, что для идущих под знаменем этот арьергардный бой – последний. Они должны прикрывать отступление, значит, погибнут все. Логика войны.

Тогда комиссар, не сказав ни слова, вновь надевает солдатское обмундирование, заряжает маузер и догоняет

обреченный взвод, чтобы вместе с ним уйти в бой. А Магазаник, глядя ей вслед, говорит: жене: «Вот такие люди были когда-то в Бунде. Это настоящие люди, Бэйла. А мы разве люди? Мы навоз».

Упоминание о «настоящих людях» из Бунда не случайно. В 1934 году оно в комментариях не нуждалось. Магазаник имеет в виду «Алгемэйнэр Йидишэр Арбэтэр Бунд ин Литэ, Пойлн ун Русланд» – «Всеобщий союз еврейских рабочих в Литве, Польше и России».

Как социал-демократическая организация Бунд, кроме прочего, занимался формированием вооруженных отрядов для защиты еврейского населения от погромщиков, которым полиция обычно не спешила препятствовать. А с началом гражданской войны многие бундовцы стали большевиками.

Но жене Магазаника – не до полемики и воспоминаний. Теперь матерью комиссарского сына становится она: «Проснувшийся Алеша плакал и бил ножками, стараясь развернуть пеленки. И придя в себя, Бэйла сказала мужу:

– Слышишь, дите проснулось. Разведи лучше примус, надо нагреть молоко.

Отряд скрылся за поворотом улицы».

Финалом акцентировано, что отчуждение Вавиловой и Магазаников обусловлено не этнически. Муж, бундовец в прошлом, оправдывает комиссара. Жена с ним не спорит.

Стоит еще раз подчеркнуть: Гроссман не был обделен вниманием критиков. За шесть лет – до начала войны – более тридцати рецензий на его публикации. Это много. Почему и странно, что о самом известном рассказе речь шла лишь четырежды.

Наиболее примечательна статья Лежнева «Чувство товарищества». Опубликовал ее журнал «Красная новь» во втором номере 1935 года[202].

Маститый критик утверждал, что динамику повествования обусловливает парадоксальность. Как ситуаций, так и поступков: «Здесь сюжет образуют три парадокса. Первая ситуация парадоксальна сама по себе (рожающий комиссар!)…».

Лежнев обозначил сюжетную линию, но в подробности не вдавался. Отметил только, что и другая ситуация «парадоксальна относительно первой: женщина-комиссар, которая только и думала о том, как бы “извести” ребенка, и жила исключительно интересами батальона, армии, войны, становится нежной матерью, принимает решение отстать от своих при отступлении, чтобы уберечь дитя».

Критик ошибся в одном. Вавилова не принимала решение «отстать от своих при отступлении». У нее выбора не было.

Тем не менее Лежнев утверждал, что парадоксы не сняты. В финале возникает ситуация, которая «парадоксальна относительно второй: мать бросает ребенка и уходит с армией».

Лежнев не вполне точен. Вавилова не «уходит с армией». Красные войска оставляют город, а батальонный комиссар – вместе с прикрывающим отступление взводом – идет в последний бой. Умирать.

Далее, по традиции, должен был следовать вывод. Однако вывода нет. Лежнев похвалил Гроссмана, обозначил факторы, которые определяют динамику повествования, и на том остановился – вопреки логике.

Несколько менее комплиментарны, однако и менее информативны суждения В. Ц. Гоффеншефера. Его статья «О счастьи» опубликована журналом «Литературный критик» в десятом номере 1935 года[203].

Гроссмановские публикации, утверждал Гоффеншефер, еще не осмыслены. Причина же ясна: критики «о молодом писателе пишут лишь тогда, когда он создает очень значительное произведение».

Согласно Гоффеншеферу, положение Гроссмана – особое. Критики оценивали преимущественно его дебют: «Все запомнили и единогласно одобрили его рассказ“ В городе Бердичеве”».

Дальше полагалось обозначить сюжет и назвать хоть кого-нибудь из тех «всех», кто одобрили. Ничего подобного в статье нет. Оно и понятно: критики не одобрили рассказ «единогласно». Горький похвалил в 1934 году, но устно. А в печати выступил только Лежнев, чье мнение горьковскому не противоречило.

С Горьким спорить Гоффеншефер тоже не стал. Он рассуждал о смысле понятия «счастье» – применительно к советским условиям.

У советских граждан, по словам критика, новые ценностные установки. Не такие, как в досоветскую эпоху: «Счастье нашего времени конкретно. Оно в дыхании нашей страны, оно в борьбе за нее, оно в нашем грандиозном строительстве, осуществляемом новым человечеством – людьми социалистической страны».

Это, согласно Гоффеншеферу, подразумевает и поиск новых решений «проблемы счастья в литературе».

Гоффеншефер настаивал, что Гроссман был прав, когда в гражданской войне усмотрел борьбу за счастье. Ошибка же обусловлена другой причиной: «Но мы имеем право упрекать писателя в том случае, если пафос этой борьбы подчеркивается исключительно и только трагическим моментом, конкретизируемым как разрыв между несчастной личной жизнью и счастливой общественной деятельностью или как конфликт

между общественными устремлениями и биологическими возможностями человека. Мы имеем право упрекнуть писателя также и в том, что акцентируемые им трагические конфликты “уравновешиваются” только умозрительным примирением “жертв” и “идеала”».

Из сказанного Гоффеншефером с необходимостью следовало, что слишком драматизирована ситуация в рассказе. Не вдаваясь в анализ, критик заключил: «Гроссману не удалось раскрыть смысл борьбы и счастья нашей эпохи во всей ее полноте и конкретности».

Однако это даже не инвектива. Незначительный упрек. Возможно, только о Горьком могли тогда сказать, что ему «удалось раскрыть» смысл эпохи именно «во всей ее полноте и конкретности». О сюжете же гроссмановского рассказа Гоффеншефер рассуждал так, словно читатели знали его с детских лет, потому и анализировать детали нет нужды.

Не более аналитичен обзор С. Г. Гехта «“Рассказы” В. Гроссмана», опубликованный двухнедельным журналом «Литературное обозрение» в семнадцатом номере 1937 года. Казалось бы, нельзя в обзоре не анализировать писательский дебют[204].

Однако Гехт лишь утверждал, что дебютный рассказ выглядел чуть ли не чужеродно в «Литературной газете». Не походил на «литературные эмбрионы, принадлежащие перу известных авторов».

Критик упрекнул редакцию и одновременно похвалил. Упрек относился к прежнему низкому уровню публикаций, а похвалою отмечено, что «за подписью неизвестного автора появился хороший рассказ».

Далее Гехт попытался в нескольких фразах пересказать содержание, хотя вполне очевидно было, что задача такая заведомо неразрешима. Ну а вывод опять относился лишь к профессионализму Гроссмана: «Читатель проглотил всего пятнадцать книжных страничек, но надолго запомнил всех героев рассказа…»

Малоинформативна и статья И. Л. Гринберга «Мечта и счастье», опубликованная журналом «Звезда» в пятом номере 1937 года. Замечания о рассказе «В городе Бердичеве» на удивление кратки[205].

Персонажей гроссмановской прозы критик разделил на заслуживающих и не заслуживающих похвалы. Соответственно, хвалил первых, а прочих бранил: «Люди, готовые отдать счастье за кусок мыла, составляют вторую группу героев Гроссмана. Они встречаются, вернее – сталкиваются, с большевиками почти в

каждом рассказе».

Среди не заслуживающих похвалы есть, по мнению критика, достойные сочувствия. Например, семья Магазаников. Далее приведена финальная тирада Хаима, после чего отмечено: гроссмановский персонаж – «бедняк и именно поэтому он так жесток к себе».

Логическая связь здесь, по меньшей мере, сомнительная. Гринберг, подобно всем остальным, пытался уйти от конкретики.

Если подвести итоги, было признано, что «В городе Бердичеве» – рассказ, написанный мастером, причем «идеологически выдержанный». Но критики не желали анализировать его. Словно бы сговорились. Нет анализа ни в одной статье. И это знаковое отсутствие.

Причины, обусловившие знаковое отсутствие, не очевидны. «Еврейская тема» тут вроде бы ни при чем. Как таковая она тогда не была запрещена.

Но причины выявляются, если обратиться к общеидеологическому контексту. Гроссман – буквально на грани допустимого. Используя горьковские дефиниции, которые пытался вышучивать Липкин, отметим: критики не могли не видеть, что в рассказе конкурируют две правды. Оставляющая сына Вавилова по-комиссарски права. В последний бой должен вести отряд именно комиссар. Однако не оспорена никем и правота Бэйлы, уверенной, что материнский долг превыше всего. Мнение повествователя вообще не выражено.

При неясной авторской позиции сама идея столкновения двух правд весьма уязвима в аспекте советской идеологии. И все же серьезные претензии были тогда заведомо неуместны. Потому что критики знали: рассказ Гроссмана похвалил Горький, о чем редактора «Литературной газеты» официально известили.

Соответственно, хвалить разрешалось. Но и похвалы свои критики толком не аргументировали. И это опять закономерно. Чтобы найти аргументы, следовало бы анализировать базовый конфликт, обусловивший развитие действия. А он был явно провокативен. Ведь речь шла бы о правомерности/неправомерности поступка матери, отрекшейся от ребенка. Пожертвовавшей материнским долгом ради комиссарского.

Бесспорно, сама тема принесения жертвы во имя долга связана с общекультурной традицией. Величие любой идеи традиционно подтверждалось масштабом жертвы.

Но в советской культуре эта тема иначе трактуется. Лишь одна идея оправдывает любые жертвы – борьба за социализм. Ради нее брат воюет с братом, сын отрекается от родителей и даже убивает отца, жена может пожертвовать мужем и т. д. О различных вариантах жертвоприношения повествовали лучшие писатели, тут примеров немало[206].

Лишь один вариант жертвоприношения оставался словно бы под негласным запретом: это мать, жертвующая ребенком. Нет полного соответствия даже в литературе 1920-х – 1930-х годов.

Разве что некоторое сходство можно найти. Например, в романе Ф. В. Гладкова «Цемент». Коммунистка и жена коммуниста вслед за мужем уходит на гражданскую войну, оставив дочь в сиротском приюте, где та умирает.

Такая постановка вопроса о масштабах жертвы предсказуемо

ассоциировалась с романом Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». Именно там ставится вопрос о принципиальной допустимости страдания ребенка, пусть и во имя величайшей цели[207].

В романе, как известно, сделан однозначный вывод: недопустимо. И любые рассуждения о страданиях брошенного матерью ребенка отсылали бы к наследию Достоевского.

Но ситуация, описанная в гладковском романе, так не интерпретировалась. Прежде всего, потому что в «Цементе» героиня не исключала свое возвращение к ребенку. Из чего следовало: произошла трагическая случайность.

Вавилова же оставляет ребенка навсегда. Гроссман нарушил табу. О чем и писал в конце 1980-х годов. Бочаров: «Наверное, сейчас все наши писатели – в том числе и сам Гроссман, будь он жив, – не решились бы изобразить столь категоричный выбор. Даже в обширнейшей литературе о Великой Отечественной войне мы не найдем книги, в которой предстал бы образ матери, способной сознательно бросить малое дитя ради необязательного для нее боя»[208].

Последнее замечание принципиально. Бой – для Вавиловой – именно «необязательный». Даже взвод, прикрывающий отступление, не из ее батальона. Она не исполняет приказ, а делает свой выбор.

Жертва, о которой повествовал Гроссман, не столько утверждала величие идеи, сколько опровергала. Если такая жертва возможна, значит, никаких границ уже нет.

Конечно, Гроссман отчасти снял напряжение развязки. Эмоционально оправдал комиссара: Вавилова не просто оставила ребенка едва знакомой семье, но ушла на верную смерть, и Магазаник признал комиссарскую правду.

А противоречие все равно осталось. Критики не смогли бы его обойти, соберись они анализировать рассказ подробно. Так что удобнее было либо вовсе промолчать, либо ограничиться рассуждениями общего характера.

Стоит отметить, что рукопись гроссмановского рассказа хранится в РГАЛИ. И можно убедиться, что изначально финал планировался гораздо более жесткий. Фраза «Отряд скрылся за поворотом улицы» – не последняя. Далее была еще одна, менявшая эмоциональный акцент. Речь шла о Бэйле, которая «вздохнула и крикнула:

– Ну, татарин!»[209].

В русской фольклорной традиции слово «татарин» – и этноним, и обозначение жестокого чужеземца. Так что Бэйла свою оценку сформулировала.

Разумеется, при желании можно было бы обосновать и другую интерпретацию. В рассказе упомянуто отнюдь не случайно, что уличное прозвище Магазаника – Тутер. На идиш у этого слова несколько значений. Из них первое – «татарин»[210].

Правда, соседи, давшие прозвище Магазанику, имели в виду не этноним. Слово «тутер» используется еще и в значениях «колдун», «заговаривающий зубы». Метафорически – «болтун».

Добрый и работящий Магазаник действительно многословен. И можно истолковать так, что последняя фраза Бэйлы адресована мужу и выражает ее отношение к тираде Хаима о «настоящих людях». Болтовня это, а нужно делом заниматься. В частности, ухаживать за ребенком.

Однако такое истолкование весьма условно. Гораздо более частотно употребление слова «тутер» в значениях «чужой», «не придерживающийся традиций», «не поступающий так, как должно», а главное – «дикий», «жестокий». Тут сходство с русской фольклорной традицией очевидно. Изчего следует, что возглас Бэйлы все-таки относится к Вавиловой. Комиссарскую правду жена Магазаника не приняла. Она по-своему осудила комиссара.

Нет оснований сомневаться, что рассказ сокращен при редактуре. Гроссман вполне осознанно вышел за рамки допустимого, хотя и пути отступления подготовил. Но для публикации выбрано было иное решение. Финал, как говорится, смикширован.

В рукописном варианте жена Магазаника вынесла свой приговор: дикость, жестокость, которой нет оправдания. А в публикации оценка, данная Бэйлой, не формулировалась непосредственно. И это делало рассказ – по тогдашней терминологии – «проходимым».

Тем не менее Гроссман все равно выразил, что хотел. И рукописный вариант, и печатный не дают основания сомневаться: сын комиссара останется у Магазаников, будет их восьмым ребенком. Здесь мнения Хаима и Бэйлы едины. Но и противоречивость оценки комиссарского поступка не скрыта.

Компромиссы и реминисценции

Гроссмановский рассказбыл и впрямь необычен. Однако чем же обусловлена необычность – советские критики не пытались объяснить.

Примечательно, что полвека спустя не пытался и Липкин. Он лишь обозначил фактор, способствовавший успеху: «Гроссман, приехавший в Москву из Донбасса после развода со своей первой женой, был радостно встречен перевальцами, подружился с ними».

Единомышленников, значит, обрел в «Перевале». И мемуарист объяснил почему: «Я думаю, что в дебютном рассказе Гроссмана их привлекал образ Вавиловой, написанный безангажированного романтизма тех лет. Вавилова, комиссар Красной Армии, лежит в бердичевской хате беременная. Идет гражданская война, а комиссар – беременная. Это должно было понравиться перевальцам».

Отсюда следует, во-первых, что о дружбе Гроссмана с «перевальцами» Липкин слышал, но от кого и много ли – судить уже нельзя. Во-вторых, «дебютный рассказ» мемуарист либо не читал, либо не желал анализировать.

Конфликт рассказа – не комический. Он вообще не сводим к беременности комиссара.

Что именно «должно было понравиться перевальцам» – можно спорить. Но что бы ни понравилось, не первостепенна их роль в организации гроссмановского триумфа. Сами по себе не располагали они возможностями сделать так, чтобы дебютант разом стал триумфатором.

Такое даже тогда не получилось бы, когда «Перевал» был влиятелен. При Воронском, авторитетном большевистском администраторе. А к 1934 году нет уже ни влияния, ни сообщества как такового. Все литературные группировки ликвидированы постановлением ЦК партии.

Характерно, что Липкин не упоминает Катаева и Зарудина лично. Речь идет о неких безымянных «перевальцах». Впрочем, неважно, знал ли мемуарист, кто именно дебютанту помогал. Главное, что друзья постольку Гроссману помочь сумели, поскольку для этого сами воспользовались помощью Горького. Действовали как его эмиссары – редакторы альманаха «Год XVII».

Но Горький, по концепции Липкина, вообще не годился на роль покровителя нонконформиста. А потому был заменен безымянными «перевальцами». Они идеально подходили. Базовая программная установка «Перевала» – искренность, что и

акцентировал мемуарист.

Понятно, что стараниями Катаева и Зарудина гроссмановские рукописи попали к Горькому еще до многими замеченной публикации в «Литературной газете». Включая и рассказ «В городе Бердичеве». Другой вопрос, почему же так понравился он почетному председателю Оргкомитета.

Да, Гроссман был талантлив. Но важно и то, что он, по сути, интерпретировал сюжет горьковского рассказа «Мать изменника» – из цикла «Сказки об Италии»[211].

Место и время действия, разумеется, другие. Но основа конфликта сходная. У Горького сын героини перешел на сторону врагов, стал их полководцем и теперь осаждает родной город. Пробравшись во вражеский лагерь, мать изменника убивает его. А затем – себя. Она не только спасает горожан. Род был опозорен изменой, позор смыт кровью, а жить сыноубийце уже незачем.

Тема измены – не центральная в гроссмановском рассказе. Вавилова не хотела рожать, потому как не собиралась уходить избатальона. Но, став матерью, она уже не служит, значит, изменила комиссарскому долгу. И, пренебрегая материнским, выбирает смерть, чтобы такой ценой остаться комиссаром.

У Гроссмана, подчеркнем, конфликт не вполне идентичен горьковскому, зато итог один: жертвоприношение. Величие идеи определено масштабом жертвы.

Гроссман, обдумывая сюжет, вряд ли на горьковское восприятие ориентировался. Вероятность такого – практически нулевая. А вот друзья его знали толк в литературных играх.

Реакция Горького была предсказуема. Он не мог не заметить сходство. Потому в Гроссмане видел ученика, что при личной встрече дал понять ясно.

Критики, надо полагать, сходство тоже заметили. Но обсуждать не рискнули – ни сходство, ни различия. Слишком уж много подразумевалось нежелательных ассоциаций.

Похоже, Горький изменил финал рассказа «В городе Бердичеве». Что называется, смикшировал. Ради успеха столичного дебюта Гроссман с правкой согласился. И выиграл. В дальнейшем результат обеспечивался административным ресурсом покровителя…

На компромиссы Гроссман и позже соглашался. Что подтверждается, в частности, киносценарием по мотивам рассказа «В городе Бердичеве». Рукописи тоже хранятся в РГАЛИ[212].

Трагизм конфликта попросту устранен в сценарии. Вавилова не уходит в свой последний и заведомо «необязательный» бой. Сына оставляет лишь временно, отправившись выполнять

приказ – доставить командованию некие важные документы. После этого участвует в новом захвате Бердичева и получает наконец заслуженную награду. Комиссар не теряет ничего, даже и обретает.

На уровне конфликта минимизировано сходство киноверсии с литературной. Если рассказ – удача, хотя «идеологическая выдержанность» сомнительна, то сценарий несомненно «выдержан» и отнюдь не удачен.

В рассказе – выбор между жизнью матери и смертью комиссара. Вавилова не ищет обходных путей, ничего и никому, даже себе не объясняет. Измена материнскому долгу не обоснована. Это и провокативно.

Сценарий же отнюдь не провокативен. В основе драматургии – нелегкое испытание, которое должна пройти образцовая коммунистка. И проходит, не теряя ничего. Самой жертвы нет. Есть лишь проверка готовности жертвовать. Она и вознаграждается.

Конечно, Гроссман понимал, что киноверсия исключает литературный замысел. Уничтожает его, оставляя лишь элементы событийной основы.

Причины выбора компромиссного пути, надо полагать, финансовые. У Гроссмана, ставшего литератором-профессионалом, больше не было стабильного инженерского жалованья. Издательские гонорары он получал от случая к случаю, а работа сценариста оплачивались по очень высоким расценкам.

Один сценарий обеспечивал быт автора надолго. Сначала требовалось написать сценарную заявку, краткий план. Всего несколько страниц, но минимальная оплата составляла полугодовое жалованье инженера. И публикацию ждать не нужно.

Еще больше платили за так называемый синопсис. Далее оплачивался готовый литературный сценарий. И это уже составляло жалованье инженера за несколько лет.

Сценарист получал гонорар по частям. Причем самая большая выплата – за готовый и принятый к производству сценарий. Она вполне соизмерима с гонораром за книгу. Дополнительно же платили, когда фильм выходил в прокат. Так что соблазн был велик.

До съемок фильма дело не дошло. Но похоже, что заявку и синопсис Гроссману оплатили. Документы, связанные с подготовкой сценария, осели в личном архиве писателя как свидетельство конформности.

Не исключено, что Гроссман и не пытался довести работу до уровня, требуемого заказчиком. Просто воспользовался случаем,

получил сравнительно легкий заработок. Сценарий буквально разваливался, нельзя было сохранить динамику, нейтрализовав конфликт, и вряд ли писатель не понимал это изначально.

Что касается рассказа, так он был уже не раз опубликован. И не исключалась возможность новых публикаций, даже если бы фильм вышел.

Рассказ все равно считался «проходимым», коль скоро был одобрен Горьким. Ну а специфика критической рецепции – закономерный результат провокативности конфликта, что еще раз и выявил сценарий.

Горьковская защита

Подчеркнем, что гроссмановский триумф осмыслялся и мемуаристами, и литературоведами. Вне осмысления же оставался важный фактор – постоянная опасность ареста.

Характерно, что в автобиографиях Гроссман даже не упомянул журнал «Литературный Донбасс». А ведь на самом деле там и дебютировал как прозаик.

Всесоюзную известность принес, конечно, столичный дебют. Но и донбассовские публикации – не такие уж малозначительные события. Областной журнал, читателей – тысячи, это Гроссман и обсуждал в переписке с отцом.

Допустимо, что знаковое отсутствие упоминаний о журнале обусловлено акцентированием горьковской роли в «биографическом мифе». Гроссман подчеркивал: его путь как писателя начался с благословения «литературного отца».

Однако «Глюкауф» и первый рассказ в «Литературном Донбассе» Гроссман напечатал, еще будучи инженером. Мог бы интерпретировать так, что затем опубликовался в «Литературной газете», встретился с Горьким и – с его благословения – сменил профессию. Тоже вполне логично.

На самом деле умолчания обусловлены не только «биографическим мифом». Уже после гроссмановских публикаций в «Литературном Донбассе» редактор журнала был арестован. Вскоре и выслан за пределы Украины. Обвинение тогда стандартное – «антисоветская троцкистская деятельность»[213].

Повторно Баглюк арестован в 1935 году. В 1936 году приговорен к пятилетнему заключению в исправительно-трудовом лагере. Обвинение вновь стандартное – «контрреволюционная агитация». Расстрелян в 1938 году. Потому упоминания о «Литературном Донбассе» были нежелательны – по крайней мере, в сталинскую эпоху. Они вызывали бы весьма опасные ассоциации.

Трудно сказать, когда Гроссман узнал, что бывший редактор «Литературного Донбасса» повторно арестован и осужден. Но о первом аресте знал еще в 1934 году.

Получилось, что и родственница Гроссмана, и друг его официально признаны «контрреволюционерами». Значит, писателем могли в любой момент заинтересоваться сотрудники Главного управления государственной безопасности НКВД СССР. Аккурат с июля эта организация заменила ОГПУ.

Не осознавать эту опасность преуспевающий московский прозаик не мог. О другой же, надо полагать, не знал, хотя она и

была гораздо большей. 25 декабря 1935 года Г. Г. Ягоде, возглавлявшему тогда и ГУГБ и НКВД в целом, отправлен секретный документ – так называемое спецсообщение. Заголовок характерный: «Вскрыта контрреволюционная группа писателей, существующая с ноября 1933 года»[214].

Далее – анкетные данные основных участников. Таковыми признаны шесть литераторов.

Первый – Катаев, о котором сказано, кроме прочего, что он возглавляет «группу» и ранее состоял в «литературном объединении “Перевал”».

Бывшие перевальцы также Зарудин, Губер и Лежнев. Давние коллеги, единомышленники, друзья.

Пятый – Вс. В. Лебедев. К 1935 году он был довольно известным этнографом, а не только писателем, но в «Перевале» не состоял никогда.

Гроссман – шестой. Подобно Лебедеву, с «перевальцами» связан лишь дружбой.

Специфика формирования писательского сообщества тоже отражена секретным документом. Указано: «Группа эта была сколочена И. И. Катаевым на базе литературно-политических установок основателя “Перевала”, троцкиста Воронского, и первое сборище группы 27 ноября 1933 года состоялось на квартире Катаева под руководством Воронского».

Характерен выбор лексических средств. Не собрание «состоялось на квартире», а «сборище».

Маркированное слово должно было акцентировать мнение автора о собиравшихся. Потому и повторялось: «В дальнейшем сборища группы происходили регулярно, один или два раза в месяц, на квартирах Катаева и др. участников группы».

Отмечено также, что встречались не только по квартирам. Еще и по месту работы лидера группы: «До 1934 года группа имела базу в издательстве Московского товарищества писателей».

Опять же характерный выбор лексических средств. Группа писателей «имела базу», словно войсковая часть.

Согласно документу, группа имитировала литературную деятельность. Для того и был сформирован при Издательстве МТП «Кружок новеллистов».

Там, по словам автора спецсообщения, вербовали сообщников. Для чего «привлекали и прорабатывали в антисоветском духе ряд писателей…».

Гроссман и Лебедев – из тех, кого «привлекали и прорабатывали». Они, в отличие от других, тоже названных автором документа, примкнули к преступному сообществу.

Кстати, отцу Гроссман в начале декабря 1933 года сообщил,

как выше отмечалось, что его новеллы Катаев читал «на собрании 10<-ти> писателей». Речь, соответственно, идет об одном из ранних «сборищ» пресловутой «контрреволюционной группы».

Значит, присутствовали тогда, вместе с Гроссманом, одиннадцать. И осталось шестеро. Не исключено, правда, что в документе не приведены имена осведомителей. Автор же отметил: «На собраниях “Кружка новеллистов” читались произведения членов кружка, неопубликованные и не предназначенные к опубликованию в силу их антисоветской направленности…».

Получалось, что писатели собирались в издательстве, чтобы публично читать заведомо крамольные произведения. Вероятность такого – практически нулевая. Но поскольку само понятие «антисоветская направленность» в законодательстве определено не было, постольку и допускались толкования сколь угодно широкие. И автор документа подчеркнул: «Одновременно происходило обсуждение в антисоветском духе текущих политических и общественно-литературных событий».

Если верить спецсообщению, участники криминального сообщества планировали и расширение деятельности. Планы не реализовались: «В конце ноября 1934 года, после того, как попытка захватить в свои руки издательство Московского товарищества писателей путем назначения Воронского главным редактором, а И. Катаева – председателем художественного совета издательства провалилась, и Издательство Московского товарищества писателей было реорганизовано, группа освободилась от ненужных ей людей и соорганизовалась под условным названием “Кружок людей, интересующихся жизнью”».

Разумеется, ни Воронский, ни Катаев, ни прочие участники собраний не планировали «захватить» Издательство МТП. Кандидатуры главреда и предхудсовета такого учреждения обсуждались, а позже утверждались на уровне руководства ССП и при согласовании с ЦК партии. Понимали это и автор, и адресат документа, но действовали правила, исключавшие рациональный подход.

В спецсообщении не объяснено, почему не реализованы планы «контрреволюционного» сообщества. Отмечено только, что появились и новые: «Одновременно было решено на первом общем собрании реорганизованной группы обсудить вопрос о привлечении к ее работе А. Воронского».

Состоялось ли «привлечение» – не сообщается. Автор документа указывает: «Декабрьские события 1934 года и последовавшие затем репрессии в отношении контрреволюционных антипартийных групп встревожили группу,

собрания которой на время были прекращены».

Как известно, 1 декабря 1934 года убит первый секретарь Ленинградского обкома партии С. М. Киров. Убийца – коммунист Л. В. Николаев. Арестован на месте преступления, впоследствии осужден и расстрелян.

В историографии с 1960-х годов утвердилось мнение, согласно которому убийство высокопоставленного функционера подготовлено сотрудниками НКВД – по личному указанию Сталина. Принято также считать, что оно стало началом «большого террора».

Ну а в советской прессе убийство Кирова интерпретировалось как результат заговора давно разгромленной «партийной оппозиции». Прежде всего – сторонников Троцкого. Соответственно, арестованы были в первую очередь коммунисты. Не все из них имели когда-либо хоть какое-нибудь отношение к «левым» или «правым», но это уже не играло роли.

Бывших оппозиционеров, сумевших вернуть партийный статус, вновь его лишали, что нередко предшествовало аресту. Воронского тоже опять исключили из партии – как не вполне раскаявшегося троцкиста.

Так что упоминания о Воронском – обозначение актуальности криминальной связи. «Контрреволюционное» писательское сообщество должен непосредственно возглавить либо уже возглавляет именно троцкист. И оно вновь активизировалось: «С весны 1935 года большинство членов группы бывали в длительных отъездах и в “творческих командировках”, в домах отдыха, на охоте и т. п., но связь между ними не прерывалась и собрания находившихся в Москве членов группы продолжались. За этот период группа пыталась через Вс. Лебедева утвердиться в журнале “30 дней” и превратить его в свой орган и свою организационно-финансовую базу, но это ей не удалось».

Понятно, что «утвердиться» в журнале известные писатели могли и безвсякой помощи. А вот «превратить его в свой орган и свою организационно-финансовую базу» не сумели бы никак. Для этого требовалось согласие руководства ССП и ЦК партии.

Но опять же и автор, и адресат документа знали, что детали тут не важны. Согласно пропагандистским канонам, преступной организации полагалось создавать «базу», подчинять себе издательские учреждения и т. п.

Катаев, Зарудин, Губер, Лебедев и Гроссман попали в так называемую оперативную разработку. Дальше все шло, как говорится, по накатанному пути.

Если что и может показаться странным, так это датировка спецсообщения. Нарком получил сведения о

«контрреволюционной группе», действовавшей более двух лет. Да еще и сформированной «на базе литературно-политических установок» троцкиста, за которым велось постоянное наблюдение. При таком результате надлежало вроде бы объяснить, куда раньше смотрел автор документа, как сумел не заметить криминальное сообщество, а если знал о нем, почему же не информировал начальство своевременно.

Объяснений не было. Потому что спецсообщение – формальность.

Наркому и раньше посылали сведения о результатах оперативной разработки, а в декабре 1935 года был подготовлен своего рода конспект прежних донесений. Итог ясен: «Политические установки группы имеют отчетливый антисоветский характер, что нашло выражение в многочисленных высказываниях при обсуждении общеполитических и литературных вопросов на собраниях группы или в беседах отдельных членов группы, имевших место в течение текущего 1935 года».

Следовательно, «контрреволюционное» сообщество не распалось. Даже наоборот, вновь активизируется: «В настоящее время сборища группы возобновились».

Автор документа сообщил таким образом, что оперативная разработка уже завершена. Требуется лишь согласие на арест.

Формальных оснований хватало. Действительно, собирались писатели на квартирах и в издательстве. Читали, обсуждали прочитанное, критиковали правительство. За подобного рода действия тысячи советских граждан оказались тогда в тюрьмах и лагерях.

Однако автор цитированного выше документа не получил согласие наркома. Писателей даже на допросы не вызывали.

Вероятно, на то было несколько причин. И одна из них вполне очевидна: до поры защищал писателей горьковский авторитет.

Горький, чье влияние несколько уменьшилось, оставался пока в силе. Сталин это даже подчеркивал иногда. Так что для ареста писателей требовалось и согласие генсека. Отнюдь не всегда его удавалось получить.

Сталин ли интригу пресек, Ягода ли по собственной инициативе отложил реализацию оперативной разработки – неизвестно. Однако в любом случае важнейшим фактором защиты был авторитет Горького.

В спорах о зле

Гроссман, похоже, не узнал и позже, что в декабре 1935 года решался вопрос об аресте. Судя по письмам, много работал тогда, ну а критики обсуждали его публикации.

В 1936 году издан сборник «Четыре дня». Туда вошел и одноименный рассказ, тоже обсуждавшийся в периодике[215].

Отзывы, впрочем, были не более внятные, чем на рассказ «В городе Бердичеве». И это вновь обусловлено спецификой конфликта.

Место и время действия те же – Бердичев, советско-польская война. И сюжет отчасти повторяет сюжет рассказа, опубликованного «Литературной газетой».

Польские войска наступают, красные отходят, при отступлении город не успевают покинуть три комиссара – Верхотурский, Москвин и Факторович. Им нужно спрятаться, чтобы контрнаступления дождаться.

Старший – Верхотурский. Он родом из Бердичева, ветеран большевистской партии. Убежище – вместе с товарищами – находит в доме одноклассника, городского врача.

Комиссары вроде бы в безопасности. Вероятность обыска невелика, запасов провизии в докторском доме хватит надолго, жена хозяина хлебосольна. Сам врач занят больными, зарабатывает деньги, чтобы кормить семью, политические проблемы ему не интересны, хотя, понятно, другу юности не откажет в убежище.

Ну а комиссарам нужно только дождаться прихода красных. Позади годы боев, лишений, теперь же Верхотурский, Факторович и Москвин, едва оправившиеся от ран, могут некоторое время – вполне обоснованно – бездействовать в сытости и комфорте.

Однако именно это угнетает их. После четырех суток отдыха комиссары, не прощаясь, ночью покидают дом, чтобы перейти линию фронта. Отправляются навстречу опасности, презирая доктора и его быт.

Сюжетом не мотивирована необходимость поспешного и тайного ухода. И все же комиссары уходят, не выдержав, как говорит один из них «пытки цыплятами и сливочным маслом».

Верхотурский, Факторович и Москвин остаются комиссарами, как Вавилова. Нет лишь указаний, что гибель неминуема. Риск, понятно, есть, однако не больший, чем в бою.

На этот раз критики не отделывались общими фразами. Гроссмановский рассказ в довоенные годы подробно анализировали шесть рецензентов… Но примечательно, что все

отзывы фактически однотипны. Сводятся они к противопоставлению мещанства – большевистскому стремлению к борьбе.

Критики безоговорочно признали комиссарскую правду. Разница была лишь в степени презрения и озлобления по отношению к доктору.

Верхнюю грань обозначил Г. А. Бровман. Его статью «Пафос социалистического гуманизма» поместил журнал «Знамя» – в декабрьском номере 1937 года[216].

Отношения гостей и хозяина Бровман осмыслил как противостояние сил добра и зла. Бескомпромиссное: «Коммунисты задыхаются в затхлой мещанской атмосфере, и между ними и доктором происходит глухая и жестокая, хотя и невидимая борьба. За окном белополяки, коммунисты недосягаемы для них, но доктор – враг еще более страшный, чем вооруженные противники».

И. Л. Гринберг тоже ожесточен. Его статью «Мечта и счастье» поместил журнал «Звезда» – в пятом номере 1937 года[217].

По словам Гринберга, доктор лишь наружно безобиден. А «на поверку оказывается существом довольно страшным. Читатель понимает отвращение, овладевающее Верхотурским, кошмары, мучающие Факторовича, который сам провел детство и юность в таком “паточном доме”».

Границу нижнюю обозначил Л. И. Левин. Его статья «Уважение к жизни» напечатана журналом «Знамя» в двенадцатом номере 1936 года[218].

Доктору он вообще уделил минимум внимания. По Левину, обывательская приземленность лишь подчеркивает комиссарскую решимость и самоотверженность – «могущественный и суровый пафос революционного дела».

Таковы границы. Остальные рецензии ничего по сути не добавляют к сказанному выше[219].

Однако примечательно, что оценки критиков не подтверждены суждениями автора рассказа. Комиссары доктора презирают, но это лишь их мнение.

Позиция автора гораздо сложнее, что критиками откровенно игнорировалось. У Гроссмана доктор – отнюдь не монстр. Он сравнительно богат, но и много работает, не может сидеть без дела, как неоднократно отмечено в рассказе. Не только в городе, но и по окрестным деревням – «обширная практика».

Одноклассник Верхотурского – единственный врач, делающий обходы больных постоянно, невзирая на смену городских властей. Даже когда на улицах стрельба. Единственная защита – повязка на рукаве, благодаря которой воюющие, коль

скоро захотят, могут заметить, что перед ними не противник.

Доктор жизнью рискует, исполняя профессиональный долг. И, пряча комиссаров, тоже пренебрегает опасностью. Но политикой все равно не интересуется. От полемики с гостями уклоняется, ведь комиссары так и не могут ответить толком на главный его вопрос: «Почему во время революции, которая якобы сделана для счастья людей, в первую очередь страдают дети, старики, беспомощные и ни в чем не виноватые люди? А? Объясните мне это, пожалуйста!»

По Гроссману, у врача своя правда. Критики же настаивали, что он – не просто обыватель, сросшийся с удобным бытом, но и враг. Основным аргументом стал один из эпизодов рассказа.

Комиссары, услышав крики на улице, подошли к окну и увидели, как польский солдат буквально разул какого-то горожанина. Но тот решил не отдавать врагу свои ботинки и, опомнившись, кинулся ему вслед с криком: «Пане, мои буты!»

Ограбленный будто забыл, что солдат может его убить. В итоге мародер, явно не желавший, чтобы инцидент получил огласку, бросил отнятое, и владелец, обувшись, «пошел к одному издомов, победно стуча отвоеванными ботинками».

За мародерство в польской армии судили. По крайней мере, такова была официальная установка.

Стоит отметить, что в РККА на мародерство, даже и массовое, часто не обращали внимания. Фактически оно было разрешено: пока шла гражданская война, регулярное снабжение войск не удавалось полностью наладить. Один изсамых популярных из оправдывающих разбой терминов – «реквизиция».

Умышленно, нет ли, но Гроссман показал различие официальных установок – польских и советских. А главное, в рассказе акцентируется одобрение всех горожан, заметивших инцидент. Они шли за владельцем ботинок по улице, «хлопали его по спине и хохотали, полные гордости, что маленький человек оказался сильней солдата».

Наблюдавшие из окна эту сцену комиссары презирают рисковавшего жизнью ради обуви. Никакого мотива, кроме жадности, не видят. Соответственно, Верхотурский говорит: «Поляков мы прогоним через месяц или три… а вот с этим индивидом нам долго придется воевать, ух как долго!».

Верхотурский общее комиссарское мнение выразил: победить вооруженных противников советского режима можно гораздо быстрее, чем одолеть инстинкт собственника. А не одолев, построить социализм нельзя.

С этой точки зрения доктор, рискуя жизнью прячущий комиссаров от польской армии, тоже враг, хотя и в перспективе.

Он – собственник, что и акцентировали критики.

Рассказ «В городе Бердичеве» подразумевает некое примирение. Можно сказать, там две правды сходятся и расходятся. Нет враждебности между Вавиловой и Магазаниками. Скорее, наоборот: возникает обоюдная симпатия.

Комиссары же из рассказа «Четыре дня» непримиримы по отношению к доктору. Сначала он просто чужой. А затем – потенциальный враг.

Характерно, что врач не считает врагами своих незваных гостей. Зато они уверены, что в будущем с хозяином дома предстоит борьба. Если не примет комиссарскую правду.

Критики упорно игнорировали неоднозначность авторской позиции. Но и не только это. Рецензенты словно бы не замечали, что гроссмановское заглавие – «Четыре дня» – цитата. Отсылающая к другому рассказу, хрестоматийно известному в досоветский период.

Заглавие «Четыре дня» предсказуемо ассоциировалось с рассказом В. М. Гаршина. Там, конечно, сюжет иной. Время действия – русско-турецкая война 1877–1878 годов[220].

Как известно, автор в ней участвовал наряду с тысячами добровольцев. Она изначально была мифологизирована энтузиастами идеи «освобождения братьев-славян от турецкого ига».

У Гаршина тяжело раненный русский солдат-доброволец лежит на поле боя, рядом – убитый им турок. Не только уйти, отползти нет возможности. Дневная жара, ночной холод, зловоние разлагающегося трупа, боль. Так – четыре дня. За это время герой понимает, что любая война преступна.

Гроссмановский доктор примерно о том же говорит. Безрезультатно.

Автор не мог осудить комиссаров. Но и врача не осудил.

Комиссары, бесспорно, вызывают читательскую симпатию. Отважные бессребреники, сражающиеся за великую идею. Врач от абстракций далек и отнюдь не всегда бескорыстен. Работа для него – в первую очередь источник доходов, причем немалых.

Но у Гроссмана противопоставление строится не только по критериям идейности/безыдейности и бескорыстия/корыстолюбия. Важнее другое.

Отважные борцы за идею непременно кем-нибудь жертвуют. Пусть и себя не жалеют, но от этого ничего не меняется. Другие жертвы неизбежны, и среди беззащитных тоже. А безыдейный врач, хоть и рискует без энтузиазма, часто лишь денег ради, не жертвует никем. Он лечит всех, невзирая на идеологические различия. Соответственно, нет у него причин оправдывать

страдания беззащитных.

Вот эту проблему критики игнорировали вполне осознанно. Анализ убеждений доктора обязательно привел бы к сомнениям в комиссарской правде.

Гроссман в рассказе «Четыре дня» – у пределов допустимого. Цензурные инструкции не нарушил, зато эмпирически выяснилось, что нет полного соответствия идеологическим установкам.

Сам конфликт был провокативен. И на этом уровне очевидно сходство с рассказом «В городе Бердичеве». Вавиловский нравственный выбор подразумевает вопрос. Аналогично – отношение комиссаров к врачу.

Пусть вопрос не такой опасный, и все же достаточно сложный. Москвин, Факторович, Верхотурский – разные. Но одинаково нетерпимы к инакомыслию. Повествователем же не объяснена причина их непримиримости к любой попытке сохранить убеждения, от комиссарских отличающиеся.

Критики от вопроса уклонились. Анализподтекста был бы – по сути – политическим доносом. И обвиняемым оказался бы не только Гроссман. Еще и все, кто санкционировал публикацию.

К тому же обвинения легко было бы обратить против обвинителей. В конце концов, анализ подтекста всегда признавался интерпретацией. Антисоветская – тоже преступление.

Жернова интриг

Возможно, критики догадывались, что материалом для рассказа «Четыре дня» были и личные впечатления автора. На его родственника по материнской линии очень похож доктор, предоставивший убежище комиссаром.

Д. С. Шеренцис, ставшей мужем А. С. Витис, действительно был очень популярным бердичевским врачом. И, по мнению некоторых родственников, описание просторного дома преуспевающего доктора вполне соответствовало реальности.

Кстати, в этом доме жила тогда и мать Гроссмана. От нее и узнал мнение Шеренциса. 12 ноября 1936 года отцу сообщил: один из московских родственников «настрочил письмо дяде Давиду по поводу моего рассказа “Четыре дня”, дядя очень огорчился».

Родственник пересказал мнения о враче. Соответственно, «дядя очень огорчился». На племянника обиделся. Гроссман же отметил: «Меня это все расстроило – послал ему и письмо, и книжку. Пусть судит сам».

Значит, Гроссман полагал, что лишь риторическими ухищрениями критиков обусловлена была оценка врача как «существа довольно страшного». Не сомневался, что авторскую позицию непредубежденный читатель поймет. В том же письме сообщил: «Сегодня в “Правде” напечатана статья о моей книжке, нельзя сказать, чтобы ругательная, но и не очень похвальная. Конечно, важен самый факт напечатания в “Правде”. Это случается не со многими писателями. Лично я этой статьей вполне удовлетворен».

Речь шла о статье А. Ф. Гурштейна «В поисках простоты». Сформулированы там инвективы политического характера[221].

Мнение, выраженное в «Правде», считалось официальным, если, конечно, его не дезавуировали в дальнейшем. И критик утверждал, что Гроссман «еще до сих пор не освободился от влияния писателей, зараженных скептицизмом старой, умирающей культуры».

Аргументы тут же приводились. Если верить Гурштейну, персонажи гроссмановских рассказов обычно с «червоточинкой». Основные упреки относились к двум рассказам.

Первый – «Рассказик о счастье», героиня которого – душевнобольная старуха, постоянно радующаяся тому, что жива. Эмоциональная авторская оценка показалась критику неуместной.

Второй рассказ – «Запальщик» – о старом горняке, решившем

покончить самоубийством именно в шахте. Тут отношение автора к персонажу опять вызвало неудовольствие критика.

Согласно Гурштейну, авторскую позицию надлежало выражать однозначно. Критик утверждал, что пресловутая «“червоточинка” определяла не только характеры героев у Гроссмана, она становилась определяющей для всего художественного построения. Скептицизм вносил фрагментарность, обрывочность в форму повествования. Потому что скептик не видит граней, для него не существует “начала” и “конца”, он во всех явлениях видит извечную повторяемость и на все машет рукой: “всякое, мол, бывало!..”».

Инвективы критик смягчил – в итоге. Отметил, что «последняя книга В. Гроссмана “Четыре дня” свидетельствует о любопытных поисках автора, о его стремлении освободиться от чуждых его собственной природе влияний…».

Эта оценка подтверждала, что Гроссман все-таки лоялен советскому режиму. Искренне лоялен, по убеждению. Он – свой, только, как тогда говорили, «недостаточно проникся духом эпохи».

Гурштейн, конечно, помнил, кто был гроссмановским покровителем. Но ситуация изменилась. Как известно, Горький умер в июне 1936 года. Согласно официальной версии, причина – обусловленное простудой воспаление легких. Писатели тогда лишились авторитетного защитника.

Начались аресты. Так, в ноябре арестован и В. И. Нарбут, входивший в состав Оргкомитета I съезда ССП[222].

Обсуждал ли Гроссман новую ситуацию с отцом – неизвестно. Писем 1936 года мало. Допустимо, правда, что они были позже уничтожены.

Также не исключено, что сын и отец ситуацию обсуждали, когда встречались в Москве. Или – в период летних отпусков, на даче, которую снимал Гроссман.

В любом случае Гроссман понимал, что влияет на тональность критических отзывов. Гурштейн прозрачно намекал: горьковское мнение – уже не защита.

Впрочем, у агрессивности критика были и другие причины. Продолжалось давнее соперничество Отдела агитации и пропаганды ЦК партии, знаменитого Агитпропа, и руководства ССП.

Ранее ССП фактически руководил 1-й секретарь правления – А. С. Щербаков. Опытный функционер, он решал проблемы административные и хозяйственные. Но в 1936 году переведен на другую партийную работу, и организационная структура несколько изменилась.

Председателем правления ССП стал А. Н. Толстой, фактически же руководство перешло к генеральному секретарю – бывшему рапповцу В. П. Ставскому. Функционеру среди писателей и писателю среди функционеров.

Прежде всего, Ставский утверждал гонорарные ставки. Гонорары в издательствах и периодике с 1931 года уже не зависели от популярности автора, тут определяющим было мнение литературных функционеров, устанавливавших иерархию оплаты. То же самое относилось и к тиражам. Разумеется, учитывался и спрос, но – отнюдь не в первую очередь.

ССП был весьма богатой организацией. Так что Ставский распределял и квартиры, и дачи и т. д. Ориентировался на собственные представления о масштабах писательского дарования и политической целесообразности льгот.

У агитпроповских функционеров были, понятно, свои креатуры. Мнения часто расходились, спор, по сути, шел о влиянии. уступать не привыкли.

У Ставского были свои противники и союзники в ССП. И агитпроповские функционеры по обыкновению использовали разногласия. Провоцировали жалобы недовольных и на этом основании в конфликты вмешивались, расширяя свое влияние таким образом.

Стараниями агитпроповских функционеров в ЦК партии Ставскому инкриминировали неумелое администрирование, невнимание к беспартийным писателям и недостаточную активность критики. Насколько были обоснованны подобные обвинения – вряд ли уместно анализировать.

Важно, что осенью 1936 года положение Ставского многие литераторы считали не вполне прочным. Были на то основания. В «Правде» нередко публиковались статьи о литературе, подразумевавшие нелестные оценки руководства ССП.

Ставский умело защищался. И пытался наладить диалог с наиболее известными критиками.

Он лично обратился к Гурштейну в сентябре, отправив письмо, которое можно было считать и официальным. Просил, в частности, активизировать работу критиков, состоявших в ССП[223].

Гроссман в такой игре был, что называется, одной из карт. Его и «разыгрывал» Гурштейн, словно карту.

Выбор, сделанный критиком осенью 1936 года, вполне понятен, если учесть специфический административный контекст. Гурштейн сыграл так, чтобы угодить обеим противоборствующим сторонам.

При таком подходе Гроссман был идеальным объектом.

Литературной известности добился, соответственно, появление статьи в «Правде» вполне объяснимо. Беспартийный, следовательно, вопрос об ответственности партийной организации тоже не подразумевается. И по статусу – лишь «кандидат в члены Союза советских писателей», почему и ответственность писательского руководства минимальна. А еще гурштейновская статья показывала, словно бы невзначай, что и Горький не все замечал, в чем-то ошибался. Это было на руку и Ставскому, и Агитпропу.

Статья не подразумевала так называемых оргвыводов. Ясно было только, что писательский статус Гроссмана рано повышать. Не заслужил награду, хотя и взыскивать особо не за что. Как говорится, «указали место».

Гроссмана, похоже, гурштейновская статья не удивила и не испугала. Дело тут не в том, что был прозорлив, не из пугливых, да и к наградам не рвался. Гурштейн специально оговорил: «червоточинку» способен ликвидировать сам писатель. Значит, не велик недостаток. А главное, не где-нибудь, а в «Правде» точно определен уровень претензий.

Осенью 1936 года такой результат можно было считать даже удачей. Пустяками отделался. О чем Гроссман и написал отцу. Подчеркнул, что «вполне удовлетворен».

Можно сказать, что Гроссман в интригах Агитпропа и руководства ССП оказался между двух жерновов. И выскользнул – практически без потерь.

Но он получил своего рода предупреждение: убедился, что критики подтекст видят. Умолчание либо отказ от анализа были куда красноречивее благодушных откликов на роман «Глюкауф» и такие рассказы, как «Весна» или «Мечта».

Гроссман соблюдал условия, следовал предложенным установкам, видел пределы допустимого. Если ошибался, нашлось бы кому подсказать.

Конечно, было бы проще от этих пределов держаться подальше, как поступали едва ли не все коллеги-литераторы. Но Гроссману, чтобы стать и оставаться писателем не только *советским*, требовался, по выражению Мандельштама, «ворованный воздух» – искренность.

Для советского писателя Гроссман был необычно искренен. Что во многом обусловило его популярность – в читательской среде. Аналогично и попытки критиков «указать место».

Искренность была условием существования, но и опасностью. Приходилось рисковать. И уступать тоже. Не одного страха ради, а потому, что лишь статусом писателя *советского* обеспечивался путь к *советским* читателям. Соотечественникам и

современникам.

Постоянная угроза

1936 год был для писателя Гроссмана удачным – в целом. Профессиональный статус вновь подтвержден, а претензии критиков оказались неопасными – вопреки осложнениям, вызванным смертью покровителя.

Правда, на уровне личном ситуация была неблагополучна. Мать часто болела, отец все никак не мог добиться перевода в Москву. Наконец, весной повторно арестована кузина. Ранее она работала в Астраханской областной библиотеке. Дело рассматривалось опять в Москве. Обвинение стандартное – «антисоветская агитация». Из тюрьмы этапирована в один из воркутинских лагерей. Помочь Гроссман уже ничем не мог. Ни ей, ни Баглюку.

Стоит подчеркнуть: на исходе 1936 года Алмази Баглюк были уже повторно осужденными за «контрреволюционную деятельность». В терминологии НКВД – «каэрами». Сам термин, как известно, образован от использовавшегося в служебной документации сокращения: «к-р», т. е. «контрреволюционер».

Термин «каэр» стал употребительным с 1926 года, когда введен в действие новый УК РСФСР. Точнее, новая редакция. Нормы права, относившиеся к так называемым контрреволюционным преступлениям, там сведены в статью 58 и распределены по ее пунктам.

Что до Гроссмана, то, согласно документации НКВД, преуспевающий столичный писатель был связан дружбой и родством с «каэрами». И он знал: на таком основании может в любой момент оказаться под арестом.

Впрочем, миллионы советских граждан были в том же или еще худшем положении. Но привыкали. О перспективах, связанных с арестом, старались не думать. Бежать все равно некуда. Надо полагать, Гроссман тоже привыкал.

Как известно, в сентябре 1936 года с должности руководителя НКВД снят Ягода. Формально – переведен в Наркомат связи. Арестован в апреле 1937 года, ему инкриминировали шпионаж и подготовку террористических акций.

Руководителем НКВД стал Н. И. Ежов. В отличие от прежнего генерального комиссара госбезопасности он был не из кадровых чекистов: изначально – партийный функционер. Его назначение оптимисты интерпретировали как знак скорой либерализации. Но вскоре появился и термин «ежовщина».

Гроссман же готовил к изданию новый роман, публиковал

рассказы в периодике. 30 декабря 1936 года сообщил отцу: «Настроение хорошее, квартирные дела неважные, они теперь не только затягиваются, но и осложняются. Ну да мне, в общем, плевать на них. Не плакать же».

Осложнения действительно возникли. Квартиру Гроссману должен был предоставить ССП, но строительство нового писательского дома еще и не началось. В связи с чем Гроссман рассказывал: «Презирая квартирный кризис, купил белку. Сидит она в клетке и грызет орехи. Мои дамы ее называют “крошкой” и “деточкой”, но я подозреваю, что это беличий старик, хрипун и хам. Очень уж она любит спать и нелюдима, не белка, а сова какая-то угрюмая. Купил кресло, вот приезжай скорей, посидишь в нем – хорошо!»

Письма отцу, относившиеся к 1937–1938 годам, не сохранились. По крайней мере, в РГАЛИ их нет.

Однако нет и оснований полагать, что Гроссман с отцом тогда не переписывался. Скорее всего, письма уничтожены. Переписку в те годы уничтожали многие. Однако в данном случае причина вряд ли политическая. Вероятно, дела семейные обсуждались.

Иззнакомых же в течение 1937 года арестованы Воронский, Зарудин, Губер, Катаев и Лежнев. Обвинены, кроме прочего, в подготовке террористических актов. Что и предусматривалось пунктом 8 статьи 58 УК РСФСР. Обычным в таких случаях был расстрельный приговор. Но в связи с резким увеличением количества расстрелов сведения о них весьма часто не разглашались. Как правило, родственникам приговоренных сообщали, что применена другая мера – десятилетнее заключение в лагере. Официальная формула позже стала фразеологизмом: «десять лет без права переписки».

Воронский, Губер, Зарудин, Катаев и Лежнев были расстреляны. Гроссмана, однако, даже на допросы не вызывали. У него тогда нашлись покровители очень влиятельные. В том числе – среди руководителей ССП.

Защищали его и административно, демонстрируя, что арест бывших «перевальцев» не компрометирует удачливого прозаика. Согласно хранящейся в личном деле справке, он 25 сентября 1937 года переведен «из кандидатов в члены Союза»[224].

Писательский статус опять повышен официально. Документ визировал лично Ставский. Формально причины были вполне уважительными. Гроссман – один из наиболее популярных тогда прозаиков. В периодике печатался он постоянно, неоднократно опубликован «Глюкауф», вышли две книги рассказов и трижды отдельными изданиями, но разными издательствами выпущена

первая часть романа «Степан Кольчугин».

Роман был, пожалуй, главной причиной, обусловившей пристальное внимание писательского руководства. И не только его. Пользуясь опять же современной терминологией, можно сказать, что Гроссман «попал в проект».

Этот проект считался особо важным. Его реализация контролировалась ЦК партии.

Заказчикам требовался именно роман. Большой, созданный писателем, сформировавшимся в советскую эпоху, и – об этой же эпохе. Таким образом демонстрировалось бы всему миру, что при большевистском режиме не только существует, но и развивается литература, сопоставимая с классической русской, получившей мировое признание[225].

Еще в 1920-е годы шли дискуссии о возрождении русского реализма XIX века. Изначально пропагандистом этой идеи считался нарком по просвещению А. В. Луначарский.

Горький в данном вопросе был давним союзником Луначарского. Однако в качестве наиболее азартных пропагандистов идеи получили известность рапповские теоретики, выдвинувшие лозунг «учебы у классиков».

Учиться надлежало создавать эпопеи. Образцовой же объявили толстовскую «Войну и мир», что весьма иронически воспринималось конкурентами рапповцев. Прежде всего теоретиками «Левого фронта искусств». Например, статья С. М. Третьякова, впервые опубликованная в 1927 году, так и озаглавлена – «Новый Лев Толстой»[226].

Рапповцев Третьяков высмеял. Заявил, что им присуща «фанатическая вера в пришествие “красного Толстого”, который развернет “полотно” революционного эпоса и сделает философское обобщение всей эпохи».

В. В. Маяковский как лефовский лидер был не столь ироничен. Но с полемикой о «красном Толстом» связана и написанная к десятилетию Октябрьской революции 1917 года программная «октябрьская поэма – «Хорошо!». Там, кроме прочего, акцентировалось, что советскому писателю надлежит оперативно реагировать на все события в жизни страны, а потому – «ни былин, ни эпосов, ни эпопей…»[227].

К проекту «советской эпопеи» иронически относился и Зощенко. Что не преминул акцентировать в тогда же опубликованной статье «О себе, о критиках и о своей работе»[228].

Зощенко не отвергал саму идею в принципе. Но подчеркивал, что считает неверной формулировку: «Видимо, этот заказ сделан каким-нибудь неосторожным издательством. Ибо вся жизнь, общественность и все окружение, в котором сейчас живет

писатель, – заказывает, конечно же, не красного Льва Толстого. И если говорить о заказе, то заказана вещь в той неуважаемой, мелкой форме, с которой, по крайней мере, раньше, связывались самые плохие литературные традиции».

Писательские шутки не меняли ситуацию. ЦК партии от проекта не отказался. Но реализовать его к десятилетию Октябрьской революции не удалось. Зато вскоре определился лидер в соперничестве – М. А. Шолохов. Его роман «Тихий Дон» критики рассматривали именно в качестве эпопеи.

На рубеже 1920–1930-х годов шутки о «пришествии “красного Толстого”» стали общим местом. Так, Ильф и Петров в предисловии к роману «Золотой теленок» тоже высмеяли идею создания ультрареволюционного «шеститомного романа»[229].

К осени 1937 года, когда РАПП и Леф уже не существовали, не было в живых ни Маяковского, ни Ильфа, а Третьяков – вместе с его наиболее азартными оппонентами – числился среди «разоблаченных врагов народа», пресловутый «революционный эпос» все еще не появился. Шолохов лишь обещал завершить итоговую книгу романа.

Были, конечно, другие кандидатуры. Например, А. Н. Толстой и С. Н. Сергеев-Ценский. Но они получили известность еще в досоветскую эпоху, а на уровне тематики и проблематики их романы не всем актуальным критериям соответствовали. Не советскую эпоху описывали авторы.

Осенью 1937 года роман «Степан Кольчугин» быстро завоевывал популярность. На последней странице книги, что выпущена Гослитиздатом, указывалось: «Конец первой части».

Эпопея была, что называется, заявлена. И биография автора почти соответствовала актуальным критериям. Было известно, что он как писатель сформировался в советскую эпоху.

Да, происхождение – не «рабоче-крестьянское». Но, согласно анкетам, был и рабочим, прежде чем поступил в советский университет. Затем – инженер на донецкой шахте, публиковался в периодике. Наконец, горьковский протеже.

Гроссман оказался в числе лидеров – как претендент на вакансию «красного Толстого». Не важно, ставил ли такую цель. Скорее всего, нет. Если по письмам судить, роман «Степан Кольчугин» важен был сам по себе – как реализация опыта и замысла, а не проекта ЦК партии. Но главную роль в данном случае играло мнение официальных инстанций. Оно и стало одним из важных факторов защиты.

Меж тем ситуация быстро менялась – к худшему. Сотрудники НКВД арестовали жену преуспевающего столичного прозаика.

Чудесное спасение

Арест был сравнительно недолгим. Обошлось без последствий. Впервые же обстоятельства чудесного спасения описал Липкин – в мемуарах.

По его словам, узнал обо всем от Гроссмана. Тот сам и рассказал «историю своей женитьбы. Ольга Михайловна была женой писателя-перевальца Бориса Андреевича Губера…».

Согласно Липкину, приехал донбасский инженер в Москву, чтобы стать писателем, что и решило его судьбу. Нашел друзей и – «влюбился в Ольгу Михайловну. Настал 1937 год. Бориса Губера, в числе других “перевальцев”, арестовали. Вскоре взяли и Ольгу Михайловну. На попечении Гроссмана оказались два мальчика, Миша и Федя, дети Губера и Ольги Михайловны. Гроссман мне рассказывал: “Ты не представляешь себе, какова жизнь мужчины, у которого на руках маленькие дети, а жена арестована”. И тут он совершил один изтех поступков, которые делали Гроссмана – Гроссманом. Он написал всесильному железному наркому НКВД Ежову письмо, в котором сообщал, что Ольга Михайловна – его жена, а не Губера, и поэтому не подлежит аресту. Казалось бы, это само собой разумеется, но в 1937 году только очень храбрый человек осмелился бы написать такое письмо главному палачу государства».

Ежова в газетах действительно именовали «железным наркомом», его боялись. А Гроссман, стало быть, не испугался привлечь к себе внимание.

История трогательная, но многое в ней неясно. Прежде всего, что же именно тут, по словам Липкина, «само собой разумеется».

Надо полагать, Липкин имел в виду, что формально арест жены Губера был бы законен, однако если с мужем развелась и вышла за другого, так нет более причин арестовывать. Вот это, значит, Ежову и напомнил Гроссман. Тогда непонятно, арестовали ее по ошибке или же нашлась иная причина.

Об этом ничего не сказано. Мемуарист лишь отметил, что, «к счастью, письмо неожиданно подействовало: просидев около года в женской тюрьме (она помещалась в переулке за теперешним зданием американского посольства), Ольга Михайловна была выпущена на свободу».

Следует отсюда, во-первых, что Губер была арестована незаконно. А во-вторых, что Ежов исправил ошибку, приняв решение, соответствовавшее закону. Однако не объяснено какому.

Несколько более внятно причину ареста матери описал сын – Ф. Б. Губер. По его словам, отец арестован 20 июня 1937 года, а

15 августа «вышел оперативный приказ№ 00486 Народного Комиссара Внутренних Дел СССР, с получением которого НКВД должно было приступить “к репрессированию жен изменников Родины членов троцкистских шпионско-диверсионных организаций”».

Не так важно, что Губер-младший цитирует неточно, скорее, даже пересказывает документ. Главное, что нарком в указанный день визировал оперативный приказ, согласно которому обязательными стали аресты жен осужденных «начиная с 1 августа 1936 года»[230].

Расторжение брака не меняло ничего. Аресту подлежали «также жены хотя и состоявшие с осужденным, к моменту его ареста, в разводе, но:

а) причастные к контрреволюционной деятельности осужденного;

б) укрывавшие осужденного;

в) знавшие о контрреволюционной деятельности осужденного, но не сообщившие об этом соответствующим органам власти».

Освобождение даже бывших жен исключалось – вне зависимости от результатов следствия. Когда следователь полагал нужным постановить, что арестованная виновна как соучастница или укрывательница преступника, аналогично, знавшая и не донесшая о преступлении, ее осуждали, а если она была признана невиновной, все равно отправляли «в лагеря на сроки, в зависимости от степени социальной опасности, не менее как 5–8 лет».

Подчеркнем, что критерий «степень социальной опасности» не определялся в законодательстве. Решение принимали следователи.

Отсюда следует, во-первых, что Губер арестована на законных основаниях. Ну, если здесь вообще уместен термин «законность». Даже в советском законодательстве не предусматривались непосредственно меры, декретированные оперативным приказом наркома внутренних дел, хотя такие или сходные применялись и ранее – к семьям так называемых кулаков.

Во-вторых, с учетом оперативного приказа, следует: ничего бы не изменил Гроссман, если бы сообщил Ежову, что «Ольга Михайловна – его жена, а не Губера, и поэтому не подлежит аресту». Подлежала, вне зависимости от развода.

Наконец, с учетом специфики ежовского приказа, непонятно, почему, как утверждал Липкин, «на попечении Гроссмана оказались два мальчика, Миша и Федя, дети Губера и Ольги Михайловны». Дети «изменников Родины» тоже подлежали

изоляции. Сообразно возрасту их распределяли по лагерям, специализированным, точнее, специально для случаев подобного рода созданным детским домам и т. п.

Сын Губера в отличие от Липкина об этом написал, подчеркнув, что Гроссман, после ареста Губера, перевез его сыновей к себе, а когда арестовали мать – «оформил опекунство».

Рассказ Губера-младшего о дальнейших событиях весьма сумбурен. Но существенно, что, по его словам, мать арестована «осенью».

Значит, примерно через два-три месяца после ареста отца. Это на правду больше похоже, чем вариант Липкина, утверждавшего, что Губер арестована «вскоре» после ареста бывшего мужа.

Ну а точно последовательность событий устанавливается по документам НКВД. Ныне они хранятся в Центральном архиве Федеральной службы безопасности Российской Федерации[231].

Согласно материалам «дела» Губер арестована 7 февраля 1938 года. Значит, не «вскоре» после ареста бывшего мужа, как утверждал Липкин, и не «осенью» 1937 года, что указано сыном.

Приказ Ежова подписан в августе 1937 года, и до Губер очередь дошла через шесть месяцев. Обвинялась в том, что, зная о преступной деятельности Губера, «не сообщила соответствующим органам Советской Власти, способствуя совершению к[онтр]/р[еволюционных] преступлений своего мужа, являясь его соучастницей».

О ее новом браке сотрудники ГУГБ знали. В материалах дела указано: «После ареста мужа ГУБЕРА Б.А. вышла замуж за ГРОССМАН В.С., который в домоуправление представил справку, что ГУБЕР О.М. является его женой и находится на его иждивении, сам ГРОССМАН проживает на другой квартире».

15 марта Губер объявлено, что следствие по ее делу закончено. Обвинения остались в силе, материалы дела «передаются судебным органам».

По версиям Липкина и Губера-младшего нельзя уяснить, интересовал ли НКВД муж арестованной. На самом деле о нем там не забыли. Вскоре он получил официальное извещение на бланке:

«Повестка № 24

Гр-ну *Гроссману Иосифу Соломоновичу* проживающ[ему]. *Москва, ул. Герцена № 14/2 кв. 108*

Отдел Главного Управления Государственной Безопасности Народного Комиссариата Внутренних Дел СССР предлагает Вам явиться для дачи показаний по делу *№ 6743* в *17* час. дня *28/II-38 г.* к *следователю* тов. *Вихничу* пл. Дзержинского, д. № 2, *5* этаж, комната *№ 529.*

25 февраля 1938 *г.*
Пом[ощник] Начальника *4 отд. ГУГБ*
Майор госбезопасности

/Гатов/»

А. Ф. Вихнич – младший лейтенант госбезопасности. Это так называемое специальное звание, в армейской иерархии – старший лейтенант. Но и должность его не высокая. Визировал документ майор госбезопасности М. Л. Гатов. По-армейски – полковник[232].

Вел протокол следователь. Он, прежде всего, заполнил бланк допроса. Записаны были анкетные данные вызванного, и в графе «состав семьи» первой указана жена – «Губер Ольга Михайловна, 1900 г. рожд., домаш[няя] хоз[яйка]. Арестована 7/II-1938 г.».

Таким образом, Гроссмана вызвали на допрос три недели спустя. Его процессуальный статус, если по протоколу судить, еще не был определен. Это видно по записи следователя: «Показания обвиняемого (свидетеля) *Гроссмана Иосифа Соломоновича февраля 28 дня 1938 г.*».

Процессуальный статус вызванного не определен. Свидетель или обвиняемый – не указано. Но формальностями в ГУГБ порою и пренебрегали. Далее – первый вопрос «по существу дела»: *С какого времени арестованная (Гроссман) Губер Ольга Михайловна – б[вышая] жена врага народа Губера Бориса Андреевича – проживает совместно с Вами?»*

Вихнич проверял оперативные материалы. Ответ получил достаточно подробный: «*Губер Ольга Михайловна является моей женой с октября м-ца 1935 года, оформились в ЗАГСе 28/V-1936 года, прописаны мы на разных квартирах до дня ее ареста, она по Спасопесковскому пер. № 31, кв. 17, а я – ул. Герцена № 14/2 кв. 108. Фактически же мы проживали все время вместе на моей квартире, дети же в зимнее время проживали вместе со своим отцом Губером Б. А., а летом на даче, нанятой мною».*

Тут возникает загадка. Согласно материалам дела, Губер оформила второй брак **после** ареста первого мужа, а если верить показаниям Гроссмана, то **гораздо раньше**. Более года разница. Причем допрашиваемый сослался на материалы ЗАГС – Отдела записи актов гражданского состояния местного Совета.

Но следователь не стал обсуждать разночтения в документах. Он задал новый вопрос: «*Что препятствовало оформлению В[ашего] брака в ЗАГС'е в октябре м-це 1935 г.?*»

Сейчас трудно сказать, какие были препятствия. Да и в 1938 году допрашиваемый внятный ответ не дал: «*Не препятствовало ничто. Не оформил по халатности*».

Однако вопрос был не без подвоха. И следователь немедленно отметил: «*Вы в ЗАГСе не могли оформиться не по халатности, а в связи с тем, что она не расторгла брака со своим мужем до 25/V-1936 г. и прописана была на жительстве в квартире своего мужа*».

Опять загадка. Получается, знал следователь, что первый брак расторгнут 25 мая 1936 года. Коль так, неясно, почему в материалах дела указано, что обвиняемая до лета 1937 года была женой Губера.

Вихнич, подчеркнем, все это не обсуждал. Далее задал, пожалуй, главный вопрос: «*Скажите, с какого времени и сколько денег Вы через жену и самостоятельно передали врагу народа Губеру Б. А.?*»

Вот тут подразумевалось уже преступление – финансирование «контрреволюционной организации». Гроссман ответ дал подробный: «*До совместной жизни с Губер Ольгой я никаких средств ни под каким видом я Губеру не давал. Средства я Губеру для детей начал давать в начале 1936 года. Я дал примерно 2 – 2 1/2 тыс. рублей. Считал, что я Губеру даю взаимообразно на детей, с тем чтобы он по поступлении на службу возвратил мне. Я о том, что даю взаимообразно, сказал самому Губеру*».

Вероятно, так и было. Про деньги и условие их принятия Вихнич мог узнать и ранее – из протоколов допросов Губера или жены Гроссмана. Уточнять не стал и задал следующий вопрос: «*Почему же Вы не забрали детей к себе вместе с женою?*»

Уместный вопрос. И ответ Гроссмана вполне логичен: «*Из-за отсутствия квартиры*».

Следующий вопрос тоже вроде бы уместен. Адрес родственников осужденного и арестованной надлежало установить формально: «*А сейчас где дети?*»

Вероятно, следователь знал, где они находятся. И Гроссман ответил кратко: «*Живут у меня*».

Уточнять нужды не было. Адрес ранее указал и при заполнении анкеты, и когда отвечал на вопрос о новой прописке. Следователь же спросил о сроках и причине смены жилья: «*Вам дали новую квартиру и Вы их поместили в новую*»?

О новом жилье следователь уже знал. И Гроссман вновь лишь подтвердил: «*Я их взял в полученную мною в сентябре м-це*

квартиру. Сегодня взял удостоверение № 35 от 28/II-38 г. об оформлении опеки».

Тут выясняются два весьма интересных обстоятельства. Во-первых, об аресте «перевальцев» знало руководство ССП, но и статус Гроссмана был повышен, и новое жилье предоставлено. А во-вторых, опека меньше чем за три недели оформлена.

Чтобы у себя оставить сыновей Губера, нужно было официально стать их опекуном, подготовить соответствующие документы. Согласно оперативному приказу, Гроссман имел вроде бы право: «В том случае, если оставшихся сирот пожелают взять другие родственники (не репрессируемые) на свое полное иждивение, – этому не препятствовать».

Но тут и возникли осложнения. Гроссман – не родственник детей Губер. Их родственницей была сестра жены. Чтобы стать опекуном, требовалось получить ее согласие. Да и потом надлежало дождаться официального решения относительно установленной опеки. На это обычно месяцы уходили.

Гроссман оформил документы в рекордный срок. Тут не обошлось без помощи влиятельных знакомых. Надо полагать, Вихничу это было известно, и следующий вопрос опять к формальностям относился: «*Когда Вы подавали в Моссовет ходатайство о жилплощади, Вы упоминали о детях?»*

Вопрос о предоставлении жилья обычно решался в Московском городском Совете – после того, как поступало ходатайство из ССП. Надлежало при этом обосновать, на каком основании Гроссман получил не одну, а две комнаты. Ответ был Вихничу известен, так что допрашиваемый опять лишь уточнил: «*Да, я их учитывал в составе моей семьи».*

Следующий вопрос соотносился с причиной, в силу которой Гроссман передавал деньги бывшему «перевальцу». Имелось в виду, что ранее тот сам обеспечивал детей: «*Когда Губер остался без работы – когда его сняли с работы в “Красной нови”?»*

Вихнич это и сам знал – из протоколов допросов Губера и его бывшей жены. Так что Гроссман лишь подтвердил: «*Он снят с работы в “Красной нови” осенью 1936 года».*

Аресты литераторов, которым Горький покровительствовал, начались черезнесколько месяцев после его смерти, и редактор «Красной нови» поспешил избавиться от «перевальца» – возможный арест компрометировал бы редакцию. Предусмотрительным оказался руководитель журнала. Ну а Губер – безработным. Вот Гроссман и счел нужным помочь ему. Кстати, две с половиной тысячи – сумма значительная, почти вдвое превышавшая годовой оклад жалованья редакционного сотрудника.

У следователя других вопросов не было. Оставалось лишь заверить протокол, что Гроссман и сделал: «*Записано с моих слов верно, мною лично прочитано, в чем и расписываюсь».*

Вихнич обозначил, что и к вызванному на допрос возможны претензии. Так, нарушил режим оформления прописки, а главное, деньги «врагу народа» передал. Не то чтобы вовсе ни в чем не виноват. Следователь ГУГБ действовал осмотрительно.

Но особенно странной – в контексте материалов следствия – выглядит дата вызова Гроссмана на допрос. Второй муж обвиняемой допрошен уже после того, как дело передано «судебным органам». Явное нарушение процедуры.

26 марта ГУГБ принято было постановление, согласно которому следовало «дело № 17316 по обвинению ГУБЕР Ольги Михайловны, 1900 года рождения, уроженка города Сочи, беспартийная, нигде не работала, русская гр[аждан]ка СССР производством прекратить, освободив ГУБЕРА (sic! – *Ю. Б.-Ю., Д. Ф.*) Ольгу Михайловну из-под стражи».

Основания были описаны невнятно. В документе указывалось, что обвинения постольку сняты, поскольку Губер вышла за Гроссмана замуж в мае 1936 года. Но если следователь знал о том раньше, непонятно, почему же он сначала передал дело «в судебные органы», а далее вызвал на допрос второго мужа и почти через месяц вдруг изменил прежнее свое мнение о виновности.

1 апреля начальнику Бутырской тюрьмы направлен был специальный документ, предписывавший немедленно освободить Губер. Соответственно, выдать отобранные при аресте вещи и – «справку об освобождении».

Таким образом, Губер находилась под стражей не «около года», как утверждал Липкин, а менее двух месяцев. Разница существенная.

Сын арестованной в книге воспоминаний утверждает, что после ареста матери ее второй муж не только отправил письмо наркому внутренних дел, но и во многие другие инстанции обращался. В частности, к М. И. Калинину, тогда возглавлявшему Президиум Верховного Совета СССР. Потому и «произошло чудо – маму выпустили».

Документов, подтверждающих обращения в различные инстанции, нет. А письмо Ежову в деле сохранилось. Цитируют его и Гаррарды[233].

Значит, есть документ, подтверждающий, что Гроссман обратился к наркому внутренних дел. Другой вопрос – какую роль письменное ходатайство сыграло.

Риторика ходатайства

Гроссмановское письмо не датировано. После формального обращения к наркому Гроссман сразу же характеризовал суть дела: «Товарищ ЕЖОВ, 7 февраля 1938 г. была арестована моя жена Ольга Михайловна ГУБЕР.

Я горячо прошу Вас войти в обстоятельства этого дела».

Далее речь шла о статусе Губер – социальном. Его Гроссман характеризовал подробно: «Жена моя нигде не работала с 1926 года, а целиком и полностью замкнулась в кругу семьи и домашнего хозяйства (у нее двое детей от первого мужа). Осенью 1935 года моя жена разошлась со своим бывшим мужем Б. А. ГУБЕРОМ и вышла замуж за меня (в ЗАГСе наш брак был зарегистрирован в мае 1936 г.)».

Получалось, что бывшая жена Губера к моменту его ареста более года как за Гроссмана вышла замуж. А реально прежний брак расторгнут еще раньше.

Гроссман акцентировал, что руководствовалась Губер не соображениями выгоды. Напротив, жертвовала многим: «В 1935 году моя материальная жизнь совершенно не была налажена, квартиры у меня не было, и, уходя ко мне, жена оставила свой благоустроенный дом, пошла на временную разлуку с детьми, которых нежно любит, не послушалась уговоров и осуждений родных и знакомых. Могут ли быть более веские доказательства полного разрыва между моей женой и ее бывшим мужем?»

Разумеется, Гроссман не оспаривал правомерность действий сотрудников НКВД, лишь отметил, что возможна и случайная ошибка: «Однако обстоятельства, при которых был совершен ее арест, заставляют думать, что не точно было известно, что она еще в 1935 г. разошлась с ГУБЕРОМ.

Очень прошу Вас обратить внимание на это».

Далее обозначались наиболее вероятные причины ошибки производивших арест. Прежде всего – несвоевременное оформление новой прописки: «В начале октября 1935 г. моя жена, покинув свою бывшую квартиру, осталась в ней прописанной, так как дети, внесенные в ее паспорт, продолжали там жить, а мы из-за отсутствия площади не могли их сразу забрать к себе (лишь этим летом Союз писателей предоставил мне квартиру, и сейчас дети взяты мной под опеку и живут у меня)».

В письме также указывалось, что сотрудники НКВД сначала пришли за Губер в квартиру ее бывшего мужа. Лишь потом выяснилось: живет в другой. Соответственно, «производивший арест и ознакомившийся с документами жены, из которых видно,

что она замужем за мной и разошлась с первым мужем, звонил по телефону и спрашивал, как в связи с этим поступить».

Получалось, что сотрудник НКВД, «производивший арест», допускал возможность ошибки, но дополнительные указания не получил своевременно. И Гроссман подчеркивал: «Мысль, что о длительном разводе моей жены с ее бывшим мужем не было точно известно, меня мучительно угнетает».

Далее – аргументация эмоциональная. Гроссман задавал риторический вопрос: «Когда Партия устами товарища СТАЛИНА говорит, что сын не отвечает за отца, может ли женщина, домашняя хозяйка, мать двоих детей, отвечать за бывшего мужа, с которым порвала около трех лет тому назад?».

Сталину действительно приписывалась фраза «сын за отца не отвечает». Принято считать, что это реплика, произнесенная на совещании ударников сельского хозяйства 1 декабря 1935 года, когда один из выступавших заявил, что предан советской власти, хотя отец был кулаком.

Фраза «сын за отца не отвечает» неоднократно цитировалась в периодике. Стала, можно сказать, крылатой.

Гроссман же, сославшись на авторитетное мнение, кратко изложил свою биографию, начиная со школьных лет. Акцентировал, что «образованием, своим писательским успехом, высоким правом делиться с советским читателем своими мыслями и чувствами я обязан Советской власти».

Подразумевалось, что Гроссман не только вполне лоялен, еще и благодарен советскому режиму. И претензий к НКВД не имеет, напротив, ждет помощи: «Товарищ ЕЖОВ! Я горячо прошу Вас принять участие в рассмотрении дела моей жены, я непоколебимо верю в гуманность нашего закона, я надеюсь, что жена, ставшая для меня за эти годы любимым и преданным другом, вернется ко мне и к своим детям. Каждый час я буду ждать Вашего ответа на мое письмо, ибо сейчас я полон также опасений за здоровье и жизнь жены – так как она больна сложным и тяжелым пороком сердца.

Глубоко уважающий Вас
Вас. Гроссман г. Москва, ул. Герцена№ 14/2
кв 108. Тел. К-5-88-97».

Неважно, что Губер-младший не видел письмо. Главное, он акцентировал: стараниями Гроссмана освободили мать, и это – «чудо».

Да, освобождение арестованной жены «врага народа» – случай редчайший. Пусть она и расторгла брак до ареста мужа,

суть не меняется. И все рассуждения Гроссмана тоже не меняли ничего – в аспекте ежовского оперативного приказа. Губер все равно подлежала изоляции – на пять лет как минимум.

Тем не менее Губер была освобождена без всяких последствий. Словно ее прежнего мужа вдруг признали невиновным.

По словам Липкина, «письмо неожиданно подействовало». Надо полагать, мемуарист имел в виду, что Гроссман такого не ожидал, хотя и надеялся. Стало быть, он убедил наркома внутренних дел, подчинявшегося только Сталину.

Формально у Ежова полномочий хватало. Вполне мог, рассмотрев чье-либо ходатайство и ознакомившись с материалами дела, признать, что от бывшей жены «изменника Родины» не исходит никакой «социальной опасности». Но вероятность такого события – практически нулевая. Да и следователь настаивал, что Губер была соучастницей осужденного «врага народа». В феврале 1938 года Вихнич принял это решение. А в марте принято совсем другое.

Существенно же, что письмо Гроссмана поступило в ГУГБ **5 июня 1938 года.** Дату указал сотрудник, принимавший документ и ставивший в специальном штампе входящий номер документа – согласно правилам делопроизводства.

Почти **четыре месяца** минуло с ареста Губер. И **около двух** – после освобождения.

Следуя логике, нельзя допустить, что Гроссман просил Ежова освободить жену, выждав почти два месяца **после** ее освобождения. Это абсурд. Значит, версии Липкина и Губера-младшего не выдерживают документальной проверки. Причина «чуда» – вовсе не письмо наркому.

Чудесное спасение жены Гроссмана обусловлено другими обстоятельствами. Какими именно – писатель изыскал способ намекнуть. Правда, лишь через двадцать два года.

Защитница

В 1960 году написан гроссмановский рассказ «Мама». Напечатан двадцать девять лет спустя – в сборнике, выпущенном московским издательством[234].

Главная героиня – дочь советского дипломата. После ареста родителей пятимесячная Надежда попала в специализированный детский дом, куда свозили детей «изменников Родины». Оттуда и забрали приемные родители: Ежов и его жена.

Чувство вины перед настоящими родителями тут ни при чем. Спецдетдом – учреждение, контролируемое НКВД, а Надежду заведующий выбрал для бездетной наркомовской семьи потому, что ребенок был вполне здоров и – в силу возраста – еще не мог помнить о своем прошлом.

Квартиру Ежова, жену, подруг ее, прислугу, наркомовских гостей видит читатель сообразно восприятию приемной дочери или няни – Марфы Дементьевны. Лишь иногда отчетлива интонация повествователя: «Но вот как-то пришел новый гость. Надя отличила его не потому, что все волновались перед его приходом, и не потому, что няня перекрестилась, когда сам папа пошел открывать ему дверь, и не потому, что гость шел так бесшумно, как никто из людей не умел ходить, только зеленоглазый черный кот на даче, и не потому, что у него было рябое, умное лицо, темные, с проседью, усы и мягкие, плавные движения… Люди, которых знала Надя, имели схожее выражение глаз. Это выражение было общим и для маминых карих глаз, и для серо-зеленых папиных глаз, и для желтых глаз кухарки, и для глаз всех папиных гостей, и для глаз тех, кто открывал ворота на даче, и для глаз старого доктора. А новые глаза, несколько секунд без любопытства, медленно смотревшие на Надю, были совсем спокойными, в них не было безумия, тревоги, напряжения, одно только медленное спокойствие».

В гости к наркому пришел генсек. Похоже, что впервые.

Чаще бывали там коллеги и давние знакомые. Они вполне узнаваемы. К примеру, Л. П. Берия, Г. М. Маленков. А. И. Микоян.

Названы еще К. Е. Ворошилов, Л. М. Каганович, В. М. Молотов. Их, как отметил повествователь, няня ребенка «знала по портретам».

Другие гости тоже описаны вполне узнаваемо. В особенности это относится к подругам жены – московским журналисткам. У нее бывали и писатели. Один из них – «лысый, в очках, с улыбкой, от которой Надя всегда улыбалась…».

Фамилия названа. Приемная дочь запомнила, что, когда «он

входил, мама улыбалась его улыбке, говорила: “Бабель к нам приехал”. Как-то Надя коснулась ладошкой его лысого, лобастого черепа. Он был теплый, добрый, как нянина или мамина щека».

Мать с утра в редакцию уходила, отец порою сутками пропадал на работе. Повествователь акцентирует, что дочь иногда пугалась взгляда наркома. А няня ее – нет: «Возможно, что во всем свете она одна жалела Николая Ивановича, даже жена теперь боялась его. Марфа Дементьевна замечала ее страх, когда слышался шум машины и Николай Иванович, серолицый и бледный, в сопровождении двух-трех серолицых и бледных людей, проходил к себе в кабинет. А Марфа Дементьевна вспоминала главного хозяина, спокойного рябого товарища Сталина, и жалела Николая Ивановича, глаза его казались ей жалобными, растерянными. Она словно не знала, что взор Ежова заморозил ужасом всю великую Россию».

Ежов дома был другим. На службе же «все подписывал, десятками, эти огромные списки врагов народа, и черный дым пер из труб московского крематория».

Гостей наркома становилось все меньше. Он «заморозил ужасом» и свою квартиру: исчезли бесследно подруги жены, сама она впала тогда в депрессию. На работу уже не ездила. Итог сомнений не вызывал: «Скоропостижно умерла в больнице Надюшина мама, супруга Николая Ивановича Ежова. Она была неплохая женщина, незлая, и девочку жалела, но все же она была странная. Николай Иванович в этот день приехал домой очень рано. Он попросил Марфу Дементьевну привести в кабинет к нему Надю. Отец с дочерью поили чаем пластмассового поросенка, укладывали спать куклу и медведя. Потом до утра Ежов ходил по кабинету. А вскоре не вернулся домой маленький человек с серо-зелеными глазами, Николай Иванович Ежов».

Затем Надежде выписали документы с новой фамилией и опять увезли в спецдетдом. Дочь арестованного наркома избивала сотрудница НКВД, требуя, чтобы та никогда более не называла себя Ежовой.

В «спецучреждениях» жила, пока не закончила седьмой класс школы. Голод, холод, сырость, постоянный страх. Далее – работа на заводе, различные заводские общежития, техникум, замужество, беременность. Все начиналось заново, «о том, что было когда-то, она уж почти не помнила, и ей казалось, что сверкающий, черный автомобиль, роскошные дачные цветники, прогулки с няней по кремлевскому холму, ласковое и рассеянное лицо мамы, смех и голоса папиных гостей – не жили в памяти сами по себе, а были воспоминанием о каком-то еще более давнем воспоминании, – словно многократное эхо, замирающее в

тумане».

Рассказ «Мама» часто упоминают исследователи сталинского периода советской истории. Акцентируют, что сюжет не вымышлен, и в деталях автор порою на удивление точен. Словно бы сам бывал в наркомовской квартире.

Личное знакомство Гроссмана и Ежова маловероятно. А вот с женой наркома, похоже, знаком был. По крайней мере, у них много общих знакомых.

Как известно, Е. С. Ежова – журналистка с немалым стажем. Начинала в Одессе, работала за границей. Затем переехала в столицу. Поступила в Издательство МТП. С 1935 года – замредактора журнала «СССР на стройке». Он издавался пяти языках – для распространения за границей. Сотрудничали там известные художники и фотографы. Основное содержание – фотографии, снабженные краткими пояснениями. Главной задачей считалось, как сказали бы позже, создание положительного имиджа страны. Для каждого номера общую концепцию и подписи к иллюстрациям готовил один из наиболее популярных писателей или журналистов. Например, Л. И. Кассиль, В. П. Катаев, М. М. Пришвин, Л. И. Славин, А. А. Фадеев, В. Б. Шкловский.

Горький стал первым редактором этого весьма эффективного пропагандистского издания. После него возглавляли редакцию высокопоставленные функционеры, но их участие было номинальным. Реально же руководили заместители. А наибольшей популярностью журнал пользовался, когда там работала Ежова. Кстати, тогда Бабелем подготовлены три выпуска.

Они с Ежовой земляки, одесситы. Познакомились задолго до того, как стала женой наркома. В Москве она создала литературно-музыкальный салон, который посещали многие знаменитости.

Литераторы-современники ее помнили долго. В большинстве своем отзывались с подчеркнутой симпатией. Ко всему прочему, влияние Ежовой на мужа было весьма значительным, и это она порою использовала, помогая друзьям и знакомым. Насколько такое оказывалось возможным, точнее, зависело от воли функционера.

Сам ли Гроссман к жене наркома обратился, через кого-либо из давних знакомых из МТП или других издательств – трудно судить. Но случилось это не через два месяца после освобождения Губер, а сразу после ее ареста.

Каков был механизм действий – трудно судить. Не исключено, что письмо нарком получил лично или же оно было

передано в его приемную. Возможно, «судебными органами» дело возвращено в ГУГБ, даны соответствующие инструкции, потому и Гроссмана вызвали на допрос. Однако это все лишь гипотезы.

Несомненно одно: нарком, выждав два месяца, отправил гроссмановское письмо в ГУГБ. Там этот документ и приобщили к материалам следствия. Без объяснений.

Не письмо как таковое «подействовало», наоборот, оно лишь тогда было подготовлено Гроссманом, когда Ежов уже принял решение: лишь формальный повод требовался, чтобы нарком получил основание лично ознакомиться с материалами дела Губер и отдать подчиненным соответствующее распоряжение.

Гроссману повезло. Еще летом 1938 года Ежов был в фаворе, а к осени ситуация изменилась. В ноябре его жена умерла, причина смерти, согласно официальному медицинскому заключению, – передозировка снотворного.

В декабре 1938 года Ежов снят с должности наркома внутренних дел. Арестован, пять месяцев спустя осужден и расстрелян – «изменник Родины». Тот же итог, что у предшественника. Ну а преемником стал опять заместитель – Берия. Кстати, многие интеллектуалы тогда сочли его назначение признаком либерализации режима.

В «биографическом мифе», созданном Липкиным, рассказ «Мама» был лишним. Читал его мемуарист, нет ли, но, по его словам, Гроссман, уважительно относившийся к Бабелю, все же отметил: «Зачем он встречал Новый год в семье Ежова? Правда ли это?».

С учетом реального контекста понятно, что Гроссман эти вопросы не задавал. В подтверждении Липкина не нуждался: о «семье Ежова» и Бабеле сам знал, впрочем, как многие литераторы-современники.

Приведенная мемуаристом тирада – часть «биографического мифа». Аналогичная рассмотренной выше истории про «десяток слов на идиш». Она тоже вполне функциональна: суть – противопоставление конформиста Бабеля нонконформисту Гроссману.

Старания Липкина оказались небезуспешными. Литературоведы, в отличие от историков, практически игнорируют рассказ «Мама». Гроссмановский «биографический миф» – во всех его вариантах – исключает саму возможность сочувственного внимания писателя к Ежову, попытку увидеть в нем не только функцию должности.

Разумеется, освобождение Губер можно отнести и к разряду чудес. Но, согласно немецкой поговорке, у чуда было имя.

Это имя Гроссман помнил. Не случайно рассказу дал заглавие «Мама», хотя в центре повествования – приемная дочь Ежова.

К 1960 году в советской публицистике Ежов стал, можно сказать, персонификацией зла. О жене наркома в редакциях тоже слышать не желали – по соображениям политического характера. Гроссман, вероятно, на скорую публикацию рассказа «Мама» не надеялся. Сделал то, что считал своим долгом.

Литературные игры

Гроссман в 1938 году опять выиграл. Сумел избавить от лагеря жену, а ее детей – от спецдетдома. Такое мало кому удавалось.

Известий о Баглюке, Воронском, Губере, Катаеве, Зарудине и Лежневе, надо полагать, не получал. Вероятно, знал, что Лебедев, не дожидаясь ареста, застрелился. Что до прочих, то надежда оставалась: «десять лет безправа переписки».

Гроссмановских писем 1939 года сохранилось крайне мало. Судя по ним, быт в новой квартире удалось организовать. Летом снимал для семьи дачу в Подмосковье. Ездил также в писательские дома отдыха. Много работал и там: несколько издательств предложили опубликовать роман «Степан Кольчугин» полностью, но завершение планировалось еще не скоро. По-прежнему в журналах печатался.

Осенью 1939 года закончился лагерный срок Алмаз. Обязательную для «каэров» послелагерную ссылку отбывала в Александрове, сравнительно недалеко от столицы, только область другая. Работала где придется. Иногда, если получала разрешение, навещала московских родственников. Так, 2 декабря 1939 года Гроссман сообщал отцу: «Приехала Надя, я видел ее, выглядит неплохо».

Писем 1940 года несколько больше. Гроссман рассказывал отцу о московских издательских делах, родственниках. Обсуждал газетные новости: в Европе война, германские войска захватили Норвегию и Данию.

Роман «Степан Кольчугин» публиковался в журнале «Знамя» с 1937 года. Напечатанное выпускали книгами московские издательства.

В конце 1940 года Гроссман сообщал отцу: «У меня дела сейчас довольно сложны. Представь, все продолжаются трудности. Журнал уже печатает, а Гослитиздат снова затеял волынку, возникли у них новые сомнения, дали рукопись на новое редакторское чтение. В общем, литературные удовольствия. Так как мне исполнилось 35 лет и я уже не “дитя”, все это меня не огорчает, таковы атрибуты взрослой жизни взрослого человека».

Меж тем Управление культуры Моссовета организовало читательскую конференцию, где обсуждалось напечатанное Гроссманом, о чем в прессе было извещение. Желающих присутствовать оказалось очень много, а известные критики буквально соперничали, добиваясь права выступать в прениях.

Отцу сообщал об этом не без гордости. За поздравления благодарил, хотя и отшучивался, находя их чрезмерными.

Предложили ему и сотрудничество с Главным управлением трудовых резервов, созданным в октябре 1940 года. Задача учреждения – организация подготовки квалифицированных рабочих для промышленности и транспорта.

Это было лестное предложение – в аспекте обозначения статуса. Отцу Гроссман рассказывал: «Я взялся за общественную работу. В Главном управлении трудовых резервов организую литераторов на писание книг, брошюр для учащихся ремесленных училищ. Ввели меня в редакционный совет. Видишь как – с одной стороны, меня редактируют до колик, а с другой – я сам редактирую».

Журнал «Знамя» в декабре завершил публикацию гроссмановской рукописи. Все номера сын отправил отцу бандеролью.

1941 год встречали с надеждами на перемены к лучшему. Закончилась недолгая война с Финляндией, многие верили, что СССР еще не скоро примет участие в мировой, ведь с Германией подписан «Договор о ненападении».

Отцу Гроссман по-прежнему рассказывал об издательских делах и родственниках. Так, 2 января сообщал: «Получил письмо от Нади, тетя переехала к ней, Надя получила работу в библиотеке, счастлива, это то, о чем мечтала. Счастье ей не помешало, однако, запустить мне в бок полдесятка шпилек».

Похоже, к «шпилькам» относился без обиды. Когда-то Алмаз многое сделала, чтобы кузен-«вузовец» дебютировал в журналистике, позже занималась его московской пропиской и литературным дебютом, у них появились и общие планы, однако ситуация изменилась. Он стал преуспевающим столичным писателем и помогал ссыльной кузине, она затем прошла лагерь, отбывала вторую ссылку и радовалась должности библиотекаря, как подарку судьбы. Так что иронические суждения о гроссмановской прозе вполне объяснимы.

Судя по переписке, Гроссман не сомневался в успехе романа. 7 января отцу рассказывал: «Я вот сейчас вспомнил твои письма из Донбасса, которые писал в 1927–2928 гг., и подумал, что ведь они большую роль сыграли в моей жизни, в том интересе к труду, к рабочим собственно. Ведь они меня побудили в Донбасс поехать. Ну, что ж, только спасибо тебе за это. Ведь стали эти донбассовские годы основными в моей жизни и надолго определили и интересы мои, и литературную работу».

Действительно, в литературной репутации, весьма способствовавшей успеху дебюта, основным компонентом было

инженерское прошлое. В силу чего и Горький заинтересовался автором повести «Глюкауф». О новом же романе Гроссман сообщал кратко: «Работаю понемногу, вхожу в колею, сейчас предстоит написать мне самую трудную и в то же время самую интересную часть – революцию 1917 года».

Борьба с редакторами продолжалась. 12 января отцу рассказывал, что «дела в Гослитиздате упорядочены вполне. Там произошла следующая штука: один из чиновников вдруг усумнился (sic! – *Ю. Б.-Ю., Д. Ф.*), перепугался и чуть ли не предложил начать все редактирование сначала (помнишь, как “приятно” было мне это редактирование). Создали комиссию, и она решительным образом стала на мою сторону, и книга пошла в набор. Ну а журнал, как видишь, тоже вышел на свет божий. Нервы я себе истрепал сильно всеми этими историями. Лечу их работой и, действительно, замечаю, что самое лучшее – работать каждый день систематически, без перерывов».

У издательского «чиновника» претензии к автору были предсказуемые. Шахтеры в гроссмановском романе выглядели не слишком привлекательно. Однако речь шла о досоветском периоде, что Горький некогда предусмотрел, вот и комиссия за Гроссмана заступилась.

Тем временем журнальная публикация романа обсуждалась критиками как литературное событие всесоюзного масштаба. О чем Гроссман и рассказывал отцу на исходе января: «К посрамлению редакторов-трусов и перестраховщиков книга встречена прессой очень хорошо».

Все трудности вроде бы остались позади. Гроссман вспоминал их уже с иронией: «А помнишь, сколько пришлось мне воевать с редакторами, сколько нервов, усилий я положил, чтобы не кромсали и не резали книги. Ох, беда с чиновниками литературными».

Такова была реальная история романа. Почти что полвека спустя варианты ее переосмысления стали важными элементами в конструкциях гроссмановского «биографического мифа».

К началу XXI века многие литературоведы рассматривали как факт общеизвестный, что в 1941 году о романе «Степан Кольчугин» резко негативно отзывался Сталин. Автора тогда невзлюбил и даже лично вычеркнул изписков лауреатов Сталинской премии.

Игнорируемые парадоксы

Об этом сталинском вмешательстве рассказал впервые Липкин. Свидетельство его настолько важное, что уместен поэтапный анализ.

По словам мемуариста, разговор о романе зашел в первый же день знакомства с Гроссманом. А познакомил «незадолго до войны писатель С. Г. Гехт, наш общий приятель, мой земляк».

Когда именно произошло знакомство – Липкин не уточнил. Но отметил: «На западе уже шла война, а в Москве стоял мирный светлый день, когда Гехт нас познакомил. И мы вчетвером (Гроссман был с женой Ольгой Михайловной) направились в летнее кафе-мороженое на Тверском бульваре, сели за столик».

Наконец дошло и до книги. Липкин сформулировал гипотезу: «Я к тому времени прочел первую часть недавно вышедшего романа Гроссмана “Степан Кольчугин” и сказал, что роман отлично написан, но мне кажется непродуманным образстарого большевика Бахмутского – он, скорее, похож на старого меньшевика, и вряд ли во второй части судьба Бахмутского сложится благополучно, если автор будет правдив».

Что за сходство – Липкин не объяснил. Но к 1986 году объяснения подсказывал контекст. Во-первых, Бахмутский – интеллигент. Причем философски образованный. Во-вторых, еврей. По этим основаниям его и сравнил мемуарист со «старым меньшевиком».

Намек был на пропагандистские стереотипы. С 1920-х годов в советской литературе «старые меньшевики», противники большевиков – постоянно философствующие интеллигенты-евреи.

Позже и на уровне газетной публицистики, а главное, в кинофильмах, словно бы невзначай, демонстрировалось, что главными ленинскими оппонентами были не просто меньшевики, но именно евреи. Это акцентировалось и при описании сталинских противников.

Вопреки декларировавшемуся принципу интернационализма, политика государственного антисемитизма становилась все более откровенной. Читателей и зрителей буквально подталкивали к выводу: меньшевикам и «оппозиционерам» равно чужды интересы партии, объединившей, прежде всего, русский пролетариат, которому они чужды этнически и классово. Намек Липкина напоминал об актуальных событиях: на исходе 1930-х годов многие «старые большевики» осуждены как участники различных «подпольных контрреволюционных организаций», сформированных «оппозицией».

Гроссман, согласно Липкину, понял намек сразу. И, восхитившись, «свернул пальцы рук бинокликом, приставил их к своим очкам, посмотрел на меня, а губы его улыбались. Он часто делал такой жест – биноклик из пальцев, если ему казалось, что собеседник что-то угадал».

Про «биноклик», конечно, запоминающаяся деталь. Читатель мог убедиться, что Липкин именно угадал. Значит, у Гроссмана – «незадолго до войны» – те же опасения. И мемуарист подвел итог: «Кстати, не случайно вторая часть “Степана Кольчугина” так и не была написана».

В действительности – была. И написана, и опубликована. Аналогично – части третья и четвертая. Более того, все они печатались неоднократно еще до войны.

Похоже, Липкин не читал гроссмановский роман. Только слышал о нем и на этом основании подводил итог.

Но предположим, Липкин выразил свою мысль неточно. Допустим, имел в виду, что не был написан **второй том** романа «Степан Кольчугин». Тем интереснее рассказанное далее.

Вскоре новые знакомые подружились, и тут началась война. Автор романа «Степан Кольчугин» стал военным журналистом и в этом качестве быстро завоевал популярность. Его публикации Сталин ценил, однако – «не любил Гроссмана».

Почему «не любил» – не объяснено прямо. Зато приведен характерный пример: «Было известно, что Сталин еще до войны самолично вычеркнул “Степана Кольчугина” из списка произведений, представленных на соискание Сталинской премии, единогласно утвержденного комитетом по этим премиям. Сталин назвал роман меньшевистским».

Если учесть липкинскую подсказку относительно «старого меньшевика», то понятно, что вызвало неприязнь Сталина. Не полагалось отводить еврею роль наставника одного из будущих лидеров партии. А иначе – роман «меньшевистский».

Подтвердилось, значит, что Липкин прав был. Другие же – не угадали: «Между тем в ночь накануне опубликования списка лауреатов Гроссману звонили из главных газет страны, поздравляли. Потом, через несколько лет, Гроссман, рассказывая мне об этом, заметил, лукаво смеясь: “Ты проявил классовое чутье, твое мнение совпало со сталинским”».

По контексту не уяснить, Гроссман ли рассказал Липкину о сталинском мнении, или же обсуждалось нечто общеизвестное. Тут можно лишь догадки строить.

Существенно другое. Мемуарист не сообщил, откуда ему или собеседнику «было известно» сталинское мнение. А ведь если оно было выражено генсеком, то не в личной беседе с Липкиным и

Гроссманом.

Значит, уместны два вопроса. Первый – когда Сталин мог бы сформулировать оценку гроссмановского роаман, а второй – кому надлежало ей руководствоваться.

Начнем с хронологии. Если Сталин и характеризовал роман, то **не ранее** публикации лауреатского списка. Соответствующее же постановление СНК напечатано «Правдой» 16 марта 1941 года[235].

Два-три дня спустя о сталинской оценке должны бы знать не только слышавшие ее или увидевшие резолюцию, если та была. Узнали бы в числе первых агитпроповские функционеры. Затем – ЦК комсомола. И руководство ССП, разумеется.

Сталинская оценка – приговор. Если не автору, так уж точно роману. Значит, остатки тиражей не продавать, все экземпляры из библиотек изъять.

Такова обычная практика. Но в случае с Гроссманом – все необычно.

Вот книга, опубликованная подведомственным ЦК комсомола «Детским государственным издательством». Подписана к печати 2 декабря 1940 года. Семьдесят тысяч экземпляров отпечатано уже в 1941 году[236].

Это нормально: от подписания до тиража – месяца два в среднем. Подписывали еще до того, как генсек мог бы сформулировать цитированную Липкиным оценку, а вот печатали – позже. Но тираж «меньшевистского» романа не изъяли. В апреле он разошелся по магазинам и библиотекам.

Сведений о сталинской реакции нет. Генсеку словно бы не доложили, что его мнением дерзко пренебрегают.

Теоретически допустимо, что ЦК комсомола и руководство ССП не успели вовремя известить нижестоящие инстанции. Как говорится, «сигнал не прошел», а потом война началась, виноватых некогда было искать.

Однако в 1947 году издательство «Советский писатель» выпустило роман тиражом семьдесят пять тысяч экземпляров. Причем в престижнейшей серии – «Библиотеке избранных произведений советской литературы. 1917–1947»[237].

В серию вошло то, что **официально** было признано советской классикой. Публикация там – свидетельство высокого статуса автора.

Шовинистическая пропаганда тогда откровенна, антисемитские кампании – едва завуалированы. Руководство же ССП санкционировало публикацию книги, вызвавшей недовольство Сталина из-за «еврейской темы», да еще и объявило «меньшевистский» роман – классикой.

Дерзость вроде бы неслыханная. И вновь словно не замеченная Сталиным.

Агитпроповские функционеры тоже словно бы не заметили, а ведь издавна конкурировали с руководством ССП. За право распределять гонорарные ставки и ордена постоянно соперничали, провоцировали скандалы в прессе, доносы Сталину писали. Но тут – идеальным поводом не воспользовались.

Дальнейшее не менее странно. Четыре года спустя, в разгар откровенно антисемитских кампаний, издательство «Советский писатель» выпустило «меньшевистский» роман пятнадцатитысячным тиражом[238].

Однако сведений о сталинской реакции опять нет. Словно под личиной хрестоматийного тирана скрывался демократ. Где-то даже либерал.

В общем, все на себя не похожи. Такого не то что не было – не могло быть в принципе. История, рассказанная мемуаристом, опровергается гроссмановской библиографией.

Следовательно, не формулировал Сталин политическую оценку гроссмановского романа, это Липкин ее выдумал.

Коль так, действия писательского руководства уже не выглядят абсурдно. Литературные функционеры не дерзили Сталину. И он, понятно, не проявлял несвойственный ему обычно либерализм.

Но если не было сталинской характеристики романа, уместен вопрос о вмешательстве генсека. Точнее, чем эта версия подтверждается – кроме свидетельства Липкина.

Прогнозируемые совпадения

Ответ на вопрос о сталинском вмешательстве подразумевает обращение к свидетельствам других современников Гроссмана. Таких – лишь два.

В 1987 году журнал «Огонек» напечатал мемуары Е. А. Таратуты. Пафос обозначен заглавием: «Честная жизнь и тяжкая судьба. Воспоминания о В. Гроссмане»[239].

Характерно, что это не первый опыт журналистки в мемуаристике. Годом раньше сборник Таратуты выпустило издательство «Советский писатель». Гроссмановской истории там нет, хотя заглавие вроде бы обязывало – «Драгоценные автографы: книга воспоминаний»[240].

Причина очевидна. Книгу издательство готовило, когда упоминания о гроссмановской «тяжкой судьбе» еще оставались под негласным запретом. Год спустя изменения были принципиальными, и редакция «Огонька» по обыкновению реагировала в числе первых.

Рассказ Таратута начинала издалека. По ее словам, все поначалу складывалось удачно: «В начале 1941 года уже отзаседали все комитеты по Сталинским премиям, были согласованы все кандидатуры – и мы узнали, что роман “Степан Кольчугин” прошел все этапы. Из газет, радио к Васе стали приезжать корреспонденты, его фотографировали, интервьюировали, выспрашивали подробности биографии, готовили статьи о нем, очерки, корреспонденции».

Откуда «мы узнали», какие «этапы» и когда «прошел» роман – не сказано. Это вроде бы всем известно. Равным образом, что «накануне объявления в газетах списка лауреатов Васе стали звонить из разных редакций и официально поздравлять: с его фотографий уже были сделаны клише, и списки уже набирали в типографиях».

Но внезапно изменилось все. Таратута и акцентировала внезапность: «Наутро в напечатанных списках имени Василия Гроссмана не было. Говорили, что вычеркнули в последнюю минуту…».

Мемуаристка опять не сообщила, от кого узнала, что «вычеркнули». В данном аспекте ее версия похожа на липкинскую. Однако у Таратуты нет упоминаний о вмешательстве генсека. И вроде бы не было причин скрывать это – на фоне очередной антисталинской кампании.

В 2001 году опубликована вторая часть мемуарной книги Таратуты, где предложена несколько иная версия. Пересказав уже

напечатанную «Огоньком» историю выдвижения Гроссмана, мемуаристка добавила: «Говорили, что Сталин сам вычеркнул его в последнюю минуту»[241].

Таратута опять не упомянула имена тех, кто ей сообщил такую новость. И характерно, что в 1987 году мемуаристка словно забыла о сталинском вмешательстве, а четырнадцать лет спустя – как будто вспомнила.

Причина и в данном случае очевидна. Когда готовилась огоньковская публикация 1987 года, Таратута еще не прочла воспоминания Липкина. В СССР их впервые напечатал журнал «Литературное обозрение» летом 1988 года. Изменения же мемуаристка вносила уже в 1990-е годы. Тогда была весьма популярна книга «Жизнь и судьба Василия Гроссмана», а история о сталинском вмешательстве считалась общеизвестной. Версия дополнилась.

Аналогичная предложена Губером. Описывая события 1941 года, когда ему не исполнилось еще и десять лет, он утверждал, что даже во дворе многоквартирного дома, где жила его семья, чуть ли не все «заранее знали о связи между Гроссманом и предстоящим присуждением. Гроссман был выдвинут на соискание премии за роман “Степан Кольчугин” и его кандидатура при голосовании прошла единогласно. К Гроссману приходили корреспонденты газет и радио, готовился его портрет на завтрашнюю первую страницу, у него брали интервью. Однако Сталин лично вычеркнул “Степана Кольчугина” из списка лауреатов. В день публикации постановления я прибежал домой в слезах – те же мальчишки, что вчера, осведомленные родителями, завидовали мне, со смехом говорили о “провале” романа».

Тогда или позже мемуарист узнал, что гроссмановская «кандидатура при голосовании прошла единогласно», а Сталин «лично вычеркнул» – нет сведений. Удивительна и осведомленность дворовых сверстников Губера. История выглядела бы и вовсе странно, если бы в книге не указывалось, что автор использовал мемуары Липкина.

Таким образом, свидетельства Таратуты и Губера относительно вмешательства Сталина восходят к мемуарам Липкина. Это общий источник.

Можно даже сказать, что Губер контаминировал версию Таратуты, предложенную в 1987 году, и липкинскую. Из первой взял сведения о «голосовании», а из второй – про сталинское вмешательство.

Однако ни Таратута, ни Губер в отличие от Липкина не упомянули о сталинской оценке романа. И причины опять очевидны. Тут важно, кто про что рассказывал.

Суть рассказа Липкина сводилась к рассуждению о верности его прогноза, точнее, способности угадывать мнение генсека. Библиографию мемуарист игнорировал, но версия не противоречила сложившимся представлениям о сталинской эпохе.

Таратута же в 1987 году рассказала, как ее друга обидели, и она за него обиделась. А уже гораздо позже уточнила, кто именно был обидчиком. В последней редакции ее версии главное, что генсек выразил отношение к Гроссману действием – «сам вычеркнул».

Мемуаристку не заинтересовало предложенное Липкиным обоснование сталинского решения. Такие аргументы были бы интересны только в аспекте оценки липкинского прогноза, а Таратута его не оценивала.

Губер тоже сообщил о своей обиде и, конечно, гроссмановской. Похоже, что и его, как Таратуту, не интересовала сталинская оценка романа. Существенным было опять действие, выразившее неприязнь генсека, и в этом аспекте не имели значения прогнозы Липкина.

Примечательно, что в историографию вошла своего рода контаминация рассказанного Липкиным и Таратутой. И эта версия, подчеркнем, считается общеизвестной, почему и приводится обычно без указания источников.

Характерный пример – суждения такого авторитетного исследователя, как Бочаров. В монографии, подготовленной к публикации на исходе 1980-х годов, сообщается: «Роман был выдвинут на первое же награждение Сталинскими премиями в 1941 году. Он благополучно прошел все комитетские голосования; из газет, радио к будущему лауреату стали приезжать корреспонденты, были даже сделаны клише фотографий. Но наутро имени Гроссмана в списке не было»[242].

Источник сведений не указан, однако угадывается – воспоминания Таратуты, опубликованные в 1987 году. Как раз там речь шла о «комитетах по Сталинским премиям», где «были согласованы все кандидатуры», и даже типографиях, готовых печатать списки лауреатов. Детали, вроде бы сами собой подразумевавшиеся, если Гроссмана, как утверждала мемуаристка, «вычеркнули в последнюю минуту». Ну а далее учтена липкинская версия: «Вычеркнуть его на этом этапе мог только Сталин».

Имелось в виду, что «этап» был именно последним. Значит, Сталин и вмешался, когда итоговый лауреатский список визировал. Больше некому.

Далее Бочаров рассматривал вероятные – по его мнению –

причины вмешательства. И отметил: «За давностью времени нет источников, которые пролили бы свет на то, почему он это сделал. То ли не понравилось, что поэтизируется профессиональный революционер (а чуть ли не все революционеры с дооктябрьским стажем были к тому времени репрессированы), то ли потому, что “главным” революционером оказался еврей, то ли потому, что, по версии С. Липкина, Сталин признал роман меньшевистским, то ли просто потому, что роман все-таки не был закончен…»

Как раз «давность времени» тут ни при чем. Бочаров, работая в архивах, выявлял документы и более давние, чем относившиеся к 1941 году. Однако в главном он прав: нет источников, позволяющих определить причину сталинского вмешательства.

Не один Бочаров искал такие источники, причем в различных архивах. Тем не менее пока не обнаружены стенограммы, фиксировавшие обсуждение кандидатур будущих лауреатов в 1941 году. Аналогично – протоколы, отражавшие результаты «голосований». Нет и лауреатского списка, из которого генсек, если верить Липкину, «самолично вычеркнул» Гроссмана.

Версия сталинского вмешательства постольку считается достоверной, поскольку лишь Сталин мог на последнем этапе внести изменения в лауреатский список, однако не доказано, что Гроссман там вообще был.

В данном случае отсутствие документа – еще недостаточный аргумент. Много таких материалов уничтожено осенью 1941 года, когда германские войска подходили к Москве. По свидетельствам современников, центр столицы был в дыму, пепел и клочья бумаги лежали повсюду.

Допустим, уничтожены документы 1941 года. Но симптоматично, что в письмах отцу Гроссман ни разу не упомянул о перспективе награды.

Можно предположить, что не был уверен в результате. Но и это в данном случае не аргумент. Выдвижение – само по себе – несомненное свидетельство успеха: коллеги-писатели сочли, что автор романа «Степан Кольчугин» достоин высшей литературной награды. Отцу Гроссман рассказывал и об удачах не столь значительных, а тут вдруг скрытность проявил.

Но это – с одной стороны. А с другой, нельзя априорно утверждать, что и перспектива награды – выдумка Липкина. Его мемуары Таратута к осени 1987 года еще не прочла, но тоже рассказывала, как на гроссмановский триумф надеялась.

Следовательно, в наличии хотя бы одно свидетельство, подтверждающее, что перспектива награждения Гроссмана обсуждалась. Надежда у друзей и родственников была. Значит,

нужно выяснить, почему и когда она возникла.

Контекст интриги

Начнем опять с хронологии. 20 декабря 1939 года Советом Народных Комиссаров СССР принято постановление об учреждении премий имени Сталина, «присуждаемых ежегодно деятелям науки и искусства…»[243].

Из постановления следовало, что «литература» не рассматривалась в рамках понятия «искусство». Но и писателям ждать пришлось недолго. Соответствующее постановление СНК СССР принято 1 февраля 1940 года и опубликовано «Правдой» на следующий день[244].

Маловероятно, чтобы обсуждение гроссмановских перспектив началось раньше 21 декабря 1939 года. И вряд ли позже 2 февраля 1940 года. Где-то здесь – одна из хронологических рамок. Другая определяется точно: 16 марта 1941 года «Правда» опубликовала список лауреатов, где нет Гроссмана.

Теперь – о причинах, в силу которых могло бы возникнуть предположение, что он попал хотя бы в исходный список. Вовсе не обязательно, что сведения поступали из Комитета по Сталинским премиям. Гипотезу подсказывал контекст периодики.

Как отмечалось выше, к осени 1937 года уже было заявлено, что гроссмановский роман – эпопея. И биография автора вполне соответствовала актуальным критериям.

Разумеется, появление нового претендента на статус автора «революционного эпоса» было выгодно руководству ССП. Это доказывало, что литературные функционеры создали условия для реализации проекта, курировавшегося ЦК партии. Да и генсеком лично.

Агитпроповским же функционерам новый претендент лишь мешал. Относительно прежних были договоренности, а еще одна кандидатура – новые проблемы.

Соперничество Агитпропа и руководства СП в очередной раз обострилось. И это сразу же было отражено периодикой.

Впервые «Степана Кольчугина» рецензировала «Литературная газета» 5 сентября 1937 года. Начал критик с биографии Гроссмана, рассуждая о последней публикации, на похвалы не скупился, однако и недостатки отметил. Прежде всего – подражательность, из-за которой автор романа выглядел «как ученик, который еще не создал своей манеры, не имеет еще своих, ему одному присущих мазков»[245].

Впрочем, заключал рецензент, достоинства повести важнее недостатков. Да и тех «совсем мало».

«Литературной газете» ответила «Комсомольская правда». 22

марта 1938 года там опубликована безоговорочно хвалебная рецензия[246].

«Комсомольской правде» ответил литературно-критический журнал «Детская литература». Рецензент одобрил тематику и проблематику «Степана Кольчугина», а вот самостоятельность Гроссмана ставил под сомнение[247].

Полемика о первой романной части продолжилась, когда в 1939 Госиздатом была выпущена вторая. И опять тон обсуждения задала «Литературная газета», опубликовав 30 марта рецензию, где упреки в несамостоятельности отвергались, а вывод формулировался безапелляционно: «Значение этого романа в развитии советской литературы трудно переоценить»[248].

Гроссмана и атаковали, и защищали. Атака подразумевала рассуждения о несамостоятельности, защита – утверждение обратного. И редакция «Литературной газеты» опять демонстрировала объективность, поместив 10 августа рецензию, автор которой настаивал, что Гроссман все же несамостоятелен – эпигон Горького[249].

В защиту выступил журнал «Красная новь». Рецензия, опубликованная в августовско-сентябрьском номере, была однозначно хвалебной: «“Степан Кольчугин” – по-настоящему новая книга, в большом смысле слова советская книга, и книга большого, серьезного художника»[250].

Первый этап полемики завершился на исходе 1939 года. Своеобразный рубеж – публикация третьей части романа в очередном выпуске горьковского альманаха[251].

2 декабря «Известиями» напечатана статья, где подводились итоги. В газете, считавшейся правительственным официозом, «Степан Кольчугин» получил едва ли не высшую из возможных тогда оценок, что и акцентировалось заглавием – «Роман о большевике»[252].

Рецензент анализировал сразу три части романа. Вывод формулировался жестко: «Среди произведений советской литературы, появившихся за последнее время, “Степан Кольчугин” – наиболее интересное и значительное по своим идейно-художественным достоинствам».

Если не учитывать соперничества руководства ССП и агитпроповских функционеров, смысл полемики неясен. В контексте же интриги споры вполне осмысленны.

Похвалы роману демонстрировали, что проект, контролируемый ЦК партии, реализуется. Значит, руководство ССП действует успешно.

Адресованные же Гроссману упреки должны были показать, что роману «Степан Кольчугин» далеко еще до настоящей эпопеи.

Значит, руководство ССП не справляется с важной задачей.

Однако с момента публикации третьей части объем романа уже приближался к толстовскому эталону. И правительственный официоз констатировал, что Гроссман признан лидером в соперничестве за статус автора советской эпопеи. Ну а два месяца спустя – 2 февраля 1940 года – выяснилось окончательно: соперничать романистам предстоит и за Сталинскую премию.

Разумеется, интриги в руководстве СП и Агитпропе обострились, ведь масштабы влияния оценивались уже не только по гонорарным ставкам, ордерам на квартиры и т. д. С точки зрения рядовых советских граждан, призовые суммы были колоссальны. Так, премия даже второй степени – пятьдесят тысяч рублей, ну а первая вдвое больше. Для сравнения можно указать, что **годовое** жалованье столичного вузовского преподавателя в ранге доктора наук, профессора, заведующего кафедрой не превышало тогда пятнадцати тысяч[253].

Кстати, профессорский оклад – в четыре раза больше заработной платы индустриального рабочего высшей квалификации. Что до инженеров, так премия второй степени соизмерима с пятилетним жалованьем опытного заводского специалиста. Они тогда относились к «высокооплачиваемым категориям трудящихся».

С доходами профессора сравнимо было жалованье командира полка. Зато командир дивизии, чья должность соответствовала генеральскому званию, почти в полтора раза больше получал. А нарком СССР – еще в полтора раза.

Однако не масштабы призов играли главную роль. Сталинская премия – высочайшая оценка литератора, определявшая его статус в СССР.

Со 2 февраля 1940 года стало ясно: Гроссман – один из претендентов на Сталинскую преми. А четыре недели спустя «Правда» опубликовала рецензию, где констатировалось, что можно «говорить о первых трех книгах романа как о произведении, обладающем ценностью законченного целого»[254].

Вывод этот понятен лишь в контексте соперничества. Автор статьи, отводя возможные претензии к Гроссману, акцентировал, что роман композиционно завершен, почему и конкурентоспособен.

Установка, обозначенная главной партийной газетой, была учтена. Так, в апрельском номере журнал «Ленинград» опубликовал хвалебную статью – «Роман о народном герое»[255].

Еще более усердной была «Литературная газета». 21 июля там помещена статья, где атакованы рецензенты, высказывавшие претензии в адрес Гроссмана, которые «печально удивили многих

своей бездоказательностью»[256].

Все книги романа оценены высоко. О третьей же критик сказал, что она – «произведение исключительное. Всякий раз, когда на страницах возникает образ революционера Бахмутского, с удовлетворением отмечаешь: автор выступает как художник-победитель, потому что он освоил главное. Освещая прошлое, он сумел разглядеть образы революционных деятелей…».

Аналогична и рецензия в сентябрьско-октябрьском номере «Красной нови». Претензий – никаких[257].

Расхвален роман и в октябрьском номере «Смены». Претензий нет[258].

В декабрьском номере «Литературного обозрения» рецензент, характеризуя итоги года, отметил два важнейших: «Тихий Дон» и «Степан Кольчугин». О романе Гроссмана сказано, что это «большая книга большого писателя»[259].

Сопоставление с «Тихим Доном» вряд ли случайное. На исходе 1940 года журнал «Знамя» опубликовал четвертую часть гроссмановского романа. Продолжение анонсировалось[260].

Читавшие рецензии подобного рода соотносили их, конечно, с перспективой Сталинской премии. Понятно было, что Гроссман – один из лидеров.

Агитпроповские функционеры, конечно, не собирались уступать. У них были свои креатуры, так что и ответные акции готовились.

Обзор итогового номера «Знамени» поместила «Литературная газета» 5 января 1941 года. Наибольшее внимание уделено главной публикации: «Писатель Василий Гроссман взял на себя громадный и ответственный труд – создать эпическое произведение, охватывающее последние сорок лет жизни нашей страны»[261].

Были и претензии. Отметив, что советскому писателю следует не просто усвоить марксистское учение, но сформировать и соответствующее зрение, рецензент добавил: «У Вас. Гроссмана это зрение имеется, срывы в его эпопее, еще далеко не законченной, редки и относятся скорее к частностям».

Какие «срывы» и что за «частности» – не объяснялось. Главное, роман небезупречен. Уловка чисто риторическая, и некорректность была замечена.

20 января за Гроссмана вступилась редакция «Правды». Хоть рецензия и была только на четвертую часть, но роман в целом назван эпопеей, написанной «с большим историческим размахом»[262].

Таким образом, в январе 1941 года роман «Степан Кольчугин» признан советской классикой. И в феврале «Литературный современник» опубликовал безоговорочно хвалебную статью о ранней прозе Гроссмана[263].

Панегирической была и статья о романе «Степан Кольчугин» в журнале «Детская литература». Номер подписан к печати 1 марта[264].

9 марта опубликована хвалебная рецензия в «Учительской газете». Упрек один: «К сожалению, из внимания автора почти выпало крестьянство, его характеристика дана лишь в эпизодических персонажах нескольких солдат-фронтовиков»[265].

Впрочем, упрек был компенсирован. Рецензент подчеркнул, что Гроссман «средствами искусства приводит читателя к пониманию хода истории, руководящей роли партии Ленина – Сталина в политической и психологической подготовке масс к революции».

Однако в тот же день «Литературная газета» опубликовала статью, где упреков побольше. Так, автор настаивал, что Кольчугин изображен не всегда убедительно, а Бахмутский – иногда «поверхностно-схематично»[266].

Были и претензии к осмыслению исторического процесса. Чередовались они с похвалами: «Есть и другие частные “недоделки” в этой книге. Таковы, например, некоторые мысли о “законах войны” в главе XXVII, объективно приводящие к выводу о неуправляемости ее людьми, мысли, опровергаемые не только марксистской военной наукой, но и теми самыми жизненными фактами, о которых хорошо рассказывает сам писатель в романе. “Недоделки” эти особенно досадны потому, что в иных авторских размышлениях В. Гроссмана, которые присущи его писательской манере, он обнаруживает свежесть и самостоятельность мысли, привлекающую читателя».

Разумеется, политических обвинений тут нет. Но рассуждения о «недоделках» подсказывали: роман пока рано признавать решением задачи, поставленной руководством партии.

Неделю спустя «Правда» поместила список лауреатов – без Гроссмана. Связь двух публикаций несомненна. И все же не статья в «Литературной газете» обусловила итоговое решение. Оно было принято ранее, а затем лишь обосновано статьей, где упоминались «недоделки».

Примечательно, что статья эта с незначительными изменениями помещена в десятом номере «Огонька», подписанном к печати 20 марта. Но – уже как рецензия на четвертую книгу романа[267].

Значит, всего за **три дня** редакция «Огонька» договорилась о републикации с автором и, конечно, «Литературной газетой». Тогда же изменения были внесены и согласованы. В обычной ситуации такие хлопоты и оперативность – излишни. Незачем второпях перепечатывать из другого издания, хватает и своих авторов. Однако решалась иная задача: рецензент, не упоминая о премии, объяснял, почему награждения Гроссмана ожидать не стоило.

Ждали, разумеется, не только знакомые. И фотограф из «Правды» не случайно приезжал к Гроссману. Ездили не только к нему. До получения итогового списка в редакции не могли знать, кому премия достанется, а портреты нужны загодя.

В «Огоньке» фотография Гроссмана помещена рядом с рецензией. Это обычно для иллюстрированных журналов, но, судя по оперативности, там воспользовались работой фотографа из «Правды». В советской традиции портрет автора рецензируемой книги – знак уважения, подсказывающий, что существенных претензий нет.

Рецензию на гроссмановский роман опубликовал в апреле 1941 года и журнал «Литературное обозрение». В целом –

хвалебную, и все же имелись некоторые претензии: «Образ профессионального революционера Бахмутского – самый ответственный в романе. Здесь автор достиг многого, и образ этот имеет большое воспитательное значение. Но иногда кажется, что сфера деятельности Бахмутского в романе недостаточна для человека, принимающего участие в решении важнейших политических вопросов».

Сказано мягко, итоговый же вывод еще мягче. Подразумевается, что и незначительные погрешности вполне исправимы: «В следующих книгах сфера эта, вероятно, расширится; ведь роман не закончен».

Именно так обозначена причина отсутствия Гроссмана в лауреатском списке – «роман не закончен».

Тут же рецензент оспорил мнения коллег относительно допущенных автором романа ошибок историософского характера. Не называя оппонентов, подчеркнул: «В. Гроссман правильно понял войну 1914 года. Он исходил из тех определений ее, которые дали Ленин и Сталин, из тех определений, которые даны в Кратком курсе истории партии».

Рецензент ссылался на изданное в 1938 году и лично Сталиным редактировавшееся учебное пособие – «История ВКП (б). Краткий курс». Цитату приводил с указанием страницы. После чего вновь подчеркивал: «Именно так понимает эту войну Гроссман…».

Значит, похвала Гроссману и упреки оппонентам были обоснованы ссылкой на официальную точку зрения – сталинскую. Аналогично и редакция «Красной нови» опубликовала в апрельском номере статью, где акцентировалось: «Произведения В. Гроссмана отмечены нашей критикой щедро и сочувственно. Многочисленные статьи и рецензии содержали почти единодушное признание горьковской литературной традиции в творчестве В. Гроссмана, но утверждали оригинальность и самостоятельность дарования писателя. Лишь немногие критические выступления, которые, по видимости, заключали также положительную оценку творчества В. Гроссмана, показались нам неожиданными и противоречивыми»[50].

Стало быть, все упреки, адресованные Гроссману, надлежало признать необоснованными и противоречащими здравому смыслу. Завершалась статья оценкой «Степана Кольчугина»: «Нам важно было доказать, что этот роман развертывается уже с самого начала как эпопея социалистической революции, как история народного героя нашей революции, и что это произведение в своем пафосе и в своем стиле является наиболее полным и плодотворным выражением творческих идеалов писателя».

Ничего подобного не опубликовало бы ни одно советское издание, если б, как утверждал Липкин, генсек «самолично вычеркнул “Степана Кольчугина” изсписка произведений, представленных на соискание Сталинской премии», да еще и назвал роман «меньшевистским».

В огоньковской статье, подчеркнем, без упоминания о награде, постулируется: Гроссман создал книгу весьма значительную, былые же немногочисленные упреки обусловлены факторами внелитературными. К примеру, необъективностью критиков, неумением четко формулировать выводы и т. п. Единственная существенная претензия к роману – незавершенный. В силу чего автор и не получил премию.

Кстати, в аспекте финансовом Гроссман был отнюдь не обделен. Гонорары за журнальные и книжные издания романа по совокупности превысили даже премию первой степени. Но о «Степане Кольчугине» руководство ССП не забывало и после того, как был опубликован первый лауреатский список.

В послевоенные годы, как отмечалось выше, тоже не забывало. Роман – примерно сорок пять печатных листов, а за каждый по четыре тысячи рублей платили авторам «Библиотеки избранных произведений советской литературы. 1917–1947». Не только по цвету переплета эту серию – в обиходе – называли «золотой».

Переиздание в 1951 году принесло меньше, но соизмеримо с премией – второй степени. Кстати, ничего экстраординарного для прозаиков, регулярно публиковавшихся, а еще выше были доходы у драматургов. Состоявшие в ССП – элита сталинской эпохи, тут и стандарты оплаты соответствующие. Неведомые большинству рядовых граждан.

Можно сказать, что Сталинская премия 1941 года неоднократно компенсирована автору романа «Степан Кольчугин». Другой вопрос – был ли Гроссман хотя бы в исходном лауреатском списке.

Вероятность того, что мог бы попасть, высока. Судя по спорам критиков, кандидатура автора обсуждалась – хотя бы в кулуарах Комитета по Сталинским премиям. О кулуарных беседах должны были знать и журналисты, заранее готовившие статьи про лауреатов.

Но похоже, Гроссману раньше, чем журналистам, стало известно, что в исходный список попали другие. Потому отцу и не сообщал о кулуарных беседах.

В семье Гроссмана перспектива, конечно, обсуждалась. Возможно, Губер что-нибудь и запомнил, а вот степень осведомленности соседей преувеличил. Этому способствовали

мемуары Липкина.

Таратута как профессиональный литератор могла на работе услышать о выдвижениях, получала какие-то сведения и от Гроссмана. Однако все остальное тоже домыслила.

В ее мемуарах домыслов – ныне очевидных – немало. Это объяснимо: уж очень частыми были радикальные перемены в жизни. С лета 1937 года Таратута в ссылке, отец расстрелян. Вернулась в Москву два года спустя, работала. А в 1950 году – новый арест, пытки, лагерь. Причин аберрации довольно и безлипкинской версии.

Что до версии Липкина, так в ее основе – пара невнятных рецензентских упреков. Конечно, этого мало, чтобы сконструировать еще один элемент, дополняющий базовую концепцию мемуариста: Гроссман не был именно советским писателем, вот почему его Сталин и «не любил». Так что пришлось все остальное не только домыслить, но и попросту выдумать.

Однако в 1941 году у Сталина не было претензий политического характера ни к роману «Степан Кольчугин», ни к автору. Вот почему Гроссмана и хвалили постоянно в периодике, и печатали без ограничений, и платили, как полагалось тогда платить классику советской литературы.

Конкуренция проектов

Итак, был не «провал» романа, а успех. Пусть и меньший, чем ожидали друзья и родственники автора, но весьма значительный.

Это – с одной стороны. С другой же, критики знали, что роман еще не завершен, однако спорили о нем так, словно автор числился среди лидеров в соперничестве за Сталинскую премию.

Следовательно, незавершенность романа – только одна из причин, в силу которых автор его оказался вне лауреатского списка. Складывается впечатление, что Гроссман «отстал» на каком-то этапе от других лидеров.

В действительности «отстал» не Гроссман, а проект «революционной эпопеи». Был тогда и другой, не менее актуальный, и тоже курировавшийся ЦК партии. Актуализовался он ко второй половине 1930-х годов, хотя в целом и раньше готовился. Речь шла о масштабной кампании «патриотического воспитания»[268].

Общую тональность задали печально знаменитые «московские процессы», где подсудимым – недавним функционерам высшего уровня – были инкриминированы связи с иностранными разведывательными службами. Соответственно, в «Правде» 21 января 1937 года публикуется статья «Троцкистские шпионы, диверсанты, изменники родины»[269].

В ходе судебных заседаний подсудимые вину признавали. Ныне известно, какими средствами их вынуждали себя оговаривать, но тогда признания были восприняты большинством населения как неоспоримое доказательство. Потому в статье постулировалось: «Они заранее торговали частями советской территории, запродавали агрессорам земли и свободу народов СССР».

Традиционная «патриотическая» модель пропаганды была эффективна. Причиной «измены Родине» безоговорочно признавалась чуждость ей: «У троцкистских мерзавцев не оказалось даже никакого чувства национализма, и они готовы были расчленить Советский Союз, лишь бы добиться своих подлых реставраторских целей. Фашисты не согласятся отдать территорию своей страны иностранцам – на это шла троцкистская нечисть».

Ранее понятие «национализм» было элементом негативной характеристики». Но здесь – принципиально иной дискурс. В сталинской пропагандистской традиции сама идеологема «троцкисты» соотносилась с понятием «инородцы». Главным образом евреи. С этой точки зрения инвектива понятна. «У

троцкистских мерзавцев не оказалось даже никакого чувства национализма» – русского.

Верность отечеству противопоставлялась измене – деятельности, приписанной каявшимся подсудимым. Такое противопоставление акцентировал в ходе судебных заседаний обвинитель – А. Я. Вышинский. Например, в речи, опубликованной 12 марта 1938 года «Известиями», он утверждал: «Именно они, эти преступления, объясняют действительный ход вещей, действительную логику событий и борьбы, поставивших лицом к лицу два мира, два блока – блок изменников, наймитов иностранного капитала, разоблаченный и раздавленный сейчас гневом и мощью великой Советской страны, блок предателей, покрытых вечным презрением, позором и проклятием миллионных масс трудящихся народа всего мира, – и блок советских патриотов, великих и непобедимых в любви к своей родине, выдержавших не одну историческую битву с врагами, готовых под руководством Коммунистической партии и великого Сталина дать сокрушительный отпор любому врагу в любых условиях, в любое время, откуда бы он ни появился, несмотря ни на какую измену, ни на какое предательство. Значение настоящего судебного процесса определяется, разумеется, и теми уроками, которые неизбежно, необходимо извлечь всем нам, патриотам Советской земли, из этого процесса»[270].

Отсюда следовало, во-первых, что советские патриоты непобедимы. Во-вторых, подразумевалось, что необходима бдительность: изменники затаились повсеместно.

Одним из пропагандистских результатов «московских процессов» стало утверждение в качестве синонимов определений «русский» и «советский», когда речь шла о «патриотизме». Это тождество акцентировалось постоянно. Например, опубликованной в четвертом номере журнала «Литературный современник» за 1938 год статьей «Банда убийц, шпионов изменников и диверсантов уничтожена»[271].

Имелся в виду расстрел осужденных. Если верить статье, на такой итог надеялось все население: «Великий советский народ и его братья по классу за рубежом встретили этот приговор с величайшей радостью. Ибо, уничтожив банду оголтелых убийц, фашистских агентов и изменников родины, мы разгромили самый остервенелый головной отряд фашистских агрессоров. Разгромив эту растленную банду, мы выиграли одно из больших сражений в борьбе с капитализмом. А выигранное сражение сильнее сплотило многомиллионный русский народ вокруг партии Ленина – Сталина. Удар народного правосудия по фашистским негодяям увеличил силы и мощь СССР, укрепил советский

патриотизм, воодушевил патриотов родины на новые подвиги, повысил большевистскую бдительность».

Характерно, что сначала речь шла о «советском народе». Оказалось, что это – «русский народ». Различий нет, ведь подразумевается «народное правосудие» – волеизъявление народа в целом. Ну а расстрел осужденных «укрепил» все-таки «советский патриотизм».

Такая игра терминами стала уже привычной. Убеждение достигалось повторением. Разумеется, информационная монополия советского правительства тоже обеспечивала эффект пропаганды.

Что до писательских задач, то применительно к ним тон задала «Литературная газета». 10 сентября 1937 года там опубликована передовица «Создадим художественную историческую литературу»[272].

Планировался своего рода беллетристический курс истории России. Концепция – соединение российского прошлого и советского настоящего. Писателям надлежало «создать целую серию художественных произведений, которые, будучи полноценными творениями искусства, составили бы цепь “исторических чтений” для многомиллионного советского читателя, для подрастающей молодежи».

Казалось бы, ничего тут необычного. Советская литература была и оставалась инструментом пропаганды. Для того и финансировалась. Примечательно же, что в передовице русский народ назван «первым среди равных».

Еще десятью годами ранее такое показалось бы невозможным. В передовице словно бы демонстративно игнорировался базовый принцип марксистской идеологии – интернационализм.

Но в 1937 году возражать было некому. Утверждался новый идеологический принцип – имперский. Только империя подразумевалась уже советская. И писателям надлежало акцентировать преемственность традиций борьбы за российскую государственность – в советский и досоветский периоды. Соответственно, постулировалось, что граждане социалистического государства должны гордиться «героическими страницами нашего прошлого».

Таким образом, понятие «советский патриотизм» было существенно расширено, и концепция русской истории обрела наконец континуальность. В передовице акцентировалось, что, «обращаясь к нашему историческому прошлому, мы не ограничиваемся только историей революционной борьбы».

Передовица в «Литературной газете» – своего рода итог. Как

для историков, так и для писателей вводилась установка, формирующая сам характер осмысления имперского прошлого: «Мы знаем, что в истории России были такие исторические личности, которые, принадлежа к правящим классам и действуя в их интересах, боролись за целостность и независимость страны, против иностранных захватчиков, боролись против попыток и стремлений превратить Россию в колонию, немало поработали над преодолением отсталости, от которой страдали населяющие Россию народы».

Обязательным «классовым подходом» разрешалось пренебрегать – для реализации имперской идеологии. В своего рода пантеоне героев оказались князья, если их официально признавали защитниками российской государственности. Тенденция стала очевидной.

Основное внимание уделялось «наглядной агитации». Начали с театра. Затем – киноэпопеи о полководцах: Александре Невском, К. З. Минине и Д. М. Пожарском, Петре I, А. В. Суворове. Что вполне соответствовало досоветскому официальному истолкованию термина «патриотизм», в первую очередь подразумевавшему «защиту отечества»[273].

Писателям была предложена та же парадигма. С необходимостью отсюда следовало, что послушных щедро вознаградят.

К началу 1941 года кампания «патриотического воспитания» стала еще более интенсивной. Соответственно, проект «революционной эпопеи» отчасти утратил актуальность. Но, разумеется, по-прежнему числился среди важных.

Конкуренция тех, кто лоббировал кандидатуры лауреатов, была жесточайшей. Тенденцию вполне отразил лауреатский список[274].

Первой степени премия для прозаиков досталась Шолохову, Толстому и Сергееву-Ценскому. Их публикации ранее часто обсуждались в периодике.

Но шолоховский «Тихий Дон» вряд ли было возможно характеризовать безоговорочно как «революционную эпопею». Зато, при всех оговорках, время действия соответствовало требованиям, и роман, публиковавшийся с 1928 года, получил мировую известность.

Толстовский роман «Петр I» формально не имел отношения к советской эпохе. Зато пафос был актуален: преображение «отсталой России» волею прогрессивного, хотя и беспощадного монарха.

Актуальным установкам соответствовал и роман Сергеева-Ценского «Севастопольская страда». Оборона Севастополя в

период Крымской войны 1853–1856 годов традиционно признавалась героической. Вина за итоговое поражение возлагалась на правительство, но доблесть и патриотизм защитников города были вне сомнений.

Премию второй степени получили Н. Е. Вирта, Л. Киачели и А. С. Новиков-Прибой. Все они тоже в ту пору весьма популярны.

Тема романа Вирта «Одиночество» – гражданская война и подавление так называемого кулацкого мятежа в Тамбовской губернии. Пафос, разумеется, победа советской идеологии. Что вполне соотносилось с концепцией пресловутой «коллективизации».

Роман Киачели – «Гвади Бигва» – о триумфе «коллективизации» в Грузии. Тоже актуальная тема. Да и награждение автора подчеркивало, что советская литература – именно «многонациональная».

О русско-японской войне 1904–1905 годов роман Новикова-Прибоя «Цусима». Сообразно актуальным пропагандистским установкам автор доказывал, что гибель русской эскадры в Цусимском сражении обусловлена стратегическими и политическими ошибками правительства, но патриотизм и доблесть моряков – бесспорны.

Подчеркнем: даже выбор лауреатов акцентировал преемственность традиций русской и советской литературы. Так, Новиков-Прибой, Сергеев-Ценский, Киачели и Толстой стали профессиональными литераторами еще в досоветскую эпоху, ну а литературные репутации Вирта и Шолохова были связаны исключительно с историей советского государства.

Гроссман не считал себя обделенным. Что видно, к примеру, по автобиографии 1947 года. Там отмечено: «В 1936/1937 году я начал работать над романом “Степан Кольчугин”. Эта работа заняла у меня 4 года. Роман я не закончил, работу прервала война. До войны я написал четыре части “Кольчугина” – четвертая вышла под названием “Солдаты революции” и являлась началом второго тома трилогии. “Кольчугин” печатался в Альманахе, журнале “Знамя”, выходил в Госиздате, Детиздате и в “Роман-Газете”. Все четыре части, объединенные в одном издании, выпускаются в настоящее время издательством “Советский писатель”».

Упомянутый «Альманах», понятно, горьковский. А издательство «Советский писатель», как отмечалось выше, опубликовало роман в той самой «золотой серии» – «Библиотека избранных произведений советской литературы. 1917–1947». Туда, кстати, даже лауреаты попадали не без труда.

Библиографически в документе все точно. Фактографически

же – не вполне: «работать над романом “Степан Кольчугин”» автор начал еще в 1934 году.

Неточность обусловлена задачей создания «биографического мифа». Если б Гроссман сообщил, что, встретившись с Горьким, вскоре и «Глюкауф» выпустил, и рассказы в немалом количестве, да еще и приступил ко второму роману, получилось бы противоречие. Значит, литератором-профессионалом стал до встречи с «литературным отцом». Вот и пришлось дату начала работы несколько сместить.

Однако существенно, что книгу о большевистском лидере Гроссман признал одним из важнейших своих достижений. И это соответствовало официальной ее оценке.

К маю 1941 года автор романа «Степан Кольчугин» – в числе наиболее ценимых властью прозаиков. Сообразно этому статусу он получил и путевку в элитарный писательский дом отдыха на Черноморском побережье. Там, в Ялте, готовил публикацию пятой книги, входившей уже во «второй том трилогии». Подготовить не успел – война началась.

Часть VI. Годы войны

Специальный корреспондент

Гроссман так и не вернулся к роману «Степан Кольчугин». Актуализовались другие темы.

Как военнообязанный он числился в запасе РККА. Собственно военной подготовки не проходил, университетская же подразумевала только работу в качестве инженера-химика. Правда, к химии давно не имел отношения.

Его уже привлекали к выполнению задач армейских журналистов – специфика работы ССП. Так, в феврале – марте 1941 года был, вместе с А. Т. Твардовским, командирован в прибалтийские республики по заданию Политического управления Московского военного округа. Планировалось там опубликовать историю одной из дивизий, участвовавших в советско-финской войне[275].

В письмах отцу нет сведений о начале армейской службы Гроссмана. Но они содержатся в его автобиографии 1947 года. Там указано: «В июне 1941 года я был призван в кадры Красной Армии и назначен специальным корреспондентом военной газеты «Красная звезда». При военной аттестации мне было присвоено звание интенданта 2-го ранга…».

Как известно, газета «Красная звезда» – издание Наркомата обороны СССР. Официально именовалось его «центральным органом».

Что до «звания интенданта 2-го ранга», то в общевойсковой иерархии оно соответствовало майорскому. Знаки различия – по два прямоугольника или, как тогда говорили, «шпалы» на каждой петлице.

Разумеется, Гроссман не имел отношения к собственно интендантской службе. Но в РККА тогда не было системы званий, унифицированной применительно ко всем службам, потому еще до войны командование выбрало для беспартийных литераторов хоть что-то функционально сходное – по аналогии с иерархией «военно-хозяйственного и административного состава».

Несколько проще решена была задача применительно к литераторам-коммунистам. Им присваивались звания «военно-политического состава». Обязанности, впрочем, для всех определялись конкретной журналистской должностью в редакции газеты или иной организации.

Результаты «военной аттестации» литераторов зависели от статуса в ССП. Так что автора «Степана Кольчугина» признали весьма ценным сотрудником: майор – первое из званий старшего командного состава. На уровне политсостава, соответственно,

батальонный комиссар.

Кстати, Д. И. Ортенберг, заместитель редактора «Красной звезды», возглавивший редакцию в июле 1941 года, был тогда лишь на два звания старше нового спецкора. А ведь службу начинал еще в гражданскую войну и считался весьма опытным военным журналистом.

Мобилизованных литераторов срочно распределяли по редакциям, но столичные вакансии достались немногим. Остальные работали, точнее, проходили службу в специализированных военных газетах, издававшихся при штабах фронтов, армий, корпусов и т. п.

Отметим, что в автобиографии Гроссман не вполне точен. Мобилизован, действительно, с началом войны, однако службу начал не в «Красной звезде». Первые корреспонденции публиковал в июльских номерах «Известий»[276].

5 августа назначен собкором «Красной звезды». Тогда же, вместе с опытными военными журналистами П. И. Трояновским и О. Б. Кнорингом, командирован на Центральный фронт – под Гомель[277].

Там шли бои, разгромленные советские войска отступали на восток. Линия фронта приближалась к столице. 8 августа отправлено первое из сохранившихся письмо отцу с фронта. Гроссман сообщал: «Настроение хорошее – вокруг много хороших людей с несгибаемой волей».

О военном быте рассказывал мало. Подчеркнул: «Волнует меня все время мысль о судьбе мамы – где она, что? Если узнаешь, напиши мне немедленно».

Советские войска уже оставили Бердичев. Гроссман не знал еще, успела ли мать эвакуироваться. 9 сентября отцу сообщал: «Я здоров, чувствую себя хорошо, настроение тоже хорошо, только вот беспокоюсь дни и ночи о маме и Катюше, да хочется близких своих повидать. Возможно, что недельки через три на несколько дней удастся приехать в Москву. Тогда помоюсь хорошо и высплюсь без сапог – мечта о высшем комфорте».

Жена и ее сыновья были эвакуированы в Чистополь. Там оказались семьи многих писателей. Отец работал в Москве. Ему Гроссман отправил 14 сентября очередное письмо: «Изменений в моей жизни не произошло. Здоров. Настроение хорошее. Тянет на денек в Москву. Очень хочется знать, есть ли сведения о маме и Катюше».

Сентябрь уже заканчивался, когда Гроссман узнал, что дочь и бывшая жена эвакуированы в Ташкент. Судьба матери по-прежнему оставалось неизвестной. Отцу 1 октября сообщал, кроме прочего: «Очень хочу тебя видеть, но пока начальство не

отзовет, и думать нечего».

Линия фронта проходила уже под Москвой. Отца эвакуировали в Ташкент. 17 ноября отправил письмо, где рассказывал о жизни семьи в эвакуации: жена работала в колхозе, «стала худой, как щепка. Она очень просила, чтобы я помирил вас, и хочет, чтобы ты был в Чистополе».

Гроссман тогда не «помирил» их, потому как не было ссоры. Надо полагать, жена знала, что отец мужа не одобрял его второй брак. Первый, впрочем, тоже.

Война стала повседневностью. Гроссман дошел с отступающими войсками до Сталинграда, оттуда слал корреспонденции в редакцию, а деньги – семье, отцу, дочери и бывшей жене. 31 декабря сообщал: «О себе писать нечего – так много мыслей, впечатлений, что все равно всего не упишешь. Вот увидимся с тобой, посидим вместе, сяду я в красное кресло и пустимся в разговоры».

С фронта его отзывали в редакцию. 2 января 1942 года отцу рассказывал: «Уезжаю с таким чувством, словно расстаюсь с близким человеком».

Под Сталинградом, как известно, наступление германских войск было остановлено. Ситуация там стабилизировалась. Гроссман подчеркивал, что «дела на фронте идут хорошо, и настроение от этого поднимается. Вот встретимся с тобой, расскажу тебе много всяких вещей, что пережил и видел».

Отец переехал в Самарканд. 1 февраля Гроссман сообщал: «Работы много и работа интересная. Настроение хорошее. Вот только беспокоюсь я о всех близких моему сердцу, рассеялись вы по свету. Снится мне часто мама, что с ней, жива ли?».

Еврейское население Бердичева уже было уничтожено. Мать Гроссмана расстреляна осенью 1941 года. Об этом он догадывался, однако не верил.

В Сталинград вернулся. По-прежнему отправлял корреспонденции в московскую редакцию, деньги – в Чистополь, Самарканд и Ташкент. 25 февраля сообщал отцу: «Живу я хорошо – работы много. Всю зиму проколесил по фронту. Помнишь, ты меня когда-то укорял (и вполне основательно), что я мало езжу, все сижу на месте. Теперь я компенсирован – моих поездок и впечатлений хватило бы на весь Союз писателей. Дни и ночи я в движении, езжу в бураны и морозы, на машинах, летаю на самолетах, езжу санями и однажды даже на танке ехал, когда наш автомобиль застрял в буран посреди степи».

Корреспондентов высокого ранга командование оберегало. Но Гроссман старался попасть именно на передовую. Отцу рассказывал: «Сколько здесь чудесных людей, какая скромность,

простота и какая доброта, удивительно сочетающаяся с воинской суровостью».

Из Чистополя приехал Твардовский, он навещал свою семью. Доставил письмо от жены и шерстяные носки. Морозы там были, по его словам, за пятьдесят градусов.

Линия фронта у Сталинграда почти не двигалась. Правда, города уже не осталось – руины. Отцу Гроссман сообщал 1 марта: «Я работаю много, езжу, езжу. У нас здесь еще холода, но бывают дни, когда солнце светит совсем по-весеннему. Иногда мне кажется, что я всю жизнь ездил на грузовиках, спал в сараях и в полусожженных хатах, и что никакой у меня другой жизни не было. Снилась она мне, что ли?».

7 марта он в письме обсуждал с отцом перспективы жизни после войны. По обыкновению шутил: «Будем вместе цветники разводить и поливать их, греться на солнце. А мне очень хочется погреться на солнце, надоело хвататься то за нос, то за уши, не отвалились ли. Да, кстати, полегчал я на 16 килогр[аммов] – это очень хорошо. Помнишь мое толстое пузо? Приехал Гехт в Москву, получил письмишко от него. Так и нет вестей от дорогого друга моего Бобрышева. Видно, нет его в живых».

Речь идет о погибшем к тому времени писателе В. Т. Бобрышеве. Погибли и другие близкие друзья – А. С. Гайдар, А. И. Роскин.

Гроссмановские корреспонденции печатала «Красная звезда», он к весне 1942 года стал известным военным журналистом. Популярность росла. Но у писательского начальства были и более масштабные планы. Вновь актуализовалась тема советской эпопеи, соответственно, в апреле спецкор получил так называемый «творческий отпуск».

По военным меркам срок немалый – два месяца. За это время надлежало написать роман или повесть. 8 апреля Гроссман рассказывал отцу: «Приезд в Москву произвел на меня огромное впечатление – город, улицы, бульвары, все словно родные близкие лица. Ходил и радовался».

Через двое суток начинался отпуск. Гроссман планировал навестить жену: «В Чистополе буду работать над повестью, хочется написать что-нибудь хорошее, настоящее. Надеюсь, что удастся кое-что сделать. Чувствую я себя физически довольно посредственно, утомлен, кашляю сильно, застудил себе нутро при полетах по фронту на открытых самолетах. С сердцем – как будто неплохо, помогает мне, что сильно похудел (потерял 17 кило), теперь легко вхожу на 4-й и 5-й этаж».

Отношение к нему было особое. Не без гордости отметил в письме: «Между прочим, отпуск этот получил я единственный из

всех военных журналистов, причем не просил его, и дан он мне по инициативе редакции».

Вряд ли Гроссман был единственным из журналистов, получивших «творческий отпуск» в 1942 году, но существенно, что на самом деле не просил. Если по его письмам судить, вообще не планировал такое. Редакция же действовала по согласованию с руководством ССП. Выполняла сталинский заказ – издание советской эпопеи.

15 мая Гроссман сообщал отцу из Чистополя, что повесть не допишет к сроку, хотя и прилагает все мыслимые усилия. Жену водил к врачу, тот удостоверил, что здорова, а исхудала по причине нервного истощения. Старший ее сын освоил профессию шофера, младший учился в школе.

Повесть должна была сразу же печататься, в редакции ждали рукопись. 31 мая Гроссман сообщал отцу: «Работаю я здесь много, и кажется, никогда в жизни так много не работал, как сейчас. Написал за эти полтора (неполных) месяца пять печатных листов. Вначале работа меня очень не удовлетворяла, новый материал не лезна страницу, сопротивлялся, и я явно делал не то, что нужно. Но в последнее время дело пошло лучше».

Главы из повести читал жившему в Чистополе Н. Н. Асееву. Сталинскому лауреату, как сказано в письме, «очень понравилось, расточал мне необычайные похвалы. К сожалению, срок мой подходит к концу, и устал я очень, “переписался”. Правда, получил совершенно неожиданно архилиберальную телеграмму от своего свирепого редактора – пишет, что не возражает против продления моего отпуска с тем, чтобы я смог закончить работу в Чистополе. Само собой разумеется, что я не заикался даже об этом продлении. Это его личная инициатива. Возможно, что в связи с этим разрешением пробуду здесь лишних 7 либо 10 дней. Надеюсь, что смогу работу вчерне закончить целиком. Пишу о войне, о лете и осени 1941 года».

В письмах он часто упоминал дочь, жалел, что отвыкла от него. Одной из причин считал влияние бывшей жены. Наводил справки о матери, но – безрезультатно. Получил лишь официальный ответ, согласно которому она не значилась в списках эвакуированных. Отцу сообщил: «Я и сам знал, что не удалось ей выехать, но сердце сжалось, когда прочел эти строки печатные».

Законченную рукопись Гроссман отвез в редакцию. 12 июля отцу рассказывал: «Дела мои с повестью как будто хороши. Редактор прочел ее вчера и горячо одобрил, вызвал меня ночью и облобызал, сказал кучу лестных вещей и обещал ее печатать всю, без сокращений в “Красной звезде”, а она ведь весьма и весьма

большая, в ней 9 авторских листов, если не произойдет изменений, печатать начнут ее в ближайшее же воскресенье, печатанье займет около месяца, если будут печатать ежедневно. Я очень рад этому успеху, газета – огромная трибуна, ведь ее читают все фронты. Правда, успех пока только у редактора. Как-то встретят ее читатели, вопрос сей меня волнует. Одновременно с газетой хотят ее печатать в журнале и книжкой, возможно, что и в “Роман-газете” пойдет».

Гроссмана радовал и успех, и возможность решения финансовых проблем. Жизнь родственников в эвакуации была нелегкой, так что гонорары позволили бы существенно увеличить денежную помощь. 14 июля отцу сообщал: «Получил от тебя телеграмму, жду с нетерпением письма и телеграммы. Очень прошу тебя, телеграфируй мне почаще, т. к. волнуюсь все время за тебя – как переносишь зверскую эту жару. Сегодня начала “Кр. звезда” печатать мою повесть. Получаешь ли мои письма и телеграммы? Позавчера перевел тебе телеграфом 400 руб. Получил ли их? Я пробуду в Москве еще недели три-месяц, все время печатания моей книги в газете. Вскоре снова пошлю тебе денег. Материальные дела в связи с печатанием повести будут, очевидно, неплохи».

Вскоре планы реализовались. Издательские договоры были подписаны, о чем десять дней спустя извещал отца: «Литературный успех у повести – печатает “Красная звезда”, начала печатать 19 июля. Есть много хороших отзывов с фронта. Как только выйдет книжка, вышлю ее тебе бандеролью. Денег, очевидно, за печатанье получу много. Это меня радует – смогу подкормить всех дорогих моему сердцу».

По окончании публикации в «Красной звезде» Гроссман опять был командирован на фронт. В сентябре отправил письмо из Сталинграда: «Твое бы отцовское сердце порадовалось, если б узнал и поглядел, как встречали меня в Армии после печатания повести. Ей-богу, загордился я и растрогался. И все хорошо встречали – от самого верха до самого низа».

Радость удачи была все же омрачена. Гроссман в письме сообщал отцу, что «на душе тяжело, тяжело. Страстно хочется помочь всем близким, собрать всех вместе».

Из Бердичева вестей не было, да и не могло быть. И Гроссман вновь отметил: «Мучит меня мысль о маминой судьбе».

Он в письмах рассказывал, что мать часто снится. Вестей не было. По его словам, уже не верил, что жива.

Гроссман тогда еще не знал, что погиб старший сын жены. Как подлежащий вскоре мобилизации тот – вместе с другими ровесниками – проходил допризывную подготовку, и на занятиях

случайно взорвался снаряд, который считали обезвреженным. Погибли еще несколько призывников.

Сыновей жены Гроссман воспитывал как своих. Он получил отпуск, приехал в Чистополь, но помочь жене вряд ли мог.

На фронт уехал вскоре. Под Сталинградом готовилось наступление. Отец получил работу по специальности в Ряжске. 13 ноября сын рассказывал в письме: «Я работаю много, устал порядком, мне еще не приходилось бывать в таких горячих местах, как сейчас. Писем сюда не получаю, лишь однажды привезли сразу пачку, среди них – от тебя письмо и открытку. Пишу тебе регулярно, но вряд ли ты получаешь мои письма, писал их на разные адреса. Здесь сейчас порядочный морозец и ветер. Будь здоров, дорогой мой, береги себя, мы обязательно увидимся».

Письма Гроссману приходили с опозданием, часто и вовсе пропадали. 22 ноября отцу сообщил, что жене совсем плохо и нет от нее вестей: «Не знаю, как она переносит горе и одиночество в этом распроклятом Чистополе».

В декабре Гроссмана-старшего перевели на работу в Москву. Прописку сначала получил временную, и сын в письмах обращался к знакомым, просил ускорить процедуру, чтобы отец прописался наконец постоянно.

Жена собиралась вернуться из Чистополя, но опять возникли трудности с пропиской. Время было военное, формальностей больше, чем в мирное.

11 декабря Гроссман в письме сообщал об этом отцу, просил его помочь жене, обратиться к руководству ССП. О себе рассказывал кратко: «Я предполагаю в январе быть в Москве, чувствую себя хорошо, но нервы, кажется, потрепал изрядно. Стал злым и раздражительным, кидаюсь на коллег, они меня уже бояться стали. Сейчас уехать отсюда не могу и не хочу, ты понимаешь, что, когда и нам улыбнулось счастье, не хочется покидать места, которые видел в самое тяжелое время».

Понятно, что «счастье» – наступление. Ждали его давно. Однако Гроссман так и не увидел победное завершение Сталинградской битвы, полный разгром и капитуляцию окруженной немецкой группировки. Спецкор «Красной звезды» был вновь отозван в Москву – для работы над циклом военных очерков.

Новый статус

К 1943 году автор повести «Народ бессмертен» – в числе самых популярных советских журналистов. По масштабам известности уступал разве что всемирно знаменитому тогда И. Г. Эренбургу.

На войне Гроссман встречал многих коллег, но воспоминаний о нем осталось крайне мало. Потому особенно интересны мемуары Липкина.

Стоит отметить: его рассказы о встречах с Гроссманом и Платоновым не ближе к фактам, чем рассмотренная выше история про сталинскую характеристику романа «Степан Кольчугин». Однако в каждом случае интересна прагматика вымысла.

Например, Липкин сообщил, что в октябре 1942 года встретился с Гроссманом. Теоретически это допустимо: мемуарист, прикомандированный тогда к Волжской флотилии, бывал в Сталинграде. Утверждал: «Свиделись мы не случайно. Он знал, что я близко от него».

Почему «знал» – не объяснено. Можно предположить, что Гроссман выяснил, где служит друг, и нашел его. Был, если верить мемуаристу, «худ, небрит, в грязной шинели, испытующие, исследующие его глаза блестели одушевлением».

Липкин жил в одной из кают военного корабля, предоставленной корреспонденту. Там и «выпили водки».

На войне и не только – обычное дело. А далее, согласно Липкину, «сошли на берег, чтобы поговорить по душам, без посторонних. Я к тому дню был на сталинградском фронте всего лишь две недели, а он успел уже пройти через все круги августовского и сентябрьского ада, уже был опален тем сталинградским пожаром, который он впоследствии так мощно описал в романе “За правое дело”».

Разговор шел о войне. Гроссман сказал: «Сталинград почти весь в руках немцев, но здесь будет начало нашей победы. Вы согласны со мной?»

Липкин, если верить мемуарам, к воодушевлению собеседника отнесся скептически. Гроссман же «не сомневался в том, что идет война между интернационализмом и фашизмом. Эта война, по его мнению, смывает всю сталинскую грязь с лица России. Святая кровь этой войны очистила нас от крови невинно раскулаченных, от крови 37-го года. Я не помню дальнейших его рассуждений, но приблизительно он говорил то, что написал в романе “За правое дело”: “Партия, ее Цека, комиссары дивизии и

полков, политруки рот и взводов, рядовые коммунисты в этих боях организовали боевую и моральную силу Красной Армии”».

Однако не верится, что Гроссман все это мог сказать. Лексика не его, да и логики тут нет, что странно – для аналитика.

Начнем с «невинно раскулаченных». Оборот характерный, подразумевающий, что были и виновные, кого «раскулачивали» справедливо.

У Гроссмана таких иллюзий не было. Он – свидетель Голодомора на Украине, и впечатления рубежа 1920–1930-х годов отражены в повести «Все течет…».

Аналогично, «37-й» год не был для него символом беззаконий. Видел и осознавал их гораздо раньше. Например, понимал суть антисемитских кампаний, показательных расправ с «оппозиционерами», «вредителями» и т. п.

Да, подобного рода акции противоречили изначальным коммунистическим установкам, почему и могла оставаться надежда, что противоречия будут со временем устранены. Но до гипотетического устранения приходилось играть по советским правилам. Что и делал Гроссман, к примеру, в 1938 году, когда сумел освободить жену и уберечь ее детей от спецдетдома. Не случайно в письме наркому внутренних дел казуистически обосновывал необходимость освобождения, «по умолчанию» признавая обязательность ареста семей осужденных.

Потому нет оснований верить, что Гроссман сказал и про «сталинскую грязь»: он не отделял генсека от советской политики. Наконец, тут явное противоречие с «рассуждениями» о «партии и ее Цека», которые «организовали боевую и моральную силу Красной Армии».

В мемуаристике обычны подобного рода домыслы и вымыслы. Не только Липкин, почти все опубликовавшие воспоминания о Гроссмане вольно или невольно приписали ему то, что, по их мнению, он мог бы или должен был сказать.

Если же учитывать специфику источника, прагматика рассказа ясна. Обоснованы сразу несколько тезисов.

Во-первых, Гроссман, при всем его таланте, оставался и осенью 1942 года наивным оптимистом. Липкин же как до войны, так и на фронте – скептичен и прозорлив.

Ну а во-вторых, Гроссман осенью 1942 года был вполне искренним. Таким и оставался в послевоенное время, когда задумал и написал роман «За правое дело».

Липкин постоянно напоминал читателям о главной теме мемуаров. Она сформулирована в предисловии: «В этих записках я хочу, прежде всего, рассказать о некоторых событиях, связанных со сталинградской дилогией “За правое дело” и “Жизнь и

судьба”».

Отсюда, конечно, не следует, что Липкин целиком выдумал тираду, которую якобы произнес Гроссман в октябре 1942 года. Источник несложно отыскать.

Например, Бочаров отметил, что в ЦГАЛИ СССР хранятся двенадцать вариантов романа «За правое дело». Рукописи эти отражают этапы борьбы автора с цензурой. Изменения «появлялись после обсуждений в 1949–1952 годах на заседаниях редколлегий, по замечаниям многочисленных редакторов и консультантов, редакторов и разнообразного литературного и иного начальства – истерзанный, измученный, латаный-перелатаный текст, чудом спасенный автором от разрушения под напором демагогии, зашоренности, перестраховки».

Бочаров приводит и характерный пример уступки цензурному диктату. По словам исследователя, чужеродна «тирада, прямо приклеенная к первой верстке в 53 главке:

“Партия и ее Центральный Комитет, комиссары дивизий и полков, политруки рот и взводов, рядовые коммунисты в этих боях ковали дисциплину, организовывали боевую и моральную силу Красной Армии”. Такой декларацией отделался автор от начальственных требований усилить показ руководящей роли партии».

Да, уступка. В терминологии Бочарова – «латка».

Подчеркнем: «латки» не было в исходном варианте романа. Фрагмент написан по требованию цензоров, и соответствующий листок вклеен в верстку. Потому и вошел в публикацию.

Липкин тоже заметил чужеродность тирады и почти дословно пересказал ее, но – в качестве услышанной, а не только прочитанной. Получился яркий пример гроссмановской наивности, еще заметной в Сталинграде. Вот и доказательство искренности автора романа «За правое дело».

К 1986 году критики уже традиционно противопоставляли первую и вторую части дилогии. Считалось, что роман «За правое дело» типичен для сталинской эпохи, тогда как «Жизнь и судьба» – прорыв, которого не ждали от вполне советского писателя. Потому Липкин и доказывал, что искренним Гроссман был всегда, менялся не он, а его мировоззрение – поэтапно.

Допустим, Липкин и в данном случае «хотел, как лучше». Только достоверность тут ни при чем.

Однако, независимо от тенденциозности мемуариста, весьма интересна общая характеристика публикаций, относящихся к 1941–1942 годам. Липкин утверждал: «Сталинградские очерки Василия Гроссмана, которые регулярно печатались в “Красной звезде”, самой читаемой газете военных лет, сделали его имя

широко известным и в армии, и в тылу. Кажется, некоторые из этих очерков публиковались за рубежом. Особенно знаменит был очерк “Направление главного удара”, в котором слышался вопль воздуха, раскаленного авиабомбами, грохот, которым “можно было оглушить человечество”, горел огонь, которым “можно было сжечь и уничтожить государство”».

Отметим, что во фразе Липкина цитаты обозначены кавычками. Без них – та характеристика, что мемуарист сам дал очерку, где «слышался вопль воздуха, раскаленного авиабомбами».

Но и это – цитата. В очерке «Направление главного удара» сказано: «Тот, кто слышал вопль воздуха, раскаленного авиационной бомбой, тот, кто пережил напряжение стремительного десятиминутного налета немецкой авиации, тот поймет, что такое восемь часов интенсивной воздушной бомбежки пикирующих бомбардировщиков».

Мы привели два образца цитирования. Первый раз фраза из романа «За правое дело» интерпретируется как произнесенная его автором и адресованная другу-собеседнику, ну а затем мемуарист цитирует очерк, и созданный Гроссманом образ воспроизводит в качестве самостоятельно формулируемой оценки некогда прочитанного.

Возможно, что в последнем случае Липкин не поставил кавычки по забывчивости. Зато не забыл добавить: «Сталин приказал “Правде” перепечатать очерк из “Красной звезды”, несмотря на то, что не любил Гроссмана».

Про то, что именно «Сталин приказал», сообщается так, между прочим, словно речь идет о факте общеизвестном. Равным образом о неприязни генсека. Источник липкинской осведомленности, как водится, не обозначен. Прием обычный.

Гроссмановский очерк «Направление главного удара» действительно был «знаменит». В 1942–1944 годах его печатали издательства Москвы, Ленинграда, Куйбышева, Омска, Красноярска, Новосибирска, Еревана и т. д.[278]

Но и другие гроссмановские публикации тоже неоднократно перепечатывались различными издательствами, так что дело не в сталинском приказе, если тот вообще был. Липкин же далее утверждал: «“Направление главного удара” привлекло к себе всю страну. Точность деталей, пылающая правда сражения рождали мысль о том, что “героизм сделался будничной, каждодневной привычкой”. “Вы теперь можете получить все, что попросите”, – сказал Гроссману Эренбург. Но Гроссман ни о чем не просил».

Сказал ли такое Эренбург – неизвестно. Однако существенно другое. На самом деле Гроссман не раз просил. За себя, отца,

жену, друзей, что и видно по переписке. Иногда начальство помогало – насколько удавалось.

Неважно, знал ли о том Липкин. Если да, противоречил истине сознательно, нет – попросту сочинял. Важно, что он конструировал своего рода «биографический миф» Гроссмана, а писателю-нонконформисту не полагалось унижать себя просьбами.

Сообразно конструкции Липкин и рассуждал о статусе Гроссмана. В частности, отметил: «Известность его упрочила повесть “Народ бессмертен”, первая сравнительно большая вещь об Отечественной войне. Даже после опубликования за рубежом повести “Все течет” и романа “Жизнь и судьба” эта повесть, хотя и гораздо реже, чем прежде, упоминается в нашей печати в почетном перечислении. Написана она выразительно, но сердца моего не затронула».

Повесть не просто «упрочила известность». На самом деле – стала одним из важнейших литературных событий 1942 года.

Еще до того, как она вышла отдельным изданием, газета «Литература и искусство» поместила безоговорочно хвалебную рецензию. Речь шла о качественно новом подходе к описанию войны[279].

По словам рецензента, повесть была и стилистически удачна. А стиль обусловлен авторской позицией: «Не впадая нигде в отвлеченную патетику, В. Гроссман говорит о высоких идеалах освободительной войны языком простым, мужественным и потому особо впечатляющим».

Повесть, как подчеркивал рецензент, о периоде отступлений. Но тематика не умаляет достоинств: «Здесь речь идет о самом главном, коренном, что дает право народу быть бессмертным, о том, как куется победа, каковы источники победы, здесь дана своего рода алгебра победы, показана победа, как норма поведения советских людей, народа в целом».

Акцентирована была и пропагандистская эффективность. Не в перспективе, а как данность: «Повесть В. Гроссмана показывает условия победы человеческого над звериным, варварским. Она становится на вооружение великого народа, ведущего беспощадную борьбу с гитлеризмом».

Хвалебной была и рецензия в шестнадцатом номере журнала «Партийное строительство». Рецензент тоже акцентировал пропагандистскую эффективность повести[280].

В сентябре журналом «Спутник агитатора» опубликован еще один отзыв на гроссмановскую повесть. Фактически это пересказ рецензии «Партийного строительства», задавшей тон обсуждению в 1942 году[281].

Достоинства повести в аспекте собственно литературном признавались всеми безоговорочно. Идеологического характера претензии не формулировались.

Гроссмана фактически признали лучшим из прозаиков, обратившихся к теме Отечественной войны. По сути, это был триумф. Сталинская премия уже подразумевалась.

Вычеркнутый

Гроссман не стал лауреатом. Ныне считается доказанным, что его кандидатура была выдвинута на соискание премии за повесть «Народ бессмертен», однако Сталин лично вмешался, предотвратив награждение.

Первым такую версию предложил в печати Эренбург. В 1966 году вышла отдельным изданием книга его мемуаров «Люди, годы, жизнь[282].

Ситуация характеризуется там с грустью, но и не без иронии. Мемуарист утверждал: «Говорят, есть люди, которые рождаются под счастливой звездой. Таким баловнем судьбы можно, например, назвать Пабло Неруду. А вот звезда, под которой родился Гроссман, была звездой несчастья. Мне рассказывали, будто его повесть “Народ бессмертен” из списка представленных на премию вычеркнул Сталин».

Источник сведений не указан. Эренбург лишь отметил: «Не знаю, правда ли это, но Сталин должен был не любить Гроссмана, как не любил он Платонова…».

Версия тут же обосновывалась. Сталин «должен был не любить Гроссмана», прежде всего, «за любовь к Ленину, за подлинный интернационализм, да и за стремление не только описывать, но пытаться истолковать различные притчи жизни».

О вмешательстве генсека сообщила также Н. А. Роскина. В 1980 году парижским издательством выпущены ее мемуары «Четыре главы. Из литературных воспоминаний»[283].

Роскина – дочь погибшего гроссмановского друга. Осведомленность в данном случае обосновывалась ссылкой на давнее знакомство. С Эренбургом она спорила: «Уж не знаю, за что Сталин не любил Гроссмана, за какие такие пристрастия; но что нелюбовь эта была взаимной, это я могу удостоверить. Отнюдь не любовь к Ленину была причиной всегда опального положения Гроссмана, а исключительно тот факт, что Гроссман никогда не искал любви Сталина. Да и ничьей любви он не искал».

Эренбург, значит, выдумал причину неприязни генсека. Далее мемуаристка заявила: «В начале войны Гроссман написал патриотическое сочинение, выдвинутое на соискание Сталинской премии – роман “Народ бессмертен”. Из списка лауреатов роман был вычеркнут Сталиным».

Вообще-то, «Народ бессмертен» – не «роман». И 1942 год, опять же, не совсем «начало войны». Но тут главное, что Сталин вмешался, проявив неприязнь.

Допустимо, что Липкин к 1986 году не прочел воспоминания Роскиной. Но мемуары Эренбурга не мог не прочесть. Они были необычайно популярны, обсуждались постоянно. Тем более речь шла о Гроссмане.

Вот почему может показаться странным, что история о вмешательства генсека в 1943 году не упомянута Липкиным. Она ведь корреспондирует с его версией относительно сталинской неприязни к автору романа «Степан Кольчугин». Но с учетом реального контекста умолчание закономерно.

Допустим, Сталин действительно назвал «меньшевистским» роман «Степан Кольчугин» и вычеркнул фамилию автора из лауреатского списка. Выразил личную неприязнь. Об этом, соответственно, должны были б знать функционеры ССП. Тогда повторное выдвижение на высшую литературную награду – дерзость. Ее нужно было бы объяснить читателям мемуаров, знакомым с контекстом эпохи.

Объяснения не требуются, если эренбурговская версия не упомянута. Липкин воспроизвел ее частично, перенеся на историю романа «Степан Кольчугин» и придумав другое обоснование сталинской неприязни. Что было целесообразно – в аспекте конструирования «биографического мифа». Новое свидетельство экстраполировалось на прежние, не подвергавшиеся сомнениям в силу аксиоматически подразумеваемой неангажированности Эренбурга и Роскиной как мемуаристов.

На исходе 1980-х годов липкинскую версию уже самостоятельно дополнили наиболее азартные критики – посредством своего рода контаминации с эренбурговско-роскинской. И получилась история о двух сталинских вмешательствах. Причем каждый раз – «в последний момент».

Такое осмысление вполне соответствовало уже сложившемуся тогда «биографическому мифу» Гроссмана. И Сталина тоже. Ему как хрестоматийному тирану полагалось невзлюбить писателя-нонконформиста.

Эта история воспроизведена и в книге Губера. Не указывая источник сведений, он сообщает, что «комиссия по присуждению сталинских премий за 1942 год единодушно решила присудить премию повести Василия Гроссмана “Народ бессмертен”, однако Сталин вычеркнул фамилию Гроссмана из списка лауреатов».

Вскоре дополненная история о сталинских вмешательствах стала привычной. А потому и вошла в научный оборот.

Но, оставив липкинскую версию как явно вымышленную, подчеркнем: свидетельства Эренбурга и Роскиной не расходятся в главном: Сталин вмешался, проявив личную

неприязнь к Гроссману.

Допустим, так было. Значит, нужно выяснить, когда это могло бы случиться. Надлежит определить хронологические рамки – крайние даты.

Одна из крайних дат устанавливается ориентировочно. 19 ноября 1942 года «Правда» опубликовала заметку, где было сказано, что Комитеты по Сталинским премиям вновь «приступили к работе»[284].

Если Сталин и вмешался, то не раньше 19 ноября 1942 года. Примерно тогда и началось обсуждение кандидатур будущих лауреатов.

Вторая дата определяется точно. 19 марта 1943 года СНК СССР принял соответствующее постановление, а на следующий день «Правда» опубликовала список, где нет Гроссмана[285].

Следовательно, не позже 19 марта 1943 года Сталин принял решение относительно Гроссмана. Если, конечно, такое случилось.

Коль скоро допущено, что случилось, то не позднее 20 марта 1943 года все, кому по должности полагалось, должны были бы узнать: Сталин «вычеркнул» Гроссмана из лауреатского списка, проявив личную неприязнь.

Функционерам следовало на такое реагировать. Ведь это приговор. Если не автору, так уж точно – повести.

Но рассказанная мемуаристами история противоречит библиографии. Повесть в 1943 году опубликована пять раз. В Москве, Ленинграде, Магадане и Хабаровске[286].

Четыре книги подписаны к печати до 20 марта 1943 года. Одна – 11 июня, хотя генсек уж три месяца, как проявил личную неприязнь к автору повести. Значит, функционеры дерзили Сталину.

Нет сведений о сталинской реакции. Словно генсек ничего и не заметил, а доложить было некому.

Характерно, что все издания поступили в библиотеки и розничную продажу. А в 1945 году гроссмановская повесть опубликована издательствами Москвы, Ленинграда, Воронежа, Сочи и Ростова-на-Дону[287].

Московские издательства в 1945 году дважды опубликовали гроссмановский сборник «Годы войны». Повесть туда вошла.

В 1946 году сборник опять напечатан теми же издательствами. Да еще и ставропольским[288].

Однако сведений о реакции генсека по-прежнему нет. Вот оно, проявление сталинской неприязни.

Нет оснований допускать, что дерзость литературных функционеров столько лет оставалась безнаказанной. Значит, не

дерзило Сталину руководство ССП.

А если в целом, картина знакомая – по истории с романом «Степан Кольчугин». Есть и детальные совпадения. Роскинское свидетельство относительно того, что Гроссман «вычеркнут Сталиным», явно восходит к эренбурговскому, подобно тому как рассказы Таратуты и Губера о вмешательстве 1941 года соотносятся с мемуарами Липкина.

Когда Роскина готовила мемуары к изданию, немало лет прошло с публикации эренбурговской версии. Потому она воспринималась уже в качестве привычной. Ее и воспроизвела мемуаристка, но – частично. Придумала другое обоснование сталинской неприязни, соответствовавшее гроссмановскому «биографическому мифу» – в своей интерпретации.

Неизвестно, относился ли Сталин неприязненно к Гроссману, однако ясно, что неприязнь, если и была, не проявлялась в 1940-е годы.

Сам по себе спор о сталинском вмешательстве беспредметен. Прежде чем спорить, нужно бы доказать, что в лауреатском списке – хоть на каком-то этапе – был автор повести «Народ бессмертен».

Динамика осмысления

О повести Гроссмана печатались хвалебные рецензии с лета 1942 года. Соответственно, были основания полагать, что автор попадет в лауреатский список. И все же предположения – аргумент недостаточный.

История, рассказанная Эренбургом, тоже не доказательство. А другие вообще не приведены сторонниками версии сталинского вмешательства.

Доказательства – в РГАЛИ. По сохранившимся там документам вполне отчетливо прослеживаются некоторые этапы готовившегося награждения.

Подготовка к выдвижению кандидатуры Гроссмана велась, прежде всего, руководством ССП. Это видно по материалам личного дела[289].

Судя по ним, вопрос о Сталинской премии актуализовался осенью 1942 года. 2 декабря руководством ССП направлены в Управление агитации и пропаганды ЦК партии анкета Гроссмана, характеристика и список основных публикаций. Копии документов и сопроводительного письма оставлены в личном деле.

Характеристика, разумеется, положительная. Автор утверждал: «Василий Гроссман является одним из виднейших советских прозаиков. Уже первые рассказы В. Гроссмана привлекли к себе внимание критиков. Многотомный роман “Степан Кольчугин” единогласно был признан серьезнейшей работой о первой мировой войне 1914–1918 годов, появившейся в нашей печати в предвоенные годы. За время Отечественной войны В. Гроссман поднялся на новую, высшую ступень творчества. Его повесть “Народ бессмертен” – первая крупная вещь о войне с фашизмом, должна быть признана одной из лучших книг, появившихся в дни войны. Корреспонденции В. Гроссмана с фронта, печатавшиеся в центральной прессе, принадлежат к числу лучших корреспонденций и читаются всей страной. В течение всех последних месяцев В. Гроссман находится на Сталинградском фронте и принимает участие в начавшемся наступлении Красной Армии».

Примечательно, что роману «Степан Кольчугин» дана очень высокая оценка. Она вполне соответствовала официальной.

Далее гроссмановская кандидатура рассматривалась на заседаниях Комитета по Сталинским премиям в области литературы и искусства. Орфография и пунктуация источников приведены к современным нормам[290].

Наиболее последовательным гроссмановским сторонником был Асеев. Если верить стенограмме, утверждал: «О войне автор говорит, не оглядываясь на обязательство фронтового языка, на необходимость все время повторять известные по статьям прекрасные, важные вещи, которые известны всем, военным и штатским. Гроссман взял разрез внутренней жизни войны так, как он долго ее наблюдал. Он хитрый, внимательный, молчаливый человек, долго присматривающийся. Но увидевши, – долго не забывает. В этом смысле его роман производит большое впечатление. Сцена бронебойщиков – это одна из центральных. Замечательно описано, как стоят люди в окопах, перекликаются друг с другом. Дальше идут пулеметные гнезда, впереди дорога, на которой должны показаться танки. Эти люди – передовые перед всеми, за ними вся страна. Это ощущение “бездны на краю”. Убежден, что их сила и дух заключается в том, что вся страна за ними. Очень хорошо показано, как на них идут танки, как за танками идут мотоциклисты-истребители – самоуверенный, несправедливый бог войны, налезающая лавина. А в это время комсомольцы, бухгалтера, рядовые советские люди в жуткий момент в окопах связываются друг с другом, бросают друг другу кисеты. Все это здорово сделано. Пожар сделан здорово. Все сцены боя сделаны замечательно».

Характеристика повести однозначно положительная. В заключение Асеев подчеркнул, что «у Гроссмана война – страшная, тяжелая, необходимая, от нее уйти нельзя».

Асеев, как отмечалось выше, ознакомился с повестью еще в чистопольской эвакуации. Вероятно, тогда же и принял решение выдвинуть кандидатуру Гроссмана.

Сталинского лауреата поддержал А. Г. Мордвинов, весьма известный тогда архитектор. По его словам, автор «написал свою повесть очень правдиво, с большим мужеством. Это – мужественные русские люди, это – уверенность в победе. Надо принять во внимание еще, что вещь написана в пору нашего отступления…».

Акцентирована была и пропагандистская эффективность. Мордвинов утверждал: «Показана в повести русская природа, русские люди, немцы – и там нет шаржа, он даже не показывает зверств; а между тем возникает чувство ненависти к ним».

Итоговый вывод подразумевался. Однако Мордвинов счел нужным еще раз подчеркнуть: «На меня эта повесть произвела большое впечатление, и я думаю, что за нее можно дать Сталинскую премию».

Толстой был краток. Отметил, что «Гроссман растет с каждым месяцем. Эта его повесть – не случайная вещь, это закономерно

для него».

Последним высказался А. С. Гурвич. Как литературовед и критик анализировал, прежде всего, жанровую проблематику: «Эмоциональная характеристика этой повести была дана достаточно. Я прочел несколько повестей, написанных о войне. Основной вид литературы был у нас – очерк о фронте; потом стали появляться первые повести. Время для романа о войне еще не созрело, это будет сделано, когда будет какая-то дистанция. А сейчас автор не может отойти в сторону и обрести спокойствие, которое нужно для такого романа. Можно считать, что от горячего очерка, который шел с фронта, когда-то сформируется роман. Очерковость в повести Гроссмана есть, но это художественный очерк и служит той ступенью, по которой литература перейдет к роману об этой войне. В жанре, который был только и возможен для отражения войны, Гроссман оказался первым и лучшим».

Оценка, стало быть, однозначная – «первый и лучший». Гурвич резюмировал доводы предшественников.

Акцентировал и актуальность. Так, утверждал: «В этой повести “Народ бессмертен” надо принять во внимание примечание, которое было в Совнаркоме, чтобы отдавать предпочтение произведениям, отражающим момент Отечественной войны. Я думаю, что это произведение звучит. Я не скажу, что через три-четыре года эта повесть будет читаться, но, тем не менее, это произведение в нашей прозе является самым сильным, и поэтому считаю возможным его выдвинуть».

Гурвич специально оговорил, что повесть актуальна, однако ситуация может измениться. Но пока не изменилась – «это произведение в нашей прозе является самым сильным». Осторожен был критик.

В первый список, предложенный для тайного голосования, Гроссман попал. И это был немалый успех. Кроме автора повести «Народ бессмертен» выдвинуты еще пять кандидатов[291].

Результаты первого тайного голосования оглашены 4 марта. Автор повести «Народ бессмертен» в списке остался. Зато была исключена В. Л. Василевская, добавлены же В. Я. Шишков и С. М. Муканов[292].

5 марта документы направлены в СНК СССР. Неизвестно, изменился ли там список. Затем документы шли в ЦК партии. Сколько было там инстанций, кто правку вносил – тоже неизвестно.

Кстати, в итоговый список не только Гроссман не попал. Муканов с Шишковым также. Зато Василевская опять включена.

А еще стали лауреатами А. С. Серафимович и В. В. Вересаев.

В этих случаях причины объяснены «Правдой» в примечании к списку. Новая появилась номинация – «за многолетние выдающиеся достижения в области искусства и литературы»[293].

Можно при желании поспорить о причинах сталинской неприязни к Шишкову и Муканову наряду с Гроссманом. А также – приязни к Василевской. Однако и то и другое нельзя доказать.

Но, пожалуй, наиболее убедительный аргумент – библиография. Всех трех «вычеркнутых» публиковали в дальнейшем без ограничений.

Причину же исключения Гроссмана из лауреатского списка можно выявить по отзывам в периодике. Там это отчетливо прослеживается.

С весны 1943 года тональность рассуждений критиков меняется. О повести они пишут без прежнего восторга, хотя и негативных отзывов нет.

Это объяснимо. В феврале советские войска, одержав победу под Сталинградом, перешли в наступление. Повесть об отступлениях и вере в скорую победу утратила актуальность.

Соответственно, автор статьи «Во славу родины», опубликованной журналом «Огонек» летом 1943 года, вынужден объяснять, почему советские войска отступали. Без объяснения оценка гроссмановской повести уже невозможна: «Мы принуждены были отступить с боями под натиском чудовищной военной машины, созданной немецко-фашистскими людоедами для своего страшного дела. Но все крепче и яростнее становились наши ответные удары. Красная армия, отступая, не только изматывала силы врага: она также приобретала в эти жестокие, страдные дни 1941 года боевую выучку, растила свой боевой опыт, училась бить врага, все с большим совершенством овладевала искусством современной войны»[294].

Получилось, что Гроссман объяснял, почему наступления впереди. И был прав: «Повесть рассказывает о днях отступления, но в ней уже заложен тот великолепный, подъемный дух, который привел к столь памятным и столь славным победам Красной Армии».

Таким образом, повесть Гроссмана представлена как уже сыгравшая нужную роль. И – отошедшая на второй план.

В августе «Знаменем» опубликована статья, где повесть опять расхвалена. Автор утверждал, что «разгадка жизненности и силы книги В. Гроссмана лежит в той общей мысли, которой подчинено все рассказанное в повести, в той, говоря словами М. Горького, “исторической сознательности”, которой она пронизана»[295].

Имелся в виду дар убеждения. Постулировалось, что «после

Сталинграда и прорыва ленинградской блокады легко писать о великих преимуществах маневренной войны, о взаимодействии родов оружия, о творческом овладении военным делом, о дисциплине и военном профессионализме. Но повесть В. Гроссмана написана год назад».

Отсюда следовало, что повесть хороша, пусть и не по-прежнему актуальна. Таков был и заключительный вывод рецензента.

К весне 1943 года повесть сочли утратившей былую актуальность – пропагандистскую. Вот и причина, в силу которой Гроссман не стал лауреатом.

Сталин ли вмешался, принято ли решение на каком-то из предыдущих этапов – неизвестно. Однако в любом случае понятно: ни к повести, ни к автору не было претензий.

Уместно подчеркнуть: само по себе исключение Гроссмана или кого бы то ни было из лауреатского списка нельзя признать доказательством сталинской неприязни.

Кстати, в годы войны совокупный тираж книжных изданий повести значительно превысил сто тысяч экземпляров. И сумма гонораров оказалась гораздо больше, нежели Сталинская премия первой степени.

Мнимость опалы

Сам факт выдвижения кандидатуры Гроссмана на соискание премии был свидетельством официального признания заслуг. И конечно, высокого статуса.

Этот статус не подвергался сомнению. Никаких слухов о сталинской неприязни тогда не было. Так, в 1943 году издательство «Советский писатель» выпустило сборник фронтовых очерков Гроссмана – «Сталинград. Сентябрь 1942 – январь 1943»[296].

Книга была замечена сразу. Отзывы не просто хвалебные – восторженные.

В апреле журнал «Знамя» опубликовал статью И. С. Эвентова «Душа солдата. (О Сталинградских очерках В. Гроссмана)». Заглавие статьи, кстати, корреспондировало с заглавием одного из рецензируемых очерков[297].

Статью Эвентов начал описанием истории гроссмановской книги. Затем перешел к исходным тезисам: «Прошел год со времени героической эпопеи, разыгравшейся на Волге, у Сталинграда. За этот год опубликованы статьи и письма, показан документальный фильм, составлено немало стихов. Об этом будут написаны тома. Но очерки В. Гроссмана уже сейчас выделяются среди всего остального одной особенностью, которую мы замечаем почти с первых страниц и которая неотступно следует за нами дальше по столбцам этого замечательного цикла».

Особенностью Эвентов объявил психологизм гроссмановских очерков. По мнению критика, не случайно заглавие одного из них – «Душа красноармейца»: «Так вот о какой душе говорит здесь писатель! Он говорит о великой силе, поднявшей на подвиг наших мирных людей, о той неизбывной любви к родной земле, о стремлении отомстить за ее жгучие раны, которое сделало солдатскую доблесть наших бойцов не случаем, не простым исполнением службы, а грозным повелением сердца, волей души».

Охарактеризовав героев очерков, приведя несколько пространных цитат, Эвентов подвел итог. По словам критика, «очерки В. Гроссмана – это самое сильного из всего, что до сих пор написано о Сталинграде».

14 августа газета «Литература и искусство» опубликовала статью М. М. Кузнецова «Школа мужества». Оценки сталинградских очерков там были тоже превосходными.

Критик рассказывал о собственных впечатлениях. О периоде

сталинградской обороны, когда «в печати появились замечательные очерки Василия Гроссмана».

Выдающихся очеркистов было тогда не так уж мало. Но критик еще разподчеркивал: «Среди всех сталинградских корреспонденций очерки Гроссмана сразу выделялись; их искали; те, кто не сумел достать газету, требовали от товарищей – расскажи».

После окончания Сталинградской битвы, отмечал критик, ему казалось, что и восприятие гроссмановских очерков изменится. Не исключалось, что новая книга не так актуальна: «Признаться, с некоторой боязнью брали мы ее в руки – не потускнели ли краски, не является ли она сейчас лишь ценным историческим документом? Сомнения отлетают прочь, едва вы раскроете книгу. Уже зная развязку, уже пережив все эти события, вновь ощущаешь биение сердца, и только дойдя до последней страницы, переводишь дыхание, как после крутого подъема. Ибо педантично сохраняющая точность имен и событий, книга эта вместе с тем отрадное явление искусства».

Предсказуема была и аналогия. Критик настаивал, что она вполне обоснованна: «Да, конечно, это документ. Но ведь и “Севастопольские рассказы” тоже документ и вместе с тем одно из значительных созданий гения Толстого. Мы далеки от мысли сравнивать обе эти книги, но, упомянув о “Севастопольских рассказах”, надо сказать, что книга Гроссмана находится с ними в несомненном родстве, продиктованном общностью задач, стоящих перед писателями – оба описывают героические страницы жизни своего народа и оба ищут те глубокие черты национального характера, которые проявились в эти критические моменты истории».

Таким образом, книга Гроссмана снова оказалась «в несомненном родстве» с толстовской. Совпадение вряд ли случайное.

Примечательно, что в статье Кузнецова есть имплицитная ссылка на заглавие гроссмановской повести:

«Как же устояли наши люди в этом аду? Смертны ли они?

Да, они были смертны. Но это были настоящие люди, их нервы и сердца выдержали».

2 сентября газета «Труд» напечатала статью Л. А. Озерова «Сталинград». Речь шла о сборнике, выпущенном издательством «Советский писатель»[298].

Озеров рассуждал о значении сборника в литературном процессе военного времени. Как поэт, разумеется, акцентировал специфику личного восприятия: «От книги прозы В. Гроссмана веет настоящей поэзией».

Гроссмановская книга, по словам Озерова, не только сборник документальных свидетельств, но и плод личного опыта. Результат именно собственных наблюдений: «Страницы книги обожжены сталинградским огнем. В этом ее неповторимое обаяние. А значение ее – в глубоком показе “человека с ружьем”, русского солдата-победителя…».

В заслугу Гроссману поставлены не только наблюдательность, писательское мастерство, личная храбрость. Речь шла об историософском толковании: «Эта книга о людях, выдержавших бешеный натиск бронированных дивизий Гитлера. Здесь решался вопрос вопросов. Василий Гроссман понял это».

Далее Озеров перешел к выводам. По его словам, Гроссман «нигде не говорит о победе. Очерки писались в труднейшие дни сталинградской эпопеи. Но автор приводит читателя к своей итоговой мысли: эти люди не могут не победить».

В данном случае важно, что и Озеров счел уместной аналогию с толстовской эпопеей. Акцентировал: «Подобно нашим документальным фильмам, эти очерки ведут к созданию большого эпоса войны».

Ни одного замечания критик тоже не сформулировал. По тональности аналогична и статья Б. И. Соловьева, «Русские воины», опубликованная 22 сентября газетой «Красный флот»[299].

Рассуждал Соловьев преимущественно о героях очерков Гроссмана, что и заявлено в заглавии статьи. Оценка книги в целом задавалась изначально: «Среди литературы, посвященной отечественной войне с немецкими захватчиками, книга Гроссмана занимает особое место. Это очерки внимательного и пытливого свидетеля многих великих и славных событий, которые навсегда войдут в историю, как одни из самых замечательных ее страниц».

Герои очерков Гроссмана, по словам Соловьева – не выдуманные, а реальные участники Сталинградской битвы. Им свойственны не только храбрость, даже презрение к трусости, но и жестокость. И автор очерков, если верить критику, ничего скрывать не собирался: «Да, люди, о которых пишет Гроссман, не “прекраснодушны”, они не полны благостью всепрощения, они непримиримы, суровы, справедливы, сами не “вильнут” и другому не позволят “вильнуть”, и полной ценой заставят заплатить за измену долгу, родине, присяге».

Позиция Гроссмана, по Соловьеву, единственно возможная. Значит, утверждал критик, автор книги прав, «когда говорит, что в основе несокрушимого упорства нашего бойца – не только отличная воинская и политическая подготовка и суровая дисциплина, а и целомудренная мораль и крепкая взаимная любовь».

Сопоставление с романом «Война и мир» в таком контексте закономерно. Толстой, как утверждал Соловьев, «говорил: если произведение основано на лжи, то оно порошком рассыпается. А возьмите очерки Гроссмана, такие как “Направление главного удара”, “Власов”, “Сталинградская битва” – они словно отлиты из цельного куска металла, они полны силы и энергии. Пафос правды ощущается в книге и создает суровый стиль ее реализма, чуждый ложной патетике».

Таким образом, автор сборника вновь назван реалистом толстовского уровня. По советским меркам – едва ли не высшая оценка писателя. Гроссман, если верить Соловьеву, «не боится быть моралистом, – в этом он следует коренным традициям русской литературы, традициям, определившим мировое значение нашего искусства, являющегося совестью всего передового человечества».

Так что сказанное Роскиной относительно «всегда опального положения» Гроссмана следует отнести к области вымысла. Мемуаристка, вероятно, «хотела, как лучше», но к оценке достоверности свидетельства не имеют отношения подобного рода намерения.

Подчеркнем: гроссмановский триумф считался бесспорным. Автор повести «Народ бессмертен» не стал лауреатом, но это компенсировалось всесоюзной и даже мировой известностью – его очерки и рассказы переводились на европейские языки.

Сталинградское командование представило Гроссмана к ордену Красной Звезды. А с началом зимнего наступления – к медали «За оборону Сталинграда».

Кстати, в 1943 году введена унифицированная система званий начальствующего состава. Соответственно, военные корреспонденты прошли переаттестацию, что для многих подразумевало и понижение: интендантский статус был ниже командирского. Гроссман же сразу получил звание майора, эквивалентное прежнему. Вскоре стал и подполковником.

Однако проблемы статуса были для него второстепенными. Спецкор «Красной звезды» вновь уехал в действующую армию, 28 июля отправлено его очередное письмо: «Дорогой папа, вот уже 3 недели, как езжу подобно цыгану по множеству дорог. Ездить летом куда приятней, чем зимой – нет заботы о ночлеге, солнце светит, идут теплые дожди, огромные луга цветут так ярко, как, кажется, никогда не цвели. Только часто вместо запаха цветов стоит над ними другой, страшный запах. Настроение в связи с добрыми вестями и с наших фронтов, и из Сицилии хорошее».

В июле 1943 года войска союзников высадились на острове Сицилия. Как известно, это крупнейшая морская десантная

операция Второй мировой войны. Италия в качестве германского союзника оказалась блокированной.

Советские газеты сообщали об успехах союзников, новость была обнадеживающей. И Гроссман известил отца: «Надеюсь все же вернуться в Москву к середине августа, если, конечно, ничего особого не произойдет».

Это были не столько гроссмановские планы, сколько руководства ССП. От автора повести «Народ бессмертен» и книги очерков ждали роман – «советскую эпопею».

Но времени было мало. Журналистская работа требовала постоянных разъездов.

Почти триумф

Вместе с войсками Гроссман в январе 1944 года дошел и до родного города. Отцу вскоре сообщил: «Сегодня еду в Бердичев. Говорят, что все еврейское население города убито, город почти весь разрушен и пуст».

Бердичев действительно был разрушен, и численность населения, по сравнению с довоенной, уменьшилась на три четверти. Похоже, Гроссман уже догадывался, о чем узнает. В постскриптуме отметил: «На душе у меня очень тяжело».

Родственники, не уехавшие из Бердичева, погибли все. Аналогично и оставшиеся в других украинских городах. Гроссман пытался описать истребление евреев на Украине, однако «еврейская тема» по-прежнему минимизировалась – в центральной прессе[300].

Для споров не оставалось ни времени, ни возможностей. Гроссман был военным корреспондентом, подчинялся армейской дисциплине.

Сведения о результатах его фронтовых командировок содержит автобиография, законченная 9 мая 1952 года. Гроссман там сообщил: «В начале августа я выехал на фронт в Гомель. Я был свидетелем того, как немецкая авиация сожгла Гомель. Вместе с войсками Красной армии я проделал путь отступления по Белоруссии, Украине. Пережитое, виденное, слышанное за это время явилось материалом для моей повести “Народ бессмертен”, опубликованной сначала на страницах “Красной звезды”, затем вышедшей книгой».

Гроссман не без гордости отметил, что книга не только многократно опубликована в СССР. Еще и «выдержала свыше 20 изданий за границей».

Отдельными изданиями за границей выходили и сборники о Сталинградской битве. Но особое внимание привлек очерк «Треблинский ад». Гроссман первым рассказал о нацистском лагере в Треблинке, где убиты сотни тысяч евреев.

Всего было около пятидесяти заграничных изданий. Это уже мировое признание.

О советских публикациях Гроссман в автобиографии не рассказывал подробно. Далее там сообщалось: «В 1942 г. я был свидетелем обороны Сталинграда от первых дней ее до начала нашего наступления. Очерки, посвященные обороне Сталинграда, печатались в “Красной звезде”, печатались отдельными изданиями, переводились на иностранные языки. Войну я закончил в Берлине. Я был свидетелем освобождения Киева,

Одессы, в 1944 г., Варшавы, Люблина и ряда других польских городов. Был свидетелем битвы за Белоруссию, освобождения Минска. Все написанное мною за это время публиковалось главным образом в газете “Красная звезда”».

Его ценили. Как упоминалось выше, был в 1943 году награжден орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Сталинграда». Позже – орденом Боевого Красного знамени, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

Он никогда не говорил, что участвовал в боях. Сказано в автобиографиях вполне определенно – «был свидетелем». Ну а службу фронтового корреспондента характеризовал кратко: «работа».

Итогом работы стал второй сборник – «Годы войны». Вскоре он был переиздан[301].

Первым откликнулся Эренбург. 23 февраля 1946 года его статья «Глазами Василия Гроссмана» опубликована «Литературной газетой»[302].

Читатели, разумеется, увидели в заглавии статьи аллюзию на один из гроссмановских очерков – «Глазами Чехова». Только речь там шла не о писателе. Герой – снайпер А. И. Чехов. Он стал, можно сказать, легендой Сталинграда.

Подразумевалась точность в изображении героев фронтовых очерков. Впрочем, Эренбург настаивал, что характеристика относится не только к ним, так как «Вас. Гроссман умно поступил, не отделив беллетристики от газетных корреспонденций: в его повести и рассказах много публицистики, связанной с пережитыми годами, а его газетные очерки часто достигают силы больших художественных корреспонденций».

Эренбург подчеркивал, что в прозе Гроссмана органично сочетаются художественность и документальность. Раскрылись новые стороны дарования: «По-разному сложилась судьба того или иного писателя. Для Вас. Гроссмана годы войны были фронтовыми годами: он не отмалчивался, не выжидал, не берег себя для “монументальных полотен”; с Красной Армией он встретился не на параде Победы, да и не под Берлином. Он разделил судьбу своих героев – учителей, шахтеров, агрономов; он не промчался по дорогам войны, он их исколесил, вязв их глине».

Согласно Эренбургу, на войне Гроссман исполнял свой долг, и это было важнейшей задачей. Все остальное – третьестепенно: «Он не написал так называемого “классического романа”, не мог написать хотя бы потому, что был занят другим; но он написал много замечательных страниц…».

Война, по словам Эренбурга, не помешала фронтовому корреспонденту остаться писателем. Он выполнил свой долг, и пришло время собственно литературных задач. Соответственно, рецензент утверждал, что вторая книга Гроссмана – «отчет о вчерашнем дне, и это материал для завтрашнего дня, для настоящего романа, посвященного Отечественной войне. Не знаю, кто напишет такой роман – Вас. Гроссман или другой, может быть, еще неведомый нам писатель, но знаю – каждый, кто возвратится к одному из самых потрясающих событий нашей истории, найдет в книге “Годы войны” ценнейшее: исповедь современника, правдивое изображение страстей, сделанное в ту самую минуту, когда страсти безраздельно владеют сердцем».

Эренбург доказывал, что метод истинного искусства – движение от частного к общему, и автор рецензируемого сборника именно так поступал. Значит, всякий, «кто возьмется за роман о пережитом, обязательно раскроет книгу “Годы войны” и посмотрит хотя бы разна мир глазами снайпера Чехова, глазами Вас. Гроссмана».

Претензий, по сути, не было. Эренбург отметил только, что очерки, написанные после 1943 года, не так ярки, как сталинградские. В итоге Гроссман был фактически признан первопроходцем современной военной литературы.

16 мая газета Военно-воздушных сил «Сталинский сокол» опубликовала рецензию П. Г. Антокольского на второй гроссмановский военный сборник. Она тоже была хвалебной – безвсяких оговорок[303].

Антокольский, в отличие от Эренбурга, уделил основное внимание повести «Народ бессмертен» и рассказам. Впрочем, тут же подчеркнул: «Но между художественной прозой В. Гроссмана и его очерками нет большого расстояния, принципиальной разницы. Книга проникнута творческим духом, и весь этот разнообразный материал воспринимаешь как нечто цельное и монолитное. Художник ни в чем не погрешил против правды, публицист в самом точном изложении событий остался вдохновенным поэтом».

Отзыв Антокольского необычен и в другом аспекте. Поэт рассуждал о «еврейской теме»: «Но одна из частей этого сборника заслуживает особого упоминания. Речь идет о рассказе “Старый учитель” и очерке “Треблинский ад”. Писатель касается здесь одного из самых страшных преступлений немецкого фашизма – преступления против еврейского народа. Немного найдется в мировой литературе страниц, которые дышали бы такой сосредоточенной силой горячего убеждения, такой большой любовью к человеку и таким состраданием к нему, как этот

рассказ и очерк Гроссмана».

Рецензенты обычно не упоминали о «еврейской теме». Антокольский же подчеркивал: «Между тем как раз сегодня необходимо это сделать! Честь Василию Гроссману за то, что он сумел поведать миру простыми, строгими, точными словами о страшных злодеяниях гитлеровских выродков. Страницы эти, как и многие другие из написанных Гроссманом, останутся правдивым документом, по которому будущие поколения будут изучать историю великой войны и поймут, от какой смертельной опасности избавил советский народ человечество, сломав хребет фашистскому чудовищу».

25 июня «Вечерняя Москва» опубликовала рецензию Б. В. Яковлева. Там очерк «Треблинский ад» тоже рассматривался[304].

О евреях упоминаний нет. Был некий лагерь уничтожения, а кого уничтожали – читатели газеты могли только догадываться: «Поистине символическую картину этого организованного зверства нарисовал Гроссман в своем потрясающем очерке “Треблинский ад” – этом леденящем кровь рассказе о чудовищной фабрике смерти…»

Яковлев действовал в негласно предписанных рамках. Вроде бы и сказал о геноциде, а с другой стороны, ничего по существу. Характеристики приводились главным образом эмоциональные и количественные: «Три миллиона человеческих жизней уничтожили в Треблинке гитлеровские палачи, и правдивый рассказ об этом дьявольском злодеянии относится к числу самых страшных страниц мировой литературы».

Нашел Яковлев и погрешности. Утверждал, например: «Мастер диалога, Гроссман подчас в своих многочисленных публицистических отступлениях сбивается на штампованные, трафаретные фразы».

Когда и где «сбивается» – читатели могли разве что догадываться. Невразумительным было и другое замечание: «Образные картины войны он иногда подменяет беглыми, невыразительными перечнями имен и событий».

В двадцать четвертом номере «Огонька» была напечатана статья А. М. Лейтеса «Путь к победе». Краткая, хвалебная и ничего, кроме общих фраз, не содержавшая[305].

Зато немало претензий было предъявлено Левиным, давним гроссмановским оппонентом. Его пространную рецензию опубликовал в июньско-июльском номере критико-библиографический журнал «Советская книга»[306].

Прежде всего, претензии относились к повести «Народ бессмертен». Левин утверждал, что один из героев – батальонный

комиссар Богарев – наставляет и воспитывает исключительно командиров, тогда как рядовым бойцам доверяет полностью, словно они и не нуждаются в комиссарском внимании. Отсюда следовал вывод: «Нам думается, что в таком изображении кроется существенная ошибка».

Речь шла не только о писательской ошибке. Подразумевалась и политическая. Она была, по словам критика, не единственной. Но оставалось непонятным, почему критик не заметил их раньше.

Левин обошел подразумевавшийся вопрос. Доказывал: не в ошибках дело, плохо, что Гроссман их не заметил, тогда как «мог бы исправить это в новом издании».

Правда, о сборнике в целом Левин отзывался вполне благосклонно. Заявил даже, что Гроссман обязательно еще напишет «о нашей великой эпохе, о наших советских людях, о нашем народе, о партийных и непартийных большевиках, о величии и драматизме нашего времени».

Статья диссонировала с другими отзывами. Впрочем, осведомленные современники могли увидеть связь ее с довоенными нападками Левина. Он и ранее без видимых причин атаковал Гроссмана.

Очередную эскападу уместно было трактовать либо как проявление личного отношения, либо в качестве доказательства последовательности критика. Сама по себе левинская статья не играла существенной роли в осмыслении книги Гроссмана.

Гораздо более сложную тактику использовал А. Б. Дерман, тоже хваливший и одновременно дискредитировавший книгу. Его статья «Подвиг писателя» опубликована в августовско-сентябрьском номере журнала «Знамя»[307].

Статья открывалась рассуждением о двух типах писателей. Одни находят в военной теме свое истинное призвание, другие пишут о войне лишь из чувства долга: «У кого, например, повернется язык назвать Гаршина любителем войны? А между тем на войну он пошел по первому зову, и война сделала его писателем».

Гроссман, если верить Дерману, о войне писал без восторга и особого интереса. Стало быть, относился ко второй категории писателей. Тех, кто «идут к войне диалектическим путем, путем гуманистическим. Погружаются они в тему войны порою гораздо глубже признанных баталистов».

Дерман утверждал, что повесть «Народ бессмертен» еще не рассматривалась критиками подробно, хотя она и считается попыткой художественного осмысления войны на уровне эпоса. Рассуждал критик о стиле Гроссмана, психологизме, а далее заявил, что есть «два главнейших фактора, обострив-

художническое зрение писателя до способности видеть тенденцию развития исторических событий: полная мужества самоотдача в разрешении важнейшего для него вопроса о торжестве добра над злом и горячая, глубокая любовь к жизни».

Казалось бы, Дерман похвалил Гроссмана безоговорочно. Однако тут же отметил, что решение опубликовать под одной обложкой художественные и документальные произведения нельзя считать вполне удачным. Читатель, на документальность настроившись, рассказ воспринимает именно в качестве вымысла.

Если верить Дерману, главное у Гроссмана – документальность. Тут удачи очевидны: «В повести “Народ бессмертен” сюжета в строгом смысле слова – нет, а лишь местами – фрагменты сюжетного характера, и повесть – значительная, правдивая и широкая картина жизни».

Тенденция была ясна. На уровне вымысла много неудач, тогда как ряд очерков «даже не “картины” жизни, это – сама жизнь».

К основному выводу Дерман вел читателя неуклонно. Утверждал в итоге, что «градация возрастания изобразительной силы по мере убыли сюжетного элемента дает все же некоторое право на определенную критическую гипотезу: творческую способность писателя Гроссмана не так питает размах фантазии и воображения, как углубление в действительность».

Отсюда следовало, что автор книги был более убедителен как журналист, нежели писатель. Но и в журналистике, если верить Дерману, допускал серьезные политические ошибки. Так, «с точки зрения философии истории военные очерки Гроссмана представляются в известной степени односторонними, и притом характерно односторонними».

Развитие тезиса подразумевало достаточно серьезное политическое обвинение, потому Дерман несколько смягчил формулировки. Пояснил, что Гроссмана ослепила ненависть к фашизму.

Причину критик признал уважительной. Однако тут же акцентировал, что «ненависть писателя к силам тьмы и зла воспрепятствовала ему углубиться в их анализ – и он их, – как ни странно это звучит, – упростил и тем преуменьшил».

Это были все же обвинения, пусть и сформулированные с оговорками. Критик доказывал, что Гроссман недостаточно ясно характеризовал могущество нацистской Германии, а не учитывать такой фактор значит «в какой-то мере преуменьшить не только мрачную силу зла, но и светлую мощь добра, которое вышло победителем из жестокого поединка».

Политические инвективы несколько маскировались вполне

благодушными финальными рассуждениями. Да и статья называлась «Подвиг писателя», что изначально выражало одобрение. По словам Дермана, книга воспринимается как «гимн добру, оправдание добра и человечности – в том и заключалась великая заслуга оптимиста и гуманиста Гроссмана».

Инвективы Дермана компенсировались другими отзывами. Причем гораздо более авторитетных рецензентов.

Можно отметить, что в целом оценка книги Гроссмана была очень высокой. Это почти триумф.

Постоянный кандидат

Из всех рецензентов только Дерман и Левин высказали сколько-нибудь серьезные упреки в адрес Гроссмана. Да и то – при общей высокой оценке.

Претензии к литературному уровню в данном случае малозначительны. Вопрос о степени их обоснованности – спорный. При любой аргументации понятно, что в области литературы мнения экспертов не обязательно должны совпадать. Дерман и Левин вовсе не обязаны были соглашаться, например, с Эренбургом и Антокольским.

Но Левин и Дерман явно лукавили. Сформулированные ими упреки политического характера не соответствовали установкам, актуальным в период, когда публиковались военные очерки, повесть и рассказы Гроссмана. В годы войны такие претензии были бы неуместны.

Левин и Дерман не могли не понимать, что оценивают гроссмановскую прозу военных лет по критериям послевоенным. Оба критика осознавали, насколько серьезны их претензии политического характера, какие последствия тут прогнозируются.

Соответственно, правомерен вопрос о прагматике инвектив. Ее позволяет выявить анализ литературно-политического контекста.

Гроссман опять стал картой в чужой игре. Не с ним спорили.

После окончания войны соперничество за статус автора «советской эпопеи» вновь обострилось. В писательских кругах известно было, что Гроссман уже начал роман о Сталинградской битве.

Гроссман лидировал. Это подтверждалось изданием второго сборника, куда была включена и повесть «Народ бессмертен», ранее выдвигавшаяся на соискание Сталинской премии.

Также лидерство Гроссмана подтверждалось общей тональностью отзывов на второй сборник. Но и в руководстве ССП, и в Агитпропе были другие кандидатуры.

Лоббисты соперничали, боролись за влияние. Орудиями их были, как водится, критики – из наиболее конформных. Вот и доказывали Левин с Дерманом, что Гроссману еще рано претендовать на высокий статус автора «военной эпопеи».

Разумеется, критикам не полагалось формулировать подобного рода суждения прямо. А потому настаивали, что Гроссман в художественной прозе допускает серьезные ошибки, да и не все его очерки безупречны с точки зрения политической.

До поры, однако, выигрывали сторонники Гроссмана. Что

подтверждает и сохранившаяся в личном деле копия документа, подписанного Н. С. Тихоновым, который был тогда председателем правления ССП:

«В КОМИТЕТ ПО СТАЛИНСКИМ ПРЕМИЯМ В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

Президиум Союза Советских Писателей СССР представляет на соискание Сталинской премии книгу Василия Гроссмана “Годы войны”.

В книгу Василия Гроссмана “Годы войны” входят его известный роман “Народ бессмертен”, два рассказа – “Старый учитель” и “Жизнь”, ряд очерков, посвященных героической обороне Сталинграда, публицистическая статья “Треблинский ад”, а также фронтовые очерки, посвященные наступлению Красной Армии в 1943–1945 гг.

Составленная из различных по жанру и размеру произведений, книга Василия Гроссмана производит исключительно цельное впечатление – в живых образах красноармейцев, офицеров и генералов запечатлены основные этапы Великой Отечественной войны, высокий моральный пафос советского народа, нравственное величие героев Красной Армии, прошедшей славный путь от Волги до Берлина.

Сильное впечатление производит очерк “Треблинский ад”, написанный прекрасным, точным и скупым языком художника, преисполненный горячим патриотическим чувством и гневом против фашистских палачей.

Очерки 1945 года, объединенные в серию “Дорога на Берлин” и завершающие книгу, дают яркие и живые сцены освободительного похода Красной Армии на последнем этапе войны.

В книге Василия Гроссмана много волнующих сцен, замечательных художественных деталей, метких наблюдений и зарисовок походной жизни Красной Армии. Произведения, включенные в книгу “Годы войны”, пользуются широкой популярностью среди советских читателей. Образы, созданные Василием Гроссманом, имеют большое воспитательное значение. Книга «Годы войны» является ценным и значительным вкладом в художественную литературу, посвященную Великой Отечественной войне»[308].

Неизвестно, был ли этот документ отправлен по адресу. Уже развернулась антигроссмановская кампания в периодике.

Формальная причина – пьеса «Если верить пифагорейцам», опубликованная в седьмом номере журнала «Знамя». Автор в предисловии сообщал, что она была написана до начала Великой Отечественной войны, постановка готовилась Театром имени

Е. Б. Вахтангова, но так и не состоялась, почему и возможна публикация[309].

Антигроссмановская кампания тщательно готовилась. Организаторы не ограничились одним ударом. Цитированные выше рецензии Левина и, особенно, Дермана были только фоном наступления.

Первый сильный удар нанес И. Л. Альтман. 3 сентября «Литературная газета» опубликовала его статью «Если верить автору…». Критик утверждал, что гроссмановская пьеса «не только ныне устарела. Ее “идеи” и до войны были очень устаревшими и неверными»[310].

Альтман настаивал, что Гроссман не сумел передать «атмосферу» предвоенных лет. Фактически не описал усилия, благодаря которым стала возможна победа в войне. Увлекся пифагорейством, вот и допустил серьезные ошибки. Это вполне корреспондировало с левинским отзывом.

На следующий день «Правда» опубликовала статью В. В. Ермилова «Вредная пьеса». Он и вовсе заявил, что журнал «Знамя» напечатал «злостный пасквиль»[311].

Гроссману инкриминировалась антисоветская пропаганда. Согласно Ермилову, опубликована пьеса, где автор, «как будто бы пытаясь дать положительные типы советских людей, в действительности рисует карикатуру на советское общество. Выходит, что не большевистская партия, с ее передовой идеологией, философией диалектического материализма, руководит советским обществом».

Причины издания «вредной пьесы» тоже указывались. Речь шла о политических ошибках: «Кокетничанье с реакционной философией, отход от позиций социалистического реализма привели Вас. Гроссмана к извращенному изображению советской действительности. И только политической безответственностью редакции журнала “Знамя” можно объяснить появление на страницах журнала реакционной, упадочнической и антихудожественной пьесы Вас. Гроссмана».

Вахтанговцы, согласно Ермилову, совершили не слишком большую ошибку – пьесу собирались поставить. Но ведь не поставили. А журнал «Знамя» допустил публикацию, что гораздо хуже. Особенно же виноват Гроссман: ему «так понравилось это мистическое извращение действительного советского мира, которое он породил накануне войны, что он решился опубликовать свое ублюдочное произведение после Великой Отечественной войны».

Современникам контекст был понятен. Политическая ситуация резко изменилась, и это почти совпало с изданием

пьесы «Если верить пифагорейцам».

14 августа 1946 года принято «Постановление Оргбюро ЦК ВКП (б) о журналах “Звезда” и “Ленинград”». Фрагмент его опубликован 20 августа газетой «Культура и жизнь», а на следующий день воспроизведен «Правдой». В данном случае не рассматриваются ни причины, обусловившие появление этого документа, ни последствия, радикально изменившие жизнь многих писателей, и прежде всего – М. М. Зощенко и А. А. Ахматовой. Существенно, что там формулировалась программная установка: не допускать в дальнейшем публикации, «культивирующие несвойственный советским людям дух низкопоклонства перед современной буржуазной культурой Запада»[312].

Гроссмановские «пифагорейцы» неожиданно стали «реакционными», потому как были представителями «чуждой» культуры. Пусть и не «буржуазной», но уж точно – «Запада».

А тут еще выяснилось, что пьесы надлежит контролировать с особой строгостью. 26 августа Оргбюро ЦК ВКП(б) было принято «Постановление “О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению”», опубликованное затем журналом «Большевик». Театрам инкриминировалось «предоставление советской сцены для пропаганды реакционной буржуазной идеологии и морали, попытки отравить сознание советских людей мировоззрением, враждебным советскому обществу, оживить пережитки капитализма в сознании и быту»[313].

Оба документа были решением одной задачи. Начиналась печально известная пропагандистская кампания – «борьба с низкопоклонством перед Западом».

Ермилов оперативно действовал. Как только опубликовали партийные документы – ответил статьей о Гроссмане. Там и про «реакционную философию», и про театр.

Связь ермиловской статьи с партийными документами очевидна не только на уровне тематики. Критик и стиль копировал.

Так, «Постановлением Оргбюро ЦК ВКП (б) о журналах “Звезда” и “Ленинград”» постулировалось, что Зощенко «изображает советские порядки и советских людей в уродливо карикатурной форме». Соответственно, Ермилова в пьесе Гроссмана возмутила «карикатура на советскую действительность».

В том же документе рассказ Зощенко назван «пошлым пасквилем». У Ермилова гроссмановская пьеса – «злостный пасквиль».

Зощенко именовали «пошляком и подонком». Ермилов, не

решившись лично оскорбить Гроссмана, характеризовал его пьесу как «ублюдочное произведение».

Речь шла не только о политической оценке. Ко всему прочему Ермилов назвал гроссмановскую пьесу «антихудожественной».

Отметим, что в аспекте пропагандистском ермиловские рассуждения об «антихудожественности» были, как минимум, нефункциональны. К тому же ни Ахматовой, ни Зощенко подобного рода обвинения не предъявлялись. Хватило и политических.

Но здесь Ермилов следовал другому образцу – «Постановлению “О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению”». Там постулировалось, что значительная часть постановок «антихудожественна».

Осведомленным современникам была очевидна прагматика ермиловских обвинений. Характерна в этом отношении дневниковая запись К. И. Чуковского: «В “Правде” вчера изничтожают Василия Гроссмана»[314].

На публикации в «Правде» литературным функционерам полагалось реагировать. Соответственно, В. В. Вишневский, тогда возглавлявший редакцию «Знамени», отправил покаянное письмо в газету «Культура и жизнь», признав опубликованную пьесу «философски порочной»[315].

Однако на том антигроссмановская кампания закончилась. Так называемых оргвыводов не было. Зато были другие. Автор «вредной пьесы» в 1946 году – по представлению руководства ССП – награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В лауреатский список, даже исходный, автор «вредной пьесы» не попал. С этой точки зрения организаторы антигроссмановской кампании свою задачу решили. Но и ответный удар вскоре получили.

Асимметричный ответ

Функционеры Агитпропа многого добились. «Постановление Оргбюро ЦК ВКП (б) о журналах “Звезда” и “Ленинград”» подразумевало так называемые кадровые перестановки в руководстве ССП. В первую очередь надлежало заменить Тихонова – кем-либо более конформным.

Но тут агитпроповская интрига не удалась. 13 сентября постановлением Оргбюро ЦК ВКП (б) в должности генерального секретаря ССП утвержден Фадеев[316].

Он, как известно, не всегда считался с агитпроповским мнением. Что обусловливалось, разумеется, не всесоюзной известностью, а благоволением генсека. К Сталину на прием Фадеев попадал, минуя обычные этапы согласований с функционерами ЦК партии, особенно агитпроповскими. Ответной мерой нередко становились доносы, но до поры ситуация принципиально не менялась.

В отношении к Гроссману у Фадеева не было разногласий с Тихоновым. Оба решали сталинскую задачу – создание «военной эпопеи». Так что ответ на агитпроповскую интригу стал обязательным.

Непосредственным ответ не был. С Альтманом и Ермиловым о пьесе Гроссмана не спорили. Вопросы о выборе стратегии Фадеев решал даже не в ЦК партии.

Ответ руководства ССП был неожиданным. Так сказать, асимметричным: 20 ноября газета «Культура и жизнь» опубликовала статью К. Н. Озеровой «Ошибочная “теория” критика А. Дермана»[317].

Формально все объяснимо. Статью Дермана, выступившего с критикой гроссмановской книги, опубликовал журнал «Знамя» в августовско-сентябрьском номере, а через два месяца статью Озеровой, взявшей Гроссмана под защиту, поместила «Культура и жизнь». Не слишком оперативный ответ, но и не вовсе запоздалый.

Если что и необычно – в политическом контексте 1946 года – так это игнорирование антигроссмановской кампании. Озерова рассуждала так, словно не было политических инвектив, сформулированных Альтманом и Ермиловым.

Полемизировала Озерова только с Дерманом. Буквально высмеивала: «Статья эта в своем роде уникальна. Давно уже в нашей литературе не было статей, с такой откровенностью повторяющих зады старой, либерально-просветительской, буржуазно-идеалистической критики».

Ответ был дан на языке, который маститый критик сам выбрал. Гроссману он инкриминировал ошибки историософского характера, а Озерова вернула обвинения: «А. Дерман ухитрился так написать статью, что при самом внимательном, даже повторном чтении нельзя нигде и ни в чем обнаружить, что речь идет именно об Отечественной войне…».

Дерман лукавил, рассуждая о гроссмановских ошибках. Озерова ему отвечала тоже лукаво: «Вполне конкретный смысл и содержание Великой Отечественной войны критик искусно растворяет в общем понятии извечной борьбы сил добра с силами зла; война для него “поединок между добром и злом” в их отвлеченном выражении».

Получалось, что ошибался вовсе не Гроссман. Виноват его критик: «Отрицание идейности творчества А. Дерман проводит с воинственной настойчивостью. Рассказав читателю, какие сцены из произведений В. Гроссмана его особенно обрадовали, критик возвещает, что удача достигнута “отнюдь не мудрствованием, не мотивированием, не “доказательствами” и выкладками, не “тысячами глаз” темной ночи, а “солнцем”, “всевидящим оком любви”».

Высмеяв Дермана, щеголявшего марксистской эстетической выучкой, Озерова развивала атаку. Понятно, что тут уместны были аргументы политического характера: «Редакция журнала “Знамя” печатает это “солнце любви” как последнее откровение критической мысли, по наивности не замечая, что здесь преподносится старая, осужденная партией, вредная делу советской литературы теория интуитивизма, безыдейности творчества».

Озерова точно выдерживала пропорцию замечаний и похвал. Тут же указала, что статья написана вовсе не ради защиты Гроссмана. Подчеркнула, что его критиковать можно и нужно. Однако критика должна соответствовать задачам государственным: «Читатель знает и ценит В. Гроссмана как автора повести “Народ бессмертен”, военных очерков и рассказов, в которых писатель дал правдивую картину жизни нашего общества, утверждал победную силу советских людей, советского строя жизни, а Дерман и редакция журнала “Знамя” занимаются захваливанием самых слабых сторон его творчества и тем самым оказывают вред и В. Гроссману, и нашей литературе в целом».

Дерман в итоге оказался кругом виноватым. Не только ругал необоснованно, хвалил тоже неправильно. И редакция журнала «Знамя» виновата. Ошиблась, приняв решение напечатать статью Дермана.

Подразумевалось, что редакция еще и дважды ошиблась.

Читатели вряд ли забыли, что именно журнал «Знамя» опубликовал гроссмановскую пьесу в июльском номере 1946 года. Ту самую, которую Альтман и Ермилов объявили чуть ли не «идеологической диверсией».

Вопрос о пьесе не ставился, но памятно было, что Гроссман ее до войны написал. А позже официально признан мастером военной прозы.

Получалось, что редакция «Знамени» опубликовала и пьесу, более не соотносимую с мировоззрением автора, и статью Дермана, ухитрившегося обнаружить в гроссмановской книге о войне некие мнимые ошибки.

Отсюда следовало, что автор пьесы изжил былые ошибки, а вот журнал сначала опубликовал «вредную пьесу», а затем, словно искупая провинность, напечатал антигроссмановскую статью – политически и эстетически ущербную. В итоге редакция дважды провинилась.

Стоит подчеркнуть, что фадеевская интрига весьма сложна, ведь руководство ССП было отнюдь не монолитным. Правда, единства не было и в Агитпропе.

Фадеев умел находить контакты везде, но и противники его тоже искали и находили связи в руководстве ССП. Потому ход интриги далеко не всегда был очевиден.

В частности, журнал «Знамя», изначально специализировавшийся на военной тематике, был изданием ССП. Зато газету «Культура и жизнь», выпускавшуюся с июля 1946 года, контролировал Агитпроп. Ее направление, было, что называется, охранительным. Причем с явными интенциями антисемитского характера.

Ситуация, казалось бы, парадоксальная. Ведомственный журнал ССП атаковал Гроссмана, а в защиту выступила газета, издатель которой постоянно конфликтовал с гроссмановскими покровителями.

Более того, агитпроповская газета защищала Гроссмана через два месяца после начала антигроссмановской кампании, Агитпропом же инициированной. Казалось бы, парадокс.

Однако не было парадокса. Фадеев уже сумел остановить антигроссмановскую кампанию. Разумеется, не самостоятельно. Он был сталинской креатурой.

Рассуждения о масштабных проявлениях государственного антисемитизма, инициированных генсеком, вряд ли уместны в данном случае. Ко второй половине 1940-х годов Сталин все еще был прагматиком. Ценил тех, кто умел решать поставленные им задачи. Умелых и не слишком амбициозных. Благоволил, например, Эренбургу. И Гроссману тоже.

Литераторы, да и не только они, были для генсека инструментами. Ценность определялась эффективностью. Отсюда, разумеется, не следовало, что самый эффективный инструмент нельзя отложить или вообще заменить другим. И все же для этого требовались веские причины.

Обвинения, выдвинутые Ермиловым и Альтманом, подразумевали весьма серьезные последствия. В первую очередь – для руководства ССП. Но там уже были проведены так называемые кадровые перестановки. А Гроссман как прозаик считался весьма перспективным – именно в аспекте решения поставленной генсеком задачи. Так что прекращения кампании Фадеев добился быстро.

Был здесь и еще один тактический ход. После избрания Фадеева руководителем ССП один из его заместителей – Вишневский. Формально он подчиненный, реально же всегда ориентировался на Агитпроп. Вот и статью Дермана срочно опубликовал.

Конечно, поступок не вполне корректный. Вишневский и Гроссман были приятелями еще с войны. Оба – военные журналисты. Потому и пьеса в журнале «Знамя» печаталась.

К альтмановско-ермиловской интриге Вишневский не имел отношения. Но агитпроповский заказ – публикацию статьи Дермана – не выполнить не мог. Слишком многим был обязан своим покровителям, зависел от них.

Как отмечалось выше, Агитпроп нередко пытался использовать периодику ССП для атак на литературных функционеров. А с июля 1946 года располагал еще одним специализированным изданием – только что организованной газетой «Культура и жизнь».

Однако ее редакция к сентябрю не успела еще изучить все негласные правила и сложные механизмы управления литературным процессом. Идея противостояния руководству ССП была сразу воспринята, а вот приемы нападения освоены не в полной мере. Чем и воспользовался Фадеев – с помощью Озеровой.

Статья Озеровой, формально направленная против журнала ССП, была весьма кстати в агитпроповской газете. Она идеально совпадала с основными установками издателя. Показывала, что фадеевский заместитель допустил серьезные ошибки. Но в этом и заключалась интрига.

Формально атакован был журнал ССП. Критику Дерману, опубликовавшему там статью, предъявили обвинения политического характера. Стало быть, предъявили и Вишневскому.

Но Вишневский – не только редактор журнала. Он еще и заместитель генсека ССП. Значит, виноват и Фадеев, если рассуждать формально. Реально же он, что называется, одернул абмициозного заместителя. И защитил Гроссмана.

Фадееву заведомо прощалось то, за что Вишневского не раз упрекнули. Вот почему генсек ССП ответил агитпроповским функционерам посредством агипроповского же издания.

Таким образом, не только Дерману, но и Вишневскому объяснил Фадеев, почему надо считаться в первую очередь с ним как с руководителем ССП, а уж потом выполнять агитпроповские заказы. И для критика, и для редактора удар по самолюбию был ощутимый. Замеченный многими.

Почти двадцать лет спустя Эренбург, осмысляя нападки критиков на Гроссмана, заключил, что ругать его «было беспроигрышной лотереей». Сравнение хлесткое, запоминающееся.

Как отмечалось выше, Эренбург – один из создателей гроссмановского «биографического мифа». Можно сказать, автор базовой концепции. Его стараниями подготовлена эта конструкция.

Но если и пользоваться эренбурговским сравнением, так лотерея – не беспроигрышная. Ругали иногда, хвалили постоянно, ругавшие получали не только гонорары, но и публичную отповедь. И положение Гроссмана – не «всегда опальное», как утверждала Роскина. Очень долго он был под защитой руководства ССП. Да и лично Сталина, что гораздо важнее.

Золотая альтернатива

2 февраля 1947 года «Правда» опубликовала статью Фадеева «О литературно-художественных журналах». Пьеса Гроссмана и там характеризовалась как «вредная»[318].

Но сколько-нибудь важной роли это не играло. С фадеевской санкции издательство «Советский писатель» уже публиковало роман «Степан Кольчугин» в «золотой серии» – «Библиотеке избранных произведений советской литературы. 1917–1947».

Издание было двухтомным. С одной стороны, это объяснимо: все же объем – 856 страниц. А с другой, акцентировалось, что статус автора очень высок. Даже и на уровне классиков советской литературы, чьи книги обычно публиковались одним томом.

Публикация гроссмановского двухтомника в престижнейшей серии – еще один ответ на агитпроповскую интригу. Фадеев не спорил, а просто демонстрировал, что у руководства ССП есть свое мнение.

Характерно, что и Ермилов не отступил. Включил статью «Вредная пьеса» в свою книгу «Самая демократическая литература мира. Статьи 1946–1947 гг.». Сборник был выпущен издательством «Литературная газета» в том же 1947 году, соответственно, акцентировалось, что и статья по-прежнему актуальна[319].

Однако ермиловская эскапада, возможная лишь при агитпроповской поддержке, опять никакой роли не сыграла. Что бы ни сказал критик о довоенной пьесе, Гроссман в 1947 году был официально признан классиком советской литературы.

В лауреатский список 1947 года, правда, не попал. Зато у премии была, можно сказать, золотая альтернатива – на уровнях престижа и гонорара.

Агитпроповские функционеры о Гроссмане спорить не стали. Удар Фадееву был нанесен с другой стороны. Тем более что продолжался давний конфликт в связи с «золотой серией».

В 1946 году она еще не была сформирована окончательно. У Агитпропа, разумеется, нашлись свои кандидатуры, но директор издательства подчинялся лишь руководству ССП. Борьба за влияние стала еще более ожесточенной, что и знаменовала новая интрига.

Началась она осенью 1948 года. Выпущенные одной книгой в той же «золотой серии» романы И. А. Ильфа и Е. П. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» агитпроповские функционеры объявили антисоветскими, о чем официально известили не только руководство ССП, но и Сталина[320].

Поворот был неожиданный. Дилогия многократно издавалась, вошла и в собрание сочинений Ильфа и Петрова, опубликованное за три года до войны. Да и позже были издания. Наконец, ее официально признавали классикой советской сатирической литературы. Понятно, что и в 1947 году она прошла все цензурные инстанции.

Однако подобного рода обстоятельства уже не имели значения. По неукоснительно соблюдавшимся, пусть и неписаным функционерским правилам, отвечать надлежало, когда спросят, и тем, с кого спрашивают.

Тут была и своеобразная рифма с гроссмановской пьесой. Да, сатирическая дилогия написана до войны, а издателю отвечать после.

Фадеев ответил 15 ноября 1948 года. Специальным постановлением Секретариата ССП публикация дилогии была признана «грубой политической ошибкой».

Получила оценку и сама дилогия. Она признана «клеветой на советское общество».

Но ответ был дан не только Агитпропу. 17 ноября тот же документ отправлен в «Секретариат ЦК ВКП(б), товарищу И. В. Сталину, товарищу Г. М. Маленкову».

В постановлении отмечено, что писательское руководство проявило бдительность не по собственной воле. Агитпроповские сотрудники «указали на ошибочность издания».

Стало быть, они известили Секретариат ССП, что находящееся в его непосредственном подчинении издательство допустило непростительный промах. В связи с чем нужно искать виновных, давать объяснения и т. п.

Характеристика, данная романам в постановлении Секретариата ССП, была по сути приговором: «идеологической диверсией» такого масштаба далее надлежало бы заниматься следователям Министерства государственной безопасности. Однако в силу понятных обстоятельств вопрос об ответственности авторов дилогии не ставился: Ильф умер весной 1937 года, а Петров через пять лет погиб в авиакатастрофе.

Секретариат ССП мог обвинять только себя, потому как именно он принял решение публиковать романы в престижной серии. После чего книга и прошла все редакторские инстанции.

Значит, отвечать полагалось руководству ССП. Затем и непосредственным исполнителям, контролировавшим выпуск книги.

Причем всем надлежало ответить для начала перед Агитпропом, направившим руководству ССП официальное письмо. Ну а далее – по инстанциям.

Фадеев нашел и выход, и объяснения. В постановлении, отправленном Сталину, отмечалось, что руководство ССП слишком доверяло издательским сотрудникам. Поэтому романы не прочли в Секретариате. Ни до публикации в 1947 году, ни после. В издательстве же заведующий отделом советской литературы тоже дилогию не читал, а выпуск разрешил. За это наказан – выговор ему объявлен. Аналогично и редактору, готовившему тома к печати. Он тоже с книгой не ознакомился.

Получилось, что инцидент фактически исчерпан. Все, кроме Фадеева, наказаны. Но вопрос о наказании руководителя ССП не он и решал.

Разумеется, причины, названные Фадеевым, были явно нелепы. Абсурдны.

Руководство ССП, конечно же, было знакомо с дилогией Ильфа и Петрова задолго до ее включения в план «золотой серии». Дело не в популярности. Не прочитанная ни одним из функционеров книга в издательский план не попала бы. Понятно, что и редакторы читали романы, иначе бы оба тома не подписали к печати.

Мера же наказания, примененная Фадеевым, была попросту смехотворной. Выговор за публикацию «клеветнических» романов – удача.

Однако Сталин принял объяснение. Именно потому, что главное было там сказано.

Генсек ССП не стал объяснять, что агитпроповские функционеры давно знакомы с романами Ильфа и Петрова. Не ссылался на цензурные разрешения недавних лет. Фадеевская интрига сводилась к признанию безусловности исключительно сталинского права на окончательное решение.

Подразумевалось, что если агитпроповцы действовали сообразно плану ЦК партии, то Фадеев не заметил начало очередной пропагандистской кампании. Значит, виноват. Ему и отвечать. Лично – как генеральному секретарю ССП. Все остальные виновные уже наказаны, и только Сталину решать, соответствует ли наказание проступку.

Опять же с необходимостью подразумевалось, что если агипроповские функционеры начали кампанию по собственной инициативе, только Сталину решать, что делать в дальнейшем. Продолжать или прекратить.

В итоге Сталин и решил. Дал понять, что компромисс уместен. Агитпроповская интрига опять не вполне удалась. Сотрудники издательства отделались выговорами, строптивому директору новую должность нашли, а в периодике дилогию признали несколько устаревшей. На том скандал и кончился[321].

Романы Ильфа и Петрова были картами в чужой игре. Так же, как пьеса Гроссмана.

Правда, удар пришелся и по нему. В 1947 году опять началась подготовка выдвижения его кандидатуры на соискание премии. Вновь он предоставил Секретариату ССП автобиографию, заполнил анкету, подготовлены были и характеристики. Словом, как обычно. Постоянный кандидат. Изданием его романа в «золотой серии» обосновывалась и перспектива высшей писательской награды. Но агитпроповская интрига сделала такой аргумент неуместным.

Сам Гроссман был далек от административных интриг. Решал другие задачи. 23 декабря 1947 года указал в автобиографии, что пишет новый роман. Это и нужно было руководству ССП.

Планировалась именно эпопея, сравнимая по объему с толстовской. В автобиографии Гроссман подчеркнул: «Главной моей работой является книга о войне, которую я решил написать весной 1943 года – тогда были написаны мной первые главы. Но, конечно, во время войны работать систематически я не мог и вплотную подошел к этой работе лишь после демобилизации из армии. Почти все свое время в послевоенные годы я посвятил этой работе – она оказалась очень нелегкой».

Он был уверен в успехе. Книгу ждали. Соответственно, отметил: «Я затрудняюсь точно назвать срок окончания этой работы, да, пожалуй, в автобиографии, где речь идет об уже произошедшем, а не о предполагаемом, это и не полагается делать».

Характерно, что книга упомянута и в автобиографии 1952 года. Гроссман там подвел итоги: «Моей главной работой в последнее время было написание романа, посвященного Великой Отечественной войне. Работу эту я начал еще во время войны, посвятил ей восемь лет. В настоящее время первый том этой книги (объемом 40 печ[атных] листов) сдан мною редакции журнала “Новый мир”. Я продолжаю работу над вторым томом романа».

В обеих автобиографиях упомянуто, что его довоенную пьесу критиковали. Однако ни покаяний, ни какого-либо иного комментария нет. Так, был инцидент, а выводы делать вроде бы незачем. О выдвижении на соискание Сталинской премии тоже не сказано.

Часть VII. Правое дело

Контекст пропаганды

Характерно, что антисемитские кампании 1940-х годов, изменившие судьбу многих литераторов, практически не влияли на положение Гроссмана в писательской среде. Он по-прежнему считался классиком советской литературы.

Меж тем опасность была рядом. В автобиографии 1947 года Гроссман указывал, что еще на исходе войны «взял на себя редактирование “Черной книги”о массовом убийстве еврейского населения немецко-фашистскими оккупантами».

Формулировка вполне официальная. Замысел издания, однако, не раскрывался, да и участие в работе не сводилось к редактуре. Несколько более подробные сведения приведены Бочаровым: «В 1945 году он вместе с И. Эренбургом начал составлять и редактировать “Черную книгу” – об истреблении евреев на оккупированной немецкими войсками территории. Для этой книги он написал предисловие и очерк “Убийство евреев в Бердичеве”, собирал и обрабатывал многие материалы. В 1946 году книга была подготовлена. В архиве сохранилось много материалов к ней – фотоиллюстрации, текст очерка Гроссмана, первоначальные планы сборника, перечень материалов и авторов, работавших над ними».

Как известно, работу курировал Еврейский антифашистский комитет, сформированный в 1942 году по распоряжению генсека. Вошли туда, кроме функционеров, известные ученые, литераторы, актеры, режиссеры, музыканты, офицеры и генералы. В общем, этнические евреи, относившиеся к советской элите. Аналогичная организация была создана и в США. Правда, вне правительственных инициатив. Возглавил ее А. Эйнштейн.

ЕАК занимался не только сбором пожертвований, кстати, исчислявшихся десятками миллионов долларов. В СССР переправлялись санитарные автомобили, медицинское оборудование и т. п. Но важнейшей задачей было формирование имиджа государства, оказавшегося главной силой, противостоявшей нацистской Германии. Что, разумеется, подразумевало и открытие Второго фронта в Европе. Издававшаяся на идиш газета «Эйникайт» («Единство») распространялась по всему миру.

С 1943 года ЕАК – по предложению Эйнштейна – занимался и документированием холокоста, для чего была создана специальная Литературная комиссия. Туда присылали сохранившиеся дневники убитых, записи рассказов очевидцев. Кроме документальных материалов в издание вошли очерки

советских литераторов. «Черная книга» – объемом более пятидесяти печатных листов – результат этой работы. Один из немногих срочно напечатанных экземпляров передан советским представителям в Нюрнбергский трибунал.

В 1946 году «Черная книга» опубликована в США. Но к тому времени в СССР значительно изменилась политическая ситуация. В сталинские планы больше не входило продолжение деятельности ЕАК. Формально организация существовала, но ликвидация уже планировалась.

В 1947 году подготовка издания «Черной книги» прекращена. Год спустя рассыпан готовый типографский набор. ЕАК распущен, деятельность его признали националистической, значит, антисоветской. Начались и аресты[322].

Это выглядело вполне закономерным итогом – на фоне активизировавшейся кампании «борьбы с безродными космополитами». Она сопровождалась, как известно, массовыми увольнениями евреев с работы – под различными предлогами.

Сам термин «безродные космополиты» воспринимался как синоним понятия «евреи». Для этого не требовалось официального указания. Хватало и газетных статей, где перечислялись фамилии разоблаченных «антипатриотов». Почти сплошь – еврейские[323].

В такой ситуации проявления бытового антисемитизма стали обыденностью. Популяризовалась и анонимная эпиграмма:

> Чтоб не прослыть антисемитом,
> Зови жида космополитом[324].

Но Эренбург и Гроссман находились под сталинским покровительством. Эффективные инструменты.

Примечательно, что в ситуации «разоблачения безродных космополитов», т. е. почти открытого преследования евреев, актуальным стал вопрос о псевдонимах. Разумеется, в случаях, когда настоящие фамилии либо имена были еврейскими.

В таких случаях авторы газетных и журнальных статей обычно сообщали еврейское имя либо фамилию, указывавшую на этническое происхождение «разоблаченного». Дополнительные сведения подобного рода приводились обычно в скобках. При использовании такого приема у читателей уже не оставалось сомнений[325].

Конечно, прием не был новым. Задолго до возникновения советского государства использовался в антисемитской периодике. В советскую же эпоху стал неактуален – с учетом декларировавшегося принципа интернационализма и

законодательно предусмотренной уголовной ответственности за «разжигание национальной розни».

Но, актуализовавшись, публицистическая технология вновь утратила актуальность, когда Сталин распорядился прекратить кампанию «борьбы с безродными космополитами». Точнее, признал излишними несанкционированные проявления антисемитизма[326].

Рецидивы случались. Например, 27 февраля 1951 года «Комсомольская правда» опубликовала статью Бубеннова «Нужны ли нам сейчас литературные псевдонимы?»[327].

Сталинскую премию 1948 года он получил за первую часть романа «Белая береза». Даже по мнению современников, литературные достоинства этого пространного сочинения были сомнительны. По меньшей мере. Зато тему и пафос агитпроповские функционеры признали весьма актуальными: «руководящая роль партии» в Великой Отечественной войне и, конечно, всенародная любовь к Сталину.

Выступление лауреата, понятно, санкционировали агитпроповские функционеры. Объектом было руководство ССП, а предлогом, что сам собою подразумевался, уклонение от борьбы с «космополитами», все еще «скрывавшимися» за русскими фамилиями.

Автор настаивал, что советскому писателю, в отличие от досоветского, не нужно свою фамилию скрывать. Прятаться не от кого. Разумеется, привел и список псевдонимов, тут же указав настоящие фамилии. Среди них – еврейские.

Намеком Бубеннов не ограничился. Подчеркнул, что ранее «псевдонимами были вынуждены пользоваться представители угнетенных национальностей, которые нередко могли выступать только на русском языке и поэтому брали для себя русские имена и фамилии».

Современникам смысл пассажа был ясен. Ну а Бубеннов утверждал, что угнетенных более нет, причина же, заставляющая скрывать настоящие фамилии, другая: «Не секрет, что псевдонимами очень охотно пользовались космополиты в литературе. Не секрет, что и сейчас для отдельных окололитературных типов и халтурщиков псевдонимы служат средством маскировки и помогают им заниматься всевозможными злоупотреблениями и махинациями в печати».

Эскапада «Комсомольской правды» была явно провокативной. Но в спор вступил пятикратный сталинский лауреат, один из самых популярных советских поэтов военной поры, главный редактор «Литературной газеты» К. М. Симонов. 6 марта опубликована его статья «Об одной заметке»[328].

Симонов привел в свою очередь перечень советских литераторов – весьма авторитетных. И попросту высмеял оппонента: «Мне лично кажется, что Бубеннов сознательно назвал псевдонимы нескольких молодых литераторов и обошел этот (а он мог бы быть расширен) список псевдонимов известных писателей, ибо, приведи Бубеннов его, сразу бы стала во сто крат наглядней (явная, впрочем, и сейчас) нелепость бесцеремонного и развязного обвинения в “хамелеонстве”, по существу, брошенного в его заметке всем литераторам, по тем или иным причинам (касающимся только их самих и больше никого) избравшим себе литературные псевдонимы».

Редактор «Литературной газеты» утверждал, что взявшим псевдонимы оправдываться незачем. Иное дело – участь незадачливого оппонента: «А если уж кому и надо теперь подыскивать оправдания, то разве только самому Михаилу Бубеннову, напечатавшему неверную по существу и крикливую по форме заметку, в которой есть оттенок зазнайского стремления поучать всех и вся, не дав себе труда разобраться самому в существе вопроса».

Заканчивалась статья вызывающе. И подпись была вызовом: «Константин СИМОНОВ (Кирилл Михайлович Симонов)».

За Бубеннова вступился тоже сталинский лауреат – Шолохов. 8 марта «Комсомольская правда» опубликовала его статью «С опущенным забралом»[329].

Шолохов инкриминировал оппоненту лицемерие. Причем формулировал обвинение довольно резко: «Некоей загадочностью веет от полемического задора и критической прыти К. Симонова. Иначе чем же объяснить хотя бы то обстоятельство, что Симонов сознательно путает карты, утверждая, будто вопрос о псевдонимах – личное дело, а не общественное? Нет, это вопрос общественной значимости, а будь он личным делом, не стоило бы редактору “Литературной газеты” Симонову печатать в этой газете заметку “Об одной заметке” достаточно было бы телефонного разговора между Симоновым и Бубенновым».

Суть предложений Шолохова – оставить псевдонимы только известным литераторам, а прочих обязать подписываться настоящей фамилией. Тут он вновь прибегал к намекам, подсказывая осведомленным читателям, что все не так уж просто: «Кого защищает Симонов? Что он защищает? Сразу и не поймешь…».

Подразумевалось, что редактор «Литературной газеты» именно «безродных космополитов» и «защищает». Да еще и пренебрежительно относится к Бубеннову, коль скоро назвал его «молодым писателем».

Многие читатели знали, что Бубеннову – едва за сорок, а Симонов моложе. Правда, литературной известности добился гораздо раньше противника любых псевдонимов.

Шолохов и ориентировался на такое «фоновое знание». Соответственно, иронизировал: «Любопытно было бы знать, когда же и от кого получил Симонов паспорт на маститость и бессмертие? И стоит ли ему раньше времени записываться в литературные “старички”?».

Статью Шолохов и завершил обвинением в лицемерии. Но уже яснее сформулированным: «Спорить надо, честно и прямо глядя противнику в глаза. Но Симонов косит глазами. Он опустил забрало и наглухо затянул на подбородке ремни. Потому и невнятна его речь, потому и не найдет она сочувственного отклика среди читателей».

Симонов ответил сразу. 10 марта опубликована статья «Еще об одной заметке»[330].

Для начала отверг обвинение в лицемерии. А прежний главный тезис повторил: «Дискутировать в газетах о правомерности или неправомерности литературных псевдонимов, по-моему, нет нужды, ибо избирать или не избирать себе литературное имя – это личное дело писателя. Подчеркнуть именно это обстоятельство и было целью моего краткого ответа Бубеннову».

Антисемитский подтекст Симонов опять игнорировал. Обвинение же в лицемерии переадресовал новому оппоненту: «Шолохов невнимательно прочел Бубеннова. Бубеннов связывает все вообще литературные псевдонимы с попытками “прятаться от общества” и со “своеобразным хамелеонством”».

Высмеял Симонов и обвинение в пренебрежительном отношении к Бубеннову. Себя тоже назвал «молодым», подчеркнув, что таким, как он, еще нужно учиться у Шолохова. Но – только не «той грубости, тем странным попыткам ошельмовать другого писателя, которые обнаружились в этой его вдруг написанной по частному поводу заметке после пяти лет его полного молчания при обсуждении всех самых насущных проблем литературы. Мое глубокое уважение к таланту Шолохова таково, что, признаюсь, я в первую минуту усомнился в его подписи под этой неверной по существу и оскорбительно грубой по форме заметкой. Мне глубоко жаль, что эта подпись там стоит».

Симоновский удар не удалось бы парировать общими фразами. В руководстве ССП и ЦК партии давно ждали от Шолохова «военную эпопею», но ожидания оказались напрасными. Роман «Они сражались за Родину», печатавшийся главами в периодике с 1942 года, был все еще далек от

завершения. Публикация фрагментов прекратилась в 1944 году, возобновилась пять лет спустя и вновь прервалась.

На это и намекал Симонов. И современники намек поняли: Шолохов еще с войны печатался изредка.

В писательских кругах ходили слухи о шолоховских суждениях антисемитского характера. Некоторые из них воспроизведены Фрезинским в комментариях к собранию сочинений Эренбурга[331].

Характерно, например, свидетельство одной из современниц. Она знала Эренбурга лично и в мемуарах цитировала сказанное о Шолохове: «Он медленно умирает на наших глазах. С начала войны. Он был тогда не с нами, потому что казаки не с нами. А для него эта связь – кровная. И человечески, и творчески. Тогда начались водка, антисемитизм, позорная клика мелких людишек вокруг него».

Эренбург, если верить мемуаристке, к Шолохову относился сочувственно. Утверждал: «Все плохое – наносное, от окружения».

Так ли думал и действительно ли сказал – трудно судить. Однако про «водку, антисемитизм» и «полное молчание» знали многие в литературных и окололитературных кругах.

Подчеркнем, что Симонов и рассчитывал на такое «фоновое знание». Итоговый вывод статьи формулировался бескомпромиссно: «Я убежден, что вся поднятая Бубенновым мнимая проблема литературных псевдонимов высосана из пальца в поисках дешевой сенсационности и не представляет серьезного интереса для широкого читателя. Именно поэтому я стремился быть кратким в обеих своих заметках и не намерен больше ни слова писать на эту тему, даже если “Комсомольская правда” вновь пожелает предоставить свои страницы для недостойных нападок по моему адресу».

Отсюда следовало, что позиция автора согласована в руководстве ССП. Значит, дальнейшая полемика с необходимостью подразумевала бы конфликт, разбирать который пришлось бы на уровне ЦК партии. Ну а там у Симонова были весьма сильные позиции. Ему давно покровительствовал Сталин, о чем знали агитпроповские функционеры.

Полемика действительно прекратилась. Симонов, предложив «Комсомольской правде» открытую конфронтацию, похоже, заручился поддержкой в ЦК партии. Он был искушен в подобного рода интригах.

К Гроссману полемика имела непосредственное отношение. Он тоже псевдоним использовал. Но классика советской литературы пока не задевали.

Редакционная интрига

Отметим, что руководство ССП опекало Гроссмана – как потенциального автора «военной эпопеи». Компенсировались все репутационные потери, связанные с упреками критиков.

Выше отмечалось, что Гроссман в 1946 году награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Получали такую награду отнюдь не все писатели, даже и ставшие военными корреспондентами.

Ну а в 1947 году – по представлению руководства ССП – Гроссман награжден медалью «800-летие Москвы». Награда, что называется, юбилейная, однако и в данном случае подтверждала статус.

После войны, как отмечалось выше, фронтовые очерки Гроссмана неоднократно публиковались. В 1949 году Воениздатом была выпущена и новая книга – «На Волге (Главы из романа “Сталинград”»[332].

Для Гроссмана эта публикация была своего рода цензурным разрешением. Военные главы напечатаны еще до издания романа в целом. Можно сказать, что одобрение уже получено, серьезные препятствия тогда не предвиделись.

Изначально Гроссман планировал опубликовать роман в журнале «Знамя». Там и анонсы были. Но к 1949 году планы изменились: слишком много выслушал замечаний, опять же, «Новый мир» считался гораздо более авторитетным изданием, да и редакцию тогда возглавлял давний знакомый – Симонов.

Они приятельствовали еще с довоенных лет. Войну оба закончили в звании подполковника. Правда, редактор «Нового мира» – многократный лауреат, влиятельный функционер, Гроссман же премию не получил и административной деятельности избегал. Но как прозаик и журналист был тогда не менее известен, чем поэт Симонов.

Заместителем главного редактора был А. Ю. Кривицкий, тоже давний знакомый. Ситуация вроде бы складывалась вполне благоприятная.

История публикации романа впервые описана в мемуарах Липкина. Такой и вошла в научный оборот с 1986 года.

Но следует отметить, что она полностью опровергается материалами архива Гроссмана, хранящегося в РГАЛИ. Прежде всего – «Дневником прохождения рукописи романа “За правое дело” в издательствах»[333].

Гроссман вел дневник почти четыре года. Практически сразу фиксировал все основные события, описывал разговоры с

функционерами – от поступления романа в редакцию до выхода первого отдельного издания.

В монографии Бочарова опубликованы большие фрагменты гроссмановского дневника. Но и после ее издания в 1990 году положение не изменилось. По-прежнему бытует липкинская версия, а дневник Гроссмана игнорируется.

Соответственно, уместен сопоставительный анализисточников. Публикуются фрагменты дневника по оригиналу, хранящемуся в РГАЛИ. Орфография и пунктуация приведены к современным нормам.

История «прохождения рукописи» началась в 1949 году, когда Гроссман передал завершенный роман в «Новый мир». В дневнике указана точная дата, Липкин же обошелся без уточнений.

По словам мемуариста, он не верил в удачу друга. И, как водится, «случилось неминуемое: роман (он сначала назывался “Сталинград”) был отвергнут “Новым миром” – редактором Симоновым и его заместителем Кривицким. Больше года они молчали. Гроссман нервничал, серьезная, столь важная для него работа будто в пропасть канула. И вот наконец ответ: печатать не будем, нельзя».

В действительности **не** случилось то, что Липкин характеризовал как «неминуемое». Согласно гроссмановскому дневнику, 2 августа 1949 года два экземпляра рукописи переданы в редакцию, читали их главный редактор и его заместитель. 11 сентября «Симонов позвонил по телефону из Сухуми и сообщил, что прочел рукопись: “Мне очень нравится, есть пожелания по отдельным местам и линиям”. Обещал, что по приезде в Москву 15-ого сент. тотчас встретимся».

15 сентября позвонил и Кривицкий. Он сказал, «что его мнение совпадает с мнением Симонова: “Наши требования минимальны”. “Мое отношение более восторженное, чем у Си[моно]ва”».

Значит, история про то, как «больше года они молчали» и «печатать не будем» – вымысел. В действительности редактор и его заместитель прочли весьма объемистую рукопись менее чем за полтора месяца и дали принципиальное согласие на публикацию.

Характерно, что отметил это и Бочаров. По словам исследователя, дневниковые записи «как ни прискорбно это говорить, опровергают версию об отношении Симонова и Твардовского к рукописи романа, изложенную в прекрасных воспоминаниях С. Липкина (роман был якобы отвергнут Симоновым, а Твардовский “душевно и торжественно поздравлял Гроссмана”), к которым я еще не раз буду с благодарностью

обращаться. Впрочем, там есть и другие, преимущественно хронологические неточности».

С 20 сентября начались обсуждения рукописи на редакционной коллегии. Замечаний было немало, однако Симонов на своем настоял. После редактуры надлежало печатать роман с январского номера 1950 года.

Оставалось, правда, еще одно препятствие. Рукопись после редактуры должна была пройти контроль специалистов Генерального штаба. Это вполне объяснимо: после новой правки обязательно повторное рассмотрение цензорами.

Липкин же описывал иную ситуацию. По его словам, «не успел Симонов вернуть роман автору, как сменилась редколлегия журнала…».

Это опять, мягко говоря, «неточность». В действительности **не** было такого намерения – «вернуть роман автору». И **не** «сменилась редколлегия». Другое произошло. 17 февраля Гроссман записал в дневнике: «Симонов, Кривицкий уходят из“ Нового мира”. Редактором назначен Твардовский».

Запись подчеркнута **двумя красными линиями**, словно автор указывал окончание первого этапа «прохождения рукописи». Но, похоже, это позже сделано. Тогда опасность не прогнозировалась. Бывший главред, что называется, «на повышение ушел», не конфликтуя с новым, чей ближайший помощник – А. К. Тарасенков – не слыл интриганом.

Липкин, однако, сообщил, что лишь после ухода Симонова и Кривицкого появились у Гроссмана сторонники в редколлегии. Это новый редактор и его заместитель: «Первым прочел роман Тарасенков – и пришел в восторг, поздно ночью позвонил Гроссману. Потом прочел Твардовский – и разделил мнение своего заместителя. Оба приехали к Гроссману на Беговую. Твардовский душевно и торжественно поздравлял Гроссмана, были поцелуи и хмельные слезы. Роман было решено печатать».

В действительности **не** было «поцелуев и хмельных слез». Новый главред **не** спешил читать роман – даже и после ряда напоминаний автора.

С Гроссманом он встретился 22 февраля, а рукопись, уже прошедшую редактуру при Симонове, обещал прочесть в начале марта. И тут же передал ее введенному в редколлегию «Нового мира» Бубеннову. Того поддерживали агитпроповские функционеры: не прекращалась борьба с руководством ССП.

Вскоре началась редакционная интрига. Гроссману уже было понятно, что роман не попадет и в апрельский номер. Да и в летние – вряд ли.

12 марта состоялось заседание редколлегии «Нового мира».

Принято решение всем читать роман заново. Ну а Твардовский все еще не прочел рукопись.

Гроссман собрался лично побеседовать с главным редактором. 15 марта записал в дневнике: «Встреча с Твардовским. Твардовский заявил мне, что печатать может только военные главы, против остального резко и грубо возражал».

Решение понятное. «Военные главы» уже публиковались, хотя бы и частично, тогда как «остальное» не проходило цензурные инстанции. Не апробировано. И среди героев романа – евреи. Отвечать же за все не Симонову, а Твардовскому.

Ситуация прояснилась. Гроссман, по его словам, Твардовскому «ответил, что это фактический отказпечатать меня, т. к. предложения его оскорбительны, неверны, совершенно неприемлемы. Он предложил, чтобы прочла вся редколлегия, я ответил, что решение ясно из того, что сказал он, главный редактор. На мой вопрос о мнении Бубеннова ответил: резко отрицательное».

Бубеннов тогда заканчивал вторую часть романа «Белая береза», и не нужен был ему конкурент в гроссмановском статусе. Кстати, вряд ли Твардовский о том не догадывался.

У Гроссмана не оставалось времени на раздумья. В дневнике отмечено: «21 марта. Я письмом сообщил Твардовскому, что отказываюсь категорически от его требований и принимаю отказ. Он, получив письмо, позвонил мне и сказал, что мнение его не окончательное, и просил подождать высказывания редколлегии (в течение 10 дней)».

Гроссман в конфликте проявил готовность к полному разрыву. Не готов был Твардовский.

Дело, конечно, не в давних приятельских отношениях. Главный редактор знал, что у Гроссмана есть влиятельные заступники.

Прежде всего, интересы автора лоббировал бывший редактор «Нового мира», возглавивший редакцию «Литературной газеты». Его поддерживал друг-поэт и тоже очень влиятельный функционер – А. А. Сурков. И конечно, генеральный секретарь ССП. Они сообща решали актуальную задачу – создание «военной эпопеи».

Сталину требовалась «советская “Война и мир”». А гроссмановский роман, помимо некоторых литературных достоинств, отличался и множеством сюжетных линий, и солидным объемом. Причем журналу была предоставлена лишь первая часть, значит, готовилась, как минимум, вторая.

Твардовскому в случае разрыва полагалось бы ответственность принять – за отказ от проекта, курировавшегося

высшими функционерами ССП. Удача же стала бы и удачей «Нового мира».

Гроссмановское письмо для главреда – неожиданность. Это был официальный документ, где автор, характеризуя причины разрыва с журналом, называл виновного. Подразумевалось, что копию Гроссман предоставил Секретариату ССП. Следовательно, неизбежным становилось фадеевское вмешательство. Вот почему Твардовский и попросил десятидневную отсрочку: дождаться «высказывания редколлегии» он мог и раньше, время требовалось, чтоб договориться с литературным начальством.

Договаривался, нет ли, но 29 марта Гроссману сообщил Тарасенков, что претензии главреда уменьшились. По-прежнему вызывал протест лишь центральный персонаж – физик-ядерщик Штрум, alter ego автора.

Конечно, мешал не Штрум как сюжетный элемент. Помеха была в том, что он – еврей. Твардовский не спешил рисковать: антисемитские кампании в прессе шли одна за другой.

Но решение принимать все равно следовало. Гроссман уже неделю, как обозначил письмом готовность к полному разрыву, и Твардовский стремился дезавуировать этот документ. Соответственно, Тарасенков предложил компромисс: Штрума убрать, тогда других претензий не останется.

Гроссман уступать не стал. И на следующий день к нему приехали Твардовский с Тарасенковым. Понятно, что их личный визит – форма извинения: после ссоры договариваться нужно было срочно.

У Липкина, разумеется, ссоры вообще не было. Как выше отмечено, главный редактор, прочитав роман, пребывал в восторге, пресловутые «хмельные слезы» проливал, а потом и протрезвел: «Опомнившись, Твардовский выставил три серьезных возражения».

Согласно Липкину, не нравилось, во-первых, что изображение тылового советского быта и войны как таковой слишком уж мрачно. Во-вторых, мало внимания уделено Сталину. Наконец, и Штрум еврей, и военный врач Софья Левинтон еврейка. Опять «еврейская тема».

Но и тогда ссоры не было. Липкин утверждал: «К обязанностям редактора романа Твардовский отнесся с любовью и ответственностью».

Про ответственность – бесспорно. А Липкин еще и акцентировал: «Несмотря на свои возражения, уверенный в том, что автор согласится внести исправления, Твардовский страстно хотел роман напечатать».

Если судить по гроссмановскому дневнику, Твардовский **не**

«хотел роман напечатать». За журнал главред отвечал непосредственно, а уж потом Фадеев, Симонов и Сурков.

Извсего, что рассказал Липкин, рассуждая о первом (как он полагал) этапе редактирования романа, лишь возражения Твардовского относительно Штрума не опровергаются гроссмановским дневником. Подчеркнем: и не соответствуют полностью, и прямо не противоречат. Однако, даже не зная о такого рода претензиях редактора, несложно было и угадать их, если речь шла о ситуации конца 1940-х годов.

Неважно в данном случае, знал ли мемуарист, как было на самом деле. Если да, то, оговаривая Симонова и расхваливая Твардовского, понимал, что фактам противоречит, а нет – просто сочинял. В любом случае полемика тогда исключалась. Умерли все, о ком Липкин рассказывал. Другой вопрос – зачем ему понадобилось выдумывать историю про начальную стадию редактирования. Ответ подсказывает контекст.

Судя по липикинским мемуарам, Симонов – типичный сталинский функционер. Можно сказать, «литературный генерал». Таким его и считали многие в 1980-е годы.

У Твардовского иная репутация тогда сложилась. Он – мученик русской литературы. Согласно «биографическому мифу», пытался с начала послесталинской эпохи преобразовать «Новый мир», за что и был отстранен от должности главного редактора в 1954 году. Однако пяти лет не прошло, как вновь назначен и сумел все же обычный советский журнал превратить в уникальный литературный центр, чуть ли не диссидентское издание, за что опять смещен с поста в 1970 году, а вскоре умер[334].

Аналогия в истории русской литературы XIX века сама собою подразумевалась. Это, конечно, гениальный Некрасов и легендарный, при нем ставший оппозиционным журнал «Современник».

Репутация Гроссмана к 1986 году тоже сформировалась. Автор буквально арестованного романа считался писателем-нонконформистом.

Ясно, что «литературный генерал», сталинский функционер Симонов должен был унизить писателя-нонконформиста непомерно долгим ожиданием решения, после чего отвергнуть роман безоговорочно. А прийти на помощь Гроссману, конечно же, полагалось будущему мученику русской литературы – Твардовскому. Вот он, согласно Липкину, проявил уступчивость, добился компромисса.

На самом деле компромисса не было. Гроссман заставил Твардовского отступить. В шахматной терминологии – сыграл на

обострение. Однако интрига только начиналась.

Административная тактика

Если мемуарам Липкина верить, Твардовский не с Гроссманом конфликтовал, а противостоял его врагам. Для этого добился поддержки Фадеева и «держался молодцом, был непоколебим, упорен».

Согласно же дневнику, Твардовский препятствовал, а роман проходил цензуру. Как военная эпопея – в Генеральном штабе. 6 апреля оттуда поступил отзыв, содержавший «ряд частных замечаний».

Это означало одобрение в целом. Что неудивительно: военные главы уже были частично опубликованы.

Решение печатать роман с пятого номера 1950 года принято редколлегией 24 апреля. Четыре дня спустя получена верстка. На следующий день Гроссман отметил в дневнике: «По доносу Бубеннова печатание приостановлено. Экстрен [нное] заседание Секретариата».

Бубеннов обратился в ЦК партии. Разумеется, по согласованию с агитпроповскими функционерами. И Секретариату ССП надлежало срочно принять какие-то меры.

Агитпроп тогда возглавлял М. А. Суслов. Трудно судить, был ли он антисемитом, зато известно, что непосредственно занимался организацией кампании «борьбы с безродными космополитами».

Но и Фадеев еще с довоенных лет введен в ЦК партии. Бубеннов об этом, конечно, знал. Только неизвестно, догадывался ли, что генсек ССП лоббирует гроссмановский роман. Особой роли такое обстоятельство и не играло: Суслов – не менее влиятельный покровитель.

В Секретариате ССП о бубенновском доносе узнали сразу. А когда получили официальное извещение, Фадеев уже добился поддержки. Это закономерно – сталинскую задачу решал. В дневнике Гроссман констатировал: «Предложено отложить печатание на 2 месяца. Отредактировать роман полностью, сдать на согласование в ЦК, сверстав все части книги».

Интрига продолжалась. Руководство ССП проводило заседания, а Гроссман записал в дневнике: «4 мая. Говорил с Сурковым. Он подтвердил, что на секретариате Твард[овский] и Тарасенк[ов] были за роман».

Автор романа меж тем заканчивал очередную редактуру. Но 31 мая ему позвонил генерал А. И. Родимцев, давний знакомый, один из героев Сталинградской битвы. Новость была тревожной. Готовился очередной этап дискредитации книги.

Вел подготовку лично Суслов. По словам Родимцева, «посоветовал ему ознакомиться с романом и написать об этом в ЦК».

Пренебречь «советом» функционера такого ранга не мог и генерал. Но судя по тому, что противники романа не использовали отзыв, был он вполне положительным.

20 июля верстка передана Суслову. Надлежало ждать результатов. 1 августа Гроссман записал в дневнике, что завтра исполнится год, как роман сдан в «Новый мир». А из редакции по-прежнему сообщали, что новостей нет.

Лишь 14 августа стало известно: Суслов передал рукопись на рецензирование в самое авторитетное научно-исследовательское учреждение при ЦК партии – Институт Маркса, Энгельса, Ленина. Обычно там не спешили принимать ответственность.

Но у Фадеева в ИМЭЛ тоже связи имелись. Заключение было составлено и, как отметил Гроссман, «вполне положительное».

Агитпроповский ответ ждать пришлось недолго. Роман был передан в Президиум ЦК партии – Маленкову.

6 октября Секретариат ССП обсуждал новый вариант совместно с редколлегией «Нового мира». По словам Гроссмана, победа была полной: «Фадеев целиком и безоговорочно поддержал меня. Редколлегия целиком – за. Бубеннов целиком – за. Роман одобрен. Решено послать в ЦК письмо с просьбой ускорить чтение либо разрешить взять на себя ответственность секретариату на публикацию романа».

Бубеннов, понятно, лавировал. До поры избегал открытой конфронтации с генсеком ССП. Ну а Фадеев – применительно к роману Гроссмана – вновь оспорил право Агитпропа на негласные запреты. Это была дерзость. Но – извинительная, акцентировавшая важность проекта.

8 октября Фадеев сообщил Гроссману, что письмо отправлено в ЦК партии. Ждали ответ.

Попытка Бубеннова использовать контекст антисемитских кампаний не удалась. Как разв данном случае их вполне могло игнорировать руководство ССП. Такое делали и раньше, когда выполнялись правительственные же задания. К «безродным космополитам» не относили знаменитых ученых, режиссеров, актеров и художников. Лауреатов Сталинских премий называли «гордостью советской науки» или «советского искусства». Ссылками на подобного рода исключения, кстати, опровергали за границей слухи о государственном антисемитизме в СССР.

6 декабря Гроссман обратился с письмом к Сталину. Просил лично – помочь «в решении вопроса о судьбе романа».

С одной стороны, конечно, рисковал. А с другой – ход вполне

продуманный. Генсек лично курировал проект «военной эпопеи», агитпроповские интриги были тут малоинтересны. Требовался результат. А защитником романа стал Фадеев, сталинский фаворит. Маловероятно, чтобы с ним гроссмановское обращение не было согласовано.

Ответ из ЦК партии получен не ранее 3 января 1951 года. Судя по дневнику, гроссмановского защитника «вызвали в ЦК и сказали, что роман получил очень высокую оценку (о том, кто говорил с ним и кто читал роман, Фадеев не сказал). Союзу <писателей> и редакции <“Нового мира”> предложено решить вопрос о печатании, наверх роман больше не посылать».

Вероятно, Сталин в тонкости редакционной полемики вникать не стал, а распорядился, чтоб спорный вопрос был решен вскоре. Потому Суслову и пришлось искать компромисс. Так что не обошлось без претензий к роману, хотя и формулировались они как пожелания. Имелись в виду добавления и сокращения.

Относительно сокращений претензии в основном прежние. Как подчеркнул Гроссман в дневнике, главная – «снять Штрума. Я в ответном слове согласился со всем, кроме Штрума. Спорили, решили вопрос о Штруме отложить. Фадеев сказал, что посмотрим: после написания новых глав, быть может, соотношение частей станет таково, что и Штрум ляжет по-новому. Твардовский сказал, что намечает роман в 6-й номер».

Возможно, был у главреда такой план. Однако интрига развивалась своим чередом, и 9 марта автор дневника продолжал ее анализ: «Мною закончена работа над новыми главами, о которых шла речь на встрече с Фадеевым. Написано около 90 страниц, т. е. 4 авторских листа. Сегодня собираюсь сдать работу в редакцию. Общая литературная обстановка нервная – Бубеннов, как рассказывают, пытается провокационно компрометировать мой труд. Инспирированный Бубенновым Мих. Шолохов запросил у редакции окончательный вариант “Гроссмана”».

Шолохов бывал в Москве наездами. Постоянно жил в станице Вешенской, куда и отправили почтой объемистую рукопись на исходе мая.

До Ростовской области, где находилась Вешенская, посылка шла несколько недель, да и адресат прочел роман не сразу. Похоже, Бубеннов рассчитывал, что редколлегия не примет решение о публикации, пока отзыв не получит, на пересылку же и переписку уйдет месяц-другой, а то и больше.

Несколько опережая события, отметим, что обошлось без отрицательного отзыва. Гроссман в дневнике передал разговор с Твардовским об этом. По словам главреда, Шолохов сказал: «Писать о Ст[алингра]де не буду, т. к. хуже Гроссмана не

положено, а лучше не смогу».

Отсюда с необходимостью следует, что Шолохов тогда не пожелал участвовать в бубенновской интриге. Даже и поддержал Гроссмана.

Но Липкин в мемуарах предложил совсем иную версию. Как водится, «с точностью до наоборот». По его словам, «Твардовский отправил роман члену редколлегии “Нового мира”» Шолохову, надеясь, что великого писателя земли советской не могут не привлечь художественные достоинства романа и Шолохов, если он даже почему-то не терпит Гроссмана (был такой слух), все-таки поддержит его своим огромным авторитетом.

Ответ Шолохова был краток. Несколько машинописных строк. Я их видел. Главная мысль, помнится, такая:

“Кому вы поручили писать о Сталинграде? В своем ли вы уме? Я против”.

Гроссмана и меня особенно поразила фраза: “Кому вы поручили?” Дикое, департаментское отношение к литературе».

Мемуарист не скрывал иронию. Еще с XIX века «великим писателем земли русской» именовали автора романа «Война и мир», соответственно, почетное именование Липкин применительно к Шолохову хронологически локализовал – «советской». Чтоб смешнее. Заодно и приписал «дикое, департаментское отношение к литературе». Иллюзию достоверности создавал эмоциональный напор.

Доказательств же – нет. И не только потому, что мемуарист не сообщил, от кого слышал о шолоховской неприязни к Гроссману. Допустим, так было. Тогда главный редактор, желавший защитить роман, поступил бы весьма странно, по собственной инициативе посылая рукопись недоброжелателю автора. Объяснение, предложенное Липкиным, не выдерживает критики.

Наконец, мемуарист главное не объяснил: где, когда, при каких обстоятельствах он, не имея отношения к редколлегии «Нового мира», не участвуя в обсуждениях романа, мог бы увидеть шолоховский отзыв. Расчет тут исключительно на авторитет «самого близкого друга Гроссмана». В дальнейшем это и стало наиболее весомым аргументом. С Липкиным не спорили.

Он не учел только, что дневник сохранился. Благодаря этому понятно, что мемуарист **не** «видел ответ Шолохова», и Гроссмана **не** «поразила фраза», якобы воспроизведенная Липкиным. На самом деле им же и **придуманная**.

Отметим, что Бочаров, цитируя истинный шолоховский отзыв по дневнику Гроссмана, вообще не упомянул о версии Липкина. Ее ведь и при желании трудно характеризовать как «неточность».

В данном случае опять неважно, знал ли мемуарист, как было на самом деле. Если да, то понимал, что противоречит фактам, а нет – сочинял безоглядно. Другой вопрос, зачем понадобилось такое сочинительство.

Подчеркнем еще раз: ответ вполне очевиден, если учитывать советский политический контекст. И разумеется, специфику гроссмановского «биографического мифа», который создавал Липкин.

В его мемуарах выстроена пропагандистская конструкция. Сообразно этому Твардовский был наивен, верил в справедливость. Что поделаешь – мученик русской литературы. А Шолохов, понятно, советский «литературный генерал», ему и полагалось мешать Гроссману.

Про шолоховские высказывания антисемитского характера Липкин упоминать не стал. В этом случае была бы сомнительна объективность мемуариста. Зато – в отместку – сочинил мнимошолоховский отзыв.

Нашлись и последователи. К примеру, Сарнов неоднократно воспроизводил придуманное Липкиным. Так, в книге «Сталин и писатели» утверждал, что «Твардовский попытался найти поддержку у Шолохова. Но вместо поддержки получил еще один отрицательный отзыв. «Вы с ума сошли! – ответил Шолохов. – Кому вы поручили писать о Сталинграде?»[335].

Как отмечалось выше, Сарнов тоже создавал «биографический миф» Гроссмана. А этому реальная история «прохождения рукописи» только мешала.

Она и сейчас мешает, потому и не востребована. Документы разрушают привычную «мифологическую» концепцию. «Литературные генералы», сталинские функционеры защищали писателя-нонконформиста от будущего мученика русской литературы, всеми силами препятствовавшего изданию романа.

Третий этап

Весной 1951 года Твардовский оказался, по сути, в ситуации выбора. С одной стороны, давление руководства ССП. А с другой – агитпроповское.

Гроссман же по-прежнему стоял на своем. 12 марта описывал в дневнике очередную встречу с главредом «и двумя его заместителями. Мне категорически заявлено: снять все штрумовские главы. От первой до последней строки – иначе роман печататься не будет. Я отклонил этот ультиматум. На этом и закончился мой разговор с редакцией “Нового мира” о печатании романа “Сталинград”. Вопрос передается Фадееву».

Гроссман опять сыграл на обострение. Фадеев же не планировал уступки, так что уступил Твардовский.

Интрига продолжалась, Агитпроп требовал новых согласований, Твардовский не спорил.

Он стал уже союзником генсека ССП, но чем больше согласований, тем редакторская ответственность меньше. И 23 апреля Гроссман описал разговор с Фадеевым – о «скептицизме Твардовского. Фадеев мне сказал: против романа могли возражать ИМЭЛ, Генштаб, ЦК ВКП(б). Роман в этих 3-х инстанциях был одобрен – вопрос поручен нам, Союзу писателей и редакции “Н[ового] м[ира]”. Мы решили печатать, кто же может возражать?».

Агитпроп возражал по-прежнему. 29 апреля Гроссман отметил в дневнике: «Позвонил Твардовский, сообщил, что Фадеев был у Суслова. Тот сказал Фадееву, что вопрос практически и в основном решен, что есть 2 частности, которые он сам решить не может, но они должны решиться через дня 3 (“Скажем, вопрос о Никите Сергеевиче, которого нужно спросить”). Подробностей мне никаких сказать не может, но оценка высокая. Если будет ответ через дня 3, то пустят в 7-м номере».

Упомянутый «Никита Сергеевич» – Хрущев. Как известно, он еще в довоенные годы стал высокопоставленным функционером, затем политработником, войну закончил генерал-лейтенантом. А в 1951 году – опять секретарь ЦК партии, возглавлял Московский городской и областной партийные комитеты. С Гроссманом был знаком еще по Сталинградскому фронту.

Прочел ли Хрущев роман, нет ли, возражений не было. Публикацию же Твардовский перенес на сентябрьский номер. И буквально прятался от автора. Ситуация почти комическая.

Окончательное решение откладывалось. 17 ноября Гроссман

фиксировал результат беседы с генсеком ССП: «Книгу предложено перевести в рамки личного опыта. Она признана талантливым и патриотическим произведением. Фадеев предложил пока воздержаться от моих конкретных предложений, связанных с сокращением глав, которые выходят за рамки компетенции и опыта автора. Он оставил у себя рукопись и взялся вновь прочесть ее, после чего уже встретиться для конкрет[ных] разговоров. Предупредил, что рукопись снова должна быть послана в ЦК после сокращений».

Но ситуация практически не изменилась даже в начале 1952 года. Фадеев ездил в заграничные командировки, а в его отсутствие Твардовский выжидал, не отказывая прямо, но и не санкционируя публикацию.

15 апреля автор романа, попавшего буквально в эпицентр административного конфликта, фиксировал разговор с редактором журнала «Знамя» В. М. Кожевниковым. Тот предложил на заседании Президиума ССП: «Если трус Твардовский боится, дайте мне, я напечатаю, только допишите про бои (листов 5–6!!) либо сократите начало».

Кожевников стал главредом на год раньше Твардовского, и «Знамени» тоже срочно требовался успех. В противостоянии руководства ССП и Агитпропа чей-либо перевес не был заметен, так что изменить ситуацию мог бы руководитель журнала, готовый к риску.

Гроссман не принял кожевниковское предложение. Нужно было согласие Фадеева, а тот следовал плану.

Время, однако, шло. Главред «Нового мира» уехал в дом отдыха. 22 апреля телефонный разговор с ним Гроссман фиксировал в дневнике, отметив, что Твардовский «еще не дочитал романа. Обещал начать действовать. Фадеев, по его словам, пьет третью неделю. Впечатление от романа хорошее – никаких конструктивных претензий ко мне он не имеет. На мой вопрос, как же он будет действовать, ответил: “Это редакционная тайна”».

26 апреля автору романа позвонил второй заместитель главреда «Нового мира» – С. С. Смирнов. Как сказано в дневнике, задал «странный вопрос: “Вам еще не звонили?” Сообщил, что Фадеев как будто перестал пить, вернулся домой, но Твардовский, державшийся до последнего времени, наоборот, запил. Кто же мог звонить – если один мой ходатай в запое, а второй только-только вышел из 3^{х} недельного запоя?».

Вопрос риторический. 29 апреля Гроссман отметил, что «позвонил Смирнову. Он сообщил мне: есть сведения, что Фадеев вышел из запоя, но болен после запоя, по другим сведениям,

Твардовский сегодня еще был в запое, но есть признаки, что запой пошел на убыль. Пояснения излишни…».

Редакционные новости Гроссман узнавал от Смирнова. По его словам, Твардовский добивался приема в ЦК партии, чтобы доложить о готовности редакции принять ответственность за печатание романа, но пока ответ не получил. А Фадеев по-прежнему «болел».

Но и «болевший» генсек ССП действовал сообразно плану. Роман еще не был опубликован, а подготовка к выдвижению на соискание премии уже началась.

9 мая Гроссман предоставил руководству ССП автобиографию, где сообщал, что первая часть романа сдана в редакцию «Нового мира». Подчеркнул: будет продолжение. Это и соответствовало фадеевскому плану – к изданию готовилась «военная эпопея».

Финал интриги приближался. Согласно гроссмановскому дневнику, 22 мая «позвонил Фадеев из больницы. “Из вашего доброго духа я превратился в вашего злого духа. Я болел, был занят, у меня был сердечный спазм, дважды летал за границу, писал свой роман, хотя врачи мне запретили умственную деятельность. Ныне в больнице я прочел Ваш роман. Мне кажется, что сделано все, что нужно. Книга больше не нуждается ни в каких санкциях. Ее нужно печатать под мою и Твардовского ответственность. Если Твардовский откажется ее печатать, то он навсегда потеряет мое уважение. Но даже и при этом, если речь пойдет о разрешении и посылке, то не может быть сомнения в том, что книга будет напечатана. Я боюсь лишь того, что дело вновь надолго затянется, т. к. младшие работники будут передавать рукопись на санкцию старшим”».

Важным было лишь одно требование. Фадеев заявил: «Я возражаю против названия, нужно новое».

Другие претензии деактуализовались. Фадеев подчеркнул: «Конец романа значительно лучше, чем был – очень хорош. Наконец, следует указать, что это конец 1ой части, а не всей книги».

Казалось бы, мелочь. Но она свидетельствовала, что Фадеев ориентировался на объем толстовской эпопеи: если «конец 1ой части», значит, идет подготовка других.

Споры о заглавии были долгими. Гроссмановские варианты – «На Волге», «На народной войне» – отвергались. Впрочем, их признавал неудачными сам автор, не принявший и фадеевское предложение: «Советские люди».

Рукопись все же передали в типографию. Как подчеркнул Гроссман, «это в 4ый раз».

Печатать роман было решено с июльского номера. Гроссман предложил новое заглавие – «За правое дело».

Такой вариант, поначалу тоже отвергнутый, в итоге приняли. Заглавие вполне корреспондировало с хрестоматийно известной заключительной фразой правительственного обращения, которое по всесоюзному радио было прочитано в первый день Великой Отечественной войны. С 22 июня 1941 года лозунг тиражировался листовками и плакатами: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами».

Бубеннов уже не протестовал. И Агитпроп не предъявлял новые претензии. Считалось, что вопрос о публикации романа полностью согласован. Однако Гроссман 3 июня отметил: в телефонном разговоре Фадеев «предупреждал меня о литературных недоброжелателях».

Понятно было, о ком шла речь. Бубеннов и поддерживавшие его агитпроповские функционеры не смирись с поражением.

У Бубеннова, помимо конъюнктурных соображений, была и личная обидана Фадеева: роман «Белая береза» так и не вышел в «золотой серии».

Зато Бубеннов – при сусловской поддержке и вопреки Фадееву – сумел почти на два года увеличить срок подготовки гроссмановской рукописи к изданию. Старался не зря – выигрывал для себя время: в 1952 году вышла вторая часть его романа. Прогнозировалась Сталинская премия – как за первую. Тогда можно было бы претендовать на статус автора «военной эпопеи»[336].

Но все еще мешал Гроссман. Во-первых, литературный уровень бубенновской книги вновь оказался невысок даже и для того времени. А во-вторых, роман «За правое дело» – еще и с учетом анонсированного продолжения – был по объему гораздо ближе к толстовской эпопее.

Так что Бубеннов и агитпроповские функционеры продолжали интригу. У них оставались возможности препятствовать изданию. Гроссмановский роман должен был еще пройти наиболее строгую цензурную инстанцию – Управлении Совета министров СССР по охране военных и государственных тайн в печати. По сложившейся еще с 1920-х годов традиции его именовали Главлитом.

Редакция «Нового мира» ждала результат. Гроссман в дневнике отметил, что первый замглавреда – Тарасенков – «полон страха перед Бубенновым и Главлитом».

Всем, кто состоял в редколлегии, надлежало решить, готовы ли они – индивидуально – принять ответственность. Каждому вручен был экземпляр верстки – для визирования. Главред и его

заместители подписали. Остальные колебались.

В итоге визы поставили все, кроме Бубеннова. Он, как отметил Гроссман в дневнике, «верстку не подписал и не вернул».

Тактика вполне понятная. Откажись Бубеннов прямо, это подразумевало бы открытый конфликт с редактором «Нового мира» и руководством ССП. А если б цензурная инстанция отвергла роман, можно было предъявить свой экземпляр невизированной верстки.

Обошлось без цензурного вмешательства. 2 июля Гроссман записал в дневнике, что номер журнала, где началась публикация романа, «доставлен подписчикам».

Главное было сделано. Теперь вмешаться мог только ЦК партии. Но для этого требовалась веская причина, а ее Агитпроп не сумел найти. 1 октября вышел десятый номер журнала, завершивший публикацию. Гроссман опять выигрывал.

Триумф и скандал

13 октября журнальная публикация уже обсуждалась на общем собрании секции прозаиков Московского отделения ССП. Роман, как отметил в дневнике Гроссман, «получил высокую оценку».

Это был своего рода сигнал. Гроссман в дневнике отметил с гордостью, что статьи о романе печатались в московской, ленинградской и областной периодике. Хвалили везде – безоговорочно. А главную причину многочисленных похвал вновь обозначил автор рецензии в ноябрьском номере «Огонька»: «Рождение эпопеи»[337].

Сурков тогда руководил «Огоньком». Тон обсуждения был задан. Что и подтвердила рецензия в первом номере журнала ЦК комсомола «Молодой коммунист» за 1953 год. Пафос выражен заголовком: «Эпопея народной войны»[338].

Роман обсуждался и на заседании Президиума ССП. Там выдвинут на соискание Сталинской премии.

Триумф Гроссмана был очевиден. Издательство «Советский писатель» тут же предложило выпустить книгу. Одновременно получено предложение от издательства Министерства обороны – так называемого Воениздата. Роман там приняли безоговорочно, договор заключили и аванс выплатили сразу[339].

Однако 16 января все уже было иначе. В гроссмановском дневнике указано: «Критическое обсуждение романа на ред[акционном] совете “Сов[етского] писателя”».

На этот разв издательстве «Советский писатель» решили не публиковать книгу недавнего триумфатора. Конфликта не было: договор еще не успели заключить, и получилось, что директор просто дезавуировал свои предложения, выслушав критические суждения нескольких сотрудников.

Дело было не в критике. 13 января «Правдой» опубликовано и перепечатано всеми региональными газетами сообщение Телеграфного агентства Советского Союза – «Арест группы врачей-вредителей».

В тот же день «Правда» опубликовала передовую, где якобы существовавший «вредительский заговор» описывался подробнее. Заголовок подразумевал, что доказательства вины арестованных уже имеются в изобилии: «Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей»[340].

Мотивировка преступной деятельности определялась без обычных экивоков. Подчеркивалось неоднократно: врачи стали изменниками потому, что были евреями[341].

Общественное мнение было уже давно подготовлено к такому выводу. Но ранее пропагандисты все же избегали прямых инвектив в адрес конкретного этноса, а с 13 января разрешалось обходиться без оговорок. Защитой от «безродных космополитов», оказавшихся «шпионами и убийцами», должна была стать пресловутая бдительность.

По стране быстро распространялись слухи о готовящейся депортации евреев. Многие верили, потому что ранее уже депортировали в отдаленные районы поволжских немцев, крымских татар, чеченцев, ингушей, калмыков и другие народы, которым было инкриминировано «пособничество оккупантам».

Разве что мотивировка депортации прогнозировалась иная. На этот раз – защита от «справедливого гнева великого русского народа»[342].

У слухов были и косвенные подтверждения. Например, подготовка к публикации открытого письма группы представителей советской элиты – этнических евреев. Готовилось оно в ЦК партии. Условный заголовок – «Обращение еврейской общественности»[343].

Представителей «еврейской общественности» назначал ЦК партии. Выбирали, прежде всего, получивших высшие государственные награды – Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда. А также писателей, актеров и т. д. Гроссман тоже был выбран.

Из письма следовало, что подписавшие безоговорочно одобряют арест «вредителей». Более того, постулировалось: «Группа врачей-убийц разоблачена. Сорвана еще одна из коварных масок англо-американского империализма и его сионистской агентуры. Как все советские люди, мы требуем сурового наказания преступников. Мы уверены, что это требование выражает мнение всех трудящихся евреев и будет единодушно поддержано ими».

Проект документа обсуждался неофициально, однако достаточно широко и воспринят был «как прелюдия к депортации»[344].

В нашу задачу не входит анализ этой версии. Но косвенные свидетельства фиксируются в таких количествах, что пренебречь этим нельзя. Характерно, что и авторитетные историки, опираясь на результаты исследования архивных материалов, доказывают: опасность была реальной[345].

В дневнике Гроссман не фиксировал свое отношение к политическим событиям. Речь там шла только о «прохождении рукописи». Потому ключевое событие – публикация в «Правде» статьи Бубеннова «О романе Василия Гроссмана “За правое

дело”»:

Подчеркнем еще раз: статью главная партийная газета поместила 13 февраля. Опять Гроссману были инкриминированы пропаганда идей, враждебных марксизму, увлечение «реакционной» философией. А еще – стремление утвердить искаженное представление о Великой Отечественной войне. Но основные инвективы еще и корреспондировали с публикациями о «врачах-вредителях».

Как отмечалось выше, Бубеннов утверждал, что в романе слишком много героев с еврейскими фамилиями. Это подразумевало главный вывод: Гроссман, будучи евреем, не пожелал или не смог уделить основное внимание борьбе русского народа с иноземцами.

В таком случае, конечно, возникал правомерный вопрос о причинах недавних похвал в адрес Гроссмана. Но ответ был: некоторые хвалившие беспринципны, другим же свойственна «идейная слепота».

От «Правды» не отстал главный партийный журнал – «Коммунист». В тот же день подписчикам доставили очередной номер со статьей, заглавие которой само по себе было инвективой: «Роман, искажающий образы советских людей»[346].

Таким образом, триумф закончился, и начался скандал. Все отзывы были только негативными. Почти каждый заголовок – обвинение: «В кривом зеркале», «На ложном пути», «Корни ошибок» и т. п.[347]

Агитпроповские функционеры требовали от писательского начальства, чтобы автор «клеветнического» романа признал себя виновным. Традиция.

Липкин в мемуарах упомянул о таком предложении руководства ССП. Если верить мемуаристу, «Фадеев настойчиво советовал Гроссману покаяться, публично отречься от романа, “ради жизни на земле” – процитировал он Твардовского. Гроссман отказался».

Цитата действительно взята из книги Твардовского «Василий Теркин». Со времен войны строки эти были на слуху, стали поговоркой:

> Смертный бой не ради славы,
> Ради жизни на земле[348].

Неизвестно только, цитировал ли их Фадеев и он ли предлагал тогда «покаяться». Зато известно, что Гроссман **не** «отказался». 28 февраля в Секретариат ССП отправил письмо. Его цитировал, например, Бочаров[349].

Да, покаяние не соответствует «биографическому мифу». Но Гроссман жил в реальных условиях. Он принял некоторые упреки. Главным образом, относившиеся к философской проблематике и недостаточному вниманию к «организующей и вдохновляющей роли партии».

Однако письмо не сводилось к покаянию. Автор еще и утверждал, что готов исправить якобы допущенные ошибки: «Я хочу, учтя критику партийной печати, продолжать работу над второй книгой романа, посвященной непосредственно Сталинградской битве. В этой работе я буду стремиться к марксистски-четкому, к более глубокому идейно-философскому осмыслению событий…»

Гроссман искал компромисс. Но кампания продолжалась.

Редколлегия «Нового мира» от Гроссмана отреклась. А также Президиум ССП во главе с Фадеевым. Все признавали в печати, что публикация романа – политическая ошибка[350].

Устные заявления были и более резкими. В дневнике Гроссман отметил, что 3 марта на общем собрании секции прозаиков Московского отделения ССП бранили книгу и те, кто хвалил ранее. Ну а Бубеннов «цитировал Шолохова: “Роман Гроссмана плевок в лицо русского народа”».

Неизвестно, Шолохов ли такое сформулировал вдали от Москвы, либо за него кто-нибудь в столице. Главное, что Бубеннов торжествовал. Он добился желаемого: победил и Твардовского, и Симонова, и Суркова, и даже Фадеева.

С Бубенновым не спорили. Подразумевалось, что победа окончательна и теперь его роман должны признать «военной эпопеей». Гроссман, объявленный «клеветником», более не участвовал в конкуренции. Его откровенно травили.

Инвективы критиков предусматривали и вполне конкретные последствия: арест и осуждение за «антисоветскую агитацию». Правда, уголовной ответственности тогда подлежала бы вся редколлегия «Нового мира» во главе с Твардовским, а также руководство ССП, что было маловероятно. Однако и гарантий от абсурда не осталось.

Возможно, от ареста Гроссмана уберегло то, что ранее он, как другие известные романисты, оказался под сталинским покровительством. Без ведома генсека арестовать не могли.

Но истерия нарастала. И трудно было судить, пожертвовал ли Сталин проектом гроссмановской «военной эпопеи» ради новой пропагандистской кампании, адекватен ли, контролирует ли ситуацию.

Гроссман, по версии Липкина, уехал к нему на дачу в подмосковный поселок, где и пережидал опасное время.

Исключить такое нельзя.

Правда, сам Гроссман иначе характеризовал февральско-мартовскую ситуацию – в уже цитировавшемся автобиографическом рассказе «Фосфор». Там речи нет про отъезд на чью-либо дачу. Повествователь – в своей московской квартире: «Телефон стоял на моем столе и молчал. Обо мне в эту пору плохо писали в газетах, обвиняли меня во многих грехах.

Я считал, что обвиняют меня несправедливо, конечно, все обвиняемые считают, что их обвиняют несправедливо. Но возможно, что обвиненные и обвиняемые не всегда кругом виноваты. А обо мне писали только плохое, и на собраниях обо мне говорили только плохое.

А телефон на моем столе молчал».

Повествователя мучило одиночество. Рядом с ним преданного друга не было. Но художественное произведение, разумеется, не аргумент.

О Гроссмане тогда «говорили только плохое» и в печати, и на писательских собраниях. Причем кампания лишь набирала силу.

Не изменили ситуацию даже сообщения в периодике о болезни Сталина. Разве что несколько отвлеклись критики после 6 марта, когда газеты напечатали обращение ЦК партии к советским гражданам в связи со смертью генсека[351].

Однако 17 марта автор романа, объявленного «клеветническим», получил официальное письмо. Начальник Управления Воениздата, генерал-майор П. Ф. Копылов требовал: «Ввиду того, что Ваше произведение “За правое дело” признано идейно-порочным в своей основе и не может быть издано, прошу полученные Вами деньги вернуть в кассу Издательства не позднее 1 апреля с. г.»[352].

У генерала не оставалось выбора. После шквала погромных рецензий печатать роман было нельзя, но и списать аванс в убыток не разрешили бы вышестоящие инстанции. За убытки полагалось отвечать руководителю издательства, а сумма весьма солидная, превышающая годовой оклад генеральского жалованья.

Разумеется, издательство могло б расторгнуть договор, если бы автор не выполнил предусмотренные условия. Но ими предусматривалось лишь внесение правки – добавлений, сокращений. Править же было нечего: роман отвергнут категорически. Вот и пришлось генералу выдвигать незаконное требование. Надеялся, вероятно, что Гроссман в законах несведущ. Или – побоится судебного разбирательства.

Гроссман отказался вернуть авансовую сумму. Если впереди арест и осуждение, то обязательной будет конфискация имущества. Да и при депортации не сохранить его. С какой

стороны ни смотри, нет смысла уступать.

15 апреля Гроссман получил судебную повестку. В тот же день приехал и представитель издательства. Он, согласно дневнику, уговаривал «признать роман порочным, что даст возможность к его переработке».

Уловка была неуклюжей, беспомощной. Имелось в виду, что Гроссман сам признает публикацию невозможной, вернет аванс, тогда издательство заключит новый договор – на выпуск «переработанного» романа. Уговоры, понятно, оказались безрезультатными.

Судебное заседание состоялось 21 апреля. Выиграл Гроссман.

Бочаров в монографии описывает разбирательство, ссылаясь на воспоминания Гроссмана. По словам исследователя, воениздатовский представитель «утверждал одно: нельзя оставлять народные деньги у писателя, написавшего антинародное произведение. Но судья отклонил иск: согласно авторскому праву, издательство, расторгая договор на уже одобренную рукопись, не может требовать возврата аванса».

Допустимо, что итог тяжбы стал бы иным, если бы не изменилась политическая ситуация. 4 апреля 1953 года «Правда» напечатала сообщение Министерства внутренних дел СССР, полностью дезавуировавшее все другие публикации о «деле врачей-вредителей»[353].

Признавалось, что обвинения были заведомо ложными, доказательства фальсифицированными, в силу чего арестованные оправданы. Ну а следователи-фальсификаторы уже привлечены к ответственности. Причины, обусловившие аресты невиновных и грандиозную, откровенно антисемитскую кампанию, не анализировались.

Впрочем, сама кампания фактически сразу и прекратилась. Без каких-либо объяснений.

21 апреля в зале суда подоплека дела была ясна всем, и сочувствие вызывал оклеветанный писатель-фронтовик, а не редакторы в погонах. Гроссмановская дневниковая запись отражала эмоциональный настрой большинства присутствовавших: «Судья встал на мою сторону, поддержанный прокурором и рядом судебных работников, добровольных участников разбирательства».

Было чем гордиться. Суд принял решение, соответствовавшее закону.

Механизмы интриг

Последняя антисемитская кампания сталинской эпохи утратила актуальность. Однако это еще не означало, что литературная интрига сразу завершится.

Инерция действовала. Например, в майском номере журнала «Звезда» – сразу три негативных отзыва. Согласно подписям, авторами двух статей были офицеры, одна же прислана сержантом. Это должно было показать, что Советская армия отвергает роман «За правое дело». Вновь Гроссману инкриминировалось пропаганда «реакционной философии», а также искажение действительности[354].

Но и литературная интрига вскоре деактуализовалась. Так, издательство, проигравшее Гроссману процесс, выиграло гораздо больше – в перспективе. Судебное решение 21 апреля можно было трактовать как правовую оценку романа. И, коль скоро он судом не признан «клеветническим», то публикация допустима. Тогда и аванс – уже не убыток.

19 июня сотрудник Воениздата, позвонив Гроссману, предложил вернуться к вопросу о публикации. Вскоре пришло и официальное письмо.

Похоже, что в издательстве приняли решение, следуя подсказке Фадеева. А 26 сентября он и сам Гроссману позвонил. В дневнике воспроизведены ключевые фразы: «Острота критики была вызвана обстоятельствами. Роман надо издать».

Запрет на гроссмановские публикации уже сняли, разумеется, по фадеевской подсказке. И решающая встреча с воениздатовским представителем состоялась в квартире генсека ССП.

Фадеев и в дальнейшем контролировал издательский процесс. Уезжая из Москвы, оставлял Гроссману адрес, по которому следовало обращаться, если возникали затруднения.

Предусмотрительность была уместной. Очередную редакцию гроссмановского романа довели уже до верстки, но Копылов требовал новых согласований – в Главном политическом управлении Советской армии, Секретариате ССП, даже в ЦК партии.

Фадеев лавировал, и все же не отступал. 2 июля 1954 года сообщил Гроссману, что «роман сдается в печать, обсуждения на Секретариате [ССП] не будет, вопрос решен утвердительно и окончательно».

В тот же день воениздатовский представитель известил Гроссмана, что исполнение фадеевских распоряжений контролирует Сурков. Он «звонил главному редактору и сказал:

“Сделаете большое дело, если выпустите роман к съезду писателей”».

Речь шла о Втором Всесоюзном съезде советских писателей. Он должен был начаться в Москве 15 декабря 1954 года.

Новой публикацией романа дезавуировались бы все упреки в адрес Гроссмана. И руководства ССП тоже – «по умолчанию». Вот почему Фадеев торопился. Ему, Симонову и Суркову именно к съезду требовалось бесспорное доказательство победы. Заодно и окончательного поражения Бубеннова, не получившего Сталинскую премию в 1953 году.

Издательство старалось выполнить просьбу руководства ССП, насколько это было возможно. 2 августа Гроссмана известили, что «роман подписан к печати, прошел Главлит и сдан в типографию».

Заказ был там своевременно выполнен. 26 октября, согласно дневниковой записи, новое издание продавалось «в магазине “Военная книга” на Арбате».

Это и означало, что Бубеннов посрамлен. Однако не объясняло, почему началась и так долго продолжалась кампания в связи с романом «За правое дело». Гроссман в дневнике такой вопрос не рассматривал.

Объяснения предложили мемуаристы. Первым – Эренбург.

В цитировавшихся выше мемуарах он, правда, не упомянул Бубеннова как здравствовавшего тогда инициатора антигроссмановской кампании. Цензура не пропустила бы. Эренбург сообщил лишь о «статье одного писателя, напоминавшей не критику романа, а обвинительное заключение».

Рассказ был эмоционален и невнятен. Эренбургу, в редакции «говорили, что Сталину прочитали отрывки романа и что он возмутился».

В какой редакции «говорили» – «Нового мира» или «Правды» – не понять. Оба варианта допустимы. Равным образом неизвестно, до или после издания бубенновской статьи генсеку «прочитали отрывки романа».

Невнятность повествования была вполне продуманной. Эренбург конструировал «биографический миф» Гроссмана. Причем в годы, когда ЦК партии возглавлял Хрущев, требовавший окончательного «разоблачения культа личности Сталина».

Мемуарист, словно бы невзначай, объяснял, что антигроссмановская кампания была ошибкой, допущенной «в период культа личности». Ее исправили. Отсюда следовало, что и конфискацию романа в 1961 году можно признать решением ошибочным. Например, обусловленным интригами неких клеветников, а значит, подлежащим исправлению. К такой оценке

Эренбург и подводил читателей. Не всех, разумеется, а функционеров ЦК партии, контролировавших публикацию каждого тома воспоминаний.

Несколько иная версия у бывшей сотрудницы «Нового мира» А. С. Берзер. Ее воспоминания опубликованы в 1990 году – под одной обложкой с цитировавшимися выше мемуарами «Жизнь и судьба Василия Гроссмана»[355].

Прежде всего, Берзер анализировала мотивацию Твардовского и Фадеева как защитников романа. Таковы они в ее воспоминаниях. Гроссмановский дневник мемуаристка не читала.

Берзер утверждала, что Твардовский и Фадеев на исходе 1940-х годов достигли карьерного предела, были удовлетворены своим положением, значит, могли себе позволить интерес к литературе истинной. Вот и покровительствовали автору романа «За правое дело».

Кроме того, у Фадеева, согласно Берзер, имелась другая, не менее веская причина. Он презирал антисемитизм. Стало быть, публикация гроссмановского романа, его выдвижение на соискание Сталинской премии были акциями, направленными против антисемитов.

Однако все сказанное ничего, по сути, не объясняет. Не следует откуда-либо, что функционеры, даже и достигшие карьерного предела, довольные своим положением и уверенные в себе, могут рисковать всем достигнутым ради истинной литературы или ненависти к антисемитизму. Риск был очевиден – именно в разгар антисемитских кампаний.

На исходе 1980-х годов сходную версию предложил и Г. Ц. Свирский. Его книга была опубликована лондонским издательством[356].

Свирский утверждал, что функционеры, лоббировавшие гроссмановский роман, пытались таким образом спасти автора от последствий антисемитских кампаний. Потому и выдвинули его кандидатуру на соискание Сталинской премии. В случае удачи статус лауреата исключал бы арест.

Однако и версия Свирского ничего, по сути, не объясняет. Не следует откуда-либо, что функционеры готовы были рискнуть карьерой, обеспечивая Гроссману защиту. Причем скорее гипотетическую, нежели реальную: санкционировать арест классика советской литературы мог только Сталин, он же и лауреатский список визировал, а для генсека звание – не помеха. Вряд ли это не осознавали в руководстве ССП.

Мотивация Фадеева, Симонова, Суркова и Твардовского рассматривались выше. Иной вопрос – почему статья Бубеннова разрушила планы высокопоставленных литературных

функционеров и триумф обернулся скандалом.

Берзер в мемуарах предложила свою версию. Описав первый успех новомировской публикации, она постулировала: «Но не дремали сталинские опричники, которые выросли и сформировались в эти годы на разгромах и уничтожении. Один из самых оголтелых – Бубеннов, автор “Белой березы”, в эти дни обратился прямо к Сталину по поводу романа Гроссмана. Он послал ему свой огромный донос. И по указанию Сталина этот донос в форме статьи Бубенного “О романе В. Гроссмана “За правое дело” был напечатан в “Правде” 13 февраля 1953 г.».

Примечательно, что Берзер, характеризуя Бубенного как «сталинского опричника», да еще и «оголтелого», так и не сообщила, откуда узнала про «огромный донос». Зато прагматика версии очевидна: Сталин – против автора романа «За правое дело». И лично санкционирует преследование.

Версия Берзер объясняет появление бубенновской статьи. Но то, что она помещена в «Правде» благодаря личному сталинскому распоряжению, лишь сказано, а не доказано.

Главное же, что обвинения, сформулированные «Правдой», стали известны редакторам других периодических изданий еще до публикации статьи Бубеннова. Так, номер журнала «Коммунист» подписан к печати 11 февраля. А затем – в течение недели – опубликованы еще две журнальные статьи, где обвинения аналогичны. Совпадение неслучайное.

Техническими условиями случайность исключается. В журналах редакционно-типографский цикл подготовки гораздо дольше, чем газетный, да и планирование тщательнее.

Бубеннов не сумел бы организовать столь масштабную кампанию. Не его уровень согласования.

Кстати, сходной была ситуация в 1946 году. Не Альтман и Ермилов, решив атаковать Гроссмана, договаривались в редакциях, чтобы статьи вышли с интервалом в один день. Это агитпроповский уровень. А в 1953 году статей было побольше.

Описание механизма интриги несводимо к бубенновскому коварству и сталинской импульсивности. Суслов дождался удобного момента.

Еще в декабре 1953 года, когда печатались одна за другой положительные рецензии на роман «За правое дело», руководство ССП не знало, что принято решение начать новую антисемитскую кампанию. А 13 января она уже началась. Чем и воспользовался Суслов. Ровно месяц понадобился на подготовку наступления. Первым ударом была статья Бубеннова, далее – серия публикаций.

Гроссман оказался первым объектом атаки. Но отнюдь не

главным.

Это Бубеннов счеты с конкурентом сводил и добивался статуса автора «военной эпопеи». А Суслов решал задачи административные. Речь шла о замене руководства ССП, благо предлог наконец появился: ведомого «сиониста» поддерживали, да еще и роман его на соискание Сталинской премии выдвинули.

Почти все получилось. Фадеев, Симонов и Сурков были побеждены. Агитпроп утвердил свое единовластие в литературе.

Но положение Суслова изменилось вскоре после официального извещения о смерти Сталина. Агитпроповский руководитель, еще осенью 1952 года избранный в Президиум ЦК партии, был выведен оттуда.

4 апреля 1953 года, когда «Правда» объявила о фальсификации «дела врачей-вредителей», была негласно дезавуирована кампания «борьбы с безродными космополитами». Через две недели Суслов утратил и должность агитпроповского руководителя. Получил другую – гораздо ниже. И пришло время Фадееву сводить счеты.

Он пытался искупить вину перед Гроссманом. Личным, а не только служебным достижением Фадеева стал новый триумф романа «За правое дело».

О Бубеннове, разумеется, Фадеев, Симонов и Сурков не забывали. Их стараниями в истории советской литературы имя автора романа «Белая береза» устойчиво ассоциировалось с осужденной на II съезде ССП «теорией бесконфликтности».

Она, как известно, считалась обусловленной пресловутым «культом личности Сталина». Так что Бубеннов утратил статус классика советской литературы. Правда, на исходе 1950-х годов Суслов, вновь избранный в Президиум ЦК партии, сумел помочь своему давнему протеже. Роман «Белая береза» переиздавался, хотя популярным не стал. Впрочем, убытки такого рода издателям не мешали. Они компенсировались из государственного бюджета, что отмечалось выше.

Гроссману же статус классика был официально возвращен. Это подтверждалось и на уровне публикаций. В 1955 году Воениздатом опять выпущен роман «За правое дело», ну а Гослитиздатом вновь напечатан двухтомный «Степан Кольчугин»[357].

Новая эпоха началась. Трудно сказать, выиграл ли Гроссман в итоге.

Конец первой книги

notes

Сноски

1

См.: РГАЛИ. Ф. 1710. Оп. 2. Ед. хр. 17. Л. 1–4.

2

Правление Союзов писателей СССР и РСФСР. Гроссман В. С. // Литературная газета. 1964, 17 сент.; *Ред. журн. «Новый мир»*. Василий Семенович Гроссман. [1905–2964. Некролог] // Новый мир. 1964. № 9. С. 288.

3

< Секретариат правления Московского отделения Союза писателей РСФСР >. Литературное наследие В. С. Гроссмана // Литературная газета. 1965. 8 апр.

4

Здесь и далее цит.: *Мунблит Г. Н.* Гроссман Василий Семенович // Краткая литературная энциклопедия. Т. 2. М., 1964. Стб. 398–399.

5

См.: *Гроссман В.С.* Сталинградские штабы // Литературная газета. 1960. 2 апр.; *Он же.* Утром ивечером// Литература ижизнь. 1960. 10 июн.; *Он же.* В полку Березкина // Красная звезда. 1960. 15 июл., 20 июл.; *Он же.* В калмыцкой степи // Литература и жизнь. 1960. 26 авг.; То же // Вечерняя Москва. 1960. 14 сент.

См.: *Гроссман В.*С. Все течет… Frankfurt/М.: Посев, Сор. 1970.

7

Мунблит Г. Н. Гроссман Василий Семенович // Большая советская энциклопедия. Т. 7. М., 1972. Стб. 351–352.

8

См.: *Солженицын А. И.* Бодался теленок с дубом. Paris, 1975. С. 34, 114, 154, 327, 489.

Ямпольский Б. С. Последняя встреча с Василием Гроссманом (Вместо послесловия) // Континент. 1976. № 8. С. 133–255.

10

См.: *Эткинд Е. Г.* Двадцать лет спустя // Гроссман В. С. Жизнь и судьба. Lausanne, 1980. С. XI.

11

См., напр.: *Закс Б. Г.* Немного о Гроссмане // Континент. 1980. № 26. С. 352–364; *Эткинд Е. Г.* Двадцать лет спустя // Время и мы. 1979. № 45. С. 5–12; *Он же.* Советские табу // Синтаксис. 1981. № 9. С. 3–20; *Свирский Г. Ц.* Восемь минут свободы // Грани. 1985. № 136. С. 295–305; *Косинский И.* Трава пробивает асфальт // Континент. 1986. № 48. С. 372–383.

12

Grossman V. Vie et Destin. Lausanne, 1980; *Grossman W.* Leben und Schicksal. Munchen, 1984; Grossman V. Vita e destino. Milano, 1984; *Grossman V.* Vida y destino. Barcelona, 1985; *Grossman V.* Life and Fate. London, 1985; *Grossman V.* Life and Fate. New York, 1986.

13

См., напр.: *Feinstein E.* From working place and battlefield // Times literary supplement. 1985. 22 November; *Figes O.* Inside the mind of the silent majority // The Times. 1991, 22 August; *Lauer R.* Hitler als Vögelchen im Netz // Frankfurter Allgemeine Zeitung. 1985, 5 Januar; *Leech-Ansprach G.* Stalingrad in russischer Sicht // Die Welt am Sonntag. 1985, 6 October.

Войнович В. Н. Жизнь и судьба Василия Гроссмана и его романа // Посев. 1984. № 11. С. 53–55.

Липкин С. И. Сталинград Василия Гроссмана. Ann Arbor, 1986.

Липкин С. И. Жизнь и судьба Василия Гроссмана // Литературное обозрение. 1988. № 6. С. 96–108; № 7. С. 98–109.

17

См.: *Бочаров А. Г.* Правое дело Василия Гроссмана // Октябрь. 1988. № 1. С. 128.

18

См.: *Короткова-Гроссман Е. В.* Жизнь и судьба книг Василия Гроссмана // Гроссман В. С. Жизнь и судьба. М.: Книжная палата, 1988. С. 5–13.

19

Кабанов В. Т. Рукою автора. Найден авторский текст романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» // Литературная газета. 1988. 14 дек.

20

Здесь и далее цит. по: *Липкин С. И.* Жизнь и судьба Василия Гроссмана // Липкин С. Жизнь и судьба Василия Гроссмана; Берзер А. Прощание. М.: Книга, 1990. С. 3–120.

Гроссман В. С. Все течет… // Октябрь. 1989. № 6. С. 30–208.

22

Здесь и далее цит. по: От издательства // Гроссман В. С. Жизнь и судьба. М.: Изд-во «Книжная палата», 1989. С. 12–24.

23

См., напр.: *Закс Б. Г.* Немного о Гроссмане // Континент. 1980. № 26. С. 352–264; *Эткинд Е. Г.* Двадцать лет спустя // Время и мы. 1979. № 45. С. 5–32; *Он же.* Советские табу // Синтаксис. 1981. № 9. С. 3–20; *Свирский Г. Ц.* Восемь минут свободы // Грани. 1985. № 136. С. 295–305; *Косинский И.* Трава пробивает асфальт // Континент. 1986. № 48. С. 372–383.

24

См., напр.: *Бочаров А. Г.* Часть правды – это не правда // Октябрь. 1988. № 4. С. 143–348.

25

См., напр.: *Панков А.* Трагическое прозрение // Литературная Россия. 1988. 8 июл.; *Лобанов М. П.* Пути преображения // Молодая гвардия. 1989. № 6. С. 228–258.

26

См.: *Кабанов В. Т.* Рукою автора. Найден авторский текст романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» // Литературная газета. 1988. 14 дек.

27

См. подробнее: *Бит-Юнан Ю. Г., Фельдман Д. М.* Сталинские премии Василия Гроссмана: история с библиографией // Вопросы литературы. 2013. № 4. С. 186–224.

28

См.: *Роскина Н. А.* Четыре главы. Излитературных воспоминаний. Paris, 1980. С. 108.

29

Здесь и далее цит. по: *Берзер А. С.* Прощание // Липкин С. Жизнь и судьба Василия Гроссмана; Берзер А. С. Прощание. М.: Книга, 1990. С. 121–270.

30

См., напр.: *Охтин В. Г.* О взаимодействии жанров прозы (творчество Вас. Гроссмана) // Вопросы истории и теории литературы. 1966. Вып. 2. С. 96–110; *Добренко Е. А.* Художественная идея и романная структура (Роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба») // Художественный опыт советской литературы: стилевые и жанровые процессы. Свердловск, 1990. С. 95–106; *Фрадкина С. Я.* Толстовские традиции в романе В. Гроссмана «Жизнь и судьба» // Проблемы типологии русской литературы XX века. Пермь, 1991. С. 119–137.

31

См., напр.: *Дедков И. А.* Жизнь против судьбы // Новый мир. 1988. № 11. С. 229–241; *Лазарев Л.И.* Дух свободы // Знамя. 1988. № 9. С. 218–229; *Аннинский Л. А.* Мирозданье Василия Гроссмана // Дружба народов. 1988. № 10. С. 253–263; *Ланин Б. М.* Идеи «открытого общества» в творчестве В. Гроссмана. М., 1997.

Бочаров А. Г. Василий Гроссман. Критико-биографический очерк. М., 1970.

33

См., напр.: *Бочаров А. Г.* Болевые зоны // Октябрь. 1988. № 2. С. 104–105.

34

См., напр.: *Фельдман Д. М.* До и после ареста. Судьба рукописи Василия Гроссмана // Литературная Россия. 1988. 11 нояб.

Бочаров А. Г. Василий Гроссман: Жизнь, творчество, судьба. М., 1990.

См.: *Ellis F.* Vasiliy Grossman: The Genesis and Evolution of a Russian Heretic. Oxford, 1994.

37

Здесь и далее см.: *Елина Н. Г.* Василий Гроссман. Иерусалим, 1994.

См.: *Garrard J., Garrard C.* The bones of Berdichev: The life and fate of Vasily Grossman. N.Y., 1996.

39

См., напр.: *Фрезинский Б. Я.* Мозаика еврейских судеб. XX век. М., 2008; *Он же*. Писателии советские вожди: избранные сюжеты 1919–1960 годов. М., 2008.

См.: *Клинг Д. О.* Творчество Василия Гроссмана в контексте литературной критики. М., 2012.

Здесь и далее цит. по: *Бочаров А. Г.* Указ. соч. С. 4–6.

Эренбург И. Г. Люди, годы, жизнь: В 3 т. М., 1961–1966.

См. подробнее: Трудовая школа // Известия. 1918, 16 окт.

См.: *Кошмон Л. В., Сахаров А. М.* Московский университет в советское время. М., 1967. С. 14–30.

Garrard J., Garrard C. Op. cit. P. XIII–XXV.

Garrard J., Garrard C. Op. cit. P. 36.

Здесь и далее цит.: *Короткова-Гроссман Е. В.* Изпротивостояния с системой отец вышел победителем // Лехаим. 2008. № 5. С. 2–6.

См. также: *Anissimov M.* Vasili Grossman. Un ecrivain de combat. Paris: Editions du Seuil. P. 35.

Garrard J., Garrard C. Op. Cit. P. 56.

50

См.: *Пастернак Б.Л.* Доктор Живаго. М.: Советский писатель, 1989. С. 29.

51

См.: РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 39. Ед. хр. 1658.

Здесь и далее цит. по: Там же. Л. 9-об.-10-об.

Здесь и далее цит. по: Там же. Л. 7–8-об.

54

См.: Постановление Народного комиссариата просвещения «Об организации рабочих факультетов при университетах» // Известия Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов. 1919. 11 сент.

55

См.: Постановление Совета Народных Комиссаров о рабочих факультетах // Известия. 1920. 22 сент.

Здесь и далее цит. по: РГАЛИ. Ф. 1710. Ед. хр. 64. Л. 1.

57

Здсь и далее цит. по: *Губер Ф. Б.* Память и письма. Книга о Василии Гроссмане. М., 2007.

См.: РГАЛИ. Ф. 1710. Оп. 3. Ед. хр. 63–73.

59

См.: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 107. Учетно-партийная документы [Алмаз Н.М.] См. также: Там же. Ф. 589. Оп. 3. Д. 1370. Л. 69–72.

Ср.: *Чехов А. П.* Архиерей // Чехов А. П. ПСС. Т. 10. М.: Наука, 1977. С. 190.

61

См., напр.: *Горький М.* Испытатели // Горький М. ПСС. Т. 15. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1951. С. 250.

См., напр.: Там же. Т. 12. С. 103.

63

См.: РГАЛИ. Ф. 1710. Оп. 3. Ед. хр. 63. Л. 1–2.

Здесь и далее цит.: *Троцкий Л.* Нашей газете // Наша газета. 1926. 1 янв.

Здесь и далее цит.: *Гросман В.* Узбечка на кооперативной работе // Там же. 1928. 7 июл.

Здесь и далее цит.: *Гроссман В.* Ислахат // Правда. 1928. 13 июл.

Подробнее см.: *Борисёнок Е. Ю.* Феномен советской украинизации. М.: Европа, 2006. С. 187–192.

См.: Шахтинский процесс 1928 г.: подготовка, проведение, итоги: В 2 кн. Кн. 1. М.: РОССПЭН, 2011. С. 10–70.

Подробнее см.: *Есиневич А. А.* Мнимые вредители. Шахтинское дело. Дело Промпартии. СПб.: ИПЦ СПГУТД, 2004. С. 42.

Здесь и далее цит. по: *Борбачева Л. В.* Страницы истории ДНТУ конца 20-х – 1930-х годов. Донецк: Издательство Донецкого национального технического университета, 2004. С. 10–21.

Garrard J., Garrard C. Op. cit. P. 93.

Подробнее о специфике использования термина «белые» советскими пропагандистами см.: *Фельдман Д.* Красные белые: Советские политические термины в историко-культурном контексте // Вопросы литературы. 2006. № 4. С. 5–25.

См.*: Зощенко М.* Мелочи жизни. Л.: Красная газета, 1927.

См.: *Лозовский С.* Стачечная борьба и наша тактика. М.: Профинтерн, 1929.

75

См.: *Есенин С. А.* Черный человек // Есенин С. А. Собр. соч. Т. 3. М.: Наука – Голос, 1998. С. 191.

См.: *Толстой Л. Н.* Смерть Ивана Ильича // Толстой Л. Н. ПСС. Т. 26. М.: Терра, 1992. С. 61–113.

77

См.: *Лермонтов М.Ю.* Хаджи-Абрек // Лермонтов М. Ю. Собр. соч. Т. 2. Л.: Советский писатель, 1989. С. 306.

См.: *Некрасов Н.А.* Современная повесть // Некрасов Н. А. ПСС. Т. 3. Л.: Наука, 1982. С. 29–39.

79

См.: *Тагор Р.* Садовник / Пер. с англ Е. И. Саишниковой. М.: Универсальная Библиотека, 1917. С. 9.

Здесь и далее цит. по: *Бочаров А. Г.* Указ. соч. С. 7–8.

81

Подробнее см.: *Андрюшин Е.А.* Изистории трудового законодательства СССР и политики советского государства в области трудовых ресурсов. М.: Новый хронограф, 2012. С. 195–197.

См., напр.: *Гамсун К.* У врат царства. М., 1914.

Подробнее см.: *Лекманов О.А.* Поэты и газеты. М.: РГГУ, 2013. С. 153–162.

84

См.: *Некрасов Н.А.* Рыцарь на час // Некрасов Н. А. Полное собрание сочинений и писем в 15 т. Т. 2. Л.: Наука, 1981. С. 134–139.

85

Здесь и далее цит. по: *Гроссман В.* Бердичев не в шутку, а всерьез// Огонек. 1929. № 51–52. С. 12–13.

См.: *Ильф И. А., Петров Е. П.* Золотой теленок. М.: Вагриус, 2000. С. 303.

87

Ср., напр.: *Маяковский В.* Еврей (товарищам из ОЗЕТа) // Известия. 1926. 16 нояб.

Такер Р. Сталин-революционер. Путь к власти. 1879–1929. М.: Центрполиграф. С. 433–475.

89

Тарасов-Родионов А. Шоколад. Фантастическая повесть // Молодая гвардия. 1922. № 6–7. С. 3–89.

Подробнее см.: *Фельдман Д., Щербина А.* Грани скандала: Повесть А. И. Тарасова-Родионова «Шоколад» в политическом контексте 1920-х годов // Вопросы литературы. 2007. № 5. С. 171–208.

91

См., напр.: *Одесский М. П., Фельдман Д. М.* Легенда о великом комбинаторе (в трех частях, с прологом и эпилогом) // Ильф И. А., Петров Е. П. Золотой теленок. М.: Вагриус, 2000. С. 19–25.

Подробнее см.: *Киянская О. И., Фельдман Д. М.* Грани скандала: «Повесть непогашенной луны» Бориса Пильняка в литературно-политическом контексте 1920-х годов // Киянская О. И., Фельдман Д. М. Очерки истории русской советской литературы и журналистики. Портреты и скандалы. М.: ФОРУМ, 2015.С. 105–132.

См., напр: *Агурский М.* Идеология национал-большевизма. Paris: Ymca-Press, 1980. С. 222–245.

94

См.: *Малашкин С.* Луна с правой стороны, или Необыкновенная любовь // Молодая гвардия. 1926. № 9. С. 3–87.

См., напр.: *Фельдман Д. М.* Терминология власти: Советские политические термины в историко-культурном контексте. М.: РГГУ, 2006. С. 326–332; *Он же*. История «бакланки»: поэты, функционеры и советский уголовный кодекс // Новое литературное обозрение. 2011. № 108. С. 116–133.

Подробнее см.: *Кочеткова Н.* Еврейский вопрос и дискуссия о «порнографической литературе» в СССР // Параллели: русско-еврейский историко-литературный и библиографический альманах. М., 2002. № 1. С. 129–138.

Здесь и далее цит. по: *Полонский В.* Критические заметки (О рассказах С. Малашкина) // Новый мир. 1927. № 2. С. 171–186.

См.: *Бельский Я.* Юдофил // Червоний перець. 1929. № 2. С. 9. Подробнее см.: *Киянская О. И., Фельдман Д. М.* Очерки истории русской советской литературы и журналистики 1920-х – 1930-х годов. М., 2015. С. 234–240.

Подробнее см.: *Костырченко Г.В.* Сталин против «космополитов». Власть и еврейская интеллигенция в СССР. М.: РОССПЭН, 2010. С. 116–137.

100

Подробнее см.: *Костырченко Г.В.* Сталин против «космополитов». Власть и еврейская интеллигенция в СССР. М.: РОССПЭН, 2010. С. 116–137.

101

Арест группы врачей-вредителей // Правда. 1953. 13 янв.

102

Здесь и далее цит.: Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей // Там же.

103

См., напр.: *Александров Г.* Пользуясь ротозейством // Литературная газета. 1953. 3 февр.; *Ионов А.* Лжецы и ротозеи // Там же. 5 февр.; *Рубичев А.* Строго наказывать ротозеев! // Там же. 17 февр.

Здесь и далее цит. по*: Бубеннов М.* О романе В. Гроссмана «За правое дело» // Правда. 1953, 13 февр.

105

См.: Сообщение Министерства Внутренних Дел СССР // Правда. 1953. 4 апр.

См.: *Garrard J., Garrard C.* Op. cit. P. XIII–XXV. 411–422.

107

Здесь и далее цит. по: *Маркиш Ш.* Пример Василия Гроссмана // Народ и земля. 1984. № 2. С. 175–189.

См., напр.: *Липкин С.* Воля. Ann Arbor, 1981.

См.: *Короткова-Гроссман Е. В.* Указ. соч.

См., напр.: *Эренбург И. Г.* Рвач // Эренбург И. Г. Собр. соч.: В 9 т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1964. С. 9–352.

111

См., напр.: *Эренбург И. Г.* Рвач // Эренбург И. Г. Собр. соч.: В 9 т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1964. С. 131.

См.: *Garrard J., Garrard C.* Op. cit. P. 53.

113

См.: РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 39. Ед. хр. 1658. Л. 45.

См., напр.: *Казинцев А.* История – объединяющая или разобщающая // Наш современник. 1988. № 11. С. 163–284; *Он же.* Новая мифология // Наш современник. 1989. № 5. С. 144–168.

Бочаров А. Г. Указ. соч. С. 170.

116

См.: *Сарнов Б. М.* Русский писатель Василий Гроссман // Литература. 1995. № 18. С. 5–12.

117

Здесь и далее цит. по: *Сарнов Б.М.* Русский писатель Василий Гроссман // Сарнов Б. М. Опрокинутая купель. М.: Планета детей, 1997. С. 368–432.

См.: Указ. изд. С. 1.

119

Гроссман В. Глюкауф // Литературный Донбасс. 1934. № 1–2.

Гроссман В. С. Отдых: рассказ // Там же. 1934. № 3. С. 34–38.

121

Здесь и далее цит. по: *Гроссман В. С.* Фосфор // Гроссман В. С. Несколько печальных дней. М.: Современник, 1989. С. 374–390.

122

Подробнее см., напр: История индустриализации СССР 1926–1928. М., 1969.

123

Подробнее см., напр.: *Геллер М. Я., Некрич А. М.* Утопия у власти. История Советского Союза с 1917 года до наших дней: В 3 кн. Кн. 1. М.: МИК, 1995. С. 246–258.

124

См., напр.: РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 39. Ед. хр. 1658. Л. 8–8-об.

125

См., напр.: РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 39. Ед. хр. 1658. Л. 8-об.

См., напр.: РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 39. Ед. хр. 1658. Л. 11-об.

127

См., напр.: РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 39. Ед. хр. 1658. Л. 64.

См. подробнее: *Есиневич А. А.* Мнимые вредители. Шахтинское дело. Дело Промпартии. СПб.: ИПЦ СПГУТД, 2004. С. 31–42.

129

См. подробнее: *Уйманов В. Н.* Процесс «Союзного бюро меньшевиков» и судьба меньшевика М. А. Валерианова-Броунштейна // Вестник Томского государственного университета. 2012. № 355. С. 76–82.

130

Бабель И. Э. Король // Бабель И. Э. Собр. соч. Т. 1. М.: Художественная литература, 1991. С. 124.

131

Указано врачом-реаниматологом А. М. Коханом.

Чехов А. П. Остров Сахалин // Чехов А. П. ПСС. Т. 14–15. М.: Наука, 1978. С. 39–372.

133

См., напр.: *Джаугин Г. Луис, Морган Эдмунд М.* Наследие Сакко и Ванцетти. М.: Госюриздат, 1959.

См., напр.: *Кулышев Ю. А.* Сакко и Ванцетти. М.: Госполитиздат, 1963.

135

См.: РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 39. Ед. хр. 1658. Л. 64.

136

См.: РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 39. Ед. хр. 1658. Л. 55-об.

137

Здесь и далее цит. по: Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописки паспортов // Известия. 1932. 28 дек.

138

Постановление НКВД РСФР «О рабочей милиции» // Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1917. 1 дек. (№ 1).

139

См.: РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 3. Д. 1370. Л. 69.

140

См.: РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 3. Д. 1370. Л. 72.

141

См.: РГАЛИ. Ф. 1784. Оп. 3. Ед. хр. 73. Л. 1–2.

142

См.: РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 3. Ед. хр. 1370. Л. 69.

143

Герцен А. И. О развитии революционных идей в России // Герцен А. И. Собр. соч. Т. 3. С. 676.

См.: *Григорьев А.* Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина. М., 1915. С. 10.

145

Здесь и далее цит. по: *Айхенвальд Ю. И.* Силуэты русских писателей. М., 1994. С. 22.

146

См.: *Чуковский К. И.* Обзоры литературной жизни. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. М., 1969. С. 413.

147

См.: *Мандельштам О. Э.* Четвертая проза // Мандельштам О. Э. Собр. соч. Т. 2. М., 1990. С. 92.

148

См.: *Пушкин А. С.* Письмо Баранту А. Г. // Пушкин А. С. Письма последних лет, 1834–1837. Л., 1969. С. 168–170.

149

См.: *Айхенвальд Ю. И.* Спор о Белинском. Ответ критикам. М., 1914.

150

См.: *Толстой Л. Н.* Прогресс и определение образования (Ответ г-ну Маркову. Русский Вестник 1862 г., № 5) // Толстой Л. Н. ПСС: В 91 т. Т. 8. М.: Терра, 1992. С. 339–340.

151

Здесь и далее цит. по: *Мандельштам Н. Я.* Вторая книга: Воспоминания. М., 1990. С. 334–335.

152

См.: Декрет Совета Народных Комиссаров «О печати» // Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917–1918 гг. М., 1942. С. 7.

153

См., напр.: *Окороков А. З.* Октябрь и крах русской буржуазной прессы. М., 1970. С. 248–259.

154

См.: *Эфрос А.* О книгах // Москва. 1919. № 1–2; См. также: *Иванчиков В.* Под стеклянным колпаком // Советская страна. 1919. 10 февр.

155

Подробнее см., напр.: *Фельдман Д. М.* Салон-предприятие: «Никитинские субботники» как писательское объединение и кооперативное издательство в политическом контексте 1920–2930-х годов. М., 1998. С. 60–62.

Подробнее см.: *Фельдман Д.М.* Указ. соч. С. 62–65.

157

См. *Динерштейн Е.А.* А. К. Воронский в поисках живой воды. М., 2001. С. 70.

158

Воронский А. Литературные отклики // Красная новь. 1922. № 2. С. 258.

159

См.: История советской политической цензуры. Документы и комментарии. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1997. С. 97–99.

Подробнее см., напр.*: Фельдман Д. М.* Указ. соч. С. 69–70; *Он же*. Терминология власти: Советские политические термины в историко-культурном контексте. М., 2006. С. 197–200.

161

См.: Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета «Об административной высылке» // СУиР. 1922. № 51. Ст. 646.

162

Подробнее см.: *Фельдман Д. М.* Салон-предприятие: «Никитинские субботники» как писательское объединение и кооперативное издательство в политическом контексте 1920-х – 1930-х годов. М., 1998. С. 78.

163

См., напр.: *Жирков Г.В.* История цензуры в России XIX–XX вв. М.: Аспект Пресс, 2001. С. 249–250.

См., напр.: *Паустовский К.Г.* Время больших ожиданий // Октябрь. 1959. № 3–5.

165

Здесь и далее цит. по: *Троцкий Л.Д.* Литература и революция. М., 1991. С. 30–38.

См., напр.: *Одесский М. П., Фельдман Д. М.* Вступ. ст. и коммент. к публ.: А. А. Богданов. Пять недель в ГПУ:8/IX–13/X1923 г.//Devisu.1993.№ 7. С. 28–34.

167

См.: Первая московская общегородская конференция пролетарских культурно-просветительных организаций. М., 1918.

168

См.: Резолюция III-й Общегородской петроградской конференции пролетарских культурно-просветительных организаций // Грядущее. № 4. С. 12–13.

169

См.: Историческое событие // Грядущее. 1918. № 6. С. 10.

170

Цит. по: *Ленин В. И.* Задачи союзов молодежи (речь на III Всероссийском съезде Российского коммунистического союза молодежи 2 октября 1920 г.) // Ленин В. И. ПСС. Т. 41. М.: Политиздат, 1981. С. 304–305.

171

Подробнее см., напр.: *Донсков С. И., Ягодинский В.Н.* Наследие и последователи А. А. Богданова в службе крови. М., 2008. С. 5–87.

Здесь и далее цит. по*: Троцкий Л.Д.* Указ. соч. С. 146–161.

Он же. Указ. соч. С. 26–27.

Он же. Указ. соч. С. 170.

Он же. Указ. соч. С. 55–96.

См.: *Вардин И.* Воронщину необходимо ликвидировать // На посту. 1924. № 1. С. 9–36. Подробнее см.: *Корниенко Н. В.* «Нэповская оттепель»: Становление института советской литературной критики. М., 2010. С. 14–41.

177

См., напр.: Там же. С. 150–163. См. также: *Парсамов Ю., Фельдман Д.* Грани скандала: Цикл новелл И. Э. Бабеля «Конармия» в литературно-политическом контексте 1920-х гг. // Вопросы литературы. 2011. № 6. С. 37–48.

178

См.: *Голкор.* Критическая оглобля // Леф. 1923. № 3. С. 13–17.

179

См.: Резолюция I-й Всероссийской конференции пролетарских писателей // Правда. 1925. 1 февр.

180

См.: О политике партии в области художественной литературы // Правда. 1925. 1 июл.

См.: *Динерштейн Е. А.* Указ. соч. С. 293–294.

182

См.: Постановление ЦК ВКП (б) «О перестройке литературно-художественных организаций» // Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) – ВКП (б), ВЧК – ОГПУ – НКВД о культурной политике. 1917–1953. М., 2002. С. 172–173.

183

См.: Изпротокола № 107 заседания Оргбюро ЦК ВКП (б) // Между молотом и наковальней. Союзсоветских писателей СССР. Документы и комментарии. Т. 1. 1925 – июнь 1941. М., 2011. С. 139.

См., напр: *Семистяга В. Ф.* Кам'яна книга Баглюка повертається до читача // Реабілітовані історією. Луганська область. 2004. Т. 1. С. 208.

Здесь и далее цит. по: *Бочаров А.Г.* Указ. соч. С. 17–18.

См., напр.: *Брик О. М.* Т. н. формальный метод // Леф. 1923. № 1. С. 214.

187

Копия документа предоставлена нашим итальянским коллегой – доктором П. Тоско.

Здесь и далее цит. по: *Горький А. М.* Письмо Гроссману В. С. // Горький А. М. Собр. соч.: В 30 т. Т. 30. М., 1951. С. 261–263.

189

См.: РГАЛИ. Ф. 1710. Оп. 1. Ед. хр. 121.

См.: *Боннэр Е.Г.* Дочки-матери. М., 1994. С. 231.

191

См.: *Лермонтов М. Ю.* Молитва // Лермонтов М. Ю. Собр. соч. Т. 2. Л., 1989. С. 35.

192

Копия документа предоставлена нашим итальянским коллегой – доктором П. Тоско.

193

См., напр.: *Федин К. А.* Горький среди нас // Федин К. А. Собр. соч.: В 12 т. Т. 10. М.: Художественная литература, 1986. С. 7–286.

194

РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 39. Ед. хр. 1658. Л. 64–65.

195

РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 39. Ед. хр. 1658. Л. 10.

Здесь и далее цит. по: *Бочаров А. Г.* Указ. соч. С. 11.

197

См.: *Пушкин А. С.* Евгений Онегин // Пушкин А. С. ПСС: В 10 т. М.; Л., 1949. Т. 6. С. 190.

198

См.: РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 39. Ед. хр. 1658. Л. 54.

199

См.: *Мунблит Г.* «Мера и грация» // Литературная газета. 1934. 16 нояб.

См.: *Островский А. Н.* Таланты и поклонники // Островский А. Н. ПСС. Т. 5. М.: Искусство, 1975. С. 236.

201

См., напр.: *Селивановский А. П.* Первый роман В. Гроссмана // Литературный критик. 1934. № 12. С. 159–160; *Лежнев А.З.* Чувство товарищества // Красная новь. 1935. № 2. С. 219–230; *Арвич С.* Книга о большой любви // Художественная литература. 1935. № 2. С. 5–8.

Здесь и далее цит. по: *Лежнев А.* Чувство товарищества // Красная новь. 1935. № 2. С. 219–230.

203

Здесь и далее цит. по: *Гоффеншефер В.* О счастьи // Литературный критик. 1935. № 10. С. 83–97.

Здесь и далее цит. по: *Гехт С.* «Рассказы» В. Гроссмана // Литературное обозрение. 1937. № 17. С. 6–7.

Здесь и далее цит. по: *Гринберг И.* Мечта и счастье // Звезда. 1937. № 5. С. 174–184.

См., напр.: *Бабель И. Э.* Письмо // Бабель И. Э. Собр. соч. Т. 2. М., 1992. С. 10–14; *Веселый А.* Дикое сердце // Веселый А. Избранная проза. Л., 1983. С. 296–316; *Лавренев Б. А.* Сорок первый // Лавренев Б. А. Повести и рассказы. М., 1979. С. 94–161; *Тренев К. А.* Любовь Яровая // Тренев К. А. Пьесы. Статьи. Речи. М., 1980. С. 86–191.

См.: *Достоевский Ф. М.* ПСС. Т. 14. Л., 1976. С. 221–223.

Бочаров А.Г. Указ. соч. С. 28.

209

См: *Гроссман В. С.* В городе Бердичеве // РГАЛИ. Ф. 1710. Оп. 3. Ед. хр. 13. Л. 17.

210

Указано Г. А. Элиасберг. См. также*: Стучков Н.* Дер ойцер фун дер идишер шпрах. Нью-Йорк, 1950. С. 237.

211

См.: *Горький М.* Сказки об Италии // Горький М. ПСС. Т. 10.: М., 1951. С. 52–58.

212

См., напр.: *Гроссман В. С.* В городе Бердичеве. Киносценарий // РГАЛИ. Ф. 1710. Оп. 1. Ед. хр. 95. Л. 1–40.

Подробнее см.: *Байтальский М.* Тетради для внуков. М., 2013.

Здесь и далее цит. по: Генрих Ягода. Нарком внутренних дел СССР. Генеральный комиссар госбезопасности. Казань, 1997. С. 458–465.

215

Здесь и далее цит. по: *Гроссман В.С.* Четыре дня // Четыре дня: рассказы. М., 1936. С. 27–93.

216

См.: *Бровман Г.* Пафос социалистического гуманизма // Знамя. 1937. № 12. С. 242–252.

217

См.: *Гринберг И.* Мечта и счастье // Звезда. 1937. № 5. С. 176–182.

218

См.: *Левин Л. И.* Уважение к жизни // Знамя. 1936. № 12. С. 256–257.

219

Гехт С. Г. «Рассказы» В. Гроссмана // Литературное обозрение. 1937. № 17. С. 8; *Друзин В.* Василий Гроссман. Четыре дня. Гослитиздат, 1936 г. // Литературный современник. 1937. № 2. С. 243–244; *Котляр А.* Четыре дня в страшном доме // Литературная газета. 1936. 6 мая.

Гаршин В. М. Четыре дня // Гаршин В. М. Избранное. М., 1982. С. 16–27.

Здесь и далее цит. по: *Гуриштейн А. Ш.* В поисках простоты // Правда. 1936. 12 нояб.

Подробнее см.: *Киянская О. И., Фельдман Д.М.* Карьера акмеиста: материалы к биографии Владимира Нарбута // Киянская О. И., Фельдман Д. М. Очерки истории русской советской литературы и журналистики 1920-х – 1930-х годов. Портреты и скандалы. М.: Форум, 2015. С. 57–104.

223

См.: *Ставский В. П.* Письмо А. Ш. Гурштейну // «Счастье литературы». Государство и писатели. 1925–1938 гг.: документы. М., 1997. С. 276–277.

224

См.: РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 39. Ед. хр. 1658. Л. 53.

225

См. подробнее: *Бар-Селла З.* Литературный котлован: Проект «Писатель Шолохов». М.: РГГУ, 2005. С. 73–75.

Цит. по:: *Третьяков С.* Новый Лев Толстой // Литература факта. М., 1929. С. 29–33.

227

Цит. по: *Маяковский В. В.* Хорошо!: Октябрьская поэма // Маяковский В. В. ПСС: В 13 т. Т. 8. М., 1958. С. 235.

228

Цит. по: *Зощенко М.* О себе, о критиках и о своей работе // Михаил Зощенко. Статьи и материалы. Л., 1928. С. 8–9.

229

См.: *Ильф И. А., Петров Е. П.* Золотой теленок. М.: Вагриус, 2000. С. 65–66.

230

Оперативный приказ НКВД СССР № 00486 «Об операции по репрессированию жен и детей изменников родины» // ГУЛАГ (Главное управление лагерей) 1918–1960. М., 2002. С. 106–111.

Здесь и далее цит. по: ЦА ФСБ РФ. Д. Р 12998.

См.: *Петров Н. В., Скоркин К. В.* Кто руководил НКВД, 1934–1941: Справочник. М., 1999. С. 20–38.

См.: *Garrard J., Garrard C.* Op. cit. P. 247–348.

Гроссман В. С. Мама // Несколько печальных дней: повести и рассказы. М., 1989. С. 403–414.

235

См.: Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР о присуждении Сталинских премий за выдающиеся работы в области искусства и литературы // Правда. 1941. 16 мар.

См.: *Гроссман В. С.* Степан Кольчугин. М.; Л.: Детиздат, 1941.

237

Гроссман В. С. Степан Кольчугин: роман: В 2 кн. М.: Советский писатель, 1947.

Гроссман В. С. Степан Кольчугин. М.: Советский писатель, 1951.

239

Таратута Е. А. Честная жизнь и тяжкая судьба: Воспоминания о В. Гроссмане // Огонек. 1987. № 40. С. 22–23.

Тарапута Е.А. Драгоценные автографы: книга воспоминаний. М.: Советский писатель, 1986.

Таратута Е. А. Книга воспоминаний. Ч. 2. М.: Янус-К, 2001.

Здесь и далее цит. по: *Бочаров А.Г.* Указ. соч. С. 84.

243

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР об учреждении премии и стипендии имени Сталина // Правда. 1939. 21 дек.

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР об учреждении премии имени Сталина по литературе // Там же. 1940. 2 февр.

245

См.: *Левин Ф.* «Степан Кольчугин». О повести Василия Гроссмана // Литературная газета. 1937. 5 сент.

246

См.: *Короткевич Г.* «Степан Кольчугин». О новой книге В. Гроссмана // Комсомольская правда. 1938. 22 мар.

247

См.: *Яффе Г.* «Степан Кольчугин» // Детская литература. 1938. № 10. С. 10–14.

248

См.: *Войтинская О.* «Степан Кольчугин» // Литературная газета. 1939. 30 мар.

249

См.: *Перцов В.* Поиски нового // Литературная газета. 1939. 10 авг.

250

См.: *Четунова Н. И.* «Степан Кольчугин» // Красная новь. 1939. № 8–2. С. 32–21.

251

Гроссман В. Степан Кольчугин // «Год XXII». Альманах шестнадцатый. М.: Художественная литература, 1939. С. 163–329.

252

См.: *Серебрянский М.* Роман о большевике // Известия. 1939. 2 дек.

253

См., например: *Ильюхов А. А.* Как платили большевики: Политика советской власти в сфере оплаты труда в 1917–1941 гг. М.: РОССПЭН, 2010. С. 367–370.

254

См.: *Галантер Б.* «Степан Кольчугин» // Правда. 1940. 29 февр.

255

См.: *Лаврова К.* Роман о народном герое // Ленинград. 1940. № 13–24. С. 30–32.

Здесь и далее цит. по: *Гехт С.* Содержательная книга // Литературная газета. 1940. 21 июл.

257

Колесникова Г. «Год XXII». Альманах шестнадцатый // Красная новь. 1940. № 9–20. С. 315–317.

См.: *Ю. Н.* Третья книга о Кольчугине // Смена. 1940. № 10. С. 2.

259

См.: *Роскин А.* «Год XXII» // Литературное обозрение. 1940. № 12. С. 20.

См.: *Гроссман В. С.* Солдаты революции // Знамя. 1940. № 11–12.

261

См.: *Рыкачев Я.* «Знамя», № 11–12. 1940 // Литературная газета. 1941. 5 янв.

262

См.: *Серебрянский М. И.* «Солдаты революции» («Знамя», 1940, № 11–12) // Правда. 1941. 20 янв.

263

См.: *Мунблит Г.* Герои Василия Гроссмана // Литературный современник. 1941. № 2. С. 124–128.

См.: *Лаврова К.* «Степан Кольчугин» В. Гроссмана // Детская литература. 1941. № 3. С. 27–29.

265

Здесь и далее цит. по: *Оборин А.* «Степан Кольчугин» // Учительская газета. 1941. 9 мар.

Здесь и далее цит. по: *Субоцкий Л.* Панорама эпохи // Литературная газета. 1941. 9 мар.

267

См.: *Субоцкий Л.* «Солдаты революции» // Огонек. 1941. № 10. С. 17.

Подробнее см:. *Агейкина И. Н.* Идеологема «нация» в советской публицистике 1917–1953 гг.: Дисс…. канд. филол. наук. М., 2010.

269

Здесь и далее цит. по: Троцкистские шпионы, диверсанты, изменники родины // Правда. 1937. 21 янв.

Вышинский А. Я. Речь государственного обвинителя, прокурора СССР тов. А.Я Вышинского // Известия. 1938. 12 мар.

271

Здесь и далее цит. по: Банда убийц, шпионов, изменников и диверсантов уничтожена // Литературный современник. 1938. № 4. С. 3–10.

Здесь и далее цит. по: Создадим художественную историческую литературу // Литературная газета. 1937. 10 сент.

Григорьев З. Патриотический фильм // Искусство кино. 1938. № 11. С. 30–32; *Астахов И.* Суворов // Искусство кино. 1941. № 2. 34–39; *Шкловский В.* Суворов // Литературная газета. 1940. 22 февр.; *Зельдович Г.* Патриотический фильм // Искусство кино. 1939. № 11. С. 46–48; *Он же.* Петр Первый // Искусство кино. 1937. № 8. С. 27–21; *Ровинский Л.* Петр Первый // Правда. 1937. 26 июл.; *Цимбал С.* Образы и актеры в фильме «Петр Первый» // Искусство кино. 1937. № 9. С. 21–24; *Петров В.* О фильме «Петр I» // Звезда. 1937. № 9. С. 151–157; *Юренев Р.* Автор фильма «Петр Первый» // Искусство кино. № 5. С. 38–40; *Гринберг И.* Историческая живопись и историческая драма // Искусство и жизнь. 1939. № 11–12. С. 36–38. См. также: *Добренко Е.* Музей кино. Сталинский исторический нарратив. М., 2008.

См.: РГАЛИ. Ф. 2073. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 3–16.

См.: *Бочаров А. Г.* Указ. соч. С. 104.

См.: *Гроссман В. С.* Готовность к подвигу // Известия. 1941. 2 июл.; *Он же.* Коричневые клопы // Там же. 12 июл.

См.: *Бочаров А. Г.* Указ. соч. С. 104.

См., напр.: *Гроссман В.* Направление главного удара. Красноярск: Воениздат, 1942; *Он же.* Указ. соч. Куйбышев: Воениздат, 1942; *Он же.* Указ. соч. Л.: Воениздат, 1942; *Он же.* Указ. соч. Новосибирск: Новосибгиз, 1942; *Он же.* Указ. соч. Омск: Омгиз, 1942; *Он же.* Указ. соч. М.: Правда, 1944.

Здесь и далее цит. по: *Ковальчик Е. И.* «Народ бессмертен» // Литература и искусство. 1942. 15 авг.

Здесь и далее цит. по: *Олишев В. Г.* Военный комиссар // Партийное строительство. 1942. № 16. С. 43–46.

281

Мясников А. Комиссар Богарев // Спутник агитатора. 1942. № 17. С. 41–42.

Здесь и далее цит. по: *Эренбург И. Г.* Люди, годы, жизнь. Т. 3. М., 1966. С. 211–212.

283

Здесь и далее цит. по: *Роскина Н. А.* Четыре главы. Излитературных воспоминаний. Париж, 1980. С. 107–109.

284

См.: В комитетах по Сталинским премиям // Правда. 1942. 19 нояб.

285

См.: Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР «О присуждении Сталинских премий за выдающиеся работы в области искусства и литературы за 1942 год» // Правда. 1943. 20 мар.

286

См.: *Гроссман В.* Народ бессмертен: Повесть. М.: Правда, 1942; *Он же*. Указ. соч. М.: Гослитиздат, 1943; *Он же*. Указ. соч. Л.: Госиздат, 1943; *Он же*. Указ. соч. Хабаровск: Дальгиз, 1943; *Он же*. Указ. соч. Магадан: Сов. Колыма, 1943.

287

См.: *Гроссман В.* Народ бессмертен: Повесть. М.: Правда, 1945; *Он же*. Указ. соч. Л.: Лениздат, 1945; *Он же*. Указ. соч. Сочи: Сов. Кубань, 1945; *Он же*. Указ. соч. Ростов-на-Дону: Рост. обл. кн-во, 1945.

См.: *Гроссман В.* Народ бессмертен: Повесть. Ставрополь: Краев. кн. изд-во, 1946.

289

См.: РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 39. Ед. хр. 1658. Л. 70–104.

290

См.: Комитет по Сталинским премиям при Совете Министров СССР в области литературы и искусства (Москва; 1939–1956) // РГАЛИ. Ф. 2073. Оп. 1. Ед. хр. 7–2.

291

См.: РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 39. Ед. хр. 1658. Л. 87.

292

Документы, предоставленные в вышестоящие организации по итогам голосования пленума комитета за 1942 год // РГАЛИ. Ф. 2073. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 10, 13.

293

См.: Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР «О присуждении Сталинских премий за выдающиеся работы в области искусства и литературы за 1942 год» // Правда. 1943, 20 мар.

Здесь и далее цит. по: *Исаев А.* Во славу родины // Огонек. 1943. № 25–26. С. 13.

Здесь и далее цит. по: *Книпович Е.* Народ и история // Знамя. 1943. № 7–8. С. 249–253.

См.: *Гроссман В. С.* Сталинград. Сентябрь 1942 – январь 1943. М., 1943.

297

Здесь и далее цит. по: *Эвентов И. С.* Душа солдата (О сталинградских очерках В. Гроссмана) // Звезда. 1943. № 4. С. 117–119.

Здесь и далее цит. по: *Озеров Л. А.* Сталинград // Труд. 1943. 2 сент.

299

Здесь и далее цит. по: *Соловьев Б.* Русские воины // Красный флот. 1943. 22 окт.

Подробнее см.: *Кермиш И.* Изистории рукописей «Черной книги» // Черная книга / Сост. В. С. Гроссман, И. Г. Эренбург. М., 1991. С. XIII–XXI.

301

См.: *Гроссман В.* Годы войны: Очерки и рассказы. М.: Гослитиздат, 1945; *Он же*. Указ. соч. М.: Гослитиздат, 1946.

Здесь и далее цит. по: *Эренбург И.* Глазами Василия Гроссмана // Литературная газета. 1946. 23 февр.

303

Здесь и далее цит. по: *Антокольский П. Г.* «Годы войны» // Сталинский сокол. 1946. 16 мая.

Здесь и далее цит. по: *Яковлев Б.* «Годы войны» // Вечерняя Москва. 1946. 25 июня.

Лейтес А. Путь к победе // Огонек. 1946. № 24. С. 30.

306

Далее цит. по: *Левин Ф.* Вас. Гроссман. Годы войны. М.: Гослитиздат, 1945 // Советская книга. 1946. № 6–7. С. 79–84.

Здесь и далее цит. по: *Дерман А. Б.* Подвиг писателя // Знамя. 1946. № 8–9. С. 200–214.

308

РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 39. Ед. хр. 1658. Л. 73–74.

309

Гроссман В. Если верить пифагорейцам // Знамя. 1946. № 7. С. 68.

Здесь и далее цит. по: *Альтман И.* Если верить автору… // Литературная газета. 1946. 3 сент.

311

Здесь и далее цит. по: *Ермилов В.* Вредная пьеса // Правда. 1946. 4 сент.

312

О журналах «Звезда» и «Ленинград» (из постановления ЦК ВКП(б) от 14 августа) // Правда. 1946. 21 авг.

313

Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) о репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению // Большевик. 1946. № 16. С. 46.

Чуковский К. И. Дневник (1930–1969). М., 1997. С. 174.

315

Вишневский Вс. В редколлегии журнала «Знамя» // Культура и жизнь. 1946. 10 окт.

316

См.: Постановление Оргбюро ЦК ВКП (б) о смене руководства ССП СССР // Власть и художественная интеллигенция: Документы ЦК РКП (б) – ВКП (б), ВЧК-ОГПУ-НКВД о культурной политике. 1917–1953 гг. М., 2002. С. 603.

317

Здесь и далее цит. по: *Озерова К. Н.* Ошибочная «теория» критика А. Дермана // Культура и жизнь. 1946. 20 нояб.

318

См.: *Фадеев А.* О литературно-художественных журналах // Правда. 1947. 2 февр.

319

См.: *Ермилов В.* Вредная пьеса // Самая демократическая литература мира. М., 1947. С. 32–29.

Здесь и далее цит. по: «Пошлые романы Ильфа и Петрова не издавать» // Источник. 1997. № 5. С. 89–24.

321

Подробнее см.: *Одесский М. П., Фельдман Д. М.* Легенда о великом комбинаторе (в трех частях, с прологом и эпилогом) // Ильф И. А., Петров Е. П. Золотой теленок. М.: Вагриус, 2000. С. 7–9.

См.: *Костырченко Г. В.* Сталин против космополитов. М., 2009. С. 153–210; см. также: *Борщаговский А.* Записки баловня судьбы. М., 1991; *Он же.* Обвиняется кровь. М., 1994. Ср.: *Громова Н. А.* Распад. Судьба советского критика: 40–20-е годы. М., 2009. С. 239–246.

Каверин В. А. Эпилог. М., 1989. С. 328.

См.: *Рапопорт Я. Л.* На рубеже двух эпох. Дело врачей 1953 года. СПб., 2003. С. 21.

См., напр.: *Симонов К.* Глазами человека моего поколения. М., 1990. С. 201–203.

Подробнее см.: *Агейкина И.Н.* Указ. соч.

327

Здесь и далее цит. по: *Бубеннов М.* Нужны ли нам сейчас литературные псевдонимы? // Комсомольская правда. 1951. 27 февр. Подробнее об этом см.: *Агейкина И. Н.* Указ. соч.

328

Симонов К. Об одной заметке // Литературная газета. 1951. 6 мар.

329

Здесь и далее цит. по: *Шолохов М.* С опущенным забралом // Комсомольская правда. 1951. 8 мар.

330

Симонов К. Еще об одной заметке // Литературная газета. 1951. 10 мар.

331

Здесь и далее цит. по: *Фрезинский Б. Я.* Комментарии // Эренбург И. Э. Люди, годы, жизнь. Т. 3. М., 2005. С. 495–505. См. также: *Орлова Р.* Воспоминания о непрошенном времени. М., 1993. С. 244.

Здесь и далее цит. по: *Гроссман В. С.* На Волге (Главы изромана «Сталинград»). М., 1949.

333

См.: *Гроссман В.С.* Дневник прохождения романа «За правое деле» в издательствах // РГАЛИ. Ф. 1710. Оп. 2. Ед. хр. 1.

См. подробнее: *Лакшин В. Я.* Твардовский в «Новом мире». М., 1989. С. 34–44; *Бианки Н. П.* К. Симонов, А. Твардовский в «Новом мире». М., 1999. С. 34–62; *Турков А. М.* Александр Твардовский. М., 2010. С. 319–383.

335

См.: *Сарнов Б. М.* Сталин и писатели. Кн. 4. М., 2011. С. 513.

См.: *Бубеннов М. С.* Белая береза: Роман: В 2 кн. М., 1952.

См.: *Львов С.* Рождение эпопеи // Огонек. 1952. № 47. С. 24.

См.: *Галанов Б.* Эпопея народной войны // Молодой коммунист. 1953. № 1. С. 117–123.

339

См.: *Фельдман Д. М.* До и после ареста. Судьба рукописи Василия Гроссмана // Литературная Россия. 1988. 11 нояб.

340

Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей // Правда. 1953. 13 янв.

341

Подробнее о специфике пропагандистской кампании см.: *Агейкина И. Н.* Указ. соч.

См., напр.: *Фрезинский Б. Я.* Писатели и советские вожди. М., 2008. С. 561–563.

343

Здесь и далее цит. по: Проект обращения еврейской общественности в «Правду» (1-я редакция) // Государственный антисемитизм в СССР от начала до кульминации 1938–1953: Документы. М., 2005. С. 470–473.

Фрезинский Б.Я. Указ. соч. С. 563. Ср.: *Каверин В. А.* Указ. соч. С. 316–317.

345

См., напр.: *Шейнис З. С.* Провокация века: Расстрелянный наркомотдел. Холодный погром на Путинках. Новое о «Деле врачей». М., 1992; см. также: *Фурсенко А. А.* И. В. Сталин: последние годы жизни и смерть // Исторические записки. 2000. Вып. 3. С. 190.

См.: *Лекторский А.* Роман, искажающий образы советских людей // Коммунист. 1953. № 3. С 106–118.

347

Волков Ф. В кривом зеркале. О романе В. Гроссмана «За правое дело» // Красная звезда. 1953. 25 февр.; На ложном пути. О романе В. Гроссмана «За правое дело» // Литературная газета. 1953. 21 февр. *Шагинян М.* Корни ошибок. Заметки писателя // Известия. 1953. 26 мар.

См.: *Твардовский А. Т.* Василий Теркин. М., 1983. С. 40.

Цит. по: *Бочаров А.Г.* Указ. соч. С. 173–274.

350

См., напр.: *Фадеев А. А.* Некоторые вопросы работы Союза писателей // Литературная газета. 1953. 28 мар.

351

См., напр.: От Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза ССР и Президиума Верховного Совета СССР. Ко всем членам партии, ко всем трудящимся Советского Союза // Правда. 1953. 6 мар.; Медицинское заключение о болезни и смерти И. В. Сталина // Правда. 1953. 6 мар.; Величайшая сплоченность и единство // Правда. 1953. 7 мар.; У гроба И. В. Сталина // Правда. 1953. 7 мар.; Сталин с нами! Вчера в Колонном зале Дома Союзов // Правда. 1953. 8 мар.

Цит. по*: Бочаров А.Г.* Указ. соч. С. 174.

353

См: Сообщение Министерства внутренних дел СССР // Правда. 1953. 4 апр.

См.: *Лещинский Н.* Еще о «философии» Чепыжина и Штрума // Звезда. 1953. № 5. С. 186–287; *Добротворский Н.* Это не герои Сталинграда // Там же. С. 187; *Мороховский Ю.* Нечему учиться у таких героев // Там же. С. 188.

См.: *Берзер А. С.* Прощание // Указ. изд.

См.: *Свирский Г. Ц.* На лобном месте. Литература нравственного сопротивления 1946–1986. Лондон, 1989. С. 42–21.

Гроссман В. С. За правое дело. М.: Воениздат, 1955; *Он же.* Степан Кольчугин. М.: Гослитиздат, 1955.